ISSN 0130-6545

12 1993

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

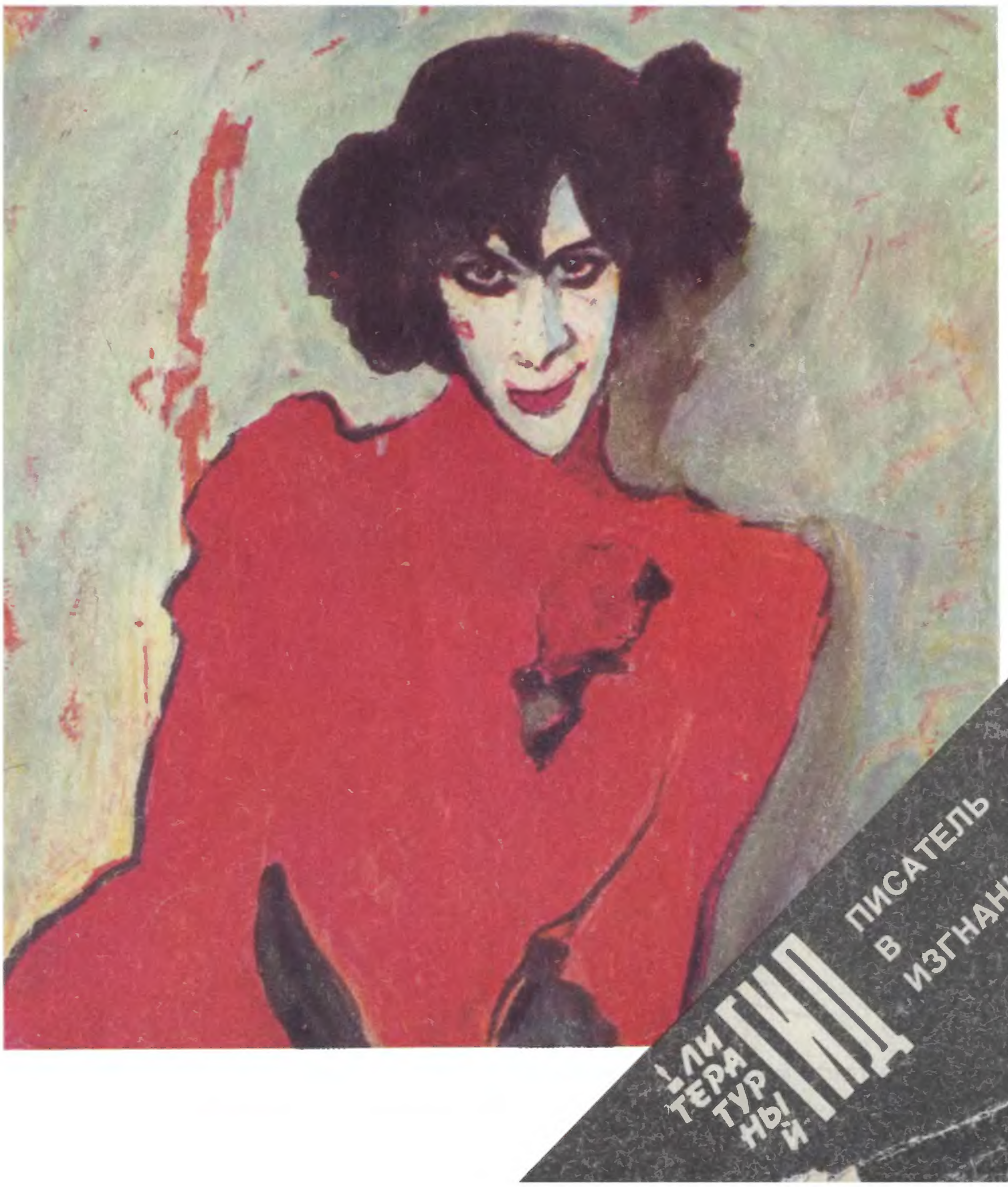
В номере:

ТРУМЭН КАПОТЕ
Другие голоса, другие комнаты

И. Б. ЗИНГЕР
Поклонница

ВЛАДИМИР НАБОКОВ
Второй режиссер

МАРЕК ХЛАСКО
Красивые, двадцатилетние



ПИСАТЕЛЬ В ИЗГНАНИИ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Н. СКУРСКАЯ — ответственный секретарь
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ — заместитель главного редактора
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заведующий отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, М. Н. ВАКСМАХЕР, Е. Ю. ГЕНИЕВА,
В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ,
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. Э. ИВАНОВА,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ,
А. С. МУЛЯРЧИК, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ,
Н. Л. ТРАУБЕРГ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

12 декабрь 1993

СОДЕРЖАНИЕ

ТРУМЭН КАПОТЕ — Другие голоса, другие комнаты *(Роман. Перевод с английского В. Голышева)* 5

ЖУЖА РАКОВСКИ — Стихи *(Перевод с венгерского Анны Гедымин)* . 85

ИСААК БАШЕВИС ЗИНГЕР — Поклонница *(Рассказ. Перевод с английского Дмитрия Веденяпина)* 88

Литературное наследие

ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ XVI ВЕКА *(Перевод и вступление Григория Кружкова)* 98

Литературный гид: «Писатель в изгнании» 107

ВЛАДИМИР НАБОКОВ — Второй режиссер *(Рассказ. Перевод с английского И. Бернштейн. Послесловие Б. Носика)* 108

ЯН ЛЕХОНЬ — Стихи *(Перевод с польского и вступление А. Гелескула)* 121

ХУАН РАМОН ХИМЕНЕС — Записки в изгнании *(Перевод с испанского и послесловие А. Гелескула)* 127

ШАНДОР МАРАИ — Дневники *(Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева)* 144

МАРЕК ХЛАСКО — Красивые, двадцатилетние *(Литературная автобиография. Перевод с польского и вступление К. Старосельской)* . 163

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ — Сумма прописью, или Ненужное зачеркнуть . 246

К нашим иллюстрациям

Н. КАЗАРЦЕВА — Наш соотечественник — художник Алексей фон Явленский 251

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1993 г. 252

Авторы этого номера . 256

© «Иностранная литература», 1993 г.

В следующем номере «ИЛ»

Очередной выпуск «Литературного гида», названный «Постмодернизм: подобия и соблазны реальности», посвящен концепции «послесовременности», занявшей центральное место в умонастроениях современной эпохи. Мы представим читателям тексты «из первых рук»: эссеистику ведущих теоретиков постмодерна Ж.-Ф. ЛИОТАРА и Ж. БОДРИЙАРА, роман англичанина ДЖУЛИАНА БАРНСА **«История мира в 10½ главах»,** образцы постмодернистской поэзии, а также статьи отечественных авторов, анализирующих это явление.

Роман гонкуровского лауреата РОМЕНА ГАРИ **«Воздушные змеи».** Место действия романа — Нормандия. Время — предвоенные годы и годы второй мировой войны. В центре повествования — история любви юной польской аристократки и молодого француза из провинциального городка.

Цветные иллюстрации номера — работы А. фон ЯВЛЕНСКОГО:
на 1-й стр. — «Портрет танцора Александра Сахарова».
на 2-й стр. — «Мурнау. Пейзаж»;
на 3-й стр. — «Дама с веером»;
на 4-й стр. — «Белое перо».

По всем вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Художественный редактор **С. И. МАРТЕМЬЯНОВА**

Технический редактор **С. В. БЕЙЛЕЗОН**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41, Телефон 233-51-47

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 06.09.93. Подписано в печать 05.11.93. Формат 70 × 108 1/16. Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч. изд. л. 26,53. Зак. № 4040.

Тираж 56 000 экз. Цена по подписке 95 р.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика». Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

ТРУМЭН КАПОТЕ

Другие голоса, другие комнаты

РОМАН

Перевод с английского В. ГОЛЫШЕВА

НЬЮТОНУ АРВИНУ

Лукаво сердце *человеческое* более всего и крайне испорчено; кто узнает его?

Книга пророка Иеремии, 17,9

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Нынче путешественник должен добираться до Нун-сити как сумеет: ни поезда, ни автобусы в ту сторону не идут, только грузовик скипидарной компании «Чуберри» шесть раз в неделю приезжает в соседний городок Парадайс-Чепел за почтой и припасами, и, если вам надо в Нун-сити, шофер Сэм Редклиф может вас подбросить. Поездка тряская, на что ни сядь; ухабистые дороги живо разболтают даже новенькую машину, и приезжие остаются недовольны. Да и края тут унылые; в болотистых низинах цветут тигровые лилии с голову величиной, зеленые бревна светятся в илистой воде, как тела утопленников, едешь иной раз, и ничто не шелохнется окрест, кроме дымного столбика над печальной фермой да узкоглазой птицы, кругами парящей над глухим сосновым лесом.

Из глубинки в Нун-сити ведут две дороги: одна с севера, другая с юга; эта вторая чуть получше первой, хотя разница невелика: километр за километром тянутся обе сквозь болота, леса и поля, и ни души нигде, только изредка встанет у дороги щит с рекламой пятицентовых сигар «Ред дот», ситро «Доктор Пеппер» и «Нэхи», микстуры Гроува и одеколона. Как дальний гром громыхают под проезжим колесом деревянные мосты над гнилыми речушками с именами сгинувших индейских племен, стада свиней и коров бродят по дорогам где попало, да иногда фермерская семья разогнется над бороздой, чтобы помахать быстрой машине, и грустным взглядом будет провожать ее, покуда она не скроется в рыжей пыли.

Однажды знойным днем в Парадайс-Чепеле, когда шофер скипидарной компании Сэм Редклиф, рослый и лысоватый человек с грубым мужественным лицом, жадно пил пиво в кафе «Утренняя звезда», к нему, обняв за плечи незнакомого мальчишку, подошел хозяин кафе.

— Здорово, Сэм,— сказал хозяин, которого звали Сидни Кац.— Тут, видишь, парнишка хотел бы доехать с тобой до Нун-сити. Со вчерашнего дня не может отсюда выбраться. Не подвезешь, а?

Редклиф поглядел на мальчика поверх стакана, и мальчик ему не очень понравился. У шофера были свои представления о том, как должен выглядеть настоящий мальчишка, а этот в них как-то не укладывался. Уж больно он был хорошенький, хрупкий и белокожий, уж больно правильны были черты его нервного лица, а глаза, большие и карие, смотрели по-девичьи нежно. В коротких каштановых волосах выделялись чисто золотые пряди. Усталое, умоляющее выражение застыло на его худом лице, и плечи

сутулились не по-детски. На нем были мятые белые льняные штаны, синяя рубашка с расстегнутым воротом и сильно поношенные коричневые туфли.

Стерев пену с верхней губы, Редклиф спросил:

— Как тебя звать, мальчик?

— Джоул. Джо-ул Хар-ри-сон Нокс.— Он произнес имя раздельно, словно обращался к глухому, но голос его был необычайно тих.

— Вон что? — протянул Редклиф, опустив на стойку порожний стакан.— Богатое имя у тебя, мистер Нокс.

Мальчик покраснел и повернулся к хозяину.

— Он хороший мальчик,— поспешил вмешаться тот.— И умненький. Такие слова знает, каких мы с тобой и не слышали.

Редклиф был раздосадован.

— А ну, Кац, по второму,— велел он. И когда хозяин укатился за новым стаканом пива, Сэм дружелюбно сказал мальчику: — Не хотел тебя дразнить. Ты из каких краев?

— Из Нью-Орлеана. Я уехал оттуда в четверг, сюда приехал в пятницу, а дальше — никак. Никто меня не встретил.

— Вон что,— сказал Редклиф.— К родственникам едешь в Нун-сити?

Мальчик кивнул.

— К отцу. Буду жить с ним.

Редклиф поднял глаза к потолку, несколько раз пробормотал: «Нокс», потом недоуменно помотал головой:

— Нет, никого, по-моему, не знаю с такой фамилией. Скажи, а ты не ошибся адресом?

— Нет,— ответил мальчик, ничуть не встревожась.— Спросите мистера Каца, он слышал об отце, я показывал ему письма, и... Подождите.— Он побежал между столиками в глубину сумрачного кафе и вернулся с громадным жестяным чемоданом, судя по его гримасе, очень тяжелым. Чемодан был весь покрыт яркими, но потертыми наклейками из самых дальних мест на свете: Париж, Каир, Венеция, Вена, Неаполь, Гамбург, Бомбей и так далее. Странно было видеть такой предмет жарким днем в захолустном городке Парадайс-Чепел.

— Ты побывал во всех этих местах? — спросил Редклиф.

— Не-е-е,— ответил мальчик, возясь со старым кожаным ремнем, скреплявшим чемодан.— Это дедушкин; дедушка был майор Нокс, вы, наверное, читали о нем в книжках по истории. Он был известным человеком в Гражданскую войну. В общем, с этим чемоданом он поехал в свадебное путешествие вокруг света.

— Вокруг света? — на Редклифа это произвело впечатление.— Богатый человек был, а?

— Ну, это давно было.— Мальчик порылся в аккуратно сложенных пожитках и вынул тонкую пачку писем.— Вот они.

Перед тем как раскрыть письмо, Редклиф повертел его в руках; наконец осторожно вынул неловкими пальцами тонкий зеленый листок и, шевеля губами, стал читать:

Эдв. Р. Сансом, эск., Скаллиз-Лендинг, 18 мая 19...

Любезная Эллен Кендал, благодарю Вас за столь скорый ответ на мое письмо — он пришел обратной почтой. Да, действительно, получить известие от меня после двенадцатилетнего перерыва несколько странно, но уверяю Вас, столь долгое молчание вызвано было уважительными причинами. Однако, прочтя в «Таймс-пикиюн», на воскресный выпуск которой мы подписаны, о кончине моей прежней жены, да упокоит Господь ее добрую душу, я тотчас рассудил, что единственным достойным решением будет вновь вернуться к моим родительским обязанностям, неотправляемым, увы, уже столько лет. И моя нынешняя супруга, и я были рады (более того, совершенно счастливы!), узнав, что Вы готовы пойти навстречу нашему желанию, хотя, как Вы заметили, Ваше сердце будет разбито. И мне ли не

понять всю тяжесть Вашей жертвы, если сам я испытал подобные чувства, когда был вынужден после той ужасной истории покинуть моего единственного и бесконечно дорогого мне ребенка в младенческом возрасте. Но все это дело прошлое. Будьте покойны, моя добрая леди, мой сын найдет у нас в Лендинге красивый дом, здоровую пищу и культурное общество.

Теперь что касается переезда: нам бы очень хотелось, чтобы Джоул прибыл сюда не позже 1-го июня. Из Нью-Орлеана он должен доехать на поезде до Билокси, в каковом пункте сойти и приобрести автобусный билет до Парадайс-Чепела, города в тридцати километрах к югу от Нун-сити. В настоящее время мы не располагаем моторным экипажем; поэтому лучше всего, если он заночует в П.-Ч., где над кафе «Утренняя звезда» имеются номера, а потом уже будет доставлен к нам. Присовокупляю чек для покрытия расходов, с которыми это может быть сопряжено.

Уважающий Вас
Эдв. Р. Сансом.

Редклиф, озадаченно хмурясь, вздохнул и засунул письмо в конверт, как раз когда подоспел хозяин с пивом. Шофера привели в недоумение две вещи; во-первых, почерк: коричневое, цвета засохшей крови, кружево завитушек, витиеватые «н» с изящными кружочками вместо перекладин. Что это, к черту, за мужчина, который так пишет? И во-вторых:

— Если папа твой Сансом, почему ты назвался Ноксом?

Мальчик смущенно потупился.

— Да вот,— он взглянул на Редклифа с упреком, словно шофер у него что-то отнял,— они развелись, и мама всегда звала меня Джоулом Ноксом.

— Э-э, милый,— сказал Редклиф,— зря ты ей разрешал. Запомни: отец есть отец, что бы ни было.

Мальчик просительно обернулся теперь к хозяину в поисках поддержки, но тот, избегая его взгляда, отошел, чтобы обслужить другого посетителя.

— Я его никогда и не видел,— сказал Джоул, бросив письмо в чемодан и застегивая ремень.— А вы знаете это место? Скаллиз-Лендинг.

— Лендинг? Знаю-знаю, как не знать.— Редклиф сделал большой глоток, зычно рыгнул и улыбнулся.— Будь я твой папка, спустил бы тебе портки да влепил пару горячих.— Потом допил стакан, шлепнул на стойку полдоллара, поднялся и, стоя на месте, задумчиво скреб щетинистый подбородок, пока часы на стене не пробили четыре.— Ладно, сынок, давай двигаться,— сказал он и сразу направился к двери.

Секунду поколебавшись, мальчик поднял чемодан и пошел за ним.

— Не забывайте нас,— механически сказал им вдогонку хозяин.

Машина была «форд»-пикап. В кабине сильно пахло бензином и нагретой солнцем кожей. Мертвый спидометр окоченел на 30-ти. Ветровое стекло было заляпано разбитыми насекомыми, покрыто дождевыми разводами, а по одной его половине лучами разбегались трещины. На рычаге скоростей красовался игрушечный череп. Колеса — тук-тук — постукивали на спусках, подъемах и поворотах шоссе.

Джоул забился в угол кабины и, облокотившись на подоконный выступ, обхватив подбородок ладонью, боролся со сном. С тех пор как он выехал из Нью-Орлеана, ему и часа не удалось вздремнуть: стоило закрыть, как сейчас, глаза, и оживали отвратительные воспоминания. Одно особенно донимало: он стоит у прилавка в магазине, мать — за ним, а на улице январский дождь застывает сосульками на голых сучьях. Они вместе вышли из магазина и шагали по тротуару молча; он держал над матерью ситцевый зонт, а она несла пакет с мандаринами. Прошли мимо дома, где играл рояль,— музыка звучала грустно под пасмурным небом, но мать сказала, что песня красивая. И когда вернулись, мать уже напевала, но ее знобило, она легла, пришел врач и приходил ежедневно больше месяца, и тетя Эллен

была с ними, всегда улыбалась, и врач улыбался, а несъеденные мандарины съеживались в леднике; когда все кончилось, он переехал к Эллен, в убогий, на две семьи, дом у озера Понтчартрейн.

Эллен, добрая, смирная женщина, управлялась с домом как умела. У нее было пятеро своих детей-школьников, муж работал продавцом в обувном магазине, и денег едва хватало; но на Джоула семья не тратилась — мать оставила ему небольшое наследство. Эллен и остальные обращались с ним хорошо, а он все равно злился и часто пакостничал, например, дразнил двоюродную сестру Луизу, тупую на вид девочку, постарше его: она была глуховата, а Джоул приставлял к уху ладонь и кричал «Ась? Ась?», доводя ее до слез. Не дурачился, не участвовал в шумных играх, устраиваемых дядей каждый вечер после ужина, с удовольствием подмечал ошибки в речи родственников — и сам удивлялся своему поведению не меньше Кендалов. Словно с зеленой пеленой зависти в глазах прожил он эти месяцы, с запечатанными воском ушами: все казалось не таким, как на самом деле, и дни истаивали в бесконечных вымыслах. Перед сном Эллен любила почитать детям Вальтера Скотта, Диккенса, Ханса Андерсена и однажды холодным мартовским вечером прочла «Снежную королеву». Посреди чтения Джоулу пришло в голову, что у него с мальчиком Каем много общего: Каю в глаз попал осколок злого зеркала троллей, исказил его зрение и превратил сердце в кусок льда; слушая добрый голос Эллен, глядя на лица родственников, освещенные огнем камина, он подумал: а если бы его, как маленького Кая, увезли в ледяной чертог Снежной королевы? найдется ли на свете человек, чтобы бросился к нему на выручку, не побоявшись разбойников? Нет такого человека, нету.

В последние недели перед тем, как пришло письмо, он прогуливал школу три дня из пяти и слонялся у причалов на Канал-стрит. Завтраком, который ему давала в школу Эллен, он делился с грузчиком, великаном-негром, а тот потчевал его диковинными морскими историями, и хотя Джоул уже во время рассказа понимал, что все — выдумки, этот человек был взрослый, а ему теперь хотелось дружить только со взрослыми. В одиночестве он часами наблюдал за погрузкой и разгрузкой банановых судов, ходивших в Центральную Америку, и конечно замышлял путешествие зайцем, будучи уверен, что где-нибудь в чужой стране найдет доходную работу. Но получилось так, что в день его тринадцатилетия пришло первое письмо из Скаллиз-Лендинга.

Письмо это Эллен несколько дней не показывала. Странно она себя вела; встретившись с ней взглядом, Джоул видел в ее глазах незнакомое выражение: испуганное, виноватое. В ответном письме она потребовала заверений, что Джоула немедленно отпустят, если ему там не понравится; гарантий, что позаботятся о его образовании; обещания, что рождественские каникулы он проведет у нее. Однако, когда после долгой переписки с чердака стащили старый свадебный чемодан майора Нокса, Джоул увидел, что она почувствовала облегчение.

Уезжал он с радостью. Почему — сам не знал, да и не желал задуматься, и весьма невероятное появление отца на сцене, столь странно покинутой им двенадцать лет назад, отнюдь не изумило Джоула, ибо он всегда рассчитывал на случай в таком роде. Чудо планировалось, правда, в виде доброй богатой дамы, которая, заметив его на перекрестке, тут же посылает конверт, набитый тысячедолларовыми бумажками; или некоего добросердечного незнакомца, совершающего аналогичный божественный акт. А то, что незнакомец оказался вдобавок его отцом, Джоул воспринял просто как удачное совпадение.

Однако позже, когда он лежал на облупленной железной кровати над кафе «Утренняя звезда», обалдев от духоты, заброшенности и отчаяния, отец и собственное положение представились ему в ином свете: он не знал, чего ожидать, и был испуган, ибо поездка уже принесла много разочарований. Панаму, только что купленную в Нью-Орлеане и носимую с залихватской гордостью, украли на вокзале в Билокси; затем, в поту и зное, трехчасовое опоздание автобуса в Парадайс-Чепел; и в довершение всего — никаких

вестей из Скаллиз-Лендинга. Всю ночь в четверг он не гасил электричество в чужой комнате и читал голливудский журнал до тех пор, пока не выучил последние новости актерской жизни назубок — потому что, задумайся он о себе хоть на секунду, ни дрожи, ни горьких слез тогда уже не унять. Перед рассветом он изорвал журнал в клочки и сжег обрывки в пепельнице, пока не подошло время спускаться в кафе.

— Погляди там сзади, малыш, достань мне спички,— сказал Редклиф.— Вон на полке, видишь?

Джоул открыл глаза и растерянно огляделся. На кончике носа у него висела прозрачнейшая капля пота.

— Ну и добра у вас,— сказал он, шаря на полке, приютившей собрание пожелтелых газет, кусок шланга, замасленные инструменты, насос, фонарь и... пистолет. Рядом с пистолетом стояла вскрытая коробка патронов с пулями из яркой меди, как новенькие центы. Его подмывало стянуть целую горсть, но он ограничился одним, искусно уронив его в грудной карман.— Пожалуйста.

Редклиф сунул в рот сигарету, и Джоул услужливо поднес ему спичку.

— Спасибо,— сказал Редклиф, дымя ноздрями после глубокой затяжки.— А ты когда-нибудь бывал здесь?

— Не совсем здесь — один раз мама взяла меня в Галфпорт; там хорошо — море. Вчера я на поезде его проезжал.

— Нравится у нас?

Джоулу почудилось в голосе что-то странное. Он взглянул на резкий профиль шофера — не замечена ли кража. Но Редклиф, если и заметил, виду не подал.

— Как вам сказать... тут по-другому.

— А по мне, так никакой разницы. Всю жизнь отсюда не вылезал; вот и выходит: здесь — как везде, ха-ха!

Машина вдруг выехала на широкий и твердый участок дороги, не окаймленный деревьями; слева раскинулось огромное поле, за ним чернел сосновый лес. Человек вдали — мужчина или женщина, не понять,— опустил мотыгу, чтобы помахать машине, и Джоул помахал в ответ. Потом обогнали двух белоголовых мальчишек верхом на тощем муле, накрыв их пыльным облаком, и мальчишки завопили от восторга. Редклиф сигналил и сигналил стаду свиней, не спешивших уйти с дороги. Другого такого ругателя Джоул не слыхивал — разве что грузчика-негра.

Чуть позже Джоул сказал, задумчиво нахмуря брови:

— Можно у вас спросить? — И дождался кивка.— Я вот что хотел спросить: вы знаете моего... Мистера Сансома?

— Знаю, кто он, а как же,— ответил Редклиф и вытер лоб грязным платком.— Ты меня с толку сбил двумя фамилиями — Сансом и Нокс. Ну да, это который женился на Эйми Скалли.— И после короткой заминки добавил: — Правду сказать, я его в глаза не видел.

Джоул прикусил губу и молчал. Вопросы теснились в голове, но задать их он стеснялся: стыдно не знать ничего о близком родственнике. Поэтому он задал другой вопрос — и очень смелым голосом:

— А этот Скаллиз-Лендинг... Кто там вообще живет?

Редклиф сощурился, припоминая.

— Так,— сказал он наконец.— У них там пара негров, этих я знаю. Потом твоего папки жена — и ее знаю: моя ей шьет иногда; раньше шила.— Он затянулся и выбросил окурок в окно.— И брат двоюродный... да, точно, двоюродный!

— Да? — небрежно сказал Джоул, но взгляд его умолял шофера продолжать, ибо в письмах персона эта ни разу не упоминалась.

Редклиф лишь улыбнулся затаенно, словно вспомнил шутку, которой не хотел делиться с посторонним.

Больше об этом речи не было.

— Теперь гляди в оба,— сказал немного погодя Редклиф.— Въезжаем в город.

Дом. Серая гроздь негритянских халуп. Некрашеная дощатая церковь со шпилем-громоотводом и тремя витражами рубинового стекла. Вывеска: «Господь Иисус грядет! Готов ли ты?» Черный мальчишка прижал к груди котелок с ежевикой. Все облито жгучей солнечной глазурью. Потом короткая немощеная безымянная улочка, уставленная похожими одноэтажными домами — где понарядней, а где невзрачными; каждый с верандой и двориком, кое-где на двориках встрепанные розовые кусты, индийская сирень и мелия, а на ней непременно качели из веревки и старой шины. Деревца камелий с темно-зелеными лакированными листьями. Толстая розовая девочка прыгает со скакалкой; пожилая дама умостилась на покосившейся веранде и обмахивается пальмовым веером. Потом кирпичная конюшня: лошади, телеги, брички, мулы, люди. Крутой поворот: Нун-сити.

Редклиф затормозил. Перегнулся через колени Джоула и открыл ему дверь.

— Жалко, не могу подкинуть тебя до Лендинга, малыш,— торопливо сказал он.— В компании подымут хай. Но теперь доберешься: суббота, с той стороны много народу приезжает в город по субботам.

Джоул остался один; пропотевшая синяя рубашка липла к спине. С чемоданом, покрытым наклейками, он осторожно отправился на первую прогулку по городку.

В Нун-сити мало примечательного. Всего одна улица, и на ней расположены универсальный магазин, ремонтная мастерская, маленькое здание с двумя кабинетами: врача и юриста; парикмахерская, совмещенная с косметическим салоном, где хозяйничают однорукий и его жена, и некое непонятное заведение «Королевский кров Р. В. Лейси», под портиком которого стоит бензоколонка компании «Тексако». Эти здания составлены так тесно, что похожи на какой-то ветхий дворец, сляпанный за ночь полоумным плотником. А через дорогу, особняком, стоят еще два строения: тюрьма и высокий пьяненький дом рыжего цвета. За четыре года тюрьма не приютила ни одного белого преступника — да и другие там редко когда бывают, потому что шериф, бездельник и лодырь, любит отдыхать с бутылкой, и ворам, хулиганам, даже самым отъявленным головорезам при нем раздолье. Что же до чудного дома, то пустует он бог весть уже сколько лет, а жили в нем будто бы три благородные сестры, изнасилованные и зверски убитые злодеем-янки, который ездил на серебристо-сером коне и носил бархатный плащ, багровый от крови южанок; в устах престарелых дам, водивших, если им верить, знакомство с красавицами покойницами, повесть эта исполнена готического великолепия. Окна дома, треснутые и выпавшие, слепы, как пустые глазницы, гнилой балкон угрожающе сунулся вперед, в укромных углах свили гнезда желтые птички, а рваные, полинялые плакаты на шелушащихся стенах трепещут при любом ветерке. У городских ребят почитается за большую доблесть забраться ночью в эти черные комнаты и подать сигнал зажженной спичкой из окна на верхнем этаже. Веранда, однако, в приличном состоянии, и здесь располагаются фермерские семьи, приехавшие на субботу в город.

Новые люди теперь редко оседают в Нун-сити и его окрестностях — работать-то почти негде. С другой стороны, нечасто услышишь и об отбывающих — разве что в последний путь на косогор за баптистской церковью, где забытые надгробия белеют, точно каменные цветы, среди бурьяна.

Суббота, конечно, день особенный. Едва рассветет, и уже потянулась в город вереница телег, влекомых мулами, бричек, калек-автомобилей, а к середине утра собирается изрядная толпа. Мужчины оделись в лучшие рубашки и брюки из магазина, женщины пахнут ванилью или десятицентовыми духами — излюбленный запах тут называется «Любовь небесная»; у девушек в стриженых волосах фигуристые заколки, щеки пылают от румян, а в руках — пятицентовые бумажные веера с красивыми картинками. Дети, хоть и босые, и полуголые порой, все как один отмыты и получили по нескольку центов, чтобы купить, например, коробку воздуш-

ной кукурузы в патоке с выигрышным талоном внутри. Обследовав магазины, женщины собираются на веранде старого дома, между тем как мужья направляют стопы к платной конюшне. Торопливо и возбужденно, без конца повторяя одно и то же, весь долгий день жужжат и переплетаются в воздухе их голоса. Хвори, свадьбы, помолвки, похороны, Бог — вечные темы на веранде. А в конюшне мужчины балагурят и пьют виски, толкуют об урожае и играют в ножички; случаются страшные драки, потому что многие из этих людей вспыльчивы и камень за пазухой подолгу не держат.

Когда сумерки обнимут небо, словно тихий колокол бьет отбой, и хмурый покой нисходит на землю, голоса смолкают, как птицы на закате. Семьи в своих экипажах выезжают из города печальным похоронным караваном, и единственное, что остается от них,— лютая тишина. Хозяева разных заведений в Нун-сити еще час выжидают, прежде чем запереть двери и отправиться на боковую; а после восьми ни одной порядочной души не встретишь в городе — разве что пьяницу горемыку да молодого ухажера, прогуливающего свою ненаглядную.

— Эй! Ты, с чемоданом!

Джоул обернулся и увидел в дверях парикмахерской сердитого человека, маленького, кривоногого и однорукого; откуда только взялся в этом замухрышке такой суровый густой голос.

— Поди ко мне, мальчик,— велел он, ткнув большим пальцем в грудь своего фартука.

Джоул подошел, и человек протянул ему ладонь, на которой блестели пять центов.

— Это видишь? — Джоул кивнул, ничего не понимая.— Так. Теперь посмотри туда, на дорогу. Девчонку рыжую видишь?

Джоул прекрасно ее видел. Это была девочка с огненными короткими волосами. С него ростом, в коричневых шортах и желтой тенниске. Она скакала перед чудным высоким старым домом, показывала парикмахеру нос и строила противные рожи.

— Слушай,— сказал парикмахер,— поймаешь мне отóрву, и пять центов — твои. Ох! Ты смотри, опять идет...

Гикая, как индеец, рыжая мчалась по дороге, а за ней катилась с воплями ватага малолетних поклонников. Поравнявшись с Джоулом, она метнула в дом целую горсть камней. Камни оглушительно застучали по железной крыше, и апоплексически багровый парикмахер закричал:

— Ну, погоди, Айдабела! Доберусь я до тебя, ох, доберусь!

Позади него, за сетчатой дверью, засмеялась женщина, и пронзительный, с ядом, голос произнес:

— Родной мой, хватит выставлять себя дураком — и уйди с жары.— Затем, по-видимому, обращаясь к третьему лицу: — Честное слово, он сам не лучше Айдабелы: Господь обоих умом обидел. Я тут сказала миссис Поттер (голову мыть пришла на прошлой неделе — и где она столько грязи умудряется собрать своими патлами, интересно?), так вот я ей говорю: «Миссис Поттер, Айдабела учится у вас в школе, и как же это получается: отъявленная хулиганка, а сестра — то есть Флорабела — такая хорошая девочка; просто загадка для меня: близнецы, а ничего общего». А миссис Поттер отвечает: «Ох, миссис Колфилд, прямо горе мне с этой Айдабелой, я считаю, место ей — в исправительном учреждении». Ее собственные слова. Ну, для меня-то это не было откровением, я всегда знала, что она урод,— подумайте, ни разу в жизни не видела Айдабелу Томпкинс в платье. *Родной мой, иди сюда, не стой на жаре...*

Мужчина сложил пальцы хомутиком и жирно плюнул сквозь него. Потом с неприязнью посмотрел на Джоула и проворчал:

— Стоишь и хочешь получить с меня деньги за то, что ничего не делаешь?

— *Родной, ты слышал меня?*

— Замолчи, женщина! — И сетчатая дверь, взвизгнув, захлопнулась.

Джоул покачал головой и пошел дальше. Рыжая с горластой шайкой

скрылась из виду, и белый день оседал, сходя к тому тихому летнему часу, когда небо проливает мягкие краски на выгоревшую землю. С холодной надменностью Джоул усмехался в ответ на любопытные взгляды прохожих, а подойдя к «Королевскому крову Р. В. Лейси», остановился прочесть, что написано мелом на маленькой и поцарапанной черной доске, выставленной перед входом. «Мисс Роберта В. Лейси приглашает Вас отведать нашего аппетитного жареного сома и курицу. Вкусное мороженое «Дикси». Отличное мясо на рашпере. Сладкие напитки и холодное пиво».

— «Сладкие напитки»,— прочел он вполголоса, и будто ледяная кока-кола омыла пересохшее горло.— «Холодное пиво».— Да, холодное пиво. Он потрогал округлую тушку кошелька в кармане, толкнул сетчатую дверь и вошел.

В комнате, похожей на внутренность ящика, стояло человек десять — по большей части загорелые с костлявыми лицами парни в комбинезонах и несколько девушек. При появлении Джоула гомон стих, и он, стесняясь, сел за деревянную стойку, занимавшую всю длину комнаты.

— О-о, здравствуй, маленький мой,— пробасила мускулистая женщина и облокотилась перед ним на стойку. У нее были длинные обезьяньи руки с черным пухом, а на подбородке — бородавка, оснащенная одиноким волосом, похожим на ус насекомого. Шелковую персикового цвета блузку оттягивала огромная грудь; глаза с красными веками смотрели на него, шутовски поблескивая.— Милости просим к мисс Роберте.— Два пальца с грязными ногтями приблизились к его щеке и больно ущипнули.— Чем может порадовать мисс Роберта такого миленького мальчика?

Джоул не знал куда деваться.

— Холодного пива,— выпалил он, стараясь не слышать громких смешков и хихиканья позади.

— Несовершеннолетним пиво продавать нельзя, моя детка,— даже таким миленьким. А нужно тебе виноградное ситро «Нэхи».— Она тяжело удалилась.

Хихиканье переросло в откровенный смех, и уши у Джоула стали пунцовыми от унижения. Он заподозрил, что женщина сумасшедшая. И озирал пропахшую кислятиной комнату, как сумасшедший дом. На стенах висели вырезанные из календарей зубастые красотки в купальниках и грамота в рамке: «Сим удостоверяется, что Роберта Вельма Лейси выиграла Главный приз за вранье на ежегодных Июльских шалостях в Дабл-Бранчез». С низкого потолка свисали стратегически расположенные вымпелы мухоморной бумаги и пара лампочек в лентах из красной и зеленой гофрированной бумаги. На стойке — графин с высокими ветками розового кизила.

— Угощайся,— сказала женщина, со стуком поставив перед ним совершенно мокрую бутылку пурпурного ситро.— Вижу, маленький мой, ты совсем запылился и пересох.— Она весело потрепала его по голове.— Так это тебя привез Сэм Редклиф?

Джоул утвердительно кивнул. Он глотнул из бутылки — вода оказалась противно теплой.

— Мне надо... вы не знаете, далеко отсюда до Скаллиз-Лендинга? — спросил он, ощущая, что каждое ухо в комнате ловит его слова.

— Хм.— Женщина покрутила бородавку и завела глаза так, что стала похожа на слепую.— Эй, Ромео, сколько, по-твоему, до Скалок? — спросила она с сумасшедшей улыбкой.— Я их зову Скалками, потому что...— но не закончила — ее перебил негритянский мальчик, к которому был обращен вопрос:

— Четыре километра, а то и все пять.

— Четыре километра,— повторила она, как попугай.— Но на твоем месте, маленький мой, я бы туда не топала.

— Я тоже,— пропищала девушка с соломенными волосами.

— А может меня кто-нибудь подвезти?

Кто-то сказал:

— А не приезжал ли Джизус Фивер?
— Ага, я видел Джизуса.
— Джизус у конюшни остановился.
— Джизус Фивер? Черт, я думал, он давно на кладбище.
— Что ты. Ему за сто — а шустрей тебя.
— Да-да, я видел Джизуса.
— Здесь он, Джизус.

Женщина схватила мухобойку и оглушительно хлопнула.

— Хватит галдеть. Совсем из-за вас мальчика не слышу.

Оказавшись причиной такого возбуждения, Джоул ощутил легкий прилив гордости, хотя и немного оробел. Женщина уставила клоунский взгляд куда-то над его головой и спросила:

— Какое же дело у тебя к Скалкам, мой маленький?

Ну вот, опять! Он кратко изложил дело, опуская все подробности, кроме простейших,— и даже не упомянул письма. Он ищет отца — вот и вся история. Как ему быть?

Ну, она не знает. Она умолкла и стояла, крутя бородавку и глядя в пустоту.

— Слушай, Ромео,— сказала она наконец,— ты говоришь, Джизус Фивер в городе?

— Да.— Мальчик, которого звали Ромео, был цветной и носил на голове пышный, захватанный поварской колпак. Он складывал тарелки в раковину за стойкой.

— Поди сюда, Ромео.— Она поманила его рукой.— Надо кое-что обсудить.

Ромео немедленно уединился с ней в заднем углу. Она возбужденно зашептала ему, то и дело оглядываясь через плечо на Джоула. Он не слышал, о чем они говорят. В комнате было тихо, и все глядели на него. Он достал украденный патрон и нервно катал его между ладоней.

Внезапно дверь распахнулась. Дерзкой походкой вошла та тощая, рыжая, с обкромсанными волосами и встала подбоченясь. Лицо у нее было плоское и довольно нахальное, нос обсыпан некрасивыми крупными веснушками. Прищуренные зеленые глаза перебегали с лица на лицо, но как бы никого не узнавали; равнодушно задержавшись на Джоуле, взгляд ее тут же скользнул дальше.

— Здорово, Айдабела!
— Как дела, Айдабела?

— Сестру ищу,— сказала она.— Никто не видел? — Голос у нее был сипловатый, как у мальчишки, и шел будто сквозь дерюгу,— Джоул невольно откашлялся.

— Я видел недавно, сидела на веранде,— отозвался молодой человек без подбородка.

Рыжая прислонилась к стене, скрестив тонкие, как щепки, ноги с острыми коленями. Левая была обмотана размахрившимся бинтом в красных протеках меркурохрома. Девчонка вытащила тяжелую голубую катушку на бечевке и отпустила: раскручиваясь, катушка медленно дошла до полу и стала подниматься, наматывая бечевку на себя.

— А это кто? — спросила она и показала головой на Джоула. Не получив ответа, она еще раз катнула игрушку, пожала плечами и сказала: — Подумаешь, кому интересно? — Но продолжала искоса следить за ним.— Эй, Роберта, не нальешь в кредит? — крикнула она.

— *Мисс* Роберта,— откликнулась та, прервав совещание с Ромео.— Сколько раз предупреждать тебя, Айдабела Томпкинс, чтобы ты не распускала язык? До тех пор, пока ты не выучишься хоть немного хорошим манерам, сделай милость, забудь дорогу сюда, слышишь? И с каких это пор у тебя тут такой большой кредит? А? Марш отсюда и не возвращайся, пока не наденешь приличную женщине одежду.

— Знаешь куда иди? — огрызнулась девчонка, с силой распахнув дверь.— Твой притон не скоро меня дождется, будь спокойна.— За сеткой

ее силуэт застыл на мгновение — когда она обернулась, чтобы еще раз взглянуть на Джоула.

А на улице смеркалось. Словно странное вино, настаивалась и густела в небе зелень, и по этой зелени ветерок лениво тащил погасшие облака. Скоро все отправятся по домам, и тогда тишина в Нун-сити станет почти что звуком: будто кто-то бродить пошел среди замшелых могильных плит на темном косогоре. Мисс Роберта дала ему в провожатые Ромео. Мальчики шли в ногу; черный нес чемодан Джоула; молча, они свернули за угол перед тюрьмой и очутились у конюшни — кирпичного здания, мимо которого Джоул уже проходил сегодня. У коновязи собралась компания, похожая на шайку бандитов из кинофильма о Диком Западе; бутылка виски ходила там по кругу; другая компания, менее шумная, играла в ножички под раскидистым дубом. Над осклизлым водопойным корытом роились стрекозы; паршивая собака бродила вокруг и нюхала у привязанных мулов под брюхом. Один из пьющей компании, старик с седыми космами и длинной седой бородой, был, по-видимому, в хорошем настроении: он хлопал в ладоши и приплясывал под музыку, наверно, звучавшую у него в голове.

Ромео завел Джоула за конюшню, на задний двор, где лошади в упряжках и верховые стояли так тесно, что хвостом не могли взмахнуть, за что-нибудь не задев.

— Вон он, Джизус Фивер,— сказал Ромео.

Джоул и сам уже увидел пигмея, скрючившегося на сиденье серой повозки в конце двора: на зеленом разливе неба четко вырисовывалось доисторическое лицо малюсенького негра.

— Не будем пугаться,— сказал Ромео, нерешительно прокладывая путь через лабиринт повозок и животных.— Держи меня крепче за руку, белый мальчик: Джизус Фивер — старый ворон, ты такого сроду не видел.

— А я и не пугался,— ответил Джоул, и это было правдой.

— Тсс!

Когда мальчики подошли поближе, пигмей настороженно накренил голову, затем медленно, стаккатным движением заводной куклы, повернулся, и глаза его, слабые желтые глаза, обсыпанные молочными мушками, уставились на них с сонной отрешенностью. Нелепый котелок у него на голове был залихватски сдвинут набекрень, а из-за яркой полосатой ленты на тулье торчало пестрое индюшачье перо.

Ромео замер в нерешительности, словно ожидая, что руководство возьмет на себя Джоул, но белый мальчик молчал, и тогда он заговорил сам:

— Хорошо, что вы в город приехали, мистер Фивер. Этот маленький джентльмен, он родич Скалли, приехал в Лендинг жить.

— Я сын мистера Сансома,— сказал Джоул и, глядя на темное высохшее лицо, сразу понял бессмысленность своих слов. Мистер Сансом. А кто он такой? Никто, ничто. Как видно, имя это мало говорило старику — его запавшие, будто незрячие глаза смотрели на Джоула без всякого выражения.

Потом Джизус Фивер почтительно приподнял шляпу.

— Приказывали, чтобы я его тут нашел. Мисс Эйми приказывали,— просипел он. Лицо у него было как черное сморщенное яблоко и почти истлевшее; полированный лоб блестел так, словно фиолетовый свет шел из-под кожи; серповидная поза наводила на мысль о сломанном хребте: печальный согнутый карлик, исковерканный старостью. А еще — фантазия у Джоула разыгралась — было что-то от колдуна в этих желтых крапчатых глазах, мудреное что-то, намекавшее... ну, на волшебство и всякие штуки, про которые читано в книгах.

— Я тут со вчера, с позавчера, потому что мисс Эйми приказывали: жди.— И он весь сотрясся от глубокого вдоха.— Много говорить не могу, сил нету. Полезай, мальчик. Дело к ночи, а ночью мне беда с костями.

— Иду, мистер Джизус,— без большой радости сказал Джоул.

Ромео подсадил его и подал чемодан. Повозка была ветхая, разболтанная — вроде тележки уличного торговца, только побольше,— и устлана сухими листьями с кукурузных початков и кисло пахшими мешками.

— Трогай, Джон Браун,— убеждал старик рыжего мула и похлопывал вожжами по спине.— Ходи ногами, Джон Браун, ходи ногами.

Повозка медленно выкатилась со двора и со скрипом по тропинке — на дорогу. Ромео забежал вперед, звучно шлепнул мула по крупу и унесся; Джоула подмывало воротить его: он вдруг понял, что совсем не хочет ехать в Скаллиз-Лендинг один. Но делать было нечего. Бородатый пьяный перед конюшней уже перестал плясать, а паршивая собака, сидя у корыта, вычесывала блох. Валкие колеса вздымали клубы пыли, и они висели в зеленом воздухе, как мелко смолотая бронза. Поворот; Нун-сити скрылся из виду.

Была ночь, повозка ползла по необитаемому проселку, колеса перемалывали глубокий тонкий песок, глушивший одинокие шаги Джона Брауна. До сих пор Джизус Фивер подал голос только дважды — и оба раза для того, чтобы пригрозить мулу какой-то китайской казнью: посулил шкуру снять живьем или башку топором расколоть, а может, и то и другое. В конце концов он сдался и, по-прежнему согнувшись крючком на своей доске, уснул. «Далеко еще?» — спросил один раз Джоул — ответа не было. Намотанные на запястья вожжи болтались свободно, но умный мул тащил повозку без указчиков.

Обмякший Джоул тряпичной куклой лежал на подстилке из шелухи, и ноги его свешивались с задка повозки. Лозами звездного инея проросло южное небо, и глаз его вязал в морозные узоры россыпь звезд, тут угадывая шпиль, там — невиданный цветок, там — прыгнувшую кошку, там — очертания головы и другие чудные картины, какие складываются из снежинок. Висела яркая, чуть красноватая луна в третьей четверти, ночной ветер жутко колыхал шали бородатого мха на проплывавших деревьях. В бархатной мгле там и сям зажигались светляки, словно сигналя друг другу кодом. Упокоенно и безмятежно слушал он отдаленный пилящий хор ночных насекомых.

А потом звуки пустынной природы прорезал детский дуэт: «Куда синица бедная от холода летит?..» Как призраки скользили они под луной по заросшей бурьяном обочине. Две девочки. Одна шла легко и плавно, движения другой были резки и стремительны по-мальчишески — ее-то он и узнал.

— Эй, здорово,— храбро сказал он, когда повозка поравнялась с девочками.

Обе еще раньше заметили повозку и даже сбавили шаг; тем не менее, вторая девочка как бы вздрогнула от неожиданности и вскрикнула: «Ах, боже мой!» Волосы у нее были длинные-длинные и доставали до бедер, а лицо, хоть и едва различимое, смазанное потемками, показалось Джоулу очень красивым и очень дружелюбным.

— Как мило, что вы едете в ту же сторону и можете нас подвезти!

— Садитесь,— сказал он и подвинулся, освобождая место.

— Я — мисс Флорабела Томпкинс,— объявила она, легко вспрыгнув на повозку и одергивая платье под коленями.— Ваша повозка из Скаллиз-Лендинга? Ну да, это Джизус Фивер... Он спит? Нет, это просто невероятно.— Она щебетала, словно подражая какой-то знакомой немолодой даме.— Залезай же, сестра, тут сколько угодно места.

Сестра тащилась рядом с повозкой.

— У меня покамест две ноги, благодарю покорно, и не такая я мальчишница, чтобы они у меня вдруг отнялись,— сказала она и выразительно подтянула шорты.

— Ты садись, пожалуйста,— слабым голосом сказал Джоул, не зная, что еще сделать: девчонка была странная, сомневаться не приходилось.

— А, пустяки,— сказала Флорабела Томпкинс,— не обращай на нее внимания. Вот это мама и называет «айдабелиной дурью». Пусть себе ковыляет, сколько ее дорогой душе угодно. Ее бесполезно уговаривать — Айдабела у нас своевольная. Спроси кого хочешь.

— Хе,— только и промолвила в свою защиту Айдабела.

Джоул переводил взгляд с одной на другую и наконец пришел к выводу, что ему больше нравится Флорабела; она была красивая, по крайней мере, такой ему представлялась: он не настолько хорошо ее разглядел, чтобы решить окончательно. Во всяком случае, сестра не была сорванцом, а к сорванцам он питал особую ненависть еще со времен Айлин Отис. Айлин Отис, маленькая мясистая хулиганка из их квартала в Нью-Орлеане, имела обыкновение устроить ему засаду, сорвать с него штаны и закинуть на дерево. Тому уже много лет, но до сих пор при воспоминании о ней он приходил в бешенство. Рыжая сестра Флорабелы показалась ему второй Айлин Отис.

— А у нас, знаешь, прелестный автомобиль,— сказала Флорабела.— Зеленый «шевроле», в него шестеро помещаются, и никто друг у дружки на коленях не сидит, и в нем настоящие занавески — поднимаются и опускаются, когда дергаешь за игрушечных младенчиков. Папа выиграл этот «шевроле» у одного человека на петушиных боях — что было с его стороны очень умно, по-моему, хотя мама другого мнения. Мама исключительно честная и петушиных боев не признает. Это я к чему говорю: вообще-то мы к чужим не подсаживаемся, тем более к незнакомым... конечно, Джизуса Фивера мы знаем... немножко. А тебя как зовут? Джоул? А фамилия? Нокс... Ага, Джоул Нокс, я это к тому говорю, что обыкновенно нас возит в город папа на автомобиле...— Она трещала и трещала, и он с удовольствием слушал, пока не оглянулся на сестру; ему показалось, что она смотрит на него странно. Их взгляды встретились, и луна помогла прочесть выражение: без улыбки, но с веселым интересом они словно сообщали друг другу: *А ты тоже — ничего особенного*...— а один раз я прищемила Айдабеле руку дверцей,— Флорабела продолжала рассказывать об автомобиле,— и теперь у ней ноготь на большом пальце совсем не растет: весь толстый, черный. А она не плакала и не злилась — очень мужественно с ее стороны; я бы, например, не могла с таким противным, страшным... Протяни сюда руку, сестра.

— Отстань от меня, а то протяну сейчас — по такому месту, куда не ждешь.

Флорабела фыркнула и недовольно взглянула на Джоула, потому что он засмеялся.

— Обращаться с Айдабелой как с человеком совершенно бесполезно,— зловеще произнесла она.— Любой тебе скажет. Так дерзко ведет себя — никогда не подумаешь, что она тоже из обеспеченной семьи, правда?

Джоул помалкивал, зная, что любой его ответ кому-нибудь из двоих не понравится.

— Вот именно,— сказала Флорабела, истолковав его молчание в свою пользу,— никогда не подумаешь. А ведь мы близнецы, родились в один день, я — на десять минут раньше, так что я старшая; нам обеим двенадцать лет, пошел тринадцатый. Флорабела и Айдабела. Прилипает — прямо в рифму. Мама считает, что это очень мило, но...

Остального Джоул не услышал — он вдруг заметил, что Айдабела больше не идет за повозкой. Она осталась далеко позади и бежала, бежала, как бледный зверь, по озеру бурьяна вдоль обочины, к островку кизила, мертвенно белевшему вдали, словно пенная полоса прибоя на черном берегу. Но прежде чем он привлек к этому внимание Флорабелы, сестра ее скрылась среди лунных деревьев.

— А она не боится в темноте? — перебил он соседку и показал туда, где скрылась Айдабела.

— Этот ребенок ничего не боится,— последовал категорический ответ.— Ты за нее не волнуйся, она догонит нас, когда ей заблагорассудится.

— Но лес же?..

— Ну, у сестры свои фантазии, а почему — спрашивать без толку. Я тебе сказала, мы близнецы с ней, но мама говорит, что Господь не посылает нам добра без худа.— Флорабела зевнула, откинулась назад, и ее длинные волосы рассыпались по плечам.— Никаких опасностей не признает; мы еще маленькие были, а она уже шныряла возле Скалли, заглядывала

в окошки. Один раз даже умудрилась разглядеть кузена Рандольфа.— Она лениво протянула руку и поймала золотого светляка, мигавшего над головой.— Тебе нравится там?

— Где?

— В Лендинге, глупый.

Джоул ответил:

— Может, и понравится, я там еще не был.— Лицо ее было близко, и он увидел, что ее разочаровал ответ.— А ты где живешь?

Она махнула бесплотной рукой.

— А вон там вон. Мы недалеко от Лендинга, так что приходи как-нибудь в гости.— Она подбросила светляка, и он повис в воздухе, как маленькая луна.— Понятно, я не знала, живешь ты в Лендинге или не живешь. Этих Скалли никто не видит. Да там сам Господь может жить, а всем будет невдомек. Ты родственник?..— Но ее прервал ужасный, леденящий душу вопль и громкий треск в кромешной темноте.

Из кустарника на дорогу выскочила Айдабела. Она махала руками и яростно завывала.

— Дура несчастная! — взвизгнула ее сестра.

Джоул остался нем, потому что сердце у него запрыгнуло куда-то в горло. Он обернулся — посмотреть, как отнесся к этому Джизус Фивер, но старик дремал по-прежнему, и мул, как ни странно, тоже не вскинулся.

— Ну как, ничего, а? — сказала Айдабела.— Небось подумали, за вами сам черт гонится?

— Не черт, сестра,— ответила ей Флорабела,— черт в тебе сидит.— И Джоулу: — Она получит, когда я скажу папе: она почему незаметно подобралась — потому что срезала через низину, а папа ей сколько раз об этом говорил. Она все время там околачивается, ищет амбровую смолу: и когда-нибудь, попомни мои слова, мокасиновая змея отгрызет ей ногу под корень.

Айдабела вернулась с веткой кизила и теперь страстно нюхала цветы.

— Меня уже кусала змея,— сказала она.

— Да, это правда,— подтвердила ее сестра.— Ты бы видел ее ногу, Джоул Нокс. Раздулась, как дыня, и все волосы у ней выпали; ух, два месяца хворала, мы с мамой просто сбились с ног.

— Хорошо еще, что не умерла,— сказал Джоул.

— Умерла бы,— сказала Айдабела,— если бы была, как ты, не знала чем лечиться.

— Да, она не растерялась,— признала Флорабела.— Сразу кинулась в курятник, схватила петуха и разорвала: такого кудахтанья я отродясь не слышала. Горячая куриная кровь вытягивает яд.

— А тебя змея кусала, мальчик? — поинтересовалась Айдабела.

— Нет,— ответил он, почему-то чувствуя себя виноватым,— меня машина чуть не переехала.

Айдабела задумалась над сообщением.

— Машина чуть не переехала,— повторила она, и в сиплом голосе прозвучала зависть.

— Напрасно ты ей сказал,— сердито упрекнула его Флорабела.— С нее станется выбежать на шоссе и кинуться под колеса.

Под дорогой в перелеске, позванивая галькой, журчал ручей и раздавались возгласы невидимых лягушек. Айдабела отщипывала лепестки кизила и роняла по дороге; потом бросила ветку, подняла лицо к небу и сперва замурлыкала без слов, а потом запела: «Когда приходит стужа и холодно снаружи, куда синица бедная от холода летит?» Флорабела подхватила песню: «Летит синица-птица скорей в сарай укрыться и крылышком накрыться от холода летит!» [1] Песня была веселая, они заводили ее снова и снова, и в конце концов Джоул присоединился к дуэту; голоса их звучали чисто и нежно, потому что все трое были сопрано,— и Флорабела бодро бренчала на воображаемом банджо. Потом облако наползло на луну, и в черноте пение смолкло.

---

[1] Здесь и далее стихи в переводе Елены Кассировой.

Флорабела спрыгнула с повозки.

— Вон там наш дом.— Она показала на какие-то дебри.— Не забудь, в гости приходи.

— Приду,— откликнулся он, но море тьмы уже поглотило сестер.

Позже мысль о них вернулась эхом и снова ушла, оставив его с первоначальным подозрением, что они ему примерещились. Он тронул свою щеку, кукурузную шелуху, взглянул на спящего Джизуса — старик пребывал как бы в трансе, однако тело его резиново гасило толчки повозки, и Джоул успокоился. Уздечка позвякивала, мягкий стук копыт нагонял сон, как жужжание летней послеобеденной мухи. Звездная чаща осыпалась на него, облив огнем, ослепила и смежила ему глаза. Уткнув руки в бока, с неловко подвернутыми ногами и приоткрытым ртом, он лежал так, будто сон свалил его одним ударом.

Вдруг завиднелись заборные столбы, мул оживился, припустил рысью, чуть ли не вскачь по гравийной дорожке, колеса заплевались камешками, и разбуженный тряской старик натянул вожжи: «Тпруу, Джон Браун, тпруу». Повозка замерла.

С большой террасы по ступеням спорхнула женщина; бредовые белые крылья отсасывали желтый шар высоко поднятого керосинового фонаря. И Джоул, сердито уставясь на демона сна, не заметил, как женщина с любопытством склонилась над ним и при чадном керосиновом свете заглянула ему в лицо.

2

ПАДАЮ... падаю... падаю! винтовочный ствол шахты, подземный коридор, и, вертясь, как лопасть вентилятора, он низвергается по металлическим спиралям; на дне, с разинутой пастью, крокодил следит из-под нахлобученных век за его полетом; как всегда спасает пробуждение. Крокодил взорвался на солнце. Джоул моргал, сглатывал горечь с языка и не шевелился. Необъятная кровать со столбами для балдахина и грубо вырезанными на высоком палисандровом изголовье разнообразными фруктами душила мягкостью, тело его тонуло в перяном лоне. Хотя он спал нагишом, под легкой простыней, она томила, как шерстяное одеяло.

Шелест платья предупредил его, что он не один в комнате. И другой звук, сухой, ветреный, очень похожий на хлопанье птичьих крыльев; перевернувшись, он догадался, что этот звук и разбудил его.

Широкий светло-желтый простенок напротив разделял два окна, лившихся в комнату резкий солнечный свет. Между окнами стояла женщина. Она не замечала Джоула; она смотрела на старинное бюро у противоположной стены: на верху его, на лаковой шкатулке, неподвижно, как чучело, сидела птица, голубая сойка. Женщина повернулась и затворила окно; потом бочком, жеманными шажками стала подбираться к сойке.

Сон слетел с него, но в первую секунду сойка и охотница показались странным осколком сновидения. Мускулы у него на животе напряглись: женщина подкрадывалась к бюро, а птица простодушно суетилась, прыгала, дергая блестящей синей головой, и вдруг, когда женщина уже могла достать ее, захлопала крыльями, перелетела через кровать и опустилась на стул, где со вчерашней ночи валялась одежда Джоула. И нахлынули ночные впечатления: повозка, сестры, крошка негр в котелке. И женщина эта, жена отца, ее звали мисс Эйми. Вспомнил, как вошел в дом, как спотыкался, то ли в зале, то ли в просторном коридоре, при свете свеч, гонявших тени по стенам, как мисс Эйми, приложив палец к губам и крадучись по-воровски, вела его вверх по изогнутой, застланной ковром лестнице в другой коридор и к его комнате; все впечатления сохранились в лунатической лоскутной разрозненности, поэтому сейчас, когда мисс Эйми стояла перед бюро и разглядывала птицу на новом насесте, чувство было такое, будто он видит ее впервые. Платье на ней было из почти прозрачной серой материи, на левой руке, неизвестно зачем,— шелковая серая, в тон, перчатка, и руку

эту она держала чашечкой, будто увечную. В неопрятных блекло-каштановых косах вилась растрепанная седая прядь. Сама она была хрупкая, тонкокостая, и глаза на узком нежном лице чернели, как две изюмины.

На этот раз она не стала подкрадываться к сойке, а на цыпочках отошла к камину в другом конце громадной комнаты и, причудливо вывернув руку, взяла железную кочергу. Сойка прыгала по ручке кресла и поклевывала рубашку Джоула. Мисс Эйми поджала губы и пятью быстрыми дамскими кокетливыми шажками...

Кочерга ударила птицу поперек спины и на мгновение припечатала к креслу; сойка вырвалась, очертя голову подлетела к окну, закричала, забилась о стекло, а потом упала на пол, побежала ошалело, скребя раскинутыми крыльями по ковру.

Мисс Эйми поймала ее в углу, сгребла обеими руками и прижала к груди.

Джоул уткнулся в подушку, зная, что сейчас она оглянется на него — выяснить, как на него подействовал весь этот переполох. Он услышал ее шаги и звук тихо закрывшейся двери.

Оделся он в то же, что носил вчера: в синюю рубашку и запачканные льняные брюки. Чемодана нигде не было; может быть, он оставил его в повозке. Причесался, сполоснул лицо в раковине, вделанной в мраморный столик возле палисандровой кровати. Ковер со сложным восточным узором, грязный и местами плешивый, покалывал босые подошвы. Воздух в комнате был спертый, затхлый; пахло старой мебелью и из камина давно остывшими зимними топками; пыль кружилась, как мошкара, в лучах солнца, и, до чего бы ни дотронулся Джоул, всюду оставался пыльный след: на бюро, на шифоньерке, на умывальном столике. Этой комнатой явно не пользовались много лет; свежими здесь были только простыни, да и те — пожелтелые.

Зашнуровывая туфли, Джоул увидел перо сойки. Оно плавало над головой, словно зацепившись за паутину. Он поймал его, отнес к бюро и положил в лаковую шкатулку, обитую изнутри красным плюшем; ему пришло в голову, что неплохо бы спрятать сюда и патрон Сэма Редклифа. Джоул был большой любитель всякого рода сувениров, хранил и регистрировал разные пустяки. У него собралось много замечательных коллекций, и он с болью оставил их в Нью-Орлеане, послушавшись Эллен. И фотографии из журналов, и заграничные монеты, и книги, и камни — ни одной пары похожих,— и чудесное собрание, которое он обозначил просто «разное»: перо и патрон были бы там кстати. Может быть, Эллен пришлет ему эти вещи почтой, а может, он все начнет сначала или же...

В дверь постучали.

Это отец, Джоул не сомневался. Наверняка он. А что сказать: здравствуй, папа, отец, мистер Сансом? Привет? Обняться, пожать руку, поцеловать? Ну почему он не почистил зубы, почему пропал майоров чемодан с чистой рубашкой? Он быстро завязал шнурок бантиком, крикнул: «Да?» — и выпрямился, готовясь произвести самое лучшее, самое мужественное впечатление.

Дверь открылась. На пороге стояла мисс Эйми, бережно поддерживая руку в перчатке другой рукой; она приветливо кивнула, направилась к нему, и он заметил у нее намечающиеся пушистые усики.

— Доброе утро,— сказал он и с улыбкой протянул руку. Конечно, он был разочарован, но вместе с тем почему-то ощутил облегчение.

С недоуменным выражением на сухоньком личике она посмотрела на протянутую руку. Покачала головой, прошла мимо и остановилась перед окном, спиной к Джоулу.

— Первый час,— сказала она.

Улыбка у него на лице вдруг сделалась деревянной и ненужной. Он спрятал руки в карманы.

— Жаль, что ты приехал вчера так поздно: Рандольф собирался

устроить более веселую встречу.— Голос ее звучал жеманно, утомленно и напоминал шипение спускаемого воздушного шарика.— Но это даже к лучшему: понимаешь, бедное дитя страдает астмой, вчера у него был ужасный приступ. Он рассердится, что я не сказала ему о твоем приезде, но лучше ему посидеть в комнате — хотя бы до ужина.

Джоул не знал, что ответить. Он вспомнил, что Сэм Редклиф говорил о каком-то двоюродном брате, а одна из сестер, Флорабела,— о кузене Рандольфе. Во всяком случае, судя по словам Эйми, Рандольф должен быть мальчиком примерно его возраста.

— Рандольф — наш двоюродный брат, и очень тебя почитает,— сказала она, повернувшись к нему. Резкий солнечный свет подчеркивал ее бледность, а ее крохотные глаза теперь смотрели на Джоула пристально, с настороженностью. Лицо ее было как бы не в фокусе — как будто под нерасполагающей маской глупого жеманства жила и хотела объявиться совсем другая личность; в минуты, когда она забывала следить за собой, в расплывчатости этой угадывались смятение, паника, и речь ее звучала так, как будто она не вполне уверена в том, что означает каждое слово.

— У тебя остались деньги от тех, что мой муж перевел миссис Кендал?

— С доллар, наверно,— сказал он и неохотно протянул ей кошелек.— Ночевка в кафе дорого стоила.

— Пожалуйста, оставь себе. Просто хотела выяснить: разумный ли ты мальчик, бережливый? — И вдруг с раздражением спросила: — Почему ты мнешься? Тебе надо в одно место?

— Нет, нет,— он почувствовал себя так, словно обмочился при людях.— Нет.

— К сожалению, у нас нет современных удобств. Рандольф против такого рода приспособлений. Но там,— она кивнула на умывальник,— в нижнем отделении для тебя стоит ночной горшок.

— Да,— сказал убитый Джоул.

— И электричество мы, конечно, не провели. У нас есть свечи и лампы; и те и другие приманивают мошек, но все-таки, ты что предпочтешь?

— То, чего у вас больше,— сказал он, хотя на самом деле хотел свечи — они напоминали о Секретной девятке Сент-Дивал-стрит, уличном клубе сыщиков, которого он был казначеем и официальным историком. И он вспомнил собрания клуба, когда в бутылках из-под кока-колы горели длинные свечи, украденные в магазине мелочей, и Высший агент номер один Сэмми Силверстайн использовал старую коровью кость в качестве председательского молотка.

Мисс Эйми взглянула на кочергу, почти закатившуюся под высокое кресло.

— Ты не мог бы поднять это и поставить к камину? Я сюда заходила,— объяснила она, пока он выполнял ее просьбу,— а в комнату залетела птица; так неприятно... тебя не разбудили?

Джоул замешкался с ответом.

— Кажется, я что-то слышал. И проснулся.

— Ну, двенадцати часов сна вполне достаточно.— Она села в кресло и скрестила ноги, тонкие, как спички; на ней были белые туфли без каблуков, вроде тех, что носят больничные сестры.— Да, утро кончилось, и опять жара. Какое неприятное время — лето.

Ее отчужденная манера вести разговор больше не вызывала у Джоула враждебности, а только некоторую неловкость. Вообще женщины ее возраста — между сорока пятью и пятьюдесятью — были с ним довольно ласковы, и он воспринимал их симпатию как должное; если же, в редких случаях, расположения не возникало, он знал, с какой легкостью может его добиться: улыбка, печальный взгляд, тонкий комплимент:

— Знаете, мне так нравятся ваши волосы — очень цвет красивый.

Лесть не произвела явного действия, поэтому:

— И комната такая хорошая.

Тут он попал в цель.

— Я всегда считала, что это самая милая комната в доме. Здесь

родился кузен Рандольф: на этой самой кровати. И Анджела Ли, мать Рандольфа... красавица... родом из Мемфиса... здесь умерла... всего несколько лет назад. С тех пор мы комнатой не пользовались.— Она вдруг вскинула голову, словно услышав далекий звук; прищурилась, потом совсем закрыла глаза.— Ты, наверное, обратил внимание на вид из окна?

Джоул признался, что нет, и вежливо подошел к окну. Внизу, под огненными волнами зноя, лежал сад — спутанные заросли сирени и зебролистой калатеи, бегонии, плакучих ив с понурыми ветвями в нежно мерцающем кружеве листьев и низкорослых, как на восточной гравюре, вишен, раскинувших полуденному солнцу свою грубую зелень. Не запущенность была в этом продолговатом участке джунглей, а словно кто-то буйный расшвырял как попало невероятную смесь семян. Трава, цветы, кусты и лозы — все сбилось в сплошную массу. Мощные магнолии и мыльные деревья охватывали сад глухой стеной. А напротив дома, в дальнем конце, высилось нечто необыкновенное: как растопыренная рука, торчали из земли пять белых желобчатых колонн, сообщая всему вокруг вид древней, навещаемой призраками руины; дикий виноград карабкался по этим ненадежным опорам, а о среднюю колонну точил когти тигровый кот.

Мисс Эйми поднялась и стала рядом с ним. Она была сантиметра на три ниже Джоула.

— В школе на уроке древней истории нам надо было рисовать колонны наподобие этих. Мисс Кадински сказала, что у меня получилось лучше всех, и повесила рисунок на доску объявлений,— похвасталась она.—... Колонны... Рандольф их тоже обожает; они были частью старой боковой террасы,— продолжала она задумчиво.— Анджела Ли — молодая невеста, только что из Мемфиса, а я ребенок, младше тебя. Вечерами мы сидели на боковой террасе, пили вишневую воду, слушали сверчков и ждали восхода луны. Анджела Ли вышивала шаль для меня — как-нибудь ее увидишь, Рандольф накрыл ею стол у себя в комнате... обидно, пропадает вещь.— Она говорила так тихо, как будто обращалась только к себе самой.

— А террасу снесло ветром? — спросил Джоул.

— Сгорела,— сказала она, протирая рукой в перчатке кружок на пыльном стекле.— Это случилось в декабре за неделю до Рождества, и в доме не было никого, кроме Джизуса Фивера, а он уже тогда был совсем стариком. Никто не знает, как начался пожар и как кончился; вспыхнул ни с того ни с сего, уничтожил столовую, музыкальную комнату, библиотеку... и погас. Никто не знает.

— А этот сад — на месте того, что сгорело? Ух и большущий же дом был, наверно.

— Там, где ивы и золотарник, была музыкальная комната, и в ней устраивали балы; небольшие, конечно,— Анджела Ли немногих принимала из местных... И все уже умерли, кто бывал на ее вечерах; мистер Кейси, насколько я знаю, скончался в прошлом году, а он был последний.

Джоул глядел на зеленую чащу, пытаясь представить себе музыкальную комнату и танцоров («Анджела Ли играла на арфе,— говорила мисс Эйми,— мистер Кейси на рояле, Джизус Фивер на скрипке, хотя он нигде не учился, а Рандольф-старший пел — самый красивый мужской голос в штате, так все считали»), но ивы были ивами, золотарник — золотарником, а танцоры — умерли, исчезли. Полосатый кот проскользнул под сиренью, скрылся в высокой траве, и сад остекленел, затаился, замер.

Мисс Эйми вздохнула и неслышно отошла в тенистую глубину комнаты.

— Твой чемодан на кухне,— сказала она.— Спустимся, посмотрим, чем тебя угостит Миссури.

Оконце с матовым стеклом освещало длинный верхний коридор жемчужным светом, наподобие того, какой нацеживается в комнату во время дождя. Обои, как можно было догадаться, кроваво-красные в прошлом, выцвели во фреску из багровых волдырей и географических пятен. Дверей, включая Джоулову, было в коридоре четыре — внушительных дубовых

дверей с тяжелыми бронзовыми ручками,— и Джоул подумал: какая из них, если ее открыть, приведет к отцу?

— Мисс Эйми,— сказал он, когда они стали спускаться,— где папа? Пожалуйста, скажите, мне можно его увидеть?

Она не ответила. Она шла несколькими ступенями ниже его, скользя рукой в перчатке по изогнутым темным перилам, и каждая ступенька вслух отмечала изящество ее шажков. Седая прядь в ее блеклых волосах напоминала молнию.

— Мисс Эйми, я про папу...

Да что с ней, черт возьми? Глуховата, как двоюродная сестра Лоис? Лестница привела в круглый зал, который он запомнил со вчерашней ночи; здесь зеркало в рост замкнуло его голубоватое отражение; зеркало как в комнате смеха: Джоул колыхался медузой в его искривленном пространстве. Зал был уныл и не обставлен: только кедровый комод да керосиновый фонарь на нем. Слева — арка, за нею — сумрак большой загроможденной гостиной; справа лиловый бархатный занавес со многими потертостями, блестящими как иней на зимней траве. Она прошла сквозь него, раздвинув складки. Еще один холл, еще одна дверь.

В кухне никого. Джоул сел на тростниковый стул перед большим столом, застеленным клетчатой клеенкой, а мисс Эйми вышла на заднее крыльцо и закричала: «Эгей, Миссури»,— как старая совка.

Ржавый будильник на столе, лежа ничком, тикал, тикал. Кухня просторная, но темноватая, всего с одним окном — и за ним плотно сомкнулись меховые листья инжира; к тому же и дощатые стены были сине-серые, цвета пасмурного неба, и печь, дровяная реликвия, где сейчас плясал огонь, была черной, и черным — конус дымохода, уткнувшийся в низкий потолок. Вытертый линолеум на полу, как в кухне у Эллен,— и это было единственное, что напомнило Джоулу дом.

А потом, когда он сидел один в тихой кухне, им овладела ужасная мысль: а что, если отец уже видел его? Вообще, следил за ним с самого приезда, и даже в эту минуту за ним наблюдает? Такой старый дом должен быть весь продырявлен тайными ходами, и в картинах вместо глаз на самом деле глазки́. И отец думает: этот пигмей — самозванец; мой сын был бы выше, сильнее, красивее, наряднее. Что, если он сказал мисс Эйми: дайте этому маленькому обманщику поесть и пусть идет своей дорогой? Боже, добрый, милостивый, куда идти-то? В дальние страны, сделаться там шарманщиком с обезьянкой, одетой по-кукольному, или слепым уличным певцом, или нищим — продавать карандаши?

— Бог знает что, Миссури, почему ты не можешь посидеть на одном месте больше пяти секунд?

— Дров нарубить надо. Надо мне дров нарубить?

— Не дерзи мне.

— Я никому не дерзю, мисс Эйми.

— Если это не дерзость — что это?

— Фьюю!

Поднялись на крыльцо и распахнули сетчатую дверь: мисс Эйми с белым, скисшим от раздражения лицом и грациозная молодая негритянка с охапкой щепок, которые она сбросила в ящик у плиты. За этим ящиком Джоул увидел майорский чемодан.

Расправляя пальцы шелковой перчатки, мисс Эйми сказала:

— Миссури происходит от Джизуса Фивера. Она его внучка.

— Счастлив познакомиться с вами,— в лучшем стиле танц-класса сказал Джоул.

— Я тоже,— отозвалась девушка, занявшись своим делом.— Добро пожаловать...— она уронила сковороду,— в Лендинг.

— Если не остережемся,— театральным шепотом возвестила мисс Эйми,— нас ждут серьезные осложнения. Какой грохот: Рандольф выйдет из себя.

— Так устаю иногда,— пробормотала Миссури.

— Она хорошо стряпает... когда в настроении,— сказала мисс Эйми.— Тебя накормят. Но не объедайся — по воскресеньям мы рано ужинаем.

Миссури спросила:

— На службу придете, мэм?

— Сегодня нет,— рассеянно ответила мисс Эйми.— Ему хуже, намного хуже.

Миссури положила сковороду на полку и понимающе кивнула. Потом, глядя Джоулу в глаза:

— Мы тебя ждем, молодой человек.

Это напоминало шифрованные переговоры, к которым часто прибегали члены Секретной девятки Сент-Дивал-стрит для блага и смущения посторонних.

— По воскресеньям Миссури и Джизус устраивают у себя молитвенные собрания,— объяснила мисс Эйми.

— Я играю на аккордеоне, и мы поем,— сказала Миссури.— Очень весело у нас.

Но Джоул, видя, что мисс Эйми намерена удалиться, не слушал негритянку — его занимало сейчас более важное дело:

— А отец...

— Да? — Мисс Эйми задержалась в дверях.

Язык не повиновался Джоулу.

— Можно мне... увидеть его? — выдавил он.

Она потрогала дверную ручку.

— Понимаешь, он нездоров. Не думаю, что для него будет полезна сейчас ваша встреча — ему очень трудно разговаривать. Но если ты хочешь,— она развела руками,— я спрошу.

Куском кукурузного хлеба Джоул досуха протер тарелку после яичницы с мамалыгой, политой мясным соусом.

— Душа радуется, когда мальчик кушает с удовольствием,— сказала Миссури.— Только на прибавку не надейся — в спину вступило, хоть ложись и помирай. Глаз не сомкнула всю ночь; у меня простреливание началось с детства, лекарства столько перепила, что целый флот потонет, а пользы — кот наплакал. Тут подальше на дороге колдунья жила, миссис Гас Хьюли, делала хороший волшебный отвар — этот помогал несколько. Белая дама, такое несчастье потерпела. Упала в старую индейскую могилу, а вылезти не смогла — ветхая вся уже.

Высокая, мощная, грациозная, похожая на гибкую черную кошку, Миссури уверенно и бесшумно расхаживала босиком по кухне, и в свободной, текучей походке ее была прекрасная, царственная чувственность. Она была узкоглаза и черна, как старая чугунная плита; курчавые волосы стояли дыбом на ее голове, как будто она увидела привидение, а губы были толстые и фиолетовые. Длина ее шеи заставляла задуматься, потому что это был каприз природы, настоящий человек-жираф, и Джоул вспомнил фотографии, некогда вырезанные из «Нэшнл джиографик», странных африканских дам с многочисленными серебряными ошейниками, вытягивавшими их шеи до невероятной высоты. Ожерелий она, понятно, не носила, но середину возвышающейся шеи перехватывал пропотелый голубой в горошек платок.

— Мы с дедушкой ждем тебя на нашу службу,— сказала она, налив две чашки кофе и по-мужски оседлав стул напротив него.— У нас в заду сада свой дом имеется, ты туда подлети после, устроим себе веселье.

— Приду, если смогу,— я сегодня первый день здесь, и папа, наверно, захочет, чтобы я его навестил,— с надеждой сказал Джоул.

Миссури вылила свой кофе в блюдце, подула на него, перелила обратно в чашку, отсосала и чмокнула губами.

— Нынче воскресенье, день Господень,— объявила она.— Ты веруешь ли в Него? В Его силу исцеляющую веруешь?

— В церковь хожу,— ответил Джоул.

— Нет, я не о том говорю. К примеру вот, когда про Бога думаешь, тебе какие мысли в голову приходят?

— Ну, всякие,— сказал он, хотя на самом деле, когда ему случалось

вспомнить, что Бог на небе, наверное, ведет учет его поступков, думал он только об одном: о деньгах — о 25-центовых монетах, получаемых от матери за каждый выученный стих из Библии, о 10-центовых, вместо тарелки для пожертвований в воскресной школе оседавших в «Газ-водах Габальдони», о звонком дождичке серебра, просыпаемом прихожанами в церкви. А любил он Бога не особенно: слишком часто Бог предавал Джоула.

— Ну, всякие молитвы читаю.

— Когда я про Него думаю, я думаю про то, что сделаю, когда дедушка отойдет,— сказала Миссури и поболтала кофе во рту.— Расправлю крылышки и полечу на север в красивый город... Ну, в Вашингтон, округ Колумбия.

— А здесь тебе плохо жить?

— Детка, молод ты еще, не все можешь понять.

— Мне тринадцать лет,— объявил он.— Ты даже удивишься, сколько всего я знаю.

— Эх, мальчик, в стране полно таких людей — все знают, ничего не понимают. Полно.— И она постукала пальцем по верхним зубам; у нее был щегольской золотой зуб, и Джоул подумал, что постукивание это произведено для того, чтобы привлечь к нему внимание.— Ну, во-первых, я тут одинокая; я всегда говорю: ты одиночества не нюхала, покамест в Лендинге не пожила. И мужчин тут нету для меня интересных — теперь нету; был один такой стервятник, Кег, но он сделал надо мной преступление и на каторгу угодил — и поделом ему, извергу бесстыжему. Я девочкой четырнадцати лет была, когда он эту вредность надо мной сделал.— Тугой клубок мух, вертевшийся над сахарницей, рассыпался во все стороны от раздраженного взмаха ее руки.— Кегом Брауном его звали, вот как.

Пальцем она натерла зуб до еще большего блеска, а узкие глаза ее тем временем изучали Джоула; глаза были как две черные виноградины или два диска черного фарфора и глядели умно из миндалевидных прорезей.

— Мне город — сладкая отрава, потому что росла в Сент-Луисе — это дедушка увез меня сюда, чтобы ухаживала за ним в последние дни. Дедушке тогда за девяносто было, думали, ему недолго на этом свете осталось, я и приехала. Тому тринадцать лет, и теперь, сдается мне, дедушка переживет Мафусаила. Не думай, дедушку я люблю, но когда он умрет, я улечу в Вашингтон, округ Колумбия, или в Бостон, Коннектикут. Вот про что я думаю, когда думаю о Боге.

— А почему не в Нью-Орлеан? — спросил Джоул.— В Нью-Орлеане какие хочешь красивые мужчины.

— Э, в Нью-Орлеан меня не тянет. Не в одних мужчинах дело: я хочу туда, детка, где снег есть, а то все солнце да солнце. Я в снегу хочу ходить по колено и смотреть, как он падает с неба большими комьями. Красота... красота. Ты видел снег?

Слегка задохнувшись, Джоул соврал, что видел вне всякого сомнения,— обман простительный, ибо ему страшно хотелось увидеть доподлинный снег, на втором месте после обладания алмазом «Кохинор», каковое было его высшей тайной мечтой. Иногда в пустые, скучные послеобеденные часы он сидел на краю тротуара на Сент-Дивал-стрит и грезил большими жемчужными снеговыми тучами, просеивающимися безмолвно и холодно сквозь ветви сухих, пыльных деревьев. В августе сыпался снег и серебрил глазурью тротуар, призрачные хлопья коркой схватывали его волосы, одевали крыши, превращали закопченный старый квартал в безмолвную, стылую белую пустыню, где обитал только он да небольшой чудо-зверинец: антилопы-альбиносы, птицы юнко с кремовой грудью; встречались еще и люди, такие фантастические личности, как Мистер Мистерия, эстрадный маг, Лаки Роджерс, киноартист, и Мадам Вероника, гадалка из кафе-кондитерской во Вьё-Карре.

— Я видел снег во время бури в Канаде,— сказал он, хотя севернее Ричмонда в Виргинии отродясь не бывал.— Мы заблудились в горах, мама и я, и снег валил прямо тоннами. Целую неделю жили в ледяной пещере

и все время шлепали друг друга, чтобы не уснуть: уснешь в снегу — можешь вообще не проснуться.

— А что потом? — спросила Миссури, недоверчиво прищурив глаза.

— А дальше — хуже и хуже. Мама плакала, слезы замерзали у ней на щеках, как маленькие пульки, и все время мерзла...

Ничто не могло ее согреть — ни теплые шерстяные одеяла, ни горячий пунш тети Эллен.

— По ночам в горах завывали голодные волки, а я молился...

Молился в темном гараже, и в школьной уборной, и в первом ряду кинотеатра «Немо», не замечая гангстерских битв на волшебном экране.

— Снег все падал, и большой сугроб завалил выход из пещеры, но, хм...

Застопорило. Конец очередной субботней серии, герой заперт, камера медленно наполняется газом.

— И?

— И человек в красном мундире, из канадской конной полиции, спас нас... меня то есть: мама уже замерзла.

Миссури разоблачила его, причем с брезгливостью:

— Длинную сказку завернул.

— Честное слово, святой крест,— Джоул перекрестился.

— Ага. Твоя мама в постели умерла болезнью. Мистер Рандольф говорил.

Почему-то, сочиняя эту небылицу, Джоул сам верил каждому слову; пещера, волчий вой — все это казалось реальнее, чем Миссури с ее длинной шеей, чем сумрачная кухня или мисс Эйми.

— Не проболтаешься, а, Миссури? Что я врун.

Она потрепала его по руке.

— Конечно, нет, мой сладкий. Подумать, так неплохо было бы, кабы мне по четверть доллара платили за каждую мою брехню. А ты еще и плетешь складно, я люблю такие слушать. Мы с тобой ладить будем отлично: я только на восемь лет старше, а ты в школе учился.— Голос у нее был как растаявший шоколад — теплый и нежный.— Давай дружить.

— Давай,— сказал Джоул и поднял в честь этого чашечку с кофе.

— А еще, зови меня Зу. Зу — мое правильное имя, меня все так звали, пока дедушка не выдал, что оно — от Миссури; это, значит, штата, где город Сент-Луис. И пошло — мисс Эйми с мистером Рандольфом, они чинные,— Миссури то, да Миссури се, с утра до ночи. Тьфу. Ты зови меня Зу.

Джоул не упустил представившуюся возможность:

— А мой папа так зовет?

Она залезла рукой в лиф своего бумажного платья и вынула серебряную пудреницу. Открыла, взяла щепотку нюхательного табаку и втянула широким носом.

— «Счастливый миг» — самый лучший сорт.

— Он очень болен — мистер Сансом? — не отставал Джоул.

— Нюхни,— сказала она и протянула пудреницу.

Боясь обидеть ее, он повиновался. Рыжий порошок противно обжег нос, как перец; Джоул чихнул, из глаз хлынула вода, и он пристыженно закрыл лицо руками.

— Ты смеешься или плачешь, мальчик?

— Плачу,— хныкнул он и на этот раз почти не солгал.— Все оглохли в доме.

— Я не глухая, золотко,— ответила Зу, искренне расстроившись.— У меня спина болит и в желудке дрожание, но я не глухая.

— А почему тогда все ведут себя так странно? Как спросишь кого-нибудь про мистера Сансома, так, можно подумать... можно подумать... и в городе то же самое...

Зу обеспокоенно оглянулась на окно, где фиговые листья прильнули к стеклу, как зеленые внимательные уши.

— Мисс Эйми тебе сказала — он не очень здоровый.

Мухи опять жужжали над сахарницей, инвалид будильник тикал громко.

— Он умрет? — спросил Джоул.

Ножки стула скрежетнули по полу. Зу уже стояла и из колодезного ведра споласкивала сковородки в лохани.

— Мы друзья, и хорошо,— сказала она, повернув к нему голову.— Только не спрашивай меня никогда про мистера Сансома. Мисс Эйми сама за ним ухаживает. Ее спрашивай. Мистера Рандольфа спрашивай. Я вообще к мистеру Сансому касательства не имею, даже кушать ему не готовлю. Нам с дедушкой своих забот хватает.

Джоул защелкнул пудреницу и вертел в руках, разглядывая необыкновенную работу. Серебро было вырезано как панцирь черепахи, крышку украшала настоящая бабочка под тонким слоем стекла; крылья бабочки светились мглисто-оранжевым светом восходящей луны. Такая тонкая вещь, рассудил он, предназначалась не для простого табака, а для редкостных золотых пудр с любовными зельями, приворотных порошков.

— Вот как — своих хватает.

— Зу, где ты это взяла?

Она стояла на коленях и, вполголоса ругаясь, выгребала из печки золу. Отсветы огня переливались на черном лице и двумя желтыми искрами плавали в черных глазах, вопросительно скосившихся сейчас на Джоула.

— Коробочку? Мистер Рандольф подарил на Рождество, давно еще. Сам сделал, он таких красивых штучек много делает.

Джоул рассматривал пудреницу с глубоким почтением; он мог бы поклясться, что она из магазина. С отвращением вспомнил собственные опыты в изготовлении подарков — вешалок для галстуков, инструментальных ящичков и тому подобного: жалчайшие поделки рядом с этим. Утешился мыслью, что кузен Рандольф, наверное, старше, чем он предполагал.

— Я в ней держала краснилку для щек,— сказала Зу, подходя, чтобы забрать свое сокровище. Прежде чем спрятать его за пазуху, она взяла еще понюшку.— Но коли в Нун-сити я больше не ездю — два года уж не была,— подумала, сгодится «Счастливый миг» держать в сухости. Что толку краситься, когда для женщины кавалеров нет интересных... Нету их тут.— Она уставилась взглядом на солнечные конопушки, обсыпавшие линолеум, и лицо ее сморщила злая гримаса.— Кег Браун, кандальник тот, что мне вред сделал,— хорошо бы его там на пекло это вывели, кайлом стофунтовым помахать.— И слегка прикоснулась к длинной шее, словно там болело.— Ладно,— вздохнула она,— пойду, пожалуй, дедушку накормлю — отнесу лепешку с патокой, а то он небось совсем голодный.

Джоул равнодушно наблюдал, как она отламывала кусок холодного кукурузного хлеба и наливала до половины в банку густую патоку.

— Сделал бы ты себе рогатку да пошел птичек набил,— предложила она.

— Папа, может, сейчас позовет. Мисс Эйми сказала, что спросит,— наверно, я лучше тут побуду.

— Мистер Рандольф любит мертвых птичек, особенно с красивым пером. Чего тебе в темной кухне сидеть? — Бесшумно ступая босыми ногами, она направилась к двери.— На службу приходи, слышишь?

Угли в печке подернулись пеплом, старые изношенные часы стучали, как сердце больного, пятна солнечного света на полу раздвигались и тускнели, тени фиговых листьев, льнувшие к стенам, слились в сплошную дрожащую массу, похожую на хрустальный студень медузы. Мухи шастали по столу, потирали волосатые лапки, гудели и пели у него над ухом. Спустя часа два,— показавшиеся пятью,— когда Джоул поднял будильник и взглянул на обшарпанный циферблат, будильник сразу стал, и в кухне прекратилась всякая жизнь; три двадцать показывали гнутые стрелки — три, пустое средостение бесконечного убывающего дня. Она не появлялась. Джоул проскреб пятерней волосы. Она не появлялась — и все это какой-то сумасшедший розыгрыш.

От неподвижности у него затекла нога, и, когда он встал, кровь побежала по ней иголочками. Он захромал вон из кухни, в холл, жалобно зовя: «Мисс Эйми. Мисс Эйми».

Он раскинул лиловые занавеси и вошел в залитый угрюмым светом пустой полированный зал — навстречу своему отражению, плававшему в волнистом зеркале; искаженная широкоротая физиономия смотрела оттуда одним глазом и напоминала подтаявшего воскового идола; губы вытянулись в полупрозрачную нить, глаз выставился из лица. «Мисс Эйми... кто-нибудь!»

Где-то в учебнике утверждалось, что, по всей вероятности, Земля была некогда раскаленным добела шаром, подобным Солнцу; сейчас, стоя в опаленном саду, Джоул вспомнил это. Он вышел сюда по тропинке, которая вела от фасада, вокруг дома и сквозь стену деревьев. Здесь, в зарослях, одни растения были выше его головы, другие усажены острыми шипами; хрупкие, свернувшиеся от солнечного жара листья хрустели под его осторожной ногой. Сухой спутанный бурьян доставал до пояса. Разогретые летние запахи душистых кустов и черной земли были крепким настоем, зудение шмеля жалило тишину. Больно было поднять глаза, потому что небо горело чистым голубым пламенем. Стена дома возвышалась над садом как желтый утес, и зеленые полотна плюща обрамляли каждое из восьми окон.

Джоул топтался в жестких зарослях, пока не очутился у самой стены. Было скучно, и он решил, что можно поиграть в «шпионов», подглядывательную игру, которой развлекались члены Секретной девятки от совершенного уже безделья. Шпионажу предавались в Нью-Орлеане только после заката, поскольку днем игра могла закончиться фатально для участника: идея ее состояла в том, чтобы подобраться к чужому дому и незаметно заглядывать в окна. В этих опасных вечерних разведках Джоул был свидетелем многих занятных сцен: видел, как совершенно голая девушка танцевала под патефон, как упала замертво старая дама, задувавшая свечи на сказочном именинном торте, и — самое изумительное — как, стоя в паршивой комнатке, целовались двое взрослых мужчин.

Гостиная в Скаллиз-Лендинге тянулась по всему первому этажу; большую часть безлюдного сумрачного интерьера скрывали золотые шторы, подвязанные шелковыми кистями, однако Джоул, приплюснув нос к стеклу, разглядел тяжелые кресла, обсевшие чайный столик, как кружок престарелых толстых дам. Позолоченное кресло для двоих, обитое сиреневым бархатом, ампирная кушетка возле мраморного камина и горка — одна из трех, остальные едва виднелись — с фарфоровыми статуэтками, веерами и другими вещицами из слоновой кости. Прямо напротив него на столе — японская пагода и изящная лампа с ярко-красным куполом и подвесками, похожими на сосульки, только драгоценные.

Он отодвинулся от окна и перешел на другую сторону сада — под удлинившуюся тень ветлы. Алмазное сверкание послеполуденного неба слепило глаза, а все тело было покрыто скользким потом, словно у намазавшегося маслом борца; такая погода, конечно, не могла не испортиться. За садом прокукарекал петух, и крик его прозвучал горестно, печально, как плач паровоза в ночи. Паровоз. Хотел бы он сейчас сидеть в поезде и ехать прочь отсюда, подальше. Вот если бы отца повидать! Мисс Эйми — вредная старая стерва. Мачехи все такие. Пусть только попробует тронуть. Он ее отбреет, будь здоров. Он довольно храбрый. Кто отлупил Сэмми Силверстайна — в октябре тому год будет? Но вообще Сэмми хороший малый, можно считать. Интересно, какую шкоду он сейчас затеял. А может, сидит в кинотеатре «Немо», трескает воздушную кукурузу; да там, наверно, и сидит — как раз сегодня на дневном сеансе должны были показывать эту страшную картину с Лаки Роджерсом, где чокнутый профессор превращает его в кровожадную гориллу. Надо же — именно ее пропустить! Черт! Так, а что, если он действительно вдруг решит смазать пятки? Чем плохо — обзавестись шарманкой и обезьяной? Кроме того, при газировке всегда можно устроиться: если так сильно любишь мороженое с газировкой, неужели сам не научишься готовить? Черт!

«Та-та-та-та» — заговорил его пулемет, когда он бросился в атаку на пять разрушенных колонн. И вдруг на полпути между колоннами и золотарником он наткнулся на колокол. Колокол вроде тех, которые сзывали рабов с поля; металл его был плесневело-зеленый, а помост под ним сгнил. Пораженный, он присел по-индейски на корточки и сунул голову в металлическую пасть; повсюду висел пух полуистлевшей паутины, и стройная зеленая ящерица, струйкой мчавшаяся по ржавой полости, вильнула, стрельнула языком и воткнула булавочные глазки в Джоула, вынудив его к беспорядочному отступлению.

Он поднялся, посмотрел на желтую стену и стал прикидывать, какое из верхних окон — его, какое — отцово, какое — кузена Рандольфа. Тут-то и увидел он странную даму. Раздвинув занавески в левом угловом окне, она улыбалась и кивала ему, то ли одобрительно, то ли приветственно; была она при этом совершенно Джоулу неизвестна: туманная материя ее лица, потекшая зефирообразная поверхность напомнили его собственное зыбкое отражение в волнистом зеркале пустого зала. А седая прическа походила на парик исторической персоны: башня взбитых белых волос с жирно извивающимися локонами. Кто бы ни была она (полнейшая тайна для Джоула), ее внезапное появление ввергло сад в транс: бабочка застыла на стебле георгина и перестала мигать крыльями, наждачное «фа» шмеля сточилось и смолкло. Вдруг занавески упали на место, окно опустело, Джоул сделал шаг назад, наткнулся на колокол, и в жаркой тишине повисла резкая надтреснутая нота.

3

«О, Господи!» ТОП. «О, Господи!» ТОП. «Повсюду с тобою рядом буду... А с дьяволом нигде!..»

Зу выжимала музыку из маленького аккордеона и топала босой ступней по хлипкому полу веранды. «А дьявол слезы льет, не хочет верить чуду, что с ним, когда помру, уже вовек не буду». Протяжный крик: золотая щербина вспыхивала в страшном вулкане ее рта, а выписанный по почте аккордеон делал вдох-выдох, точно гофрированное бумажное легкое в перламутровой раковине.

Зяблик давно уже слал скрипучие предупреждения из убежища в бузине, а солнце было заперто в гробнице туч, тропических туч, ползших по низкому небу и уже сплотившихся в исполинскую серую гору.

Джизус Фивер сидел среди груды красивых лоскутных подушек в качалке, сделанной из старых бочарных клепок; благоговейный фальцет его дрожал, как неверная трель окарины, и время от времени он поднимал руки, чтобы слабо и беззвучно хлопнуть в ладоши. «... Не хочет верить чуду...»

Примостившись вровень с верандой на пне, обсыпанном поганками, Джоул попеременно обращал глаза и слух к веселью Зу и к явлениям в небе; мгновение оцепенелого буйства, что иногда предшествует летней грозе, сковало притихший двор, и в таинственном блескучем свете ржавые ведра со стелющимся папоротником, развешенные кругом веранды, как праздничные фонарики, озарились изнутри слабым зеленым огнем. Влажный ветерок настраивался в стволах магнолий, доносил свежий смешанный запах дождя, сосны, июньских цветов с отдаленных полей. Дверь домика распахнулась, захлопнулась, и послышался треск жалюзи, опускаемых в большом доме.

Зу выжала последний цветистый аккорд и отложила инструмент в сторону. Стоячие ее волосы блестели от бриолина, и вместо косынки в горошек горло перехватывала обтрепанная красная лента. Белое платье было заштопано в десятке мест нитками разных цветов, а в ушах сияли искусственные бриллианты.

«Если хлеба ни крошки нет у тебя, ты молись, ты молись, Бога любя». Раскинув руки, как канатоходец, она спустилась во двор и прошлась вокруг Джоула.

«Если нет ни капли воды у тебя, ты молись, ты молись, Бога любя».

Высоко в башнях мыльных деревьев ветер мчался стремительной рекой; захваченные его потоком листья исступленно пенились, как прибой на небесном берегу. А земля с каждой минутой словно погружалась все глубже в темно-зеленую воду. Как донные водоросли в море, колыхались папоротники, неясно и загадочно вырисовывалась в небе хибарка — корпус утонувшего галеона, а Зу с ее вкрадчивой текучей грацией не могла быть не кем иным, подумал Джоул, как русалкой, невестой старого утопленника-пирата.

Тигровый желтый кот прыжками пронесся по двору и вскочил на колени к Джизусу Фиверу — тот самый кот, который шнырял в сирени. Взобравшись к старику на плечо, он приткнулся хитрой мордой к высохшей щеке и уставил изумленные огнисто-рыжие глаза на Джоула. Негр погладил кота по полосатому брюху, и кот замурлыкал. Если бы не кустики побитой молью шерсти, голова Джизуса без шляпы была бы точь-в-точь полированный бронзовый шар; черный костюм двойного против надобности размера ветхо окутывал утлый остов, а обут был старик в крохотные оранжевые штиблеты на пуговицах. Атмосфера службы сильно возбудила его, и он то и дело продувал нос меж пальцами и стряхивал добычу в папоротник.

Песня-крик Зу сопровождалась ритмическим топаньем и раскачиванием серег, славших искры.

«Если счастье твое ушло от тебя, ты молись, ты молись, Бога любя».

Немая молния зигзагом раскроила небо вдали, потом, не так далеко, другая — демонский белый треск с тяжелыми, медленными раскатами. Мелкий петух помчался в убежище под колодезным навесом, и треугольная тень вороньей стаи пропахала тучи.

— Зябну,— капризно пожаловался старик.— Все ноги распухли к дождю. Зябну...— Кот свернулся у него на коленях и свесил голову, как увядший георгин.

Золотые вспышки в зеве Зу вдруг превратили сердце Джоула в камень, гремящий посреди грудной клетки,— напомнили одну неоновую вывеску. Зажигалось: «Похоронное бюро Р. Р. Оливера». Гасло. «Похоронное бюро Р. Р. Оливера». Гасло. «Загвазданное, но дерут умеренно»,— сказала Эллен, стоя перед витриной зеркального стекла, где мертвенно рдели гладиолусы под электрическими буквами, предлагавшими дешевый, но достойный транзит к Царству и Славе. Ну вот, в который раз он запер дверь и ключ забросил: заговор на борту, и даже отец имеет зуб против него, даже Бог. Где-то с ним сыграли злую шутку. Не знал он только, кто и где. Он чувствовал себя отрезанным, безликим — каменный мальчик на трухлявом пне; не было никакой связующей нити между ним и каскадом бузинных листьев, низвергающимся на землю, и крутой затейливой кровлей Лендинга в отдалении.

— Зябну. В постель хочу, укрыться. Гроза идет.

— Не канючь, дедушка.

Потом произошло необычное: словно следуя указаниям кладоискательской карты, Зу отмерила три шага в направлении хилого розового кустика и, хмурясь в небо, сорвала с шеи ленту. Как ожерелье из багровой проволоки, горло ее охватывал узкий шрам; она легонько провела по нему пальцем.

— Когда приберешь Кега Брауна, Господи, пошли его обратно в поганом собачьем виде, псом неприкасаемым, чтобы покоя не знал.

Словно жестокий коршун пал с неба и вырвал у Джоула веки, заставив его глядеть выпученными глазами на горло Зу. Может быть, она такая же, как он, и у мира зуб против нее. Черт возьми, не хотел бы он обзавестись таким шрамом. Да куда же денешься, если вечно спереди опасность, а за спиной обман? Никуда не денешься. Некуда. Мороз пробежал у него по спине. Над головой ударил гром. Содрогнулась земля. Он спрыгнул с пня и в развевающейся рубашке кинулся к дому; беги, беги, кричало ему сердце, и — хрясь! — стремглав влетел, упал в шиповник. Еще одно дурацкое несчастье. Видел ведь этот шиповник, знал о препятствии и, как нарочно, сюда угодил. Однако жгучая боль в расцарапанном теле будто очистила его от тоски и растерянности, как изгоняют дьявола в фанатических культах причинением себе боли. Зу помогла ему подняться и, увидев нежную

тревогу на ее лице, он почувствовал себя дураком: ведь она ему друг, чего бояться?

— Ну-ка, нехороший мальчик,— сказала она, вытаскивая шипы из его брюк,— что ж ты так погано поступаешь? Обидел нас с дедушкой.— Она взяла его за руку и повела на веранду.

— Ке-ке-ке,— закудахтал Джизус,— я бы так упал — все бы кости поломал.

Зу подняла аккордеон, прислонилась к столбу веранды и, небрежно растягивая мехи, сыграла спотыкающуюся нестройную мелодию. А ее дед обиженным детским речитативом повторил свои жалобы: он сейчас умрет от холода, ну и пускай, кому какое дело, жив он или умер? и почему Зу, коли он исполнил субботнюю службу, не уложит его в теплую постель, не даст ему покой? есть же на свете злые люди, и какие творятся жестокости.

— Замолчи и склони голову, дедушка,— сказала Зу.— Мы кончим службу как положено. Мы скажем Ему наши молитвы. Джоул, детка, склони головку.

Трое на веранде словно сошли с ксилографии: Старейшина на троне из великолепных подушек, с желтым животным на коленях, серьезно глядящим на маленького слугу, который склонился в подводном свете у ног хозяина, и дочь, похожая на черную стрелу, простерла над ними руки, как бы благословляя.

Но не было молитвы в уме у Джоула — и даже ничего такого, что мог бы ухватить невод слов, ибо все его молитвы в прошлом, за одним исключением, состояли из простых, конкретных заказов: Господи, дай мне велосипед, нож с семью лезвиями, коробку масляных красок. Ну как, как можно произнести такие неопределенные, такие бессмысленные слова: «Господи, позволь, чтобы меня любили»?

— Аминь,— прошептала Зу.

И в то же мгновение, коротким вздохом, хлынул дождь.

4

— Нельзя ли несколько точнее? — сказал Рандольф, томно наливая херес.— Она была толстая, высокая, худая?

— Трудно было понять,— ответил Джоул.

Снаружи, во тьме, дождь мыл крышу убористым косым звуком, а здесь керосиновые лампы ткали в самых темных углах паутину мягкого света, и в окне все отражалось, как в позолоченном зеркале. Пока что первый ужин в Лендинге складывался для Джоула хорошо. Он чувствовал себя вполне свободно с Рандольфом,— и тот при всякой заминке в беседе предлагал новые темы, интересные и лестные для мальчика тринадцати лет: Джоул весьма удачно (на его взгляд) высказался по вопросам: «Обитают ли на Марсе люди?», «Как именно, по-твоему, египтяне мумифицировали покойников?», «По-прежнему ли деятельны охотники за головами?» и о прочих занимательных предметах. И, скорее всего, под влиянием принятого хереса (вкус не понравился, но грела надежда напиться по-настоящему... будет о чем написать Сэмми Силверстайну!.. три рюмки опрокинул) Джоул упомянул о Даме.

— Жара,— сказал Рандольф.— Пребывание с непокрытой головой на солнце иногда приводит к легким галлюцинациям. Ах, боже мой. Однажды, несколько лет назад, проветриваясь в саду, я тоже явственно увидел, как цветок подсолнуха превратился в человеческое лицо, лицо второразрядного боксера, которым я некогда восхищался,— некоего мексиканца Пепе Альвареса.— Он задумчиво погладил подбородок и наморщил нос, как бы давая понять, что с этим именем у него многое связано.— Удивительное переживание — настолько яркое, что я срезал цветок и засушил в книге; и по сей день, наткнувшись на него, я воображаю... впрочем, это ни к селу ни к городу. Конечно, виновато солнце. Эйми, душа моя, а ты какого мнения?

Эйми, размышлявшая над тарелкой, растерянно подняла голову.

— Нет, спасибо, мне хватит,— сказала она.

Рандольф нахмурился, изображая досаду.

— По обыкновению, далеко — срывает голубой цветок забвения.

Ее узкое лицо растроганно смягчилось.

— Сладкоречивый негодяй,— сказала она, и нескрываемым обожанием засветились ее остренькие глазки, сделавшись на миг почти прекрасными.

— Итак, начнем с начала,— сказал он и рыгнул. (— Excusez-moi, s'il vous plaît [1]. Китайский горошек, понимаете ли; абсолютно несварим).— Он изящно похлопал себя по губам.— Так о чем я — ах, да... Джоул отказывается верить, что мы не привечаем духов в Лендинге.

— Я этого не говорил,— возразил Джоул.

— Разговорчики Миссури,— хладнокровно выразилась Эйми.— Наша девушка — рассадник диких негритянских суеверий. Помнишь, как она свернула головы всем курам? Не смейся, это не смешно. Иногда я задаюсь вопросом: а если она решит, что *его* душа вселилась в кого-нибудь из нас?

— Чья? — спросил Джоул.— Кега?

— Не может быть! — воскликнул Рандольф и засмеялся жеманно, придушенно, как старая дева.— Уже?

— По-моему, ничего смешного,— возмутился Джоул.— Он с ней страшную вещь сделал.

Эйми сказала:

— Рандольф просто фиглярничает.

— Ты клевещешь, душенька.

— Не смешно,— сказал Джоул.

Прищуря глаз и поворачивая в руке бокал с хересом, Рандольф следил за спицами янтарного света, вращавшимися вместе со стеклом.— Не смешно, боже мой, разумеется. Но история не лишена причудливости: угодно выслушать?

— Совершенно ни к чему,— сказала Эйми.— Ребенок и без того болезненно впечатлителен.

— Все дети болезненно впечатлительны, это — единственное, что с ними примиряет,— ответил Рандольф и сразу начал рассказ:— Случилось это десять с лишним лет назад, в холодном, очень холодном ноябре. Работал у меня в то время рослый молодой негр, великолепно сложенный, цвета гречишного меда.

С самого начала Джоула беспокоило что-то странное в речи Рандольфа, но только сейчас он сообразил что именно: отсутствие какого бы то ни было акцента, областных признаков; при этом, однако, слышалась в его усталом голосе едкая, саркастическая напевность, довольно выразительная и своеобразная.

— Но несколько слабоумный. У слабоумных, невротиков, преступников, а также, вероятно, художников есть нечто общее — непредсказуемость, извращенная невинность.— Он умолк, и вид у него сделался отстраненно-самодовольный, словно, сделав превосходное наблюдение, он желал еще раз посмаковать его про себя.— Уподобим их китайской шкатулке, из тех, если помните, в которых находишь другую шкатулку, а в ней еще одну и, наконец, добираешься до последней... трогаешь защелку, крышка откидывается на пружине, и открывается...— какой неожиданный клад?

С легкой улыбкой он пригубил херес. Затем из грудного кармана шелковой пижамы извлек сигарету и закурил. Сигарета издавала странный медицинский запах, словно табак долго вымачивали в настое крепких трав: по этому запаху узнаешь дом, где правит астма. Когда он собрал губы в трубочку, чтобы выдуть кольцо дыма, рисунок его напудренного лица вдруг обрел ясность: лицо состояло теперь из одних окружностей — не толстое, но круглое, как монета, гладкое и безволосое; на щеках — два ярко-розовых диска; нос, будто сплющенный злым ударом кулака; очень светлые, красивые кудрявые волосы ниспадали на лоб пшеничными

---

[1] Извините, пожалуйста *(франц.). (Здесь и далее — прим. перев.)*

кольцами, а широко расставленные женственные глаза были как два небесно-голубых мраморных шарика.

— И вот, они полюбили друг друга, Миссури и Кег, и была у нас свадьба — вся в фамильном кружеве невеста...

— Миленькая, не хуже любой белой девушки, честное слово,— вставила Эйми.— Просто загляденье.

Джоул сказал:

— Но раз он ненормальный...

— Ее всегда было трудно убедить,— вздохнул Рандольф.— Четырнадцать лет, дитя, но упрямая непоколебимо: она хотела выйти замуж — и вышла. На медовую неделю мы дали им комнату здесь в доме и уступили двор для рыбного пикника с друзьями.

— А папа... он был на свадьбе?

Рандольф и ухом не повел; только стряхнул пепел на пол.

— Но однажды, поздно вечером...— Он сонно опустил веки и провел пальцем по кромке бокала.— Кстати, Эйми помнит, что именно я сказал, когда мы услышали крик Миссури?

Эйми не могла решить, помнит или нет. Все-таки десять лет — срок немалый.

— Мы сидели, как сейчас, в гостиной — припоминаешь? И я сказал: это ветер. Я знал, конечно, что не ветер.— Рандольф умолк и втянул щеки, словно в воспоминании этом содержалась некая тонкая комичность, не позволявшая ему хранить серьезный вид. Он навел указательный палец на Джоула, отогнув большой палец, как курок.— И тогда я вставил ролик в пианолу, и она заиграла «Индейский зов любви».

— Какая красивая песня,— сказала Эйми.— Грустная. Не понимаю, почему ты больше не разрешаешь заводить пианолу.

— Кег перерезал ей горло,— сказал Джоул. Паника уже вскипала, потому что он не мог следовать за беседой, принявшей странный оборот,— словно его вынудили расшифровывать историю, рассказанную на тарабарском языке,— и было противно ощущать себя посторонним как раз тогда, когда его потянуло к Рандольфу.— Я видел шрам,— сказал он, только что не выкрикнул, пытаясь привлечь к себе внимание,— вот что Кег натворил.

— А-а, да, разумеется...

— Там так,— Эйми стала напевать.— Когда зову те-ебя у-ди-да-дум-ди-да...

— ... от уха до уха: погубил расшитое розами покрывало — моя двоюродная прабабка в Теннесси испортила глаза, трудясь над ним.

— Зу говорит, что он кандальник, и надеется, что его никогда не выпустят — она просила Бога превратить его в собаку.

— Ты ответь мне да-ди-ди-ди. Не совсем так пою, да, Рандольф?

— Слегка фальшиво.

— А как надо?

— Не имею понятия, душенька.

Джоул сказал:

— Бедная Зу.

— Бедные все,— сказал Рандольф, томно подливая херес.

Алчные мотыльки распластывали крылышки на ламповых стеклах. Возле печки дождь нашел лазейку в кровле и с гнетущей размеренностью капал в пустое угольное ведро.

— Примерно то же, что случается, когда сунешься в самую маленькую шкатулку,— заключил Рандольф. Кислый дым его сигареты завивался в сторону Джоула, а Джоул скромными движениями ладони направлял его в другую сторону.

— Позволил бы ты мне поиграть на пианоле,— мечтательно сказала Эйми.— Ты, наверно, не понимаешь, какое это для меня удовольствие, как успокаивает меня.

Рандольф прокашлялся и улыбнулся, отчего на щеках у него возникли

ямочки. Его лицо было похоже на круглый спелый персик. Он был значительно моложе двоюродной сестры: где-то на середине четвертого десятка.

— Однако мы так и не изгнали этот дух молодого господина Нокса.

— Никакой не дух,— буркнул Джоул.— Духов не бывает — это настоящая живая женщина, и я ее видел.

— И как же она, милый, выглядела? — спросила Эйми тоном, показывавшим, что ее мысли заняты менее экзотическими предметами.

Джоулу это напомнило Эллен и мать: они тоже разговаривали с таким рассеянным видом, когда не верили его рассказам, и не перебивали только, чтобы мир сохранить. Знакомое виноватое чувство поразило, как выстрел: врун, вот что думают оба, Эйми и Рандольф, прирожденный врун,— и от испуга начал громоздить подробности: у нее были дьявольские глаза, у этой дамы, бешеные ведьмины глаза, холодные и зеленые, как дно полярного моря; копия Снежной королевы — лицо белое, зимнее, изо льда вытесанное, и белые волосы накручены на голове, как свадебный торт. Она манила его пальцем, манила...

— Боже,— сказала Эйми, кусая кубик маринованного арбуза.— Ты в самом деле видел такую женщину!

Во время этого описания Джоул с беспокойством заметил, что ее кузена рассказ позабавил и заинтересовал; в первый раз, когда он просто сообщил об увиденном, Рандольф выслушал его безразлично, как слушают заезженный анекдот — казалось, он непонятным образом заранее знал все, что услышит.

— Слушай,— медленно произнесла Эйми, не донеся арбузный кубик до рта.— Рандольф, ты не заходил...— Она запнулась и скосила глаза на гладкое, довольное лицо-персик.— Ведь правда, похоже на то...

Рандольф пнул ее под столом; маневр был выполнен так ловко, что Джоул и не заметил бы его, не окажись столь сильным его действие: Эйми дернулась назад, словно в стул ударила молния, и, заслонив глаза рукой в перчатке, испустила жалобный вопль:

— Змея, змея, я думала, меня ужалила змея, пробралась под столом, ужалила в ногу, дурак, никогда не прощу, ужалила, боже, змея,— повторяла она снова и снова, и слова уже рифмовались, гудели между стенами, где трепетали гигантские тени мотыльков.

У Джоула все оборвалось внутри; он подумал, что описается прямо тут, на месте, и хотел вскочить, убежать, как от Джизуса Фивера. Но не мог, отсюда не мог. Поэтому он уставился в окно, где ветер отстукивал фиговыми листьями мокрую телеграмму, и принялся изо всех сил искать далекую комнату.

— Сию же минуту перестань,— приказал Рандольф, не скрывая отвращения. Но Эйми не унималась, и тогда он ударил ее ладонью по губам.

Вопли постепенно перешли в полувсхлипывание-полуикоту. Рандольф заботливо тронул ее за руку.

— Отпустило, душенька? — сказал он.— Как ты нас напугала.— И, оглянувшись на Джоула, добавил: — Эйми безумно нервная.

— Да, безумно,— согласилась она.— Я просто подумала... Надеюсь, я не расстроила ребенка.

Но так толсты были стены его комнаты, что голос Эйми туда не проникал. Джоулу давно уже не удавалось отыскать далекую комнату; это и прежде было трудно, а последний год — особенно. И он обрадовался встрече с друзьями. Все были тут, включая Мистера Мистерию в испанской шляпе с пером и багровом плаще, с блестящим моноклем и зубами из цельного золота: элегантный господин,— хотя разговаривал по-гангстерски, сквозь зубы,— и артист, великий чародей: он выступал в старом нью-орлеанском варьете и показывал жуткие фокусы. Там-то они и стали такими приятелями. Однажды он вызвал Джоула из публики и вытащил у него из ушей целую охапку сахарной ваты; с тех пор он сделался, после маленькой Анни Роз Куперман, самым желанным гостем другой комнаты. Анни Роз была симпатичней всех на свете. Волосы черные и завитые не где-то там такое, а сами по себе. По воскресеньям мать наряжала ее во все

чистенькое и белое — включая носки. В обычной жизни Анни Роз была нахальная и воображала — до того, что о погоде вела разговоры,— но здесь, в далекой комнате, звенел ее милый голосок: «Джоул, я тебя люблю. Я люблю тебя на дюйм, на чуть-чуть, на уйму уйм». И был еще один человек, присутствовавший почти всегда, но редко — в одном и том же виде; то есть являлся он в разных нарядах и обличьях — то цирковым силачом, то богатым славным миллионером,— но всегда его звали Эдвард Р. Сансом.

Рандольф сказал:

— Она жаждет мести; по доброте душевной я согласен вытерпеть несколько адских минут пианолы. Милый Джоул, ты не мог бы принести свет?

Когда он поднял лампы и понес через холл в гостиную, Мистер Мистерия и маленькая Анни Роз Куперман ускользнули во тьму, как давеча на кухне.

Невидимые пальцы рэгтайма бегали по пожелтелым костям пианино, карнавальные аккорды отзывались легкой дрожью в хрустальных призмах. Эйми сидела на табуретке, обмахивая бледное личико синим кружевным веером, извлеченным из старинной горки, и неотрывно наблюдала за нырянием клавиш.

— Это музыка с парада,— сказал Джоул.— Один раз на масленицу я ехал с картиной — на ней был китаец с длинной черной косичкой, только пьяный сорвал картину и стал ей бить знакомую, прямо на мостовой.

Рандольф придвинулся к Джоулу на двойном кресле. Поверх пижамы на нем было надето полосатое кимоно с рукавами-крыльями, а пухловатые ноги упакованы в сандалии из тисненой кожи; ногти на ногах блестели лаком. Вблизи он распространял тонкий лимонный аромат, и безволосое лицо его выглядело немногим старше, чем лицо Джоула. Глядя прямо перед собой, он нашел руку Джоула и заплел его пальцы своими.

Эйми укоризненно захлопнула веер.

— Ты даже не поблагодарил меня,— сказала она.

— За что, моя обожаемая?

Держаться с Рандольфом за руки было как-то не совсем приятно, и от желания вонзить ногти в эту сухую горячую ладонь у Джоула сами собой напряглись пальцы; кроме того, Рандольф носил перстень, и он больно давил на суставы. Перстень женский, с дымчатым радужным опалом, схваченным острыми серебряными лапками.

— Как? За красивые перья,— напомнила Эйми.— Голубой сойки.

— Прелестны,— сказал Рандольф и послал ей воздушный поцелуй.

Удовлетворенная, она развернула веер и стала яростно обмахиваться. Позади нее дрожали подвески лампы, и вялая сирень, сотрясаемая тяжелой музыкой пианолы, роняла на стол лепестки. Лампу поставили перед пустым камином, и казалось, что это его огонь там теплится — пепельный и зыбкий.

— Первый год к нам не пожаловал сверчок,— сказала Эйми.— Каждое лето прятался в камине и пел до осени; помнишь, Рандольф, Анджела Ли не позволяла его убить?

Джоул процитировал: «Слушай, как кричат сверчки в траве, внемли их песне звонкой».

Рандольф наклонился вперед.

— Очаровательный мальчик, маленький Джоул, милый Джоул,— прошептал он.— Постарайся быть здесь счастливым, постарайся немного меня полюбить, хорошо?

Джоул привык к похвалам,— воображаемым, родившимся у него в голове,— но, услышав из чужих уст такую безыскусную, ощутил неловкость: дразнят его, разыгрывают? Он испытующе взглянул в круглые невинные глаза и увидел свое детское лицо, сжатое как в объективах стереоскопического фотоаппарата. Потом перевел взгляд на опаловый перстень и размягченно пожалел о том, что способен был на столь низкую мысль,— вонзить ногти в ладонь Рандольфа.

— Я уже вас люблю,— сказал он.

Рандольф улыбнулся и сжал ему руку.

— Вы о чем там шепчетесь? — ревниво спросила Эйми.— Невежливость с вашей стороны.— Пианола вдруг смолкла, дрожь в подвесках прекратилась.— Можно сыграть что-нибудь еще? Ну прошу тебя, Рандольф.

— По-моему, вполне достаточно — разве что Джоул хочет еще послушать.

Джоул выдержал паузу, пробуя свою власть; затем, вспомнив горькое дневное одиночество, мстительно помотал головой.

Эйми надула губы.

— ...тебе больше не представится случая унизить меня,— сказала она Рандольфу и бросилась к горке положить на место синий веер.

Джоул обследовал содержимое горки еще до ужина и сам хотел бы стать обладателем таких сокровищ, как веселый Будда с толстым нефритовым животом, двуглавый фарфоровый крокодил, программка бала в Ричмонде от 1862 года с автографом Роберта Э. Ли, маленький восковой индеец в полном боевом наряде и несколько изящных миниатюр в плюшевых рамках — портреты мужественных щеголей со злодейскими усами.

— ...Это твой дом, я прекрасно сознаю...

Ее прервал странный звук: раздельные удары, словно бы гигантской дождевой капли, тук-тук — сверху по лестнице, все ближе.

Рандольф заерзал.

— Эйми,— сказал он и многозначительно кашлянул.

Она не двинулась с места.

— Это — дама? — спросил Джоул, но ему не ответили, и он пожалел, что пил вино: гостиная, если не сосредоточиться как следует, клонилась, кренилась вроде опрокидывающейся комнаты в доме аттракционов у озера Понтчартрейн. Стук прекратился, мгновение тишины, и из-под арки беззвучно выкатился обыкновенный красный теннисный мяч.

Эйми с книксеном подняла его и на ладони, одетой в перчатку, подвергла пристальному осмотру — словно плод, не червивый ли. Затем обменялась встревоженным взглядом с Рандольфом.

— Подняться с тобой? — спросил он ей вдогонку.

— После, когда отправишь мальчика в постель,— шаги ее гулко отдавались на темной лестнице; где-то наверху звякнула щеколда.

Рандольф, с отчаянно веселым видом, повернулся к Джоулу.

— Ты играешь в трик-трак?

Джоул все еще размышлял о мячике. В конце концов он решил, что лучше всего сделать вид, будто теннисный мяч, вкатывающийся в комнату ниоткуда,— самая обыкновенная вещь на свете. Он хотел засмеяться. Только смешного ничего не было. Творилось нечто неправдоподобное: разница между тем, чего он ожидал, и тем, что происходило, не укладывалась в голове. Все равно что купил билет на ковбойский фильм, а показывают тебе дурацкую картину про любовь. Случись такое, он чувствовал бы себя обманутым. Именно так он себя и чувствовал.

— Или погадать тебе?

Джоул поднял кулак; чумазые пальцы раскрылись, как лепестки цветка,— розовая ладонь вся была в капельках пота. Однажды, решив, что наилучшей профессией для него было бы гадание, он выписал из Нью-Йорка книгу «Приемы гадания», написанную якобы цыганкой, чья маслянистая личность в серьгах украшала обложку; однако планы его рухнули от отсутствия средств, ибо для того, чтобы стать полноценным гадателем, ему надо было, как выяснилось, приобрести много дорогостоящей аппаратуры.

— Та-ак,— протянул Рандольф, подтягивая его руку поближе к свету.— Должен ли я прочесть здесь грядущие путешествия, приключения, союз с миловидной дочкой какого-нибудь Рокфеллера? Будущее меня совсем не захватывает; давным-давно я понял, что предназначен был для других времен.

— А я будущее хочу знать,— сказал Джоул.

Рандольф покачал головой; его сонные небесно-голубые глаза смотрели на Джоула серьезно и спокойно.

— Ты никогда не слышал, что мудрецы говорят: все будущее существует в прошлом?

— Но вопрос хоть можно задать? — Джоул не стал дожидаться разрешения: — Я хочу знать две вещи: во-первых, когда я увижу папу.— И сумрак безмолвной гостиной откликнулся эхом: когда? когда?

Мягко отпустив его руку, с неподвижной улыбкой на лице Рандольф встал и отошел к окну в колышущемся кимоно; там он соединил по-китайски руки под рукавами-крыльями и застыл.

— Когда ты обживешься,— сказал он.— А во-вторых?

Глаза закрыты: головокружительный колодец звезд. Открыл: наклонная комната, и пара фигур в кимоно, с кудрявыми пшеничными волосами скользит взад-вперед по перекошенному полу.

— Я видел Даму, и она живая, так или нет? — но спросить он хотел совсем не это.

Рандольф открыл окно. Дождь перестал, и цикады кричали во влажной летней тьме.

— Зависит от точки зрения, полагаю,— сказал он и зевнул.— Я знаю ее довольно близко, и для меня она — призрак.

Ветер дул из сада, развевая шторы, как линялые золотые знамена.

5

В среду после завтрака Джоул затворился в комнате и приступил к тяжелому труду сочинения писем. Утро было жаркое, скучное, и, хотя за закрытыми дверьми время от времени слышался лающий кашель Рандольфа, Лендинг по обыкновению казался чересчур тихим, совсем мертвым. Толстый слепень спикировал на блокнот «Вождь краснокожих» с каракулями Джоула, безвольно валившимися во все стороны: в школе за свой шальной почерк он получал единицу по чистописанию. Он вертел, крутил карандаш, дважды отлучался по-маленькому к фаянсовому горшку, искусно украшенному румянозадыми купидонами с бледными букетиками плюща и фиалок в руках, но в конце концов первое письмо, адресованное закадычному другу Сэмми Силверстайну, было закончено и гласило:

«Тебе бы понравился мой дом, Сэмми, красивый дом и отец бы понравился, потому что знает все самолеты, как ты. Но на твоего отца не очень похож. Очков не носит, сигар не курит, но высокий, как Мистер Мистерия (если Мистер Мистерия приедет летом в «Немо», напиши и все расскажи) и курит трубку а сам молодой. Подарил мне ружье 22 калибра, зимой будем бить опосумов и есть тушеных опосумов. Хорошо бы ты приехал ко мне в гости тут есть много чем заняться. Например напьемся с моим двоюродным Рандольфом. Мы пьем алкагольные напитки и с ним весело. Тут совсем не Нью-Орлеан, Сэмми. Тут человек нашего возраста считается взрослый человек. Ты должен мне 20 ц. Я прощу тебе долг, если будешь каждую неделю писать все новости. Привет компании и не забывай писать другу...»

И с мастерской тщательностью расписался на новый лад: Дж. Х. Н. Сансом. Несколько раз прочел имя вслух. Звучало взросло, значительно — такое имя легко себе представить с важным титулом, вроде: Генерал, Судья, Губернатор, Доктор. Доктор Дж. Х. Н. Сансом, знаменитый хирург; Губернатор Дж. Х. Н. Сансом, избранник народа («Алло, начальник тюрьмы? Я даю Зу Фивер отсрочку смертной казни»). И тогда, конечно, весь мир и все люди в мире будут любить его, ну, а Сэмми — Сэмми дадут за это старое письмо много тысяч долларов.

Однако, проверяя свою орфографию, он вдруг сообразил, что почти все написанное — вранье, густое вранье, разлитое по листку, как сладкий сироп. И чем это объяснишь? Так и должно быть, как он написал, а все — не так. Дома Эллен всегда приставала с непрошеными советами, а сейчас — закрыть бы глаза, открыть и увидеть ее рядом. Она бы знала, что делать.

Карандаш его бежал так быстро, что иногда слова сливались: он очень извинялся, что не написал раньше; надеется, что Эллен здорова и то же самое ребята... скучает по ним — а они по нему? «Тутхорошо»,— написал он, но вдруг почувствовал боль и встал, прошелся по комнате, стуча кулаком о кулак. Как ей рассказать? Остановился у окна и выглянул в сад: всё, кроме кота Фиверов, прогуливавшегося перед остатками колонн, оцепенело, выглядело нарисованным — и ленивые ивы без теней на утреннем солнце, и невольничий колокол, заглушенный бурьяном. Джоул тряхнул головой, чтобы поставить мысли на место, потом вернулся к столу и, сердито зачеркнув «Тутхорошо», написал: «Эллен, я ненавижу это место. Я не знаю, где он, и никто не говорит. Ты веришь Эллен когда я пишу что невидел его? Честно: Эйми говорит он болен но я не одному слову не верю потомучто она мне ненравится. Она похожа на противную мисс Адди с нашей улицы, скандалистку. А еще здесь нет радио, кино, комиксов, а если хочешь выкупаться надо наливать корыто из колодца. Не понимаю как это Рандольф такой чистый. Он мне нравится а жить здесь мне не нравится. Эллен, мама оставила сколько ни будь $ чтобы мне учиться в школе где живут? Вроде военного училища. Эллен, я по тебе соскучился. Эллен скажи пожалуйста, что мне делать? Любящий тебя Джоул XXXXXXXX».

Стало легче, спокойней на душе: что ни говори, Эллен никогда не бросала его в беде. Он настолько приободрился, что даже засвистел, засовывая письма в конверты,— а песенка была та, которую услышал от близнецов: «Когда приходит стужа и холодно снаружи...» Как ее звали? А вторую, похожую на мальчишку? Флорабела и Айдабела. И чего он тут мается целыми днями: разве его не приглашали в гости? Флорабела, Айдабела и Джоул, подумал он, насвистывая весело, насвистывая громко.

— Тихо там! — донесся тихий, жалобный голос Рандольфа.— Я страшно, страшно болен...— И кашель.

Ха-ха! Катись ты, Рандольф, колбасой. Ха-ха! — смеялся про себя Джоул, подходя к старому бюро, где в нижнем ящике была спрятана лаковая шкатулка, хранившая теперь патрон, перо сойки и деньги в количестве семидесяти восьми центов. Поскольку марок у него не имелось, он решил, что будет вполне законно опустить шесть центов наличными прямо в ящик СБД [1]. Завернул пять центов и цент в туалетную бумагу, взял письма и отправился вниз, по-прежнему насвистывая.

Возле ящика он встретил Зу, и не одну — она разговаривала с низеньким круглоголовым негром. Это был Маленький Свет, отшельник. Джоул уже знал про него, потому что в понедельник, за ужином, Маленький Свет постучал в окно кухни; он зашел навестить Рандольфа, с которым они были, по словам самого же Рандольфа, «близкими друзьями». Чрезвычайно вежливый, Свет принес гостинцы всей семье: бочонок меда, две четверти браги и венок из сосны и тигровых лилий — Рандольф надел его на голову и форсил в таком виде весь вечер. Хотя Маленький Свет жил в лесной глухомани и был он вроде как отшельником, а отшельники, известно,— народ дурной и ненормальный, Джоул его не боялся.

— У Маленького Света соображения в голове побольше, чем у всех,— сказала Зу.— Правду сказать, детка, если бы у меня было ума сколько полагается, я бы за него мигом замуж выскочила.

Только не представлял себе Джоул этот брак: во-первых, Маленький Свет был старик — не такой, конечно, древний, как Джизус Фивер, но все равно. И урод. На одном глазу голубая катаракта, во рту, похоже, ни зуба, и пахло от него нехорошо: пока он был на кухне, Эйми держала руку в перчатке под носом, словно надушенный платок, а когда Рандольф утащил его к себе наверх (до зари оттуда доносились звуки пьяной беседы), с облегчением перевела дух.

Маленький Свет поднял руку:

— Быстро, дитя, осени себя крестом,— велел он трубным голосом,— потому что встретил меня при свете дня.

---

[1] Сельской бесплатной доставки.

Джоул с благоговейным страхом перекрестился. Толстые морщинистые губы отшельника растянулись в улыбке.

— Повернись кругом, мальчик, и ты спасен.

Тем временем Зу тщетно старалась прикрыть похожую на ожерелье вещь, которую завязал на ее жирафьей шее старик.

— Что это на тебе? — спросил Джоул.

— Это амулет,— с гордостью объяснил отшельник.

— Молчи,— оборвала его Зу.— Сам сказал, не подействует, если будешь всем болтать.— Она обернулась к Джоулу.— Детка, беги-ка дальше, а? У меня с ним дело.

Пожалуйста, если так ей надо. А еще называется друг! Он гордо отошел к почтовому ящику, поднял красный флажок и бросил письма, а монеты, завернутые в бумажку,— сверху, для прижима. Затем, определив по памяти, в какой стороне будет дом близнецов, побрел по дороге.

Он шел в тени затянутого дымкой леса вдоль самого края дороги, и пыль пыхала из песка около его ступней. В снятом небесном молоке плавало белое солнце. Перед быстрым холодным лесным ручейком он остановился — захотелось стащить тесные туфли и шлепать среди размокших листьев, кружившихся в воде над галькой,— но тут его окликнули по имени, и он испугался. Оглянувшись, увидел Маленького Света.

Отшельник ковылял к нему, валясь на ореховую палку; эту палку он носил всегда, но Джоул не видел в ней надобности, ибо за вычетом удивительной кривизны ноги у старика были в полной исправности; зато руки отличались такой длиной, что доставали до колен. На отшельнике был драный комбинезон — и ни рубашки, ни шляпы, ни туфель.

— Ох, и скор же ты,— сказал он, пыхтя рядом с Джоулом.— То ли сам я на свету отвык ходить; нипочем бы днем не вышел, да амулет нужен ей очень сильно.

Джоул догадался, что его любопытство намеренно подогревают. И напустил на себя безразличие. В конце концов, как он и ожидал, Маленький Свет сам дал объяснение:

— Этот амулет от страшных напастей, чтобы не напали; сам его делал из лягушачьего порошка и черепашьих костей.

Джоул сбавил шаг, потому что отшельник шел медленно, как калека; кое в чем он напоминал Джизуса Фивера — даже мог бы сойти за брата. Но на его широком уродливом лице было написано лукавство, которого не было у Джизуса.

— Маленький Свет, а мне амулет сделаете?

Отшельник пожевал беззубым ртом, и солнце тускло отразилось в его заклеенных голубых глазах.

— Всякие бывают амулеты: любовные амулеты, денежные амулеты,— тебе какой надобно?

— Как у Зу,— сказал Джоул,— чтобы страшные напасти не случились.

— Шут возьми! — каркнул отшельник и остановился как вкопанный. Он ткнул в дорогу палкой и покачал большой лысой головой.— Какие же могут быть несчастья у маленького мальчика?

Джоул перевел взгляд с уродливого старика, качавшегося вместе с палкой, на придорожные сосны.

— Не знаю,— сказал он и снова обратил глаза к отшельнику, стараясь выразить ими, как много значит этот амулет.— Маленький Свет, ну, пожалуйста...

И после долгого молчания отшельник показал наклоном головы, что да, амулет будет сделан, но:

— Сам за ним придешь, потому как никому не ведомо, скоро ли здесь объявится Маленький Свет. Обратно же, амулет от напастей не действует, коли нет его на тебе, когда в нем самая большая нужда.

Но как ему найти жилище отшельника?

— Заблужусь ведь.

Они продолжали идти, и пыль поднималась вокруг них, а солнце вкатывалось к полудню.

— Не заблудишься: люди, когда ищут Маленького Света, им бука дорогу кажет.— Он поднял палку и показал на плывущее облако-акулу.— Глянь туда,— сказал он,— на закат летит, над Утопленным прудом будет; к Утопленному пруду придешь — гостиницу найдешь.

Сколько слышал Джоул про отшельников, все были молчуны и нелюдимы. Не то — Маленький Свет: он заговорил, наверно, раньше, чем родился. Джоул подумал, что в лесу одинокими вечерами он, должно быть, болтает с жабами, с деревьями, с голубыми холодными звездами, и почувствовал нежность к старику, который уже начал сказание о том, как Утопленный пруд получил свое странное имя.

Давным-давно, в конце прошлого века, в этом самом лесу, похвастал старик, стояла роскошная гостиница «Морок», принадлежавшая миссис Джимми Боб Морок, вдове, родственнице Скалли. Пруд же, который назывался тогда озером Морок, являл собой ромбовидное зеркало, питаемое холодной хрустальной водой подземных известковых ключей, и праздничные толпы съезжались из самых дальних мест и шествовали по просторным белым залам гостиницы. Все лето над волнистыми лужайками у воды парили малиновые зонтики в руках у дам, одетых в шелка. Шелестели веера из перьев, полировали пол танцевального зала бархатные бальные туфельки, и, расплескивая красное вино на серебряные подносы, скользили меж гостей слуги в алых камзолах. В мае собирались гости, разъезжались в октябре, увозя воспоминания и оставляя высокие стопки золотых. Не одну звездную ночь пролежал без сна, прислушиваясь к мягкому гомону, Маленький Свет — конюшок в ту пору, чистивший глянцевые шкуры великолепных упряжных лошадей. Но потом! но потом! августовским днем 1893 года ребенок, мальчишка-креол, примерно тех же лет, что Джоул, отважился прыгнуть в озеро с высоченного дуба, и голова его раскололась, как орех, между двумя топляками. А вскорости — вторая трагедия: игрок, шулер, сильно не ладивший с властями, уплыл в озеро и не вернулся. Наступила зима, прошла, опять весна. Чета молодоженов каталась по озеру, как вдруг из пучины высунулась рука, сверкавшая рубинами (шулер щеголял в рубиновом перстне), и хотела опрокинуть их лодку. Пример оказался заразительным: один купальщик поведал, что его ноги кто-то сжал в могучих объятьях, другой якобы увидел обоих, шулера и мальчишку,— их светлые тела в воде и длинные волосы, зеленые и спутанные, как водоросли. Возмущенные дамы захлопнули веера, в испуганной спешке уложили свои шелка. Тихими стали ночи, безлюдными лужайки, гости отбыли навсегда; сердце миссис Джимми Боб было разбито; она заказала в Билокси сеть и велела пройти с ней все озеро. «Говорил, бесполезно, говорил, никогда она их не выловит, водяной своих не отдает». Миссис Джимми Боб уехала в Сент-Луис, сняла там комнату, облила керосином кровать, легла и чиркнула спичкой. Утопленный пруд. Так прозвали его цветные. Постепенно речная слизь забила известковые ключи и гадостно окрасила воду; одичали лужайки, заросли тропинки и дорога; просела широкая веранда; печи ушли в топкую землю; бурелом навалился на портик, и водяные змеи, пресмыкаясь между струн, извлекали серенады из гнилого рояля в танцевальном зале. Ужасная и странная гостиница. Но Маленький Свет остался; это его законный дом, сказал он, потому что, если он уезжает на новое место — было такое однажды,— другие голоса, другие комнаты, сгинувшие, вымороченные голоса гудят в его снах.

Из рассказа у Джоула родилась бессвязная картина — треснутых окон, отразивших сад призраков, закатного мира, где цепкий плющ обвивает сломанные колонны и аллеи закутаны в паучий шелк.

Мисс Флорабела Томпкинс провела гребнем по рыжим, до талии, волосам, белесоватым на резком полуденном солнце, и сказала:

— Слушай, какая прелесть, что ты пришел. Представляешь, как раз сегодня утром я говорю сестре: «Сестра, у меня предчувствие, что будут гости». Говорю: «Так что давай вымоем голову»,— для нее это, конечно,

пустой звук: наша девочка никогда ничего не моет. Айдабела? А-а, она на ручей пошла, там у нас остужается арбуз — первый за лето; в этом году папа рано сажал.

Флорабела оказалась совсем не такой красивой, как при луне. Лицо у нее было плоское и веснушчатое, как у сестры. Зубы немного торчали, и она то и дело чопорно надувала губы. Она полулежала в гамаке, подвешенном в тени между двумя орехами-пеканами («Мама сама его сделала и сама сшила все мои красивые платья, кроме муслинового,— а сестре ничего не шьет. Мама говорит: Айдабела пусть бегает в чем придется, все равно на ней вещи горят,— скажу тебе откровенно, мистер Нокс: Айдабела — сущее наказание, и мамино и мое»). Она взяла пинцет и, кривясь от боли, стала выщипывать свои розовые брови.

— Сестра объявила... ой!.. что хочет быть фермером.

Джоул сидел на корточках, покусывая лист; он вытянул ноги и спросил:

— А что в этом плохого?

— Ну, мистер Нокс, ты, конечно, шутишь? Слыхано ли это — чтобы порядочная белая девочка хотела стать фермером? Нам с мамой просто стыдно. Я-то, конечно, знаю, что у нее на уме.— Она бросила на Джоула снисходительный взгляд и понизила голос.— Она думает, что папа умрет и оставит ей дом в полное распоряжение. Меня-то она не проведет.

Джоул окинул взглядом предполагаемое наследство Айдабелы: дом стоял в отдалении, затененный деревьями; хороший дом, простой и основательный, в прошлом белый, а теперь сероватый. Вдоль боковой стены шла открытая галерея, а на передней веранде были качели и ящики с геранью. В стороне под маленьким навесом стоял зеленый «шевроле» 1934 года. На чистом дворе с клумбами и декоративными камнями прогуливались куры. За домом была коптильня, ветряк с насосом, и начиналось уходившее вверх по склону хлопковое поле.

— Ой! — крикнула Флорабела и бросила пинцет. Потом оттолкнулась в гамаке и стала раскачиваться, нелепо надув губы.— Вот я, например, хочу быть артисткой... или учительницей. Только если стану артисткой, не знаю, как нам быть с сестрой. Когда ты знаменитая, все начинают копаться в твоей биографии. Не хочу сказать ничего плохого о ней, мистер Нокс, но разговор этот завела потому, что она в тебя втрескалась...— Флорабела с видом скромницы потупилась.— А у нашей бедной девочки репутация.

Джоул был приятно польщен, хотя никогда бы не признался в этом даже по секрету.

— Какая репутация? — спросил он, боясь улыбнуться.

Флорабела выпрямилась.

— Полно, сэр,— произнесла она тоном старой дамы, причем воспроизведенным с пугающей точностью.— Я думала, вы человек, искушенный в жизни.— И вдруг, заметно встревожившись, повалилась в гамак.— А-а, э-э, сестра... посмотри, кто к нам пришел.

— Здоро́во.— На пушистом лице сестры не выразилось ни малейшего удивления или удовольствия. Айдабела несла огромный арбуз, а за ней по пятам трусил черно-белый охотничий пес. Она катнула арбуз по траве, пригладила вихры на голове, привалилась к дереву, зацепила большими пальцами петли на джинсах. Кроме брюк, на ней были грубые фермерские башмаки и фуфайка с линялой надписью «Пей кока-колу». Она посмотрела сперва на Джоула, потом на сестру и, как бы вместо оскорбительного замечания, с шиком сплюнула сквозь пальцы. Старый пес рухнул на землю у ее ног.— Это Генри,— сказала она Джоулу, поглаживая пса ногой по ребрам.— Он хочет поспать, так что давайте громко не разговаривать, поняли?

— Подумаешь! — сказала ее сестра.— Видел бы мистер Нокс, что творится, когда я хочу вздремнуть: трам-бам-барам!

— Генри, по-моему, совсем заболел,— объяснила Айдабела.— Что-то ему нехорошо.

— Да мне самой нехорошо. Много от чего нехорошо.

Джоулу померещилось, что Айдабела улыбнулась ему. Улыбнулась не

как все люди, а цинично скривила угол рта: на манер того, как Рандольф вздергивал бровь. Она задрала штанину и начала сколупывать болячку на колене.

— Ну как тебе там, в Лендинге, малец?

— Да,— сказала Флорабела и наклонилась вперед с лукавой ухмылкой.— Ничего такого не видел?

— Дом красивый, а так — ничего,— уклончиво ответил Джоул.

— Ну, а...— Флорабела соскользнула с гамака и уселась рядом с ним, облокотившись на арбуз.— Я хотела спросить...

— Смотри,— предупредила Айдабела,— сейчас выпытывать начнет.

И это позволило Джоулу разрядить напряжение смехом. В числе его грехов были ложь, воровство и дурные мысли; но неверность его натуре была чужда. Он понимал, что низостью будет исповедоваться Флорабеле, хотя ни в чем не нуждался сейчас так, как в сочувственном слушателе.

— Больно? — спросил он ее сестру, этим интересом к болячке желая показать свою благодарность.

— Эта? Старая? — сказала она и корябнула струп.— Тьфу, один раз у меня на заду чирей вырос с яйцо — и то хоть бы хны.

— Да? Крику было порядочно, когда мама тебя шлепнула и он лопнул,— собрав губки, напомнила Флорабела. Она постучала по арбузу, и он отозвался спело, гулко.— Хм, по звуку зеленей травы.— Ногтем она нацарапала на кожуре свои инициалы, потом корявое сердце, пронзила его стрелой и вывела ТН, означавшее, как она пояснила, застенчиво скосившись на Джоула, «Таинственный Незнакомец».

Айдабела вытащила нож.

— Гляди,— велела она, раскрыв противное узкое лезвие.— Таким зарезать можно, а? — Один убийственный удар, арбуз треснул, и она стала кромсать его на большие куски, брызгая ледяным соком.— Папе оставьте,— предупредила она, удаляясь под дерево, чтобы попировать без помех.

— Холодный,— сказал Джоул, капая розовым на грудь рубашки.— Этот ручей у вас, наверно, как ледник. Он откуда течет — не из Утопленного пруда?

Флорабела посмотрела на Айдабелу, Айдабела — на Флорабелу. Обе, казалось, были в нерешительности — которой из них отвечать. Айдабела выплюнула мякоть и спросила:

— Тебе кто сказал?

— Сказал?

— Про Утопленный пруд.

Оттенок враждебности в ее тоне заставил Джоула насторожиться. Но в данном случае было неясно, каким образом правда может обойтись ему дороже лжи.

— А, человек, который там живет. Он мой друг.

Айдабела ответила громким саркастическим смехом.

— Кроме меня, тут никто к этой жуткой гостинице не подойдет; слышь, и то, даже глазиком одним его не видела.

— Сестра правильно говорит,— вмешалась Флорабела.— Она давно мечтала увидать отшельника; мама пугала нас: будете плохо себя вести, он вас утащит. Но теперь я думаю, что его просто выдумали взрослые.

Тут уж и Джоул мог дать волю сарказму.

— Если бы вы час назад были на дороге, я бы с удовольствием вас представил. Его зовут Маленький Свет, и он мне сделает...— но спохватился, что говорить об амулете запрещено.

На такое свидетельство Айдабеле ответить было нечем. Она была поставлена в тупик. И полна зависти. Она хмыкнула и запихнула в рот кусок арбуза.

Золотыми яблоками лежали на темной траве кружки солнечного света, пробившегося сквозь крону; над арбузной кожурой роились синие мухи; коровий бубенчик звенел где-то за ветряком лениво и монотонно. Генри снился страшный сон. Его судорожный храп, видимо, раздражал

Флорабелу; она выплюнула семечки в ладонь и со словами «Старый противный, старый противный» швырнула в него.

Айдабела сперва ничего не сделала. Потом, встав, сложила нож и сунула в карман. Медленно, с непроницаемым лицом подошла к сестре, и та вдруг порозовела, нервно засмеялась.

Подбоченясь, Айдабела смотрела на нее гранитным взглядом. Она не произнесла ни слова, но дыхание со свистом вырывалось сквозь ее стиснутые зубы, и в ямке под шеей билась голубая жила. Старый пес прошлепал к ним и смотрел на Флорабелу с укором. Джоул отступил на несколько шагов: в семейной сцене он не хотел участвовать.

— У тебя как-нибудь глаза вылезут,— с вызовом сказала Флорабела. Но каменный взгляд был устремлен на нее по-прежнему, и дерзость ее стала таять.— Не понимаю, чего ты так развоевалась из-за гадкой собаки,— сказала она, крутя свой клубничный локон и невинно моргая.— Мама все равно заставит папу пристрелить ее, потому что она заразит нас какой-нибудь смертельной болезнью.

Айдабела шумно втянула носом воздух и кинулась — и покатились, покатились по земле, трепля друг дружку. У Флорабелы так задралась юбка, что Джоул покраснел; наконец, лягаясь, царапаясь, вопя, она сумела вырваться.

— Сестра, прошу тебя... прошу тебя, сестра... Умоляю! — Она забежала за орех: как всадницы на двухлошадной карусели, закружились вокруг ствола, в одну сторону, потом в другую.— Мама! Маму позови... мистер Нокс, она сбесилась... ПОМОГИТЕ! — Генри не остался в стороне и с лаем бросился догонять свой хвост.— Мистер Нокс!..

Но Джоул сам испугался Айдабелы. Такого бешеного создания он никогда не встречал — и такого стремительного: дома никто бы не поверил, что девчонка может быть такой быстрой. Кроме того, он знал по опыту, что если вмешаться, вину в итоге взвалят на него: с него все началось — вот как это будет преподнесено. Вдобавок, кто ей велел бросаться семечками? — в глубине души он был бы не против, если бы ей как следует надавали.

Она бросилась через двор, чтобы укрыться в доме, но напрасно — Айдабела отрезала ей дорогу. Одна за другой, с криками они пронеслись мимо Джоула, который, помимо желания и подобно дереву, стал щитом. Айдабела попробовала его оттолкнуть, он не двинулся с места, и тогда, тряхнув потными волосами, она уставила на него наглые зеленые глаза:

— С дороги, маменькин сынок.

Джоул подумал о ноже у нее в кармане и, несмотря на мольбы Флорабелы, решил, что лучше переместиться.

А они снова помчались, то кругами, то зигзагами меж деревьев, и волосы Флорабелы развевались за спиной. Когда они подбежали к ореху, тому, что повыше, она стала карабкаться по стволу. Айдабела стащила тяжелые башмаки.

— Далеко не уйдешь! — крикнула она и с обезьяньим проворством полезла на дерево.

Сучья качались, сломанные веточки и сорванные листья сыпались к ногам Джоула; он забегал в поисках лучшей точки для наблюдения, и небо обрушивалось синевой сквозь крону, а близнецы карабкались к солнцу, уменьшаясь головокружительно.

Флорабела долезла до самого верха, до макушки; но это была прочная позиция; здесь, укрепившись в развилке, она могла не страшиться атаки и отразить противницу простым пинком.

— Ничего, подожду,— сказала Айдабела и оседлала ветку. Она раздраженно посмотрела оттуда на Джоула.— Иди отсюда, ты.

— Пожалуйста, не обращай на нее внимания, мистер Нокс.

— Иди домой, маменькин сынок, вырезай из бумаги кукол.

Джоул стоял, и ненавидел ее, и желал, чтобы она свалилась и сломала шею. Как всякая девчонка-сорванец, Айдабела была злая и вредная: парикмахер в Нун-сити знал ей цену. И толстая женщина с бородавкой — тоже. И Флорабела. Он пожал плечами и понурился.

— Приходи, когда ее не будет,— крикнула ему вслед Флорабела.—

И помни, мистер Нокс, что я тебе сказала — сам знаешь про что. В общем, умному — намек...

Два ястреба кружили, раскинув крылья, около далекого желтоватого дыма, стоявшего, как шпиль, над кухней Лендинга: Зу, наверно, стряпает обед, подумал он и задержался у обочины, чтобы обратить в бегство толпу муравьев, поедавших дохлую лягушку. Стряпня Зу ему надоела —вечно одно и то же: капуста, ямс, стручки, кукурузный хлеб. Сейчас бы он с удовольствием встретил Снежного человека. Дома, в Нью-Орлеане, Снежный человек каждый день появлялся со своей замечательной тележкой, звеня замечательным колокольчиком, и за центы можно было купить целый бумажный колпак дробленого льда, политого десятью сиропами — вишневым и шоколадным, черничным и виноградным, целой радугой вкусов.

Муравьи рассыпались черными искрами: думая об Айдабеле, он прыгал и давил их ногами, но этот палаческий танец ничуть не утишил обиду. Ну, погоди! Погоди, вот он станет губернатором: напустит на нее полицию, посадит в подземелье с маленьким люком в потолке и будет смотреть оттуда и смеяться.

Но когда глазам открылся Лендинг, весь его силуэт, развалистый и затененный листвой, он забыл про Айдабелу.

Словно воздушные змеи, подтягиваемые к катушке, ястребы кругами спустились так низко, что их тени побежали по драночной крыше. Дым стоял ровно в жарком неподвижном воздухе — единственный признак того, что тут живут. Джоул видел и обследовал другие дома, тихие от безлюдья, но ни одного не было такого пустынного и немого: будто накрыли его стеклянным колпаком, и ждет там, чтобы обнять Джоула, день бесконечной скуки: каждый шаг в налитых свинцом туфлях приближал его к этому. Как далеко еще до вечера. И сколько еще впереди таких дней, таких месяцев?

Подходя к почтовому ящику, он увидел весело поднятый красный флажок, и хорошее настроение вернулось: Эллен все исправит, устроит так, чтобы он пошел в школу, где люди как люди. Распевая песню про синицу и стужу, он открыл рывком почтовый ящик; там лежала толстая пачка писем в водянисто-зеленых, знакомого вида конвертах. В таких приходили к Эллен письма от отца. И почерк был тот же, паутина: М-ру Пепе Альваресу, до востребования, Монтеррей, Мексика. Потом: М-ру Пепе Альваресу, до востребования, Фукуока, Япония. И еще, и еще. Семь писем, все — м-ру Пепе Альваресу, до востребования,— в Камден, Нью-Джерси; Лахор, Индия; Копенгаген, Дания; в Барселону, Испания; в Киокак, Айова.

А его писем среди этих не было. Он точно помнил, что положил их в ящик. Маленький Свет был при этом. И Зу. Где же они? Ну да, почтальон, наверное, приезжал. Но почему он не видел и не слышал его машины? Этот расхлябанный «форд» громыхает прилично. И тут под ногами в пыли он увидел свои монеты без бумажной обертки, пять центов и цент, блестевшие, как два разноцветных глаза.

В ту же секунду подобно бичу хлопнул в тишине выстрел; Джоул, нагнувшись за монетами, повернул заледеневшее лицо к дому — никого на крыльце и тропинке, никаких признаков жизни кругом. Снова выстрел. Ястребы замахали крыльями и полетели прочь над самыми вершинами деревьев, а их тени понеслись по раскаленному дорожному песку, как островки тьмы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

6

— Сиди смирно,— велела Зу. Глаза ее при кухонной лампе казались атласными.— Такого непоседы отродясь не видала. Сиди смирно, дай волосы тебе остричь: будешь бегать тут, как девочка, знаешь, что люди скажут? На корточках, скажут, писай.— Садовые ножницы щелкали под кромкой вазы, синей вазы, надетой на голову, как шлем.— Такие красивые волосы, прямо патока, давай-ка продадим их на парики.

Джоул передернул плечами.

— А ты что сказала, когда она это сказала?

— Что сказала?

— Что как тебе не стыдно стрелять из ружья, когда Рандольф болеет?

Зу хмыкнула.

— Ну, а я ей говорю: «Мисс Эйми, эти ястребы дом у нас утащат, если их не шугать». Говорю: «Весной десяток цыплячьих толстых убрали — то-то будет сладко болеть мистеру Рандольфу, когда в животе забурчит не евши».

Сняв вазу и сделав из ладоней телескоп, она стала ходить вокруг его стула и оглядывать свою работу со всех сторон.

— Вот это, я понимаю, красиво подстригли,— сказала она.— Поди в окно поглядись.

Вечер серебрил стекло, и лицо его отражалось прозрачно, измененное и слитое с мельтешащей мотыльковой желтизной лампы; он видел себя, и сквозь себя, и дальше; свистала в листве инжира ночная птица козодой, и синевою налитый воздух обрызгался светляками, плывшими во тьме, как огни кораблей. Стрижка обезобразила Джоула: из-за комплиментов Рандольфа он теперь интересовался своей внешностью, а в темном стекле предстал некто, похожий на идиота, из тех, что с громадными головами-глобусами.

— Жуть,— сказал он.

— Э-эх,— отозвалась Зу, складывая остатки ужина в жестяную банку с помоями для свиней.— Темный ты, все равно как Кег Браун. Темней его я не видела человека. А ты такой же темный.

Подражая Рандольфу, он выгнул бровь и сказал:

— Смею заметить, я кое-чего знаю, чего ты не знаешь, смею заметить.

Зу потеряла всю свою грацию; она прибиралась на кухне, пол скрипел под ее звериной поступью, и длинное лицо, осветившееся у лампы, когда она нагнулась привернуть свет, было маской печальной обиды.

— Смею заметить,— сказала она, теребя косынку на шее и не глядя на Джоула,— смею заметить, ты, конечно, умнее Зу, только она людей зазря не обижает, не будет им доказывать, что они никудышные.

— Не,— сказал Джоул,— я просто пошутил, честное слово,— и обнял ее, уткнул лицо ей в грудь. Она приятно пахла, странным темным кислым приятным запахом, и пальцы, гладившие его по голове, были прохладные, сильные.— Я люблю тебя, потому что ты должна меня любить, потому что должна.

— Господи, господи,— сказала она, освобождаясь,— совсем еще котеночек. А большой вырастешь... ох, будешь парень.

Стоя в дверях, он смотрел, как ее лампа разрезает мрак, увидел, как окрасились окна в доме Джизуса: он здесь, она там, и теперь целая ночь между ними. Вечер выдался странный: Рандольф не выходил из комнаты, а Эйми, готовя подносы с ужином, один для него, другой, по-видимому, для мистера Сансома («Мистер Сансом холодные стручки есть не станет»,— сказала она), задержалась у стола только для того, чтобы выпить стакан снятого молока. Джоул, однако, разговаривал, и разговором отодвигал свои тревоги, а Зу рассказывала небылицы, печальные и смешные, и то и дело голоса их встречались, сплетались в протяжную песню, балладу летней кухни.

С самого начала он улавливал сложные звуки дома, звуки на грани слышного, усадочные вздохи камня и досок, словно старые комнаты постоянно вдыхали-выдыхали ветер, и Джоул запомнил слова Рандольфа: «Знаешь, мы погружаемся — за прошлый год на десять сантиметров». Он проваливался в землю, этот дом, и все тонули вместе с ним: проходя через зал, Джоул представил себе, как кроты прокладывают серебристые тоннели в затмившихся коридорах, как корчится в забитых землей комнатах тощая гвоздика и вскрывает глазницы черепа сирень; прочь! сказал он, карабкаясь к лампе, бросавшей сверху нервный свет на лестницу. Прочь! сказал он потому, что воображение его было таким шальным и ужасным. Ну может

ли исчезнуть целый дом? Да, он о таком слышал. Мистеру Мистерии только пальцами щелкнуть, и что угодно пропадет. Даже люди. Могут исчезнуть с лица земли. Вот и с отцом так случилось; исчез, но не печально и благородно, как мама, а просто исчез, и у Джоула не было никаких оснований думать, что он найдется. Так зачем они притворяются? Сказали бы прямо: «Нет мистера Сансома, нет у тебя отца»,— и отослали бы его. Эллен всегда рассуждала о том, что надо поступать порядочно, по-христиански; он не совсем понимал ее, а теперь понял: правду говорить — вот что порядочно, по-христиански. Он шагал медленно, не во сне, но в забытьи, и видел в забытьи гостиницу «Морок», покосившиеся заплесневелые комнаты, треснувшие от ветра окна, затканные черным ткачом, и вдруг понял, что не гостиница это и никогда не была гостиницей: это — место, куда приходят люди, исчезнув с лица земли, умершие, но не мертвые. И представился ему танцевальный зал, о котором рассказывал отшельник: там гобеленом сумерек затянуты стены и на вспученных полах сухие остовы букетов рассыпаются в пыль под его сонной стопой; он ступал в темноте по праху шипов и ждал, чтобы прозвучало имя — его имя,— но даже здесь отец не звал его к себе. Тень рояля прильнула к сводчатому потолку, как крыло ночной бабочки, а за клавишами, с глазами, налитыми лунным молоком, и в сбитом набок парике, в холодных белых буклях, сидела Дама: не тень ли загробная миссис Джимми Боб Морок? Той, что сожгла себя в меблированной комнате в Сент-Луисе. Не это ли — разгадка?

Его ударило по колену. Все, что произошло, произошло быстро: мелькнул слабый свет, хлопнула дверь наверху в коридоре, и тут его что-то ударило, что-то пролетело дальше, прыгая вниз по ступенькам, и все суставы в нем будто разошлись, а внутренности размотались, как пружинки в лопнувших часах. По залу катился, подскакивая, красный мячик, и Джоул подумал об Айдабеле: ему хотелось быть таким же смелым; ему хотелось, чтобы у него был брат, сестра, кто-нибудь; ему хотелось умереть.

Рандольф перегнулся через перила наверху, руки сложив под крыльями кимоно; глаза у него были мутные и остановившиеся, пьяные,— если он и заметил Джоула, то никак этого не показал. Потом, шурша своим кимоно, он пересек холл и открыл дверь; трепетный свет свечей поплыл по его лицу. Внутрь он не вошел, а остался у двери, странно шевеля руками; потом начал спускаться по лестнице и, дойдя до Джоула, сказал только:

— Пожалуйста, принеси стакан воды.

Не сказав больше ни слова, он поднялся обратно и ушел в комнату, а Джоул все стоял на лестнице, не в силах двинуться: голоса жили в стенах, усадочные вздохи камня и досок, звуки на грани слышного.

— Войди,— голос Эйми разнесся по всему дому, и Джоул, стоя на пороге, почувствовал, что сердце в нем от чего-то отделилось.

— Осторожнее, мой милый.— Рандольф сидел лениво в ногах кровати с балдахином.— Не разлей воду.

Но Джоул не мог совладать с дрожью в руках и не мог сфокусировать глаза: Эйми и Рандольф, хотя сидели порознь, срослись как сиамские близнецы: диковинное животное, полумужчина-полуженщина. Горели свечи, дюжина или около того, вяло склонившиеся, согнутые ночной теплынью. В их свете поблескивал известняк камина, и зверинец хрустальных колокольчиков на каминной полке отозвался на шаги Джоула ручейным звоном. Крепко пахло астматическими сигаретами, несвежим бельем и перегаром. Холодное лицо Эйми медальным профилем вырисовывалось на фоне закрытого окна, куда стучались с размеренностью часов насекомые; она вышивала, покачиваясь взад-вперед в кресле, и рука в перчатке размеренно колола иглой сиреневую ткань. Она была похожа на восковой автомат, куклу в натуральную величину, и сосредоточенность ее казалась неестественной: притворился человек, будто читает, а книгу-то держит вверх ногами. Столь же умышленной выглядела и поза Рандольфа, чистившего ногти гусиным пером; Джоул чувствовал, что его присутствие здесь они воспринимают как неприличное, но ни удалиться нельзя было, ни

дальше ступить. На столике возле кровати находились два весьма занимательных предмета: травленого стекла шар, украшенный венецианскими сценами с озорными гондольерами и парочками, которые плыли на золотых гондолах мимо роскошных дворцов по ландринно-голубым каналам, и из молочного стекла обнаженная с висячим серебряным зеркальцем. В этом зеркальце отражалась пара глаз; в тот миг, когда Джоул их заметил, он перестал замечать все остальное.

Глаза серые, со слезой,— тускло блестя, они смотрели на Джоула и вскоре, словно признав его, важно моргнули и отвернулись... так что теперь он их видел только вместе с головой, бритой головой, лежавшей бессильно и недвижимо на несвежих подушках.

— Он хочет воды,— сказал Рандольф, прочищая пером ноготь большого пальца.— Надо подать ему: бедный Эдди совершенно беспомощен.

И Джоул спросил:

— Это он?

— Мистер Сансом,— подтвердила Эйми, собрав губы в бутон наподобие того розового, что она вышивала.— Это мистер Сансом.

— Но вы мне не сказали.

Рандольф ухватился за спинку кровати и встал; кимоно распахнулось, открыв розовые упитанные бедра, безволосые голени. Как нередко бывает с полными людьми, он двигался с неожиданной легкостью, но слишком много было выпито: он шел с застывшей улыбкой к Джоулу, и казалось, вот-вот повалится. Нагнувшись к самому лицу Джоула, он прошептал:

— Не сказали чего, малыш?

Глаза снова заняли все зеркальце, их отражение подрагивало в неверном свете; потом из-под одеяла высунулась рука с золотым обручальным кольцом и уронила красный мячик: это было как брошенная реплика, как вызов, и Джоул, забыв о Рандольфе, живо двинулся ему навстречу.

7

Она шла по дороге, поддавая ногой камешки и насвистывая. Бамбуковое удилище у нее на плече указывало на послеполуденное солнце. На ней были игрушечного вида темные очки, и она несла ведерко из-под патоки. Пес Генри плелся рядом, жарко вывесив язык. И Джоул, дожидавшийся почтальона, спрятался за сосну; погоди, сейчас устроим, напугаем до ... ага, вот она уже близко.

Тут она остановилась, сняла очки и протерла своими защитными шортами. Заслонив ладонью глаза, она посмотрела прямо на его сосну и за нее: на веранде Лендинга никого не было, никаких признаков жизни поблизости. Пожала плечами.

— Генри,— сказала она, и пес печально поднял глаза.— Генри, ты решай: нужен он нам или не нужен? — Генри зевнул, в рот ему влетела муха, и он проглотил ее.— Генри,— продолжала она, вглядываясь в облюбованную сосну,— ты замечал, какие чудные тени бывают у деревьев? — Пауза.— Ну ладно, красавец, выходи.

Джоул застенчиво вышел на свет.

— Привет, Айдабела,— сказал он, и Айдабела засмеялась, и смех этот был шершавей колючей проволоки.

— Слушай, ты,— сказала она,— последний мальчишка, который попробовал фокусничать с Айдабелой, до сих пор очухивается.— Она опять надела темные очки и поддернула шорты.— Мы с Генри идем сомов наловить на обед, и если хочешь быть нам полезным, давай с нами.

— Как это — быть полезным?

— А червей на крючки надевать...— наклонив ведерко, показала его кишащее белым нутро.

Джоул с отвращением отвел глаза, но подумал: да, хочу пойти с Айдабелой, что угодно, только не быть одному, червей надевать, ноги ей целовать, все равно.

— Переоделся бы,— сказала Айдабела.— Нарядился, как в церковь.

В самом деле, он надел свой лучший костюм из белой фланели, купленный для уроков танца; а оделся так потому, что Рандольф обещал нарисовать с него портрет. За обедом, однако, Эйми сказала, что Рандольф нездоров.

— Бедное дитя, да еще в такую жару; мне кажется, что если бы он немного сбавил в весе, ему было бы легче. С Анджелой Ли было то же самое — в жару лежала пластом.

Что до Анджелы Ли, то Зу рассказала о ней такую странную историю: «Удивительное дело приключилось со старой хозяйкой, детка, перед самой ее смертью: борода у ней выросла. Так и поперла — прямо самые настоящие волосы; цветом желтые, а жесткие, как проволока. Я ее брила: сама парализованная с головы до пяток, а кожа — что на покойнике. А растет быстро, борода-то, прямо не поспеешь, и как умерла она, мисс Эйми парикмахера из города позвала. Этот только глянул на нее — и бегом по лестнице, и к двери. Ну, скажу тебе, посмеялась я,— удержишься разве?»

— А-а, это у меня старый костюм,— сказал он, потому что боялся идти переодеваться: Эйми, чего доброго, не пустит, а то еще и заставит читать отцу. А отец был парализован, как Анджела Ли, беспомощен; он мог выговорить несколько слов (сын, дай, мяч, пить), чуть-чуть шевелить головой (да, нет) и одной рукой уронить теннисный мячик (сигнал просьбы). Все удовольствие, всю боль он выражал глазами, и глаза его, как окна летом, редко бывали закрыты — всегда глядели, даже во сне.

Айдабела дала ему нести ведерко с червями. Через поле тростника, узкой тропинкой в гору мимо негритянского двора, где голый ребенок гладил маленькую черную козу, по аллее черемухи пришли в лес.

— Наклюкаешься от нее, как чижик,— сказала она про черемуху.— Дикие кошки, жадины, так напиваются, что всю ночь вопят... Послушал бы ты их — орут, как ненормальные, от луны и черемухи.

Невидимые птицы, листьями шурша, шныряли, пели; под невозмутимой сенью беспокойные ноги топтали плюшевый мох; меловой свет цедился, разбавляя природную тьму. Бамбуковая удочка Айдабелы цепляла нижние ветви; пес возбужденно и подозрительно ломился сквозь заросли ежевики. Генри — дозорный, Айдабела — проводник, Джоул — пленник: трое исследователей в сумрачном походе по отлого сбегающей вниз стране. Черные с оранжевым кантом бабочки кружились над стоячими лужами размером с колесо, крыльями чертя по зеркалам из ряски; целлофановые выползки гремучих змей валялись на тропинке; в рваных серебряных сорочках паутины лежал валежник. Прошли мимо маленькой человеческой могилы — на колотом дереве креста надпись: «Тоби, убитая кошкой». Могила осела, выбросила корень платана — видно было, что старая могила.

— Что это значит,— спросил Джоул,— убитая кошкой?

— Это было до моего рождения,— ответила Айдабела так, как будто дальнейших объяснений не требовалось. Она сошла с тропинки на толстый ковер прошлогодней листвы; в отдалении прошмыгнул скунс, и Генри кинулся туда.— Эта Тоби, ты понимаешь, была негритянская малютка, а мама ее работала у старой миссис Скалли, ну как Зу сейчас. Она была женой Джизуса Фивера, а Тоби — их дочка. У миссис Скалли была большая красивая персидская кошка; один раз, когда Тоби спала, кошка к ней подкралась, присосалась ртом к ее рту и выпила из нее весь дух.

Джоул сказал, что не верит; но если это правда, то более страшной истории он никогда не слышал.

— Я не знал, что у Джизуса Фивера была жена.

— Ты много чего не знаешь. Всякие странные были дела... по большей части они случились до моего рождения — из-за этого еще легче веришь, что все взаправду было.

До рождения да; что же это было за время? Такое же, как теперь, время — и когда они умрут, все равно будет, как теперь: эти же деревья, это же небо, эта же земля, желуди те же, солнце, ветер — все то же самое; лишь они изменятся, и сердца их обратятся в прах. Сейчас, в тринадцать лет, Джоул был ближе к знанию смерти, чем когда-либо в будущие годы: цветок

распускался в нем, и, когда все сжатые лепестки скроются, когда полдень юности разгорится ярче всего, он обернется, как оборачивались другие, ища другую отворенную дверь. В этом лесу, где шли они, сто лет и больше звучало неугомонное пение жаворонков, и лавы лягушек скакали под луной; звезды падали здесь и индейские стрелы; приплясывали негры с гитарами и пели о бандитских золотых кладах, пели горькие песни и духовные песни, баллады о давно минувшем: до рождения.

— Я — нет, я меньше верю, что все это было взаправду,— сказал Джоул и остановился, ошеломленный вот какой истиной: Эйми, Рандольф, отец — они все вне времени, все обходят настоящее стороной, как духи: не потому ли и кажутся ему похожими на сон?

Айдабела оглянулась, дернула его за руку.

— Проснись.

Он посмотрел на нее большими встревоженными глазами.

— Не могу. Я не могу.

— Чего не можешь? — недовольно спросила она.

— Да так.

Ранние путники, они спускались рядом.

— Возьми мои очки,— предложила Айдабела.— В них все такое красивое.

Стекла травяного цвета окрасили ручей, где нервные стайки пескарей прошивали воду, как иглы; иногда в бочаге случайный луч солнца высвечивал рыбину покрупнее — толстого неуклюжего окуня, темно и лениво ходившего под водой. Леска Айдабелы дрожала над стремниной, но за час у нее ни разу даже не клюнуло; теперь, крепко воткнув удочку между двух пней, она легла, головой на подушку мха.

— Ладно, отдавай обратно,— велела она.

— Где ты их взяла? — Он хотел такие же.

— Цирк приезжал. Каждый август приезжает — не особенно большой, но у них есть чертово колесо и горки. А еще двухголовый младенец в бутылке. А очки — я выиграла; сперва я их все время носила, даже ночью, но папа сказал, глаза сломаю. Курить хочешь?

Сигарета была только одна, мятая, «Уинг»; Айдабела разломила ее пополам, закурила.

— Смотри. Могу кольцо в кольцо продеть.— Кольца поднимались в воздухе, голубые и правильные; было тихо, но всюду вокруг чувствовалось скрытое, затаенное, едва уловимое шевеление; стрекозы скользили по воде; что-то шелохнулось невидимое, и осыпались лепестки подснежника, сухие и бурые, давно потерявшие запах. Джоул сказал:

— Вряд ли мы кого-нибудь поймаем.

— А я и не надеялась,— ответила Айдабела.— Просто я люблю приходить сюда и думать про свои заботы; тут меня никто не ищет. Хорошее место... просто полежать спокойно.

— А какие заботы тебя заботят?

— Это — мое дело. А ты знаешь что?.. Нос у тебя чересчур длинный, вот что. Я никогда не шпионю — ни боже мой. А все остальные тут, они тебя живьем слопают — ну как же, приезжий, и в Лендинге живешь, и вообще. Флорабелу возьми. Прямо агент.

— По-моему, она очень красивая,— сказал Джоул, просто чтобы досадить.

Айдабела не ответила. Она бросила окурок и свистнула по-мальчишески в два пальца; Генри, шлепавший по мелкой воде, взбежал на берег, мокрый и блестящий.

— Снаружи-то красивая,— сказала Айдабела, обняв пса,— но главное — что у ней внутри. Все время говорит папе, что надо прикончить Генри, говорит, что у него смертельная болезнь,— вот какая она внутри.

Белое лицо дня оформилось в небе; враг его там, подумал Джоул,— прямо за стеклянными дымчатыми облаками; каков бы ни был его враг, кто бы он ни был, это его лицо ярким пробелом вывалилось в небе. В этом

отношении Айдабеле можно было позавидовать; она хотя бы знала своих врагов: ты и ты, могла сказать она, тот-то и тот-то, такой-то и такой-то.

— Ты когда-нибудь боялась сойти с ума?

— Никогда про это не думала,— сказала она и засмеялась.— А их послушать, так у меня ума и нету.

Джоул сказал:

— Нет, ты серьезно ответь. Я что спрашиваю: ты когда-нибудь видишь такое — людей, там, целые дома,— видишь их, чувствуешь их и точно знаешь, что это все взаправдашнее... а на самом...

— А на самом деле — нет,— закончила Айдабела.— Когда змея ужалила, я целую неделю жила в жутком месте: там все ползало — и пол, и стены, все. Глупость, конечно. А то еще было интересно: прошлым летом ходили с дядей Огестом (это который девочек так боится, что даже не смотрит на них; а ты, говорит,— не девочка; я дядю Огеста очень люблю, мы с ним — как братья)... ходили с ним на Жемчужную реку... и один раз гребли там в темном месте и наткнулись на остров змей; он был маленький, просто одно дерево, но все кишело мокасиновыми змеями, даже на ветках висели. Даже боязно, правду говорю. Когда люди рассказывают про вещие сны, я теперь, по-моему, знаю, что это такое.

— Я не совсем об этом,— смущенно, вполголоса сказал Джоул.— Сны — другое дело, от сна можно проснуться. А когда что-то видишь... Даму, например, и видишь там, где никого не должно быть, а потом она от тебя не отстает, у тебя в голове... Вроде того, как тут вечером Зу испугалась: слышит, собака завыла, и говорит, что это ее муж вернулся, подходит к окну: «Вижу его,— говорит,— присел под инжиром. И глаза прямо желтые в темноте». Я посмотрел — никого, совсем никого.

Айдабелу все это не особенно поразило.

— Ерунда! — Она тряхнула головой, и короткие рыжие волосы полыхнули чудесным огнем.— Все знают, что Зу — настоящая сумасшедшая. Один раз жара была, как сегодня, а я мимо шла — стоит у почтового ящика с дурацким своим лицом и говорит мне: «Какой вчера вечером снег был красивый». Вечно про снег говорит, вечно она что-то видит, твоя Зу сумасшедшая.

Джоул смотрел на Айдабелу со злостью: какая противная врунья. Зу не сумасшедшая. Нисколечко. Однако он вспомнил снег их первого разговора: снег валил, лес слепил белизной, и приглушенный снегом голос Айдабелы доносился будто издалека:

— Это «Айвори». Оно не тонет.

— Для чего? — спросил он, принимая белый кусок мыла, который она вынула из кармана.

— Мыться, глупый. Да не будь ты такой барышней. Когда прихожу сюда, обязательно моюсь. Ну-ка, положи одежду на пень, где удочка.

Джоул робко посмотрел на указанное место.

— Но ты же девочка.

С необыкновенно презрительным видом Айдабела выпрямилась во весь рост.

— Пацан,— сказала она и сплюнула между пальцев,— что у тебя в портках — для меня не новость и совсем мне не интересно: я, черт возьми, с первого класса ни с кем, кроме мальчишек, не водилась. И себя девчонкой не считаю — запомни это, иначе мы не друзья.— При всей ее браваде, в заявлении этом прозвучала подкупающая невинность, и когда она, нахмурясь и стуча кулаком о кулак, сказала: — Как же мне охота быть мальчишкой — я бы стала моряком, я бы...— бессилие ее было трогательно.

Джоул встал и начал расстегивать рубашку.

Он лежал на холодной гальке, прохладная рябая вода обтекала его; ему хотелось стать листом, как те, что проплывали по течению мимо: мальчик-лист, он поплывет легко, поплывет в реку и затеряется там, а потом в великой воде океана. Зажав нос, он окунул лицо в воду: ему было шесть лет, и глаза его цвета медных монеток округлились от страха: Святого Духа,

сказал священник, заталкивая его в купель; он закричал, мать, наблюдавшая с передней скамьи, бросилась к нему, взяла его на руки, обняла и зашептала тихо: деточка мой, деточка. Он поднял лицо из большой тишины, Айдабела обдала его озорной волной, и семь лет исчезли в одно мгновение.

— Ты похож на ощипанного цыпленка,— сказала она.— Тощий, белый.

Джоул стыдливо свел плечи. Несмотря на совершенно искреннее равнодушие Айдабелы к его наготе, он не мог так легко приспособиться к ситуации, как она, вероятно, рассчитывала.

Она сказала:

— Не крутись, сейчас намылю тебе голову.

Ее голова уже была покрыта массой пенных завитушек, как торт глазурью. Нагишом Айдабела еще больше походила на мальчишку — по большей части она состояла из ног, вроде журавля или человека на маленьких ходулях; а в веснушках, обсыпавших худенькие плечи, было что-то жалостное. Однако грудь у нее уже начала набухать, и в бедрах угадывался намек на будущую округлость. Джоул, считавший Айдабелу угрюмой и вздорной, сейчас удивлялся тому, как она умеет веселиться и забавлять: размеренно втирая мыло ему в волосы, она не переставала смеяться и рассказывала анекдоты, порою вполне непристойные: «...а фермер говорит: «Понятно, что ребеночек красивый — а как же, через шелковый платок запускали».

Не дождавшись от него смеха, она спросила:

— Ну что? Не дошло? — Джоул помотал головой.— А еще городской,— вздохнула она.

— Как это — через шелковый платок запускали?

— Да так,— ответила Айдабела. споласкивая волосы,— мал ты еще.

Джоул подумал тогда, что соль анекдотов ей и самой не вполне понятна; рассказывала она их не совсем как свои, а словно кому-то подражая — кому, интересно?

— А этот тебе кто рассказал? — спросил он.

— Билли Боб.

— Кто он?

— Ну просто Билли Боб.

— Он тебе нравится? — спросил Джоул, не понимая, почему вдруг почувствовал такую ревность.

— Конечно, нравится.— Она встала и пошла к берегу; глядя на воду, она ступала медленно и грациозно, как птица в поисках пищи.— Конечно. Он, можно сказать, мой лучший друг. Он ужасно храбрый, Билли Боб. В четвертом классе у нас была злая миссис Эйкенс, била его линейкой по рукам чуть не до крови — а он ни разику не заплакал.

Они сели обсыхать на солнце, и Айдабела надела очки.

— Я никогда не плачу,— соврал Джоул.

Она перевернулась на живот и, перебирая мох, сказала, прозаично и мягко:

— А я — да. Иногда плачу.— Посмотрела на него без улыбки.— Только ты никому не говори, слышишь?

Ему хотелось сказать: да, Айдабела, милая Айдабела, я твой настоящий друг. И хотелось дотронуться до нее, обнять,— только так, казалось ему сейчас, он мог выразить все, что чувствовал. Он придвинулся еще ближе, вытянул шею и, перестав дышать от осторожности, поцеловал ее в щеку. Стало очень тихо; невесомые токи света и тени пробегали между ними, подобные теням листьев, чуть колышущимся на их телах. Потом Айдабела напряглась. Она схватила его за волосы и стала тянуть. Джоула обожгло горьким и недоуменным гневом. Вот — настоящее предательство. И он схватился с ней; они сплелись и стали кататься, и небо кружилось, опрокидываясь, падало. Темные очки свалились с Айдабелы, и Джоул, притиснутый к земле, ощутил, как они треснули и впились ему в ягодицы.

— Перестань, перестань, пожалуйста,— пропыхтел он.— У меня кровь.

Она сидела на нем верхом и сильными руками прижимала к земле его запястья. Наклонила к нему красное, злое лицо:

— Сдаешься?

— У меня кровь,— упрямо повторил он.

Наконец она с него слезла, принесла воды и промыла порез.

— Заживет,— сказала она как ни в чем не бывало. Странно, но и в самом деле будто не было ничего; и ни один, ни другая, конечно, никогда не смогли бы объяснить, из-за чего подрались.

Джоул сказал:

— Очков жалко, извини.

Осколки блестели на земле каплями зеленого дождя. Она нагнулась, начала их собирать, потом передумала, бросила обратно.

— Ты не виноват,— грустно сказала она.— Может... может, я когда другие выиграю.

8

Рандольф окунул в баночку с водой кисть, и пурпурные усики потянулись от нее, как быстро растущая лоза.

— Не улыбайся, мой милый,— сказал он.— Я не фотограф. С другой стороны, и художником меня едва ли назовешь — то есть, если понимать под художником того, кто видит и берет, чтобы просто передать; а у меня всегда проблемы с искажением, я пишу не столько то, что вижу, сколько то, что думаю: например, несколько лет назад — в Берлине это было — я писал мальчика немногим старше тебя, а на портрете он получился древнее Джизуса Фивера, и если в жизни глаза у него были младенчески-голубые, то я видел мутные глаза пропащего человека. И, как выяснилось, видел правильно, потому что юный Курт — так его звали — оказался совершенным исчадием и дважды пытался меня умертвить... в обоих случаях, замечу, проявив удивительную изобретательность. Бедное дитя, что-то с ним сталось?.. Да и со мной, если на то пошло? Это вот самый интересный вопрос: что сталось со мной? — По ходу разговора, как бы отбивая фразы, он макал кисть в банку, и в постепенно темневшей воде, посредине, тайным цветком распускалось красное сгущение.— Очень хорошо, можешь сесть удобнее, передохнем.

Джоул вздохнул и огляделся; он впервые попал в комнату Рандольфа и за два часа не успел в ней освоиться — уж больно не похожа была она на все виденное прежде: потертое золото, потускневшие шелка, их отражения в витиеватых зеркалах создавали такое ощущение, как будто он переел сладкого. Как ни велика была комната, свободного пространства в ней оставалось не больше полуметра; резные столы, бархатные кресла, канделябры, немецкая музыкальная шкатулка, книги, картинки, казалось, перетекали друг в дружку — будто наводнение занесло их сюда через окна и здесь оставило. За письменным столом, формой напоминавшим печень, вся стена была под корой открыток; шесть из них, японской печати, могли бы послужить к просвещению мальчика, хотя Джоулу в какой-то мере был уже известен смысл того, что на них изображалось. На длинном, черном, чудовищно тяжелом столе разместилось нечто вроде музейной экспозиции, частично состоявшей из древних кукол: иные были без рук, иные без ног, без голов, иные стеклянным пуговичным взглядом созерцали собственные внутренности, соломенные и опилочные, сквозь отверстия ран; все, однако же, были одеты — и нарядно — в бархат, кружево, полотно. А посреди стола стояла маленькая фотография в серебряной рамке, затейливой до нелепости,— фотография дешевая, сделанная, очевидно, среди аттракционов заезжего цирка, ибо сфотографированные, трое мужчин и девушка, стояли перед комическим задником с косоглазыми обезьянами и хитро косящими кенгуру; Рандольфа Джоул узнал без труда, хотя здесь он был стройнее и красивее... да и еще один мужчина казался знакомым...— отец? Лицо лишь отдаленно напоминало человека из комнаты напротив. Третий, выше ростом, чем эти двое, являл

собой фигуру удивительную — крепкого сложения и, даже на этой выцветшей карточке, очень темный, почти негроид; черные и узкие глаза хитро блестели из-под пышных, как усы, бровей, а губы, более полные, чем у любой женщины, застыли в дерзкой улыбке, которая еще больше усиливала впечатление эстрадного шика, создаваемое его соломенной шляпой и тростью. Одной рукой он обнимал девушку, анемичное, фавноподобное существо, глядевшее на него с нескрываемым обожанием.

— Ну, ну,— сказал Рандольф, вытянув ноги и поднося огонь к ментоловой сигарете,— не относись серьезно к тому, что здесь видишь; это всего лишь шутка, учиненная мной надо мною же... забавная и ужасная... весьма аляповатый склеп, можно сказать. В этой комнате не бывает дня и ночи; не сменяются времена года, да и годы не идут, и когда я буду умирать,— если еще не умер,— пусть я буду мертвецки пьян и свернусь клубочком, как в материнском чреве, омываемый теплой кровью тьмы. Не иронический ли финал для того, кто в глубине своей проклятой души желал простой и чистой жизни? Хлеба и воды, бедного крова, чтоб разделить его с любимым человеком, и ничего больше? — Улыбаясь, приглаживая волосы на затылке, он загасил сигарету и взял щетку.— Какая ирония: родившись мертвым, я еще должен умереть; да, родился мертвым буквально: повитухе достало упрямства шлепком вернуть меня к жизни. Преуспела ли она в этом? — Он насмешливо посмотрел на Джоула.— Ответь мне, преуспела она в этом?

— В чем? — спросил Джоул, ибо, как всегда, не понял: в этих темных словах, казалось, Рандольф вечно вел тайный диалог с кем-то невидимым.— Рандольф,— сказал он,— не сердись на меня, пожалуйста, но ты так странно говоришь.

— Ничего, трудную музыку надо слушать по нескольку раз. И если сейчас мои слова кажутся тебе бессмыслицей, то впоследствии они будут — чересчур ясны; и когда это произойдет, когда сии цветы в твоих глазах увянут непоправимо, что ж, тогда,— хоть никакие слезы не смогли растворить мой кокон,— я все-таки всплакну о тебе.— Он встал, подошел к громадному вычурному комоду, смочил голову лимонным одеколоном, расчесал блестящие кудри и, слегка позируя, продолжал разглядывать себя в зеркале; повторяя его облик в общем, зеркало это — высокое, в рост, и французских времен,— как будто высасывало из него краски и обстругивало черты: человек в зеркале был не Рандольфом, а любой персоной, какую угодно было воображению подставить на его место; и, словно подтверждая это, Рандольф сказал: — Они романтизируют нас, зеркала, и в этом их секрет; какой изощренной пыткой было бы уничтожение всех зеркал на свете: где бы удостоверились мы тогда в существовании собственной личности? Поверь мне, мой милый, Нарцисс не был самовлюбленным... он был всего лишь одним из нас, навеки заточенных в себя, и узнавал в своем отражении единственного прекрасного товарища, единственную неразлучную любовь... бедный Нарцисс,— может быть, единственный, кто был неизменно честен в этом.

Его прервал робкий стук в дверь.

— Рандольф,— сказала Эйми,— мальчик еще у тебя?

— Мы заняты. Ступай, ступай...

— Ну, Рандольф,— заныла она,— может быть, он все-таки пойдет почитает отцу?

— Я сказал, ступай.

Джоул ничем не выдал облегчения и благодарности: привычка скрывать чувства превратилась у него почти в инстинкт; иногда благодаря этому чувство даже не возникало. Но одного он не мог добиться, потому что не придумано способа очистить сознание добела: все, что стирал он днем, выступало в сновидениях и спало рядом, держа его в железных объятиях. Что же до чтения отцу, он обнаружил такую странность: мистер Сансом никогда по-настоящему не слушал; каталог посылочной фирмы «Сирз, Робак», как выяснилось, занимал его ничуть не меньше любой повести о Диком Западе.

— До этого происшествия,— сказал Рандольф, вернувшись на место,— Эд был совсем другим... изрядный гуляка и, на не слишком придирчивый вкус, хорош собой (ты сам это можешь видеть на фотографии), но, по правде сказать, я никогда его особенно не любил — даже наоборот; прежде всего, наши отношения осложнялись тем, что он был хозяином Пепе, иначе говоря, его менеджером. Пепе Альварес — тот, что в соломенной шляпе, а девушка, стало быть,— Долорес. Карточка, разумеется, не слишком верна, наивна: придет ли кому-нибудь в голову, что всего через два дня после того, как ее сделали, один из нас покатился по лестнице с пулей в спине? — Он замолчал, поправил доску с бумагой и стал смотреть на Джоула одним глазом, как часовщик.— Теперь — тихо, не разговаривай. Я занимаюсь твоими губами.

В окна подул ветерок, зашелестел лентами кукол, принес в бархатный сумрак солнечные запахи воли; и Джоулу захотелось быть там, где, может быть, сейчас бежит по луговой траве Айдабела и Генри по пятам за ней. Составленное из окружностей лицо Рандольфа вытянулось от усердия; он долго работал молча и наконец, словно все предшествующее подспудно подвело его к этому, сказал:

— Позволь мне начать с того, что я был влюблен. Заявление, конечно, обыкновенное, но не столь обыкновенен факт, ибо не многим из нас дано понять, что любовь — это нежность, а нежность, вопреки распространенному мнению,— не жалость; и еще меньше людей знают, что счастье в любви — не сосредоточенность всех чувств на предмете; любят множество вещей, и любимый является с тем, чтобы стать всех их символом; для истинно любящего на нашей земле любимый — это распускание сирени, огни кораблей, школьный колокольчик, пейзаж, беседа незабытая, друзья, воскресенья в детстве, сгинувшие голоса, любимый костюм, осень и все времена года, память... да, вода и твердь существования, память. Ностальгический перечень — но, опять же, где найдешь на свете что-либо более ностальгическое? В твоем возрасте тонкостей почти не замечают; и тем не менее догадываюсь, что при виде меня сегодняшнего ты не в силах поверить, что я когда-то обладал душевной чистотой, необходимой для такой любви. Однако же когда мне было двадцать три года...

Эта девушка на снимке — Долорес. Мы познакомились в Мадриде. Но она не испанка, я думаю,— хотя так и не знаю в точности, откуда она... по-английски она говорила безупречно. А я... к тому времени я пробыл в Европе два года — прожил, если можно так сказать, по большей части в музеях: не знаю, скопировал ли кто-нибудь когда-нибудь столько мастеров. Кажется, не было на свете картины, которой я не мог бы воспроизвести самым обаятельным образом... но стоило взяться за что-нибудь свое, и наступал паралич, словно я лишен был собственного восприятия, всякой внутренней жизни,— я был как анемон, чья пыльца никогда не найдет для себя пестика.

А Долорес как раз оказалась из числа тех, от кого мне удается иногда зарядиться энергией: при ней я остро ощущал себя живым и в конце концов поверил, что к чему-то способен; впервые я видел вещи без искажений и целиком. Той осенью мы переехали в Париж, потом на Кубу — и поселились высоко над бухтой Матансас, в доме... как описать его?.. из дымчато-розового камня, и комнаты золотыми и белыми цветами унизывали стебли высоких коридоров и синих обветшалых лестниц; в широкие окна задувал ветер, и дом казался мне островом, прохладным и вполне безмолвным. А она — точно ребенок, сладкая, как бывает сладок апельсин, и ленивая, восхитительно ленивая; она любила сидеть нагишом на солнце и рисовать крохотных животных — жаб, пчел, бурундуков, читала астрологические журналы, чертила звездные карты и мыла голову (по три раза в день, самое малое); была азартна, и после обеда мы спускались в поселок и покупали лотерейный билет или новую гитару: у нее было больше тридцати гитар, и она на всех играла — признаться, ужасно.

И вот что еще: мы редко разговаривали; не могу вспомнить ни одного

длительного разговора с ней; всегда было между нами что-то недосказанное, приглушенное, но молчание это происходило не от скрытности — оно само по себе говорило о том чудесном мире, какой устанавливается иногда между людьми, хорошо понявшими друг друга... Хотя по-настоящему мы друг друга не знали, ибо не знали еще как следует самих себя.

Но... В конце зимы я обнаружил сонную тетрадь. Каждое утро Долорес записывала сны в большой альбом и прятала его под матрас; записывала иногда по-французски, чаще по-немецки и по-английски, но, независимо от языка, содержание снов было поразительно злобным, и я не мог понять их — не вязались с Долорес эти жестокие сны. В них неизменно присутствовал я, неизменно бежал от нее или прятался в темном месте, и каждый день, пока она лежала нагишом на солнце, я открывал свежую страницу и узнавал, насколько приблизилась ко мне погоня: в прежних снах она убила в Мадриде любовника, значившегося как Л., и было ясно... что когда она разыщет Р., ему тоже несдобровать.

Мы спали на кровати под пологом из москитной сетки, сквозь которую сочился лунный свет, и я лежал в темноте, смотрел на спящую и боялся завязнуть в снах, клубившихся в этой голове; поутру она смеялась, дразнила меня, дергала за волосы, а когда я уходил, писала... скажем, вот что я запомнил: «Р. прячется за гигантскими часами. Их стук оглушителен, как гром, как сердцебиение Бога, и стрелки в форме пальцев показывают семнадцать минут четвертого; в шесть я найду его, потому что он не знает, что прячется от меня, думает — от себя самого. Я не желаю ему зла и убежала бы, если бы могла, но часы требуют жертвы — иначе они никогда не остановятся и жизнь прекратится где-то: кто из нас способен вытерпеть их гром?»

Помимо всего прочего, в этом есть доля правды; часам положена жертва: что такое смерть, как не приношение на алтарь времени и вечности?

А жизни наши с ней переплетались все теснее: сколько раз я мог уйти, бросить ее и никогда больше не видеть; но сбежать значило отречься от любви, а если я Долорес не люблю, тогда и все остальные мои чувства — не более чем подделка. Теперь я думаю, что она была не вполне человеком (дитя в трансе или сама — сон) да и я тоже — просто по молодости лет... ведь молодость не слишком человечна, куда ей: молодые не верят, что умрут... тем более не могут поверить, что смерть приходит, и нередко — отнюдь не естественным путем.

Весной мы отплыли во Флориду; Долорес никогда не бывала в Штатах, и мы съездили в Нью-Йорк, ей не понравившийся, и в Филадельфию, которую она нашла столь же утомительной. Наконец в Нью-Орлеане мы сняли очаровательную квартирку над внутренним двориком, и там ей стало хорошо — ну, и мне тоже. Во время наших странствий сонная тетрадь исчезла: куда она ее прятала, ума не приложу — я перерыл весь дом; и в некотором смысле эта пропажа принесла мне облегчение. В один прекрасный день, возвращаясь домой и неся с базара, что бы ты думал? — отличную живую курицу,— я увидел ее с мужчиной; они разговаривали в тени собора, как близкие знакомые, и внутри у меня что-то оборвалось: видно было, что это отнюдь не турист, который спросил у нее дорогу, и потом, когда я рассказал ей о том, что видел, она ответила: а-а, да,— словно речь шла о пустяке,— это знакомый, они повстречались в кафе, профессиональный боксер, не хочу ли я с ним познакомиться?

Понимаешь, после травмы, физической, душевной, какой угодно, всегда хочется верить, что если бы ты послушался предчувствия (а в таких случаях почти всегда воображаешь, что предчувствие было), то ничего бы не случилось; и тем не менее, если бы даже я предвидел дальнейшее совершенно точно, это не остановило бы меня ни на секунду: в жизни каждого случаются положения, когда человек — всего лишь ниточка в вышивке, своевольно сочиняемой... кем, мне сказать? Богом?

Они пришли в воскресенье — боксер Пепе Альварес и его менеджер Эд Сансом. День, помню, был невыносимо жаркий, и мы сидели во внутреннем дворике с веерами и холодным питьем: трудно вообразить общество людей

более несходных, чем мы четверо; спасибо еще, Сансом, в некотором роде шут, разряжал атмосферу, а то бы мы чувствовали себя совсем стесненно: флюидами Долорес и молодой мексиканец обменивались почти открыто — они были любовниками, и это могла бы заметить даже несообразительная Эйми; я же не удивился — Пепе поразил меня: лицо у него было оживленное и вместе с тем мечтательное; жестокое и одновременно мальчишеское; чужеземное, но знакомое (как знакомо что-то виденное в детстве); застенчивое и агрессивное; непроснувшееся и чуткое. Но, называя его и Долорес любовниками, я, возможно, преувеличиваю: «любовники» подразумевает до некоторой степени взаимность, а Долорес, как выяснилось, никого не могла любить, настолько глубок был ее транс. Мужчины выполняют приятную функцию — и только; помимо этого, у нее не было ни личного чувства к ним, ни уважения к мужскому в человеке... к тому, что, вопреки мифу, тоньше всего способен оценить другой мужчина. Во дворе темнело, а я глядел на Пепе: его индейская кожа как будто удерживала весь уходящий свет; глаза, лишенные глубины и по-звериному хитрые, влажные, словно от слез, созерцали одну лишь Долорес — и вдруг я с легким содроганием понял, что ревную не ее, а его.

Хотя поначалу я старательно скрывал свои чувства, Долорес интуитивно поняла, что происходит: «Удивительно поздно мы открываем самих себя; я это поняла про тебя с первого взгляда,— сказала она и добавила: — Только не думаю, что он тебе подходит, я знавала многих Пепе: люби его, на здоровье,— ничего из этого не выйдет». Ум может принять совет, но — не сердце; у любви нет географии, и она не знает границ; повесь на нее жернов и утопи, она все равно всплывет — как же иначе? Всякая любовь естественна и прекрасна, если идет от естества; только лицемеры потянут человека к ответу за то, что́ он любит,— эмоциональные невежи и праведные завистники, принимающие стрелу, нацеленную в небеса, за указатель дороги в ад.

Она была другая — моя любовь к Пепе, гораздо сильнее той, что я испытывал к Долорес, и более одинокая. Но мы вообще одиноки, милое дитя, ужасно отрезаны друг от друга; так яростны насмешки мира, что мы не можем высказать и показать свою нежность; смерть для нас сильнее жизни, она несет, как ветер во тьму, наш плач, пародийно прикинувшийся безрадостным смехом; наевшись помоями одиночества до зелени в лице и разрыва кишок, мы с воплями скитаемся по свету, умираем в меблирашках и кошмарных гостиницах, вечных пристанищах бренного сердца. Бывали минуты, чудесные минуты, когда я думал, что свободен, что смогу забыть Пепе, его сонное жестокое лицо, но нет, не получалось, он всегда был рядом, сидел во дворике или слушал ее гитару, смеялся, разговаривал — всегда где-то рядом, как я в снах Долорес. Мне невыносимо было видеть его боль, его бои были для меня мукой — и его прыжки, и его жестокость, удары по его телу, яростный взгляд, кровь, синяки. Я давал ему деньги, покупал кремовые шляпы, золотые браслеты (он обожал их, как женщина), полосатые шелковые рубашки, туфли ярких негритянских расцветок и то же самое дарил Эду Сансому,— и как же они оба меня презирали,— впрочем, не настолько, чтобы отказаться от подарка, о нет. А Долорес продолжала с ним роман, по своему обыкновению как бы невольно, незаинтересованно, словно ей было все равно, продолжится это или нет, останется с ней Пепе или ее оставит; подобно бессознательному растению, она жила (существовала), не управляя собой,— в своей безалаберной сонной тетради. Она не могла мне помочь. Больше всего на свете мы хотим, чтобы нас обняли... и сказали... что все (все — это странное слово, это кормящая грудь и папины глаза, это жар поленьев холодным утром, крик совы и мальчишка, обидевший тебя после уроков, это испуг и морды на стене спальни)... что все будет хорошо.

Однажды вечером Пепе пришел к нам очень пьяный и с полной непринужденностью принялся: а) бить Долорес ремнем, б) писать на ковер и на мои картины, в) отвратительно обзывать меня, г) ломать мне нос, д), е) и так далее. В ту ночь я ходил по улицам и по причалам и говорил с собой

вслух, убеждая себя уехать,— будь один, говорил я, как будто и так не был один, сними другую комнату в другой жизни. Я сидел на Джексон-сквер, кругом тишина, и Кабилдо [1] был похож на дворец с привидениями; рядом со мной сидел туманный светловолосый мальчик; он посмотрел на меня, я — на него, и мы были не чужие: мы протянули друг к другу руки, чтобы обняться. Я так и не услышал его голоса, потому что мы не разговаривали. Обидно: с каким удовольствием я вспоминал бы его голос. Одиночество, как лихорадка, разгуливается ночью, но при мальчике рассвело, свет наливался в кроны, как щебет птиц, и, когда встало солнце, он выпростал пальцы из моих и ушел, этот туманный мальчик, мой друг.

Теперь мы были неразлучны — Долорес, Пепе, Эд и я. Эд с его шутками, мы с нашим молчанием. Гротескная четверня (от каких фантастических родителей?), мы питались друг другом, как питается собой раковая опухоль, и все же, поверишь ли? были мгновения, которые я вспоминаю со сладкой тоской, обычно связываемой с более приятными вещами: Пепе (как сейчас вижу) зажигает спичку о ноготь большого пальца, пробует выловить рукой золотую рыбку из фонтана; мы в кино, едим воздушную кукурузу из одного пакета, он уснул и привалился к моему плечу; он смеется над тем, что я морщусь при виде его рассеченной губы. Я слышу его свист на лестнице, слышу, как он поднимается ко мне, и шаги его тише, чем стук моего сердца. Дни, тающие быстро, как снежинки, слетают в осень, осыпаются ноябрьскими листьями, холодное зимнее небо пугает своим красным светом: сплю целыми днями, закрыв жалюзи, натянув на лицо одеяло. И вот уже масленичный вторник, мы собираемся на бал; все, кроме меня, выбрали себе костюмы: Эд — монах-францисканец (с сигарой в зубах), Пепе — бандит, а Долорес — балерина; один я не могу ничего придумать, и это перерастает в чудовищную проблему. Вечером появляется Долорес с громадной розовой коробкой, я преображаюсь в графиню, и мой король — Людовик XVI; на мне серебряные волосы и атласные туфли, зеленая маска; я облачен в фисташковый и розовый шелк: сперва ужасаюсь, увидев себя в зеркале, потом прихожу в восторг — я необыкновенно красив, и позже, когда начинается вальс, ничего не знавший Пепе приглашает меня, и я, этакая хитрая Золушка, улыбаюсь под маской и думаю: ах, если бы это был я! лягушка — в царевну, олово — в золото; лети, пернатый змей, час поздний; так кончается часть моей саги.

Еще одна весна, они уехали; это апрель, шестое дождливого и сиреневого апреля, два дня спустя после нашей блаженной поездки на озеро Понтчартрейн... когда был сделан снимок и когда в символическом мраке нас несло по тоннелю любви. Хорошо, слушай дальше: в конце дня, когда я проснулся, дождь за окнами и где-то по крыше: тишина, если можно так сказать, бродила по дому, и, почти как всякая тишина, она не безмолвствовала: она стучалась в двери, отзывалась в часах, скрипела ступеньками, чтоб заглянуть мне в лицо и взорваться. Внизу болтало и пело радио, но я знал, что его никто не слышит: она уехала, и с ней уехал Пепе.

В ее комнате все было вверх дном; пока я рылся в обломках крушения, лопнула гитарная струна, и звон ее отдался дрожью в каждом нерве. Я побежал наверх, разинув рот, не в силах издать ни звука: все управляющие центры в моем мозгу онемели; воздух ходил волнами, и пол растягивался гармошкой. Ко мне шли. Я ощущал их как сгущение воздуха, и оно поднималось по лестнице. Неузнанные, они будто входили мне прямо в глаза. Сперва я подумал, что это Долорес, потом — Эд, потом Пепе. Не знаю кто,— они трясли меня, умоляли и ругались: этот мерзавец, говорили они, удрал, сукин сын, мерзавец, с машиной, со всеми вещами и деньгами, окончательно, навсегда, навсегда. Но кто это был? Я не видел: ослепительное сияние окружало его, как Христа: Пепе, это ты? Эд? Долорес? Я оттолкнул его, убежал в ванную, захлопнул дверь; бесполезно — ручка двери начала поворачиваться, и вдруг я понял с безумной ясностью: Долорес наконец настигла меня в своих снах.

---

[1] В годы испанского правления — здание правительства; ныне — музей штата Луизиана.

Тогда я нашел револьвер, хранившийся в старом носке. Дождь перестал. Окна были открыты, в комнате — прохлада и запах сирени. Внизу пело радио, а в ушах у меня стоял гул, как в морской раковине. Дверь открылась; я выстрелил, и еще раз, и Христос исчез — вместо него всего лишь Эд в грязном полотняном костюме; он сложился пополам, попятился к лестнице и покатился вниз, как тряпичная кукла.

Два дня он валялся на диване, обливаясь кровью, стонал, кричал, перебирал четки. Он звал тебя, свою мать, Господа. Я ничего не мог сделать. Потом приехала из Лендинга Эйми. Она была сама доброта. Нашла врача, не слишком дотошного,— негра-карлика. Погода вдруг сделалась июльская, но эти недели были зимой нашей жизни; вены замерзали и лопались от холода, и солнце в небе было глыбой льда. Маленький врач ковылял на своих двухвершковых ножках, смеялся, смеялся и все время ловил по радио комиков. Каждый день я просыпался и говорил: «Если умру...» — не понимая, насколько я уже мертв и только памятью волочусь за Пепе и Долорес... куда — неизвестно: я горевал о Пепе не потому, что потерял его (и поэтому, конечно, тоже), а потому, что знал: в конце концов Долорес и его настигнет: дневного света избежать легко, а ночь неизбежна, и сны — это гигантская клетка.

Короче, Эд и Эйми поженились в Нью-Орлеане. Видишь ли, ее фантазия сбылась, наконец-то она стала тем, чем всегда мечтала быть,— сиделкой... на более или менее постоянной должности. Затем мы вместе вернулись в Лендинг; ее идея — и единственное решение, потому что не поднимется он никогда. Вероятно, мы так и будем вместе, пока дом не уйдет в землю, покуда не обрастет нас сад и не утопит бурьян в своей чаще.

Рандольф отодвинул доску и привалился к столу; пока он рассказывал, опустились сумерки и затопили комнату синевой; на дворе воробьи провожали друг друга на ночлег, и в их вечернее чириканье вставляла важный голос лягушка. Скоро Зу позвонит к ужину. Ничего этого не замечал Джоул, не чувствовал даже, как занемели от долгого сидения в одной позе руки и ноги: голос Рандольфа продолжал звучать в голове и рассказывал что-то, словно бы и похожее на жизнь, но такое, чему не обязательно верить. Джоул был смущен, потому что рассказ напоминал кино без замысла и без сюжета: Рандольф в самом деле стрелял в отца? А главное — чем кончилось? Что сталось с Долорес и ужасным Пепе Альваресом? Вот что ему хотелось знать, и он спросил об этом.

— Если б я сам знал...— ответил Рандольф и поднес к свече спичку; внезапно осветившееся лицо его похорошело, розовая безволосая кожа стала совсем молодой.— Как мало, дорогой мой, в нашей жизни завершается: что такое жизнь у многих, как не ряд незаконченных эпизодов? «Мы трудимся во тьме, мы делаем, что можем, что имеем — отдаем. Сомнение — наша страсть, и наша страсть — наша работа...» Желание узнать конец и заставляет нас верить — в Бога, в колдовство... во что-нибудь верить.

Джоулу все равно хотелось ясности:

— А вы пробовали узнать, куда они девались?

— Вон там,— с усталой улыбкой сказал Рандольф,— лежит пятифунтовый том со списком всех городов и селений на земном шаре: вот во что я верю — в этот справочник; изо дня в день я листаю его и пишу: До востребования, Пепе Альваресу; просто записки — мое имя и то, что для удобства мы назовем адресом. Конечно, я знаю, что никогда не получу ответа. Но по крайней мере есть во что верить. А это — покой.

Внизу зазвонил колокольчик к ужину. Рандольф пошевелился. Лицо у него будто съежилось от виноватой печали.

— Сегодня я был очень слабым, очень нехорошим,— сказал он, поднимаясь и протягивая к Джоулу руки.— Прости меня, милый.— И голосом, настойчивым, как звон колокольчика, добавил: — Пожалуйста, скажи мне то, что я хочу услышать.

Джоул вспомнил:

— Все,— мягко сказал он,— все будет хорошо.

9

Джизус Фивер занемог. Вот уже больше недели желудок его не удерживал никакой пищи. Кожа сделалась сухой, как старый лист, а глаза с молочной пленкой видели странное: он божился, что в углу прячется отец Рандольфа; все комиксы и рекламные картинки кока-колы на стенах, жаловался он,— кривые и мозолят глаза; в голове у него раздавался звук вроде щелканья кнута; принесенный Джоулом букет подсолнухов превратился в стаю канареек, с диким пением метавшихся по комнате; незнакомый человек глядел из хмурого зеркальца над камином, приводя его в исступление. Маленький Свет, прибывший для оказания посильной помощи, завесил зеркальце мешком — для того, как он объяснил, чтобы туда не поймалась душа Джизуса; он повесил старику на шею амулет, рассеял в воздухе волшебный имбирный порошок и до восхода луны исчез.

— Внученька,— сказал Джизус,— что же ты меня студишь? Разведи огонь, детка, холодно, как в колодце.

Зу стала его разубеждать:

— Дедушка, мы тут изжаримся, миленький... жара какая — мистер Рандольф уж три раза с утра переодевался.

Но Джизус ничего не желал слышать, просил одеяло, закутать ноги, просил шерстяной носок, натянуть на голову: весь дом, доказывал он, трясется от ветра — слышишь, тут старый мистер Скалли был, так у него вся борода рыжая побелела от инея.

Зу пошла на двор за дровами.

Джоул, оставшись присмотреть за Джизусом, вздрогнул, когда тот вдруг таинственно поманил его. Старик сидел в плетеной качалке, укрыв колени вытертым лоскутным одеялом с бархатными цветами. Лежать он не мог — ему было трудно дышать в горизонтальном положении.

— Сынок, покачай мне качалку,— сказал он дребезжащим голоском,— словно бы покойней делается... словно бы на телеге еду, и дорога еще долгая.

В комнате горела керосиновая лампа. Кресло бросало тень на стену и тихо, дремотно посвистывало полозьями.

— Чувствуешь, как зябко?

— Мама тоже все время зябла,— сказал Джоул, с чувством озноба в спине. Не умирай, думал он, покачивая кресло, и круглые полозья шептали: не умирай, не умирай. Если Джизус Фивер умрет, тогда уйдет Зу, и не останется никого, кроме Эйми, Рандольфа и отца. Но главное — даже не эти трое, а Лендинг, хрупкое затишье жизни под стеклянным колпаком. Может быть, Рандольф заберет его: он раз обмолвился о поездке. И надо опять написать Эллен, что-нибудь да выйдет из этого.

— Дедушка,— сказала Зу, втаскивая охапку дров,— очень ты неумно сделал, что заставил меня шататься впотьмах по двору — там всякие звери рыщут голодные, только и ждут, чтобы от меня, вкусной, откусить. Правду говорю, там дикой кошкой пахнет. И кто его знает, а ну как Кег сбежал из кандальной команды? Джоул, миленький, запри дверь.

Когда камин разгорелся, Джизус попросил придвинуть его кресло к теплу.

— Было время, я на скрипке играл,— сказал он, грустно глядя на всползавший по хворостинам огонь,— украл у меня ревматизм из пальцев музыку.— Он покачал головой, почмокал ртом и плюнул в камин. Зу хотела поправить на нем одеяло.— Будет тебе суетиться,— заворчал он.— Слышишь, давай-ка сюда мою саблю.

Зу принесла из другой комнаты красивую саблю с серебряной рукоятью; на лезвии ее была надпись: «Не вынь меня без Причины — Не вложи без Чести».

— Дедушка мистера Рандольфа мне саблю подарил — шестьдесят лет назад с лишним.

За эти дни старик истребовал, одно за другим, все свои сокровища: пыльную треснувшую скрипку, котелок с пером, часы с Микки-Маусом,

оранжевые башмаки на пуговицах, трех обезьянок, замкнувших слух, глаза и уста для дурного,— все это и другие ценности так и лежали на полу, потому что старик не велел их прятать.

Зу угостила Джоула горстью орехов пеканов и дала плоскогубцы для колки.

— Я не хочу есть,— сказал он и положил голову ей на колени. Колени были не такие уютные, как у Эллен. Отчетливо проступали тугие мускулы и твердые кости. Но она перебирала пальцами его волосы, и это было приятно.— Зу,— сказал он тихо, чтобы не услышал дед.— Зу, он умрет, да?

— Видно, так,— ответила она, и в голосе ее было мало чувства.

— И тогда ты уедешь?

— Наверно.

Тут Джоул выпрямился и посмотрел на нее сердито.

— Ну почему, Зу? Скажи почему?

— Тише, детка, не надо так громко.— Бесконечно длилось мгновение, пока она отодвигала косынку на шее, нащупывала и вытаскивала отшельников амулет.— Не вечную силу имеет,— сказала она, постукав по нему пальцем.— Как-нибудь он вернется сюда и станет меня резать. Это я верно знаю. Во сне вижу — пол не скрипнет, а сердце так и заходится. Завоет собака — думаю, он идет, он пожаловал: собаки духа его не терпят, Кега,— как почуют, сразу выть.

— Я защищу тебя, Зу,— захныкал он.— Ей-богу, никому не дам в обиду.

Зу засмеялась, и ее смех полетел по комнате, как страшная черная птица.

— Да Кегу только глазами на тебя взглянуть — ты свалишься! — Она задрожала в натопленной комнате.— Когда-нибудь он заберется в это окно, и никто ничего не услышит; а не то подкараулит меня на дворе с длинной блескучей бритвой... Господи, тысячу раз это видела. Спасаться мне надо, бежать туда, где снег, и он меня не найдет.

Джоул схватил ее за руку.

— Если не возьмешь с собой, Зу... Нам с тобой знаешь как весело будет.

— Глупости говоришь, детка.

Желтый кот выскочил из-под кровати, пронесся перед камином, выгнул спину и зашипел.

— Чего увидел? — закричал Джизус, показывая на него саблей; золотым пауком пробежал по узкому лезвию огненный блеск.— Отвечай мне, кот,— чего увидел? — Кот сел на задние лапы и холодно уставился на хозяина. Джизус хихикнул.— Шутки шутишь со стариком? — сказал он, грозя пальцем.— Пугать вздумал? — Молочные, как бы невидящие глаза его закрылись; он откинул голову, и хвост чулка повис сзади, как косичка у китайца.— Дней у меня на шутки не осталось, кот,— со вздохом сказал он и приложил саблю к груди.— Мне ее мистер Скалли подарил на свадьбу. Мы с моей без церкви сошлись, и мистер Скалли говорит: «Ну вот, Джизус, теперь ты женатый». А приехал разъездной священник и сказал нам с женой-то: так не годится. Господь не попустит. И верно, убила кошка нашу Тоби, а жена погоревала, погоревала да и повесилась на дереве; женщина большая, сдобная, сук аж пополам согнулся; я еще вот такусенький был, когда папа розги с того дерева резал...

Старик вспоминал, и ум его был будто островом во времени, в море прошлого.

Джоул расколол орех и кинул скорлупу в огонь.

— Зу,— сказал он,— ты когда-нибудь слышала про Алкивиада?

— Кого-кого?

— Алкивиада. Не знаю. Рандольф сказал, что я на него похож.

Зу задумалась.

— А ты не ослышался, миленький? Он небось другое имя сказал — Аликастер. Аликастер Джонс — это мальчик, что в хоре пел в Парадайс-Чепеле. Красивый, прямо белый ангел,— и священник, и мужчины все, и дамы души в нем не чаяли. Люди так говорят.

— Спорим, я лучше его спою. Я на эстраде мог бы петь и страшные деньги зарабатывать — шубу меховую купил бы тебе и платья, как в воскресных газетах.

— Я хочу красные платья,— подхватила Зу.— Мне красное ужас как идет. А машина у нас будет?

Джоул ошалел. Все уже представлялось реальностью. Вот он стоит в лучах прожекторов, на нем смокинг, и гардения в петлице. Он только одну песню знал от начала до конца.

— Слушай, Зу.— И он запел: «Ночь чиста, ночь ясна, ночь покоя и сна в мире Девы Ма...» — но тут его голос, высокий и девически нежный до сих пор, отвратительно и необъяснимо сломался.

— Ага.— Зу понимающе кивнула.— Головастик скоро рыбкой сделается.

Полено в камине театрально крякнуло, плюнуло искрами; затем, совершенно неожиданно, в топку упало гнездо печной ласточки с только что вылупившимися птенцами и сразу лопнуло в огне; птички сгорели не шевельнувшись, без единого звука. Ошарашенный Джоул молчал; на лице Зу выразилось смутное удивление. Только Джизус высказался.

— Огнем,— произнес он, и, если бы не так тихо было в комнате, его бы не услышать,— вперед во́ды приходят, в конце огонь приходит. Не сказано нигде в Писании, почему мы промеж них. Или сказано? Не помню... ничего не помню. Вы! — голос его стал пронзительным,— вы! Как жарко сделалось, все горит!

10

Через неделю серым, на удивление холодным днем Джизус Фивер умер. Умер, закатившись тонким смехом, точно кто щекотал его под мышками. Как сказала Зу, «может, с ним Бог пошутил». Она надела на деда костюмчик с подтяжками, оранжевые башмаки и котелок; она всунула ему в руку букетик собачьего зуба и положила его в можжевеловый сундук: там он лежал два дня, покуда Эйми с помощью Рандольфа определяла место для могилы; под лунным деревом — сказали они наконец. Лунное дерево, прозванное так за его круглые кремовые цветы, росло в глухом месте, довольно далеко от Лендинга, и Зу в одиночку, если не считать Джоула, принялась за рытье; сделанное ими слабое углубление напомнило ему купальные бассейны, что рылись на задних дворах в какие-то совсем уже далекие теперь лета. Переноска можжевелового сундука оказала́сь трудным делом; в конце концов они запрягли в него Джона Брауна, и старый мул доволок сундук до могилы. «Повеселился бы дедушка, кабы узнал, кто тащит его домой,— сказала Зу.— Дедушка, ох как тебя любил Джон Браун. Сколько раз говорил: такого верного мула поискать — ты запомни это». В последнюю минуту Рандольф сообщил, что не сможет присутствовать на похоронах, и Эйми, принесшая это известие, прочла заупокойную молитву, то есть пробормотала фразу или около того и перекрестила покойника: по этому случаю она надела черную перчатку. А оплакать Джизуса было некому: трое под лунным деревом напоминали смущенную группу на вокзале, собравшуюся, чтобы проводить знакомого; и как те ждут не дождутся паровозного свистка, чтобы разойтись, так и эти хотели поскорей услышать стук первого земляного кома о крышку сундука. Джоулу было странно, что в природе никак не отразилась торжественность события: ватные цветы облаков в скандально-голубом, как глаза котенка, небе оскорбляли своей воздушной невнимательностью; столетний обитатель столь тесного мира заслуживал бо́льших знаков уважения. Когда сундук опускали в могилу, он перевернулся, но Зу сказала: «Пусть его, деточка, нет у нас такой силы, как у великанов каких языческих». И покачала головой: «Бедный дедушка, на небо ничком отправился». Она растянула аккордеон, широко расставила ноги, закинула голову и закричала: «Господи, возьми его, прижми к Твоей груди, Господи, повсюду его с собой веди, пусть он видит славу, пусть он видит свет...»

До сих пор Джоул не вполне верил в смерть Джизуса; тот, кто жил так долго, просто не может умереть; где-то в глубине таилось такое чувство, что старик притворяется; но когда последняя нота ее реквиема сменилась тишиной, тогда все стало явью, тогда Джизус Фивер действительно умер.

Той ночью сон был как враг; видения, крылатые мстительные рыбы, всплывали и уходили на глубину, покуда свет, набиравший силу к восходу солнца, не отворил ему глаза. На ходу застегивая штаны, он пробрался через весь безмолвный дом и вышел в кухонную дверь. Высокая луна бледнела, как камень, тонущий в воде, спутанные утренние краски взлетали в небо, дрожали там в пастельной расплывчатости.

— Смотри, как осел, нагрузилась! — крикнула со своей веранды Зу, когда он пошел к ней через двор. Пожитки, увязанные в одеяло, лежали у нее за плечами; прицепленный к поясу аккордеон растянулся, как гусеница; кроме этого, она держала внушительный ящик из-под консервов.— Пока до Вашингтона доберусь, горб намну,— сказала она таким голосом, как будто выпила бутылку вина, и веселье ее при тусклом свете взошедшего солнца показалось ему отвратительным: как она смеет радоваться?

— Ты столько не утащишь. Во-первых, ты на дуру похожа.

Но Зу только показала мускулы и топнула ногой.

— Детка, я сейчас как девяносто девять паровозов, стрелой отсюда полечу — глядишь, и к вечеру в Вашингтоне.— Она приосанилась и приподняла подол крахмальной юбки, словно собираясь сделать книксен: — Хороша?

Джоул критически прищурился. Она напудрила лицо мукой, нарумянила щеки каким-то красноватым маслом, надушилась ванилью, и волосы у нее блестели от смазки. Шея была повязана шелковым лимонным платком.

— Повернись,— велел он и, когда она повернулась, пошел прочь, демонстративно воздержавшись от оценки.

Оскорбление это она снесла безмятежно, однако сказала:

— Чего ты так сердишься, а? Чего лицо унылое сделал? Радоваться должен за меня, коли другом называешься.

Он оторвал плеть плюща от веранды и этим привел в движение подвешенные к стрехе горшки; горшки забрякали так, будто где-то одна за другой захлопывались двери.

— Ну, ты смешная — ужас. Ха-ха-ха.— Он наградил ее холодным взглядом, вздернув бровь, как Рандольф.— Ты мне другом никогда не была. И вообще, с чего это такой человек, как я, должен водиться с такой, как ты?

— Деточка, деточка...— проникновенным голосом сказала она — ...деточка, я тебе обещаю: как устроюсь там, сразу тебя вызову и ухаживать за тобой буду до самого гроба. Накажи меня Бог, если зря обещаю.

Джоул отпрянул от нее и прижался к столбу веранды, как будто один только этот столб любил и понимал его.

— Уймись,— сказала она строго.— Ты скоро взрослый мужчина — закидываться вздумал, как девчонка. Обижаешь меня, я скажу. Вот, красивую дедушкину саблю хотела тебе подарить... да вижу, не мужчина ты еще, чтобы иметь саблю.

Раздвинув плющ, Джоул ступил с веранды на двор; уйти сейчас и не оглянуться — вот будет ей наказание. Так он дошел до пня, но Зу выдержала характер, не окликнула его, и он вынужден был остановиться: вернулся назад и, серьезно глядя в африканские глаза, спросил:

— Вызовешь?

Зу улыбнулась и чуть не оторвала его от земли.

— Сразу, как крышу для нас найду.

Она залезла рукой в свой узел и вытащила саблю.

— Самая почетная вещь была у дедушки. На, смотри не позорь ее.

Он пристегнул саблю к поясу. Это было оружие против мира, и он напрягся от гордого холода ножен у ноги; он вдруг стал могущественным и неиспуганным.

— Большое спасибо тебе, Зу.

Подобрав узел и ящик из-под консервов, она тяжело спустилась по ступеням. Она шла кряхтя, и при каждом шаге пружинящий аккордеон прыскал дождиком несогласных нот. Вдвоем они прошли сквозь одичалый сад к дороге. Солнце гуляло над окаймленными зеленью далями: всюду, насколько хватал глаз, рассветная синева поднялась с деревьев, и по земле раскатывались пласты света.

— Пока роса просохнет, я уж до Парадайс-Чепела, верно, дойду; хорошо, что одеяло захватила — в Вашингтоне много снега может быть.

И это были ее последние слова. Джоул остановился у почтового ящика.

— Прощай,— крикнул он и глядел ей вслед, пока она не превратилась в точку, а потом исчезла, сгинула вместе с беззвучным аккордеоном.

— ...никакой благодарности,— фыркнула Эйми.— Мы к ней всегда — с добром и лаской, а она? Сбегает неизвестно куда, бросает на меня дом, полный больных,— ведь ни один из них не догадается помойное ведро вынести. Кроме того, какая бы я ни была, я — дама, я была воспитана как дама, я отучилась полных четыре года в педагогическом училище. И если Рандольф думает, что я буду изображать сиделку при сиротах и идиотах... черт бы взял эту Миссури! — Губы у нее некрасиво кривились от злости.— Черные! Сколько раз меня предупреждала Анджела Ли: никогда не доверяй черному — у них мозги и волосы закручены в равной мере. Тем не менее, могла бы задержаться и приготовить завтрак.— Эйми вынула из духовки сковороду с булочками и вместе с миской мамалыги и кофейником поставила на поднос.— Беги с этим к кузену Рандольфу — и потом назад: бедного мистера Сансома тоже надо накормить... да поможет нам Бог в своей...

Рандольф полулежал в постели голый, откинув покрывало; при свете утра розовая кожа его казалась прозрачной, а круглое гладкое лицо неестественно моложавым. Маленький японский столик стоял над его ногами, а на нем банка клея, горка перьев голубой сойки и лист картона.

— Правда, прелесть? — с улыбкой сказал он.— Поставь поднос и присаживайся.

— Времени нет,— несколько загадочно ответил Джоул.

— Времени? — удивился Рандольф.— Боже мой, вот уж чего, я думаю, у нас в избытке.

С паузой между словами Джоул сказал:

— Зу ушла.— Ему очень хотелось, чтобы эта новость произвела сильный эффект.

Рандольф, однако, разочаровал его — не в пример сестре он не только не огорчился, но даже не выразил удивления.

— Как это все утомительно,— вздохнул он,— и как нелепо. Потому что она не сможет вернуться — никто не может.

— А она и не захочет,— дерзко ответил Джоул.— Она тут несчастной была; я думаю, ее теперь никакой силой не вернешь.

— Милое дитя,— сказал Рандольф, окуная перо в клей,— счастье относительно, а Миссури Фивер,— он наложил перо на картон,— обнаружит, что покинула всего-навсего надлежащее ей место в общей, так сказать, головоломке. Вроде этой.— Он поднял картон и повернул к Джоулу: перья на нем были размещены так, что получилась как бы живая птица, только застывшая.— Каждому перу в соответствии с его размером и окраской положено определенное место, и, промахнись хоть с одним, хоть чуть-чуть,— она станет совсем не похожа на настоящую.

Воспоминание проплыло, как перышко в воздухе; перед мысленным взором Джоула возникла сойка, бьющаяся о стену, и Эйми, по-дамски замахнувшаяся кочергой.

— Что толку в птице, если она летать не может? — сказал он.

— Прошу прощения?

Джоул и сам не вполне понимал смысл своего вопроса.

— Та... настоящая — она могла летать. А эта ничего не умеет... только быть похожей на живую.

Рандольф откинул в сторону картон и лежал, барабаня по груди пальцами. Веки у него опустились; с закрытыми глазами он выглядел странно беспомощным.

— В темноте приятнее,— пробормотал он, словно спросонок.— Если тебя не затруднит, мой милый, принеси из шкафа бутылку хереса. Потом — только, пожалуйста, на цыпочках — опусти все занавески, а потом, очень-очень тихо, затвори дверь.

Когда Джоул выполнял последнюю просьбу, Рандольф приподнялся на кровати и сказал:

— Ты совершенно прав: моя птица не может летать.

Некоторое время спустя, с легкой тошнотой после кормления мистера Сансома с ложечки, Джоул сидел и читал ему вслух, быстро и монотонно. В рассказе — неважно каком — действовали дама-блондинка и мужчина-брюнет, жившие в доме высотой в шестнадцать этажей; речи дамы произносить было чаще всего неловко: «Дорогой,— читал он,— я люблю тебя, как ни одна женщина на свете не любила, но, Ланс, дорогой мой, оставь меня, пока еще не потускнело сияние нашей любви». А мистер Сансом непрерывно улыбался, даже в самых грустных местах; сын поглядывал на него и вспоминал, как грозила ему Эллен, когда он строил рожи: «Смотри,— говорила она,— так и останешься». Сия судьба и постигла, видимо, мистера Сансома: обычно неподвижное, лицо его улыбалось уже больше восьми дней. Покончив с красивой дамой и неотразимым мужчиной, которые остались проводить медовый месяц на Бермудах, Джоул перешел к рецепту пирога с банановым кремом; мистеру Сансому было все равно что роман, что рецепт: он внимал им широко раскрытыми глазами.

Каково это — почти никогда не закрывать глаз, чтобы в них постоянно отражались тот же самый потолок, свет, лица, мебель, темнота? Но если глаза не могли от тебя избавиться, то и ты не мог от них убежать; иногда казалось, что они в самом деле проницают все в комнате, их серая влажность обволакивает все, как туман; и если они выделят слезы, это не будут обычные слезы, а что-то серое или, может быть, зеленое, цветное, во всяком случае, и твердое — как лед.

Внизу, в гостиной, хранились книги, и, роясь в них, Джоул наткнулся на собрание шотландских легенд. В одной рассказывалось о человеке, неосмотрительно составившем волшебное зелье, которое позволило ему читать мысли других людей и заглядывать глубоко в их души; такое открылось ему зло и так потрясло его, что глаза его превратились в незаживающие язвы, и в этом состоянии он провел остаток дней. Легенда подействовала на Джоула, он наполовину поверил в то, что глазам мистера Сансома открыто содержание его мыслей, и старался поэтому направить их в сторону от всего личного. «...смешайте сахар, муку и соль, добавьте яичные желтки. Непрерывно помешивая, влейте кипящее молоко...» То и дело он ощущал уколы совести: почему его не так трогает несчастье мистера Сансома, почему он не может полюбить его? Не видеть бы никогда мистера Сансома! Тогда он мог бы по-прежнему представлять себе отца в том или ином чудесном облике — человека с мужественным добрым голосом, настоящего отца. А этот мистер Сансом определенно ему не отец. Этот мистер Сансом — просто-напросто пара безумных глаз. «...выложите на испеченный лист теста, покройте белками, взбитыми с сахаром, и снова запеките. Дозировка дана для девятидюймового пирога». Он отложил журнал, женский журнал, который выписывала Эйми, и стал поправлять подушки. Голова мистера Сансома каталась с боку на бок, говоря: «нет, нет, нет»; голос же, царапающий, словно в горло была загнана горсть булавок, произносил другое: «Добый мачик добый» — снова и снова. «Мачик, добый мачик»,— сказал он, уронив красный теннисный мяч, и, когда Джоул подал его, недельная улыбка стала еще стеклянней; она белела на сером лице скелета. Внезапно за окнами раздался пронзительный свист. Джоул обернулся, прислушался. Три свистка, затем уханье совы. Он подошел к окну. Это была Айдабела; она стояла в саду, и рядом с ней — Генри. Окно никак не открывалось, Джоул помахал ей, но она его не видела; он устремился

к двери. «Зой,— сказал мистер Сансом и отправил на пол все мячи, какие были на кровати,— мачик зой, зой!»

Завернув на секунду в свою комнату, чтобы пристегнуть саблю, он сбежал по лестнице и выскочил в сад. Впервые за все время их знакомства Джоул увидел, как Айдабела ему обрадовалась: ее серьезное, озабоченное лицо разгладилось, и он подумал даже, что она его обнимет — таким движением подняла она руки; вместо этого, однако, она нагнулась и обняла Генри, стиснув ему шею так, что старик даже заскулил.

— Что-то случилось? — спросил он первым, потому что она молчала и в каком-то смысле не обращала на него внимания — а именно, не удивилась его сабле,— и когда она сказала: «Мы боялись, что тебя нет дома», в голосе ее не было и следа всегдашней грубости. Джоул ощутил себя более сильным, чем она, ощутил уверенность, которой никогда не чувствовал в обществе прежней Айдабелы-сорванца. Он присел на корточки рядом с ней в тени дома, среди склонившихся тюльпанов, под сенью листьев таро, исчерченных серебряными следами улиток. Веснушчатое лицо ее было бледно, и на щеке алела припухшая царапина от ногтя.

— Кто это тебя? — спросил он.

— Флорабела. Гад паршивый,— произнесла она с побелевшими губами.

— Девочка не может быть гадом,— возразил он.

— Нет, она настоящий гад. Но это я не о ней.— Айдабела втащила пса на колени; сонно-покорный, он подставил брюхо, и она начала выбирать блох.— Это я про папочку моего, старого гада. У нас там война вышла, с битьем и таской — у меня с ним и с Флорабелой. Из-за Генри: застрелить его хотел, Флорабела науськала... У Генри, говорит, смертельная болезнь — собачье вранье это, с начала до конца. Я, кажись, ей нос сломала и зубов сколько-то. Кровища из нее хлестала, что из свиньи, когда мы с Генри подались оттуда. Всю ночь в потемках шлялись.— Она вдруг засмеялась сипло, как всегда.— А рассвело — знаешь, кого увидели? Зу Фивер. Чуть дышит, столько барахла на себя взвалила... Ух, ну, мы огорчились, за Джизуса-то. Ты смотри, умер старик, а никто и слыхом не слыхал. Говорила я тебе: никто не знает, что в Лендинге творится.

Джоул подумал: а что в других местах — кто-нибудь знает? Только мистер Сансом. Он знает все; каким-то непонятным образом его глаза обегают весь мир: сию секунду они наблюдают за ним — в этом Джоул не сомневался. И не исключено, что если бы у него был рассудок, он открыл бы Рандольфу местонахождение Пепе Альвареса.

— Ты не бойся, Генри,— сказала Айдабела, раздавив блоху.— Они тебя пальцем не тронут.

— А что ты собираешься делать? — спросил Джоул.— Домой-то придется когда-нибудь идти?

Она потерла нос и уставилась на него широко раскрытыми, даже умоляющими глазами; будь это кто-нибудь другой, Джоул подумал бы, что она с ним заигрывает.

— Может, да, а может, нет,— сказала она.— За этим и пришла к тебе.— Вдруг, деловито столкнув Генри с колен, она задушевно, по-приятельски положила руку Джоулу на плечо: — А ты не хочешь удрать? — И, не дав ответить, торопливо продолжала: — Вечером можно пойти в город, когда стемнеет. Там цирк приехал, народу будет полно. Охота еще разок посмотреть; в этом году, говорят, у них чертово колесо и...

— А потом куда пойдем? — спросил он.

Айдабела открыла рот... закрыла. Должно быть, она не особенно об этом задумывалась — и, поскольку теперь весь мир был к их услугам, единственное, что пришло ей в голову:

— Дальше, пойдем дальше, пока не попадем в хорошее место.

— Можем поехать в Калифорнию, будем виноград собирать,— предложил он.— На Западе можно жениться с двенадцати лет.

— Я не хочу жениться,— сказала она, краснея.— Кто это сказал, что

я хочу жениться? Ты вот что, пацан: или ты веди себя прилично, веди себя, как будто мы братья, или пошел на фиг. И девчоночьим делом — виноград собирать — мы заниматься не будем. Я думала, мы во флот запишемся; а можно Генри научить всяким штукам и поступить в цирк. Слушай, а ты можешь научиться фокусам?

Тут он вспомнил, что так и не сходил к отшельнику за обещанным амулетом; если они с Айдабелой сбегут, амулет им обязательно понадобится — и он спросил, знает ли она дорогу к гостинице «Морок».

— Примерно,— сказала она.— Лесом, через амбровую низину, а потом через ручей, где мельница... У-у, это далеко. А зачем нам туда вообще?

Объяснить он не мог, конечно, потому что Маленький Свет велел молчать про амулет.

— У меня там важное дело к человеку,— сказал он и, желая немного попугать ее, добавил: — А то с нами случится что-то страшное.

Оба вздрогнули.

— Не прячься, я знаю, где ты, я тебя слышала.— Это была Эйми, она кричала из окна прямо над ними, но их не видела: листья таро скрывали их, как зонт.— Надо же, оставил мистера Сансома, беспомощного,— ты совсем сошел с ума?

Они уползли из-под листьев, прокрались вдоль стены дома и кинулись к дороге, к лесу.

— Я знаю, что ты здесь, Джоул Нокс, немедленно поднимись, любезный!

В глубокой низине темная смола засыхала корками на стволах амбровых деревьев, опутанных вьюнами; там и сям опускались и поднимались зеленые бабочки, похожие на светлые листья яблонь; живая дорожка длинноцветных лилий (только святым и героям, говорят старики, слышен туш из их раструбов) манила как будто призрачными руками в кружевных перчатках. И Айдабела все время махала руками: комары свирепствовали; как осколки огромного зеркала, бежали навстречу и дробились под ногами Джоула комариные болотные лужи.

— У меня есть деньги,— сказала Айдабела.— Между прочим, почти доллар.

Джоул вспомнил мелочь, спрятанную в шкатулке, и похвастался, что у него еще больше.

— Все потратим на цирк,— сказала она и лягушкой сиганула через бревно, похожее на крокодила.— Кому они вообще нужны, деньги? Нам сейчас уж точно не нужны... только на выпивку. Надо заначить столько, чтобы каждый день было на кока-колу,— у меня мозги сохнут, если не выпью с лёдиком. И на сигареты. Выпить, покурить и Генри — больше мне ничего не нужно.

— И я немного нужен, да? — сказал он — неожиданно для себя вслух.

Но вместо ответа она завела нараспев: «...хорошо макаке по ночам во мраке рыжие расчесывать вихры...»

Они задержались, чтобы соскрести смолы для жвачки, и, пока стояли, она сказала:

— Папа всю округу из-за меня обшарит: сейчас пойдет к мистеру Блюи одалживать гончую.— Она засмеялась, и капли жеваной смолы выдавились у нее из углов рта; на волосы ей села зеленая бабочка и повисла на локоне, как бант.— Один раз они беглого каторжника ловили — в этой самой низине,— мистер Блюи со своей гончей, и Сэм Редклиф, и Роберта Лейси, и шериф, и все собаки с фермы; когда стемнело, видно стало их лампы в лесу и собачий лай слышен; прямо праздник какой-то: папа с мужчинами и Роберта напились до чертей, и как Роберта ржала, слышно было небось в Нун-сити... Знаешь, мне жалко стало этого каторжника, и страшно за него: я все думала, что он — это я, а я — это он, и нас обоих ловят.— Она сплюнула жвачкой и засунула большие пальцы в петли своих защитных шортов.— Но он ушел. Так и не поймали. Кое-кто говорит, что он до сих пор тут... прячется в гостинице «Морок», а может, в Лендинге живет.

— *Кто-то* в Лендинге живет! — с энтузиазмом подхватил Джоул, но тут же разочарованно добавил: — Только это не беглый, это дама.

— Дама? Мисс Эйми, что ли?

— Другая дама,— сказал он и пожалел о том, что начал этот разговор.— У ней высокий седой парик и красивое старинное платье, но я не знаю, кто она, и вообще, есть ли она на самом деле.— Айдабела только посмотрела на него, как на дурака, и он, смущенно улыбнувшись, сказал: — Я пошутил, просто хотел напугать тебя.— Не желая отвечать на вопросы, он забежал вперед. Сабля при этом хлопала его по бедру.

Ему казалось, что они далеко ушли, и легко было даже представить себе, что они заблудились: может, нет вовсе этой гостиницы, чье название рождало образ бесплотно-белого дворца, плывущего сквозь лес подобно пару. Очутились перед стеной ежевики; Джоул вынул саблю и прорубил проход.

— После вас, моя дорогая Айдабела,— сказал он с глубоким поклоном; она свистнула собаку и вошла.

За ежевикой открылся берег с крупной галькой и неторопливый ручей — скорее даже речка в этом месте. Пожелтелый тростник заслонял разрушенную плотину. Ниже ее на высоких сваях стоял над водой странный дом: дощатый, некрашеный и серый, он имел незаконченный вид, как будто строитель испугался и бросил работу на половине. На лоскутьях кровли загорали три грифа; через небесно-голубые сквозные окна влетали в дом и вылетали обратно бабочки. Джоул ощутил горькое разочарование — неужели это и есть гостиница «Морок»? Но Айдабела сказала: нет, это — старая заброшенная мельница, раньше фермеры возили сюда молоть кукурузу.

— Тут была дорога, она вела в гостиницу, теперь — сплошной лес, даже тропки не осталось.

Айдабела схватила камень, швырнула в грифов; они снялись и стали парить над берегом. Их тени лениво описывали пересекающиеся круги.

Вода здесь была глубже, чем там, где они купались, и темнее — грязно-оливковая, бездонная, и Джоул, услышав, что переплывать не придется, от облегчения так расхрабрился, что зашел под мельницу, где через ручей была переброшена тяжелая подгнившая балка.

— Лучше я первая пойду,— сказала Айдабела.— Старая, провалится еще.

Однако Джоул протиснулся вперед нее и ступил на дерево; что бы она ни говорила, он — мальчик, а она — девочка, и он, черт возьми, больше не позволит ей верховодить.

— Вы с Генри идите за мной,— сказал он, и голос его прозвучал гулко в подвальном сумраке.

Светлые отражения воды, змеясь, взбегали вверх по гнилым изъеденным сваям; медные водяные клопы раскачивались на хитрых трапециях из паучьей пряжи, и на мокром истлевшем дереве сидели грибы величиной с кулак. Джоул переступал робко, балансируя саблей, и, чтобы не видеть головокружительной глубокой воды, движущейся под самыми ногами, неотрывно глядел на противоположный берег, где нагруженные лозы рвались из красной глины к солнцу и зеленели призывно. Но вдруг он почувствовал, что никогда не перейдет на ту сторону — так и будет качаться между сушей и сушей, один, в потемках. Затем, ощутив, как вздрогнула балка под тяжестью Айдабелы, вспомнил, что он не совсем один. Только... Сердце упало, остановилось; все тело сжали железные обручи.

Айдабела крикнула:

— Что там?

А он не мог ответить. Не мог издать ни звука, не мог шевельнуться. В полушаге от него, свернувшись, лежала мокасиновая змея толщиной с его ногу и длинная, как бич; копьевидная голова поднялась, впившись в Джоула узкими зрачками; и его обожгло, словно яд уже побежал по жилам. Айдабела подошла сзади и заглянула через его плечо.

— Черт! — выдохнула она.— Ух черт.

...и от ее прикосновения силы вытекли из Джоула: ручей застыл, превратился в горизонтальную клетку, и ноги перестали держать, словно балка была зыбучим песком. Откуда у змеи глаза мистера Сансома?

— Руби ее,— приказала Айдабела.— Саблей руби.

Вот как все было: они шли в гостиницу «Морок», да, в гостиницу «Морок», где плавал под водой мужчина с рубиновым перстнем, да, и Рандольф листал свой альманах и писал письма в Гонконг, в Порт-оф-Спейн, а бедный Джизус умер, убита кошкой Тоби (нет, Тоби была младенцем), гнездом печной ласточки, упавшим в огонь. И Зу — она уже в Вашингтоне? И там — снег? И почему так пристально смотрит на него мистер Сансом? Это очень, очень невежливо (как сказала бы Эллен), до крайности невежливо со стороны мистера Сансома — никогда не закрывать глаза.

Змея развертывалась с мудреной грацией, вытягивалась к ним, гоня по спине волну, и Айдабела кричала: «Руби, руби!» — а Джоул по-прежнему был всецело поглощен взглядом мистера Сансома.

Айдабела развернула его кругом, отодвинула за спину и выхватила у него саблю.

— Бабуська, гадина,— тыча саблей, дразнила она змею.

Та будто опешила на секунду; потом, с неуловимой для глаза быстротой, напряглась, как натянутая до звона проволока, откинулась назад и сделала выпад.

— Гадина! — Айдабела, зажмурясь, взмахнула саблей, как косой.

Сброшенная в пустоту змея перевернулась, ушла под воду, всплыла на поверхность; скрюченную, белым брюхом кверху, течение унесло ее, словно вырванный корень лилии.

— Нет,— сказал Джоул немного позже, когда победоносная и спокойная Айдабела уговаривала его перейти на ту сторону.— Нет,— ибо зачем было теперь искать отшельника? С опасностью они уже встретились, и амулет ему был не нужен.

11

За ужином Эйми объявила:

— Сегодня у меня день рождения. Да, день рождения — и хоть бы кто вспомнил. Будь с нами Анджела Ли, я испекла бы огромный пирог с сюрпризом в каждом ломтике: золотыми колечками, жемчужинкой для моих жемчужных бус, серебряными пряжечками для башмаков... ах, подумать только!

— Поздравляю вас,— сказал Джоул, хотя здоровья не так уж ей и желал: когда он вернулся домой, она бросилась навстречу с определенным намерением — во всяком случае, так она заявила — разбить о его голову зонтик, ввиду чего Рандольф распахнул свою дверь и предупредил ее вполне серьезно, что если она только дотронется когда-нибудь до мальчика, он свернет ей к чертям шею.

Рандольф продолжал глодать свиную голяшку, а Эйми, полностью игнорируя Джоула, сердито смотрела на него, и губы у нее дрожали, а брови всползали все выше и выше.

— Ешь, ешь себе, разжирей, как свинья,— сказала она и рукой в перчатке стукнула по столу: стук был как от деревяшки, и потревоженный старик будильник принялся трезвонить; все сидели без движения, пока он жалобно не иссяк.

Затем морщины на лице у Эйми прорисовались рельефнее вен, и, до нелепости горько всхлипнув, она разразилась слезами и заикала.

— Глупое животное,— всхлипывая, сказала она.— Кто еще тебе когда-нибудь помогал? Анджела Ли отправила бы тебя на виселицу! А я — жизнь за тебя положила.— И, перемежая икоту извинениями, икнула раз двенадцать подряд.— Вот что скажу тебе, Рандольф: моя бы воля, ни на секунду бы здесь не осталась, уборщицей пошла бы к каким угодно потным неграм; не думай, заработать себе на пропитание я всегда сумею — в любом городе

Америки матери будут присылать ко мне детей, и мы будем организовывать игры: жмурки, шарады — и я буду брать по десять центов с ребенка. Без куска хлеба не останусь. Зависеть от тебя мне нет нужды; будь у меня хоть капля здравого смысла. давно бы села и написала письмо в полицию.

Рандольф положил нож на вилку и промокнул губы рукавом кимоно.

— Извини, дорогая,— сказал он,— боюсь, что не уследил за твоей мыслью: в чем именно ты усматриваешь мою вину?

Его двоюродная сестра покачала головой и глубоко, прерывисто вздохнула; слезы перестали капать, икота прекратилась, и на лице ее внезапно возникла застенчивая улыбка.

— Сегодня день моего рождения,— чуть слышно прошелестела она.

— До чего странно. Джоул, тебе не кажется, что день исключительно теплый для января?

Джоул настроил слух на то, что должно было зазвучать за их голосами: три свистка и крик совы — сигнал Айдабелы. От нетерпения ему казалось, что выдохшийся будильник остановил и само время.

— Да-да, для января,— ведь ты, моя милая, родилась (если верить семейной библии, хотя верить ей никак нельзя — уж больно много свадеб там датировано по ошибке девятью месяцами раньше) января первого числа, вместе с Новым годом.

Эйми робко, по-черепашьи втянула голову в плечи и снова начала икать, но теперь не возмущенно, а горестно.

— Ну-у, Рандольф... Рандольф, у меня праздничное настроение.

— Тогда — винца,— сказал он.— И песню на пианоле; да загляни еще в комод — наверняка найдешь там старые собачьи галеты, кишащие маленькими серебряными червячками.

С лампами они перешли в гостиную, а Джоул, посланный наверх за вином, быстро зашел в комнату Рандольфа и открыл окно. Внизу огненные, только что распустившиеся розы горели, как глаза, в августовских сумерках; надушенный ими воздух казался цветным. Он свистнул, шепотом позвал: «Айдабела, Айдабела»,— и она появилась с Генри из-за покосившихся колонн. «Джоул»,— произнесла она неуверенно, и позади нее ночь перчаткой наделась на каменную пятерню, будто согнувшуюся в потемках, чтобы захватить девочку; но Айдабела ускользнула от каменной хватки: откликнувшись на зов Джоула, она сразу подбежала к окну.

— Ты готов? — Она сплела ошейник из белых роз для Генри, и у нее самой в волосах криво торчала роза.

Айдабела, подумал он, какая ты красивая.

— Иди к почтовому ящику. Там встретимся.

Без огня ходить по дому было уже темно. Он зажег свечу на столе Рандольфа, подошел к шкафу и отыскал непочатую бутылку хереса. Когда он нагнулся задуть свечу, в глаза ему бросился зеленый листок почтовой бумаги и на нем, знакомым изящным почерком, начало: «Дорогой мой Пепе». Так вот кто сочинял письма к Эллен — и как же он не сообразил, что мистер Сансом не может написать ни слова? В темном коридоре свет лампы обозначил контуром дверь мистера Сансома, которую на глазах у Джоула медленно раскрывал сквозняк; он увидел комнату будто через перевернутый бинокль, так схожа с миниатюрой была она в своей желтой четкости: и свесившаяся с кровати рука с обручальным кольцом, и пейзажи Венеции на матовом шаре лампы, спроецировавшей на стены и на одеяло их бледные цвета, и в зеркале метание — этих глаз, улыбки. Джоул вошел на цыпочках и опустился на колени возле кровати. Внизу разразилась грубой, ярмарочной музыкой пианола — но почему-то не нарушила таинственности и тишины этого мгновения. Он ласково поднял руку мистера Сансома, приложил к своей щеке и держал так, покуда между ними не пошло тепло; он поцеловал сухие пальцы и обручальное кольцо из золота, которое должно было бы охватывать их двоих.

— Я ухожу, папа,— сказал он, и получилось это так, что он как бы впервые признал их родство. Он медленно встал, взял в ладони лицо мистера Сансома и прижался губами к его губам.— Мой единственный

папа,— прошептал он, и повернулся, и пошел вниз, и на ходу повторил эти слова еще раз — но теперь уже самому себе.

Он пристроил бутылку вина под вешалкой в зале и, укрывшись за занавеской, заглянул в гостиную; Эйми и Рандольф не слышали, как он спустился по лестнице: Эйми сидела на табуретке у пианолы, усердно обмахивалась веером и без устали притопывала ногой, а Рандольф, совершенно разомлев от скуки, созерцал арку, где должен был появиться Джоул. Но Джоула уже не было; он бежал — к почтовому ящику, к Айдабеле, на волю. Дорога стелилась под него рекой, словно фейерверочная ракета, воспламененная вдруг блеснувшей свободой, мчала его за собой в хвосте искр-звезд.

— Бежим! — крикнул он Айдабеле, потому что немыслимо было остановиться, пока Лендинг не скроется из виду навеки,— и Айдабела неслась перед ним, и тугой ветер сметал назад ее волосы; когда дорога прянула на холм, Айдабела будто полезла в небо по прислоненной к луне стремянке.

За холмом они остановились, тяжело дыша и встряхивая головами.

— Они гнались за нами? — спросила Айдабела, и роза в ее волосах обронила несколько лепестков.

— Теперь нас никто не поймает, никогда.

Они все время держались дороги — даже там, где она прошла вблизи ее дома,— и Генри трусил между ними; выбившиеся из ошейника розы впитывали холодный свет луны, и Айдабела сказала, что с голоду готова съесть розу «или траву и поганки». Ничего, ответил Джоул, только до города потерпеть: он раскошелится и угостит ее мясом в «Королевском крове Р. В. Лейси». Вспомнили ту ночь, когда он ехал в Лендинг и по дороге услышал ее и Флорабелы пение. Пристыли тогда к звездам его глаза, и старая телега завезла его за кордон сна, зимней спячки, от которой только теперь он радостно пробуждался,— ибо все приключившееся было сном, и узор его распускался быстрее, чем успевала связывать память,— только Айдабела и осталась, а прочее стушевалось, как тени в темноте.

— Я помню,— сказала она,— я думала, ты такая же дрянь, как Флорабела; честно говоря, и не передумывала, до нынешнего дня.

Как будто застеснявшись, она сбежала к узенькому ручейку, журчавшему у обочины, и стала пить из горсти; потом вдруг выпрямилась, приложила палец к губам и поманила Джоула.

— Слышишь? — шепнула она.

За густой листвой, смешиваясь в едином ритме, как ласка дождя, звучали два голоса, один — бычьего тона, другой — похожий на гитару: замысловатое плетение шелестящих шепотов, вздохов без грусти, молчаний, более глубоких, чем пустота. Неслышно, по мху, они прошли сквозь лиственную чащу и остановились перед прогалиной: под тонкими пасмами луны и папоротников лежали, раздевшись и обнявшись, негр и негритянка — кофейное тело мужчины браслетами охватывали темные руки и ноги возлюбленной, а он водил губами по ее соскам: о-о, о-о, Саймон, милый, вздыхала она, и любовь плескалась в ее голосе, любовь прокатывалась по ней громом; тише, Саймон, милый Саймон, тише, родной, ворковала она и вдруг напряглась, подняла руки, точно обнимая луну; возлюбленный сник поперек нее, и вдвоем, раскинувшись, они образовали на лунном мху черную падшую звезду. Айдабела бросилась прочь, напролом, расплескивая листву, и Джоул, едва поспевая за ней, шептал тс-с, тс-с и думал, как нехорошо пугать возлюбленных, жалел, что она так быстро ушла, потому что, когда он смотрел на них, сердце его будто билось по всему телу, и все неопределенное шушуканье слилось в единый рев желания: он знал теперь — и вовсе это не смешок и не внезапное белого каления слово; просто двое, друг с другом в нераздельности: точно прибой отступил, оставил его на белом, как мел, берегу — и как же хорошо было покинуть наконец такое серое, такое холодное море. Ему хотелось идти с ней рука об руку, но она крепко сжала кулаки и, когда он заговорил с ней, ответила только злым, враждебным, испуганным взглядом; они будто поменялись сейчас ролями:

днем под мельницей она была героем,— вот только оружия у него теперь не было, чтобы защитить ее, да если бы и было, он все равно не знал, кого или что им надо убить.

Огни чертова колеса кружились вдалеке; ракеты взлетали, лопались, осыпали Нун-сити радужным дождем; тараща глаза, бродили дети со взрослыми, в самых лучших летних нарядах, и огни карнавала точками отражались в их глазах; из-за тюремной решетки одиноко и печально глядел молодой негр, а девушка топазового цвета стремительно прошла мимо, шурша красными шелковыми чулками, и крикнула ему что-то бесстыдное. На веранде старого треснутого дома старики вспоминали карнавалы прошлых лет, а мальчишки бегали за кусты пописать и смеялись там, щипались. Мороженое выскальзывало из чумазых пальцев, лопались вафельные стаканчики, и капали слезы, но никто не был несчастлив, никто не думал о будущих и прошлых трудах.

Здорово, Айдабела! Как дела, Айдабела? — а с ним никто ни слова, он был чужой, они его не знали; вспомнила только Р. В. Лейси.

— Смотри — маленький мой! — сказала она, когда они появились в дверях «Королевского крова», и собравшиеся там — городские девки с нахальными мордочками и неотесанные фермерские парни с коровьим недоумением в глазах — перестали шаркать под музыкальный автомат; одна из них подошла и пощекотала Джоулу подбородок.

— Где взяла такого, Айдабела? Хорошенький.

— Отвали, соплячка,— ответила Айдабела, усевшись за стойку.

Мисс Роберта Лейси погрозила ей пальцем.

— Сколько раз я тебя предупреждала, Айдабела Томпкинс: этих гангстерских манер я здесь не потерплю. Кроме того, тебе ясно было сказано: забудь сюда дорогу, раз ведешь себя, как Красавчик Флойд — да еще в таком наряде, в каком приличной девушке вообще стыдно появляться. А ну, сгинь со своей паршивой собакой.

— Не надо, мисс Роберта,— вмешался Джоул,— Айдабела ужасно голодная.

— Тогда пускай идет домой и учится мужчинам стряпать (смех); кроме того, у нас тут кафе для взрослых (аплодисменты). Ромео, напомни мне повесить такое объявление. А еще, Айдабела, твой папа сюда заходил, разыскивал тебя, и у меня такое предчувствие, что нажгут тебя сегодня по сдобной попочке (смех).

Айдабела искоса уставилась на хозяйку, а затем — сочтя это, видимо, наиболее выразительным ответом — плюнула на пол; после чего засунула руки в карманы и гордо вышла. Джоул двинулся было за ней, но Р. В. Лейси схватила его за плечо.

— Маленький мой,— сказала она, крутя длинный черный волос, росший из бородавки на подбородке,— с кем же ты компанию водишь, сладенький? Айдабелин папа тут жаловался, что она своей красивой сестричке нос сломала и зубы чуть не все выбила.— Ухмыляясь и почесывая под мышками, как обезьяна, она добавила: — Ты не думай, что Роберта злая, с тобой Роберта добрая,— и вручила ему пакетик соленого арахиса — бесплатно.

Айдабела сперва объяснила ему, куда он может засунуть эти орешки, но потом, конечно, смягчилась и съела их соло. Она позволила взять себя за руку, и они спустились к площади, где праздничным ульем гудел приезжий цирк. Карусель, печальная обшарпанная игрушка, вертелась под звон колокольчиков, а цветные, которых на нее не сажали, стояли кучкой в отдалении и радовались волшебному вращению больше, чем сами седоки. Айдабела отвалила 35 центов на метание дротиков, с тем чтобы выиграть новую пару темных очков взамен раздавленной Джоулом,— и какой же скандал она подняла, когда человек в соломенной шляпе попытался всучить ей трость! Очки она, ясное дело, отбила, но они оказались велики и все время съезжали на нос. В десятицентовом шатре они видели четырехногого цыпленка (чучело) и двухголового младенца, плававшего в стеклянной банке, как зеленый осьминог; Айдабела долго разглядывала его, а когда отвернулась,

глаза у нее были влажны: «Бедный малютка,— сказала она.— Бедная крошка». Утиный Мальчик ее развеселил; он и правда был умора: крякал, строил дурацкие рожи, хлопал перепончатыми руками, а один раз даже расстегнул рубашку и показал обросшую белыми перьями грудь. Джоулу больше понравилась миссис Глициния, показавшаяся ему — и Айдабеле тоже — прелестной маленькой девочкой; не верилось, что она лилипутка, хотя сама Глициния сказала, что ей двадцать пять лет и она только что вернулась с больших гастролей по Европе, где выступала перед всеми коронованными особами: ее золотую головку тоже украшала мерцающая каменьями корона; на ногах у нее были изящные серебряные туфельки (удивительно, как ей удавалось ходить почти на цыпочках), а платье из пурпурного шелка, перехваченное желтым шелковым кушаком, ниспадало красивыми складками. Она прыгала и скакала, смеялась, пела песню, читала стихотворение, а когда сошла с эстрады, Айдабела в таком волнении, в каком Джоул ее еще не видел, бросилась к ней и сказала: не откажитесь, выпейте с нами газированной воды.

— С наслаждением,— сказала мисс Глициния, крутя толстый золотой локон.— С наслаждением.

Айдабела была сама услужливость: она принесла кока-колу, нашла, где им сесть, и держала Генри на расстоянии, поскольку мисс Глициния призналась, что опасается животных.

— Честно говоря,— пролепетала она,— я не думаю, что Бог хотел их сотворить.

Младенчески пухлое лицо ее было бледным, эмалевым, и только бантик губ алел помадой; руки у нее порхали так, будто жили отдельной жизнью, и время от времени она поглядывала на них с большим недоумением; они были меньше детских, эти ручки, но худые, взрослые и с крашеными ногтями.

— Очень мило с вашей стороны,— сказала она.— Вот в цирке много обыкновенных притворщиков, а я притворства не признаю, я хочу нести мое искусство людям... многие просто не понимают, как это я подвизаюсь в такой труппе... Слушай, мне говорят, ты же была в Голливуде, получала тысячу долларов в неделю как дублерша Шерли Темпл... а я им говорю: дорога к счастью не всегда асфальтовая.

Допив, она вынула помаду и подвела кукольные губки; и тогда случилась странная вещь: Айдабела попросила у нее помаду и нарисовала нечто клоунское на губах, а мисс Глициния захлопала в ладоши и завизжала от радости. Айдабела отозвалась на это веселье глупой, полной обожания улыбкой. Джоул не понимал, что на нее нашло. Околдовала ее лилипутка? Айдабела продолжала пресмыкаться перед златовласой Глицинией, и ему пришло в голову, что она влюблена. Нет, торопиться ей некуда — времени полно, сказала Айдабела и предложила покататься на чертовом колесе.

— С наслаждением,— ответила мисс Глициния.— С наслаждением.

Громовый всполох тряхнул звезды, от шнуровой вспышки занялся огнем венец мисс Глицинии, и стеклянные алмазы продолжали мерцать под розовыми лампами чертова колеса. Джоул увидел снизу, как ее руки-крылышки слетели на волосы Айдабелы, вспорхнули снова, стиснули мрак, словно поедая его черное содержимое. Люлька пошла вниз, и смех их плескался, как длинный кушак Глицинии; потом они взмыли к новой вспышке молнии и в ней растворились; но все равно он слышал игрушечный флейтовый голос лилипутки, звеневший по-комариному над праздничным гомоном площади: Айдабела, вернись, подумал он, испугавшись, что больше никогда не увидит ее, что она отправится в небо с мисс Глицинией; Айдабела, вернись, я люблю тебя. И она уже стояла рядом и говорила: «Там далеко видать, там прямо небо достаешь»,— и уже он сидел в колесе наедине с Глицинией и вместе с ней смотрел, как уменьшается Айдабела под шаткой расхлябанной люлькой.

Ветер раскачивал их, как фонарь; это — ветер, думал Джоул, видя, как трепещут вымпелы над шатрами, как скачут зверьками по земле скомкан-

ные бумажки, а дальше, на стене старого дома, где бандит-северянин убил трех женщин, драные афиши танцуют танец скелетов. В люльке перед ними сидела мать в чепце, и ее маленькая дочка баюкала куклу из кукурузной кочерыжки; они махали фермеру, ждавшему внизу. «Слазьте оттуда,— кричал он,— дождь собирается». А их кружило, и ветер шуршал пурпурным шелком Глицинии.

— Сбежали, да? — спросила она, с улыбкой показав заячьи зубы.— Я ей сказала и тебе скажу: мир — пугающее место.— Она широко развела руки и в этот миг показалась ему Вселенной, то есть географией, сушей и морем и всеми городами из Рандольфова альманаха: забавные ручки, порхавшие в пустоте, охватили земной шар.— И какое же пустынное. Я убежала. У меня было четверо сестер (Моди ездила на конкурс красоты в Атлантик-сити как Мисс Мэриленд — такая красавица), высокие интересные девушки, а мама, Царствие ей небесное, была без туфель под метр восемьдесят. Мы жили в Балтиморе, в большом доме, самом видном на нашей улице, и в школу я никогда не ходила; я была такая маленькая, что могла сидеть в маминой корзинке для шитья, а она шутила, что я в игольное ушко пролезу; у Моди был поклонник, который мог поставить меня на ладонь, и в семнадцать лет я сидела за ужином на высоком детском стульчике. Мне говорили: не играй одна, еще есть маленькие люди, пойди найди их, говорили,— они живут в цветах. Сколько я оборвала лепестков, но сирень она и есть сирень, и в розе ни в одной я не нашла людей; кофейной гущей сыта не будешь, и в рождественском чулке — ничего, кроме конфет. Потом мне исполнилось двадцать, и мама сказала, что так не годится, что у меня должен быть жених, и написала письмо в «Любимые» — брачное агентство в Ньюарке. И, представляешь, приехал свататься — но чересчур большой и очень некрасивый, и было ему семьдесят семь лет; ну, все равно, я, может, и пошла бы за него, да он, как увидел, какая я маленькая, сразу же: «Пока» — и обратно на поезд, восвояси. Так и не нашла я себе хорошего маленького человека. Есть дети, но как представлю, что мальчики все вырастут, бывает, даже заплачу иной раз.

Во время этого рассказа голос ее окреп и посуровел, а руки спокойно улеглись на коленях. Айдабела махала им, кричала, но ветер относил ее слова, и мисс Глициния грустно заметила:

— Бедная девочка, думает, что она тоже уродец?

Она положила руку ему на бедро, и пальцы сами, словно совсем не подчиняясь ей, пробрались к нему между ног; она смотрела на руку с напряженным изумлением, но как будто не в силах была убрать ее; а Джоулу, смущенному, но осознавшему вдруг, что он никого на свете больше не обидит — ни мисс Глицинию, ни Айдабелу, ни маленькую девочку с кукурузной куклой,— так хотелось сказать ей: ничего страшного, я люблю тебя, люблю твою руку. Мир — пугающее место — да, он знал это,— ненадежное: что в нем вечно? или хоть кажется таким? скала выветривается, реки замерзают, яблоко гниет; от ножа кровь одинаково течет у черного и у белого; ученый попугай скажет больше правды, чем многие люди; и кто более одинок — ястреб или червь? цветок расцветет и ссохнется, пожухнет, как зелень, над которой он поднялся, и старик становится похож на старую деву, а у жены его отрастают усы; миг за мигом, за переменой перемена, как люльки в чертовом колесе. Трава и любовь всего зеленее; а помнишь Маленькую Трехглазку? ты к ней с любовью, и яблоки спеют золотом; любовь побеждает Снежную королеву, с нею имя узнаю́т — будь то Румпельштильцхен или просто Джоул Нокс: вот что постоянно.

Стена дождя двигалась на них издалека; задолго стал слышен его шум — словно стая саранчи гудела. Механик чертова колеса стал выпускать пассажиров. «Ой, мы будем последние»,— запищала мисс Глициния, потому что они зависли сейчас на самом верху. Стена дождя заваливалась на них, и лилипутка вскинула руки, точно хотела ее оттолкнуть. Дождь обрушился, как приливная волна; Айдабела и все люди бросились бежать.

Внизу, на пустой площадке, стоял один человек без шляпы. Джоул,

лихорадочно ища взглядом Айдабелу, сперва и не заметил его. Внезапно с голубым треском замкнулась электрическая линия, и в этот миг человек без шляпы будто осветился изнутри; казалось, до него рукой подать. «Рандольф»,— прошептал Джоул, и от этого имени у него перехватило горло. Видение было мимолетным, ибо лампочки тут же потухли, и, когда колесо сделало последнюю остановку, Рандольф уже исчез.

— Подожди,— просила мисс Глициния, расправляя промокшее платье,— подожди меня.

Но выпрыгнул первым и побежал от одного укрытия к другому; Айдабелы не было в десятицентовом шатре: там никого не было, кроме Утиного Мальчика, раскладывавшего при свече пасьянс. Не было ее и среди людей, которые сгрудились под тентом карусели. Он пошел в платную конюшню. Он пошел в баптистскую церковь. И наконец, исчерпав, кажется, все возможности, очутился на веранде старого дома. По пустынному ее простору, взвившись спиралью, с шорохом носились листья; пустые качалки легонько покачивались, старинный плакат птицей пронесся по воздуху и облепил ему лицо; он попробовал освободиться, но плакат льнул к нему, как живой, и Джоул вдруг испугался еще больше, чем при виде Рандольфа: ему не избавиться ни от того, ни от другого. Хотя, чем же так страшен Рандольф? Если он нашел его, то это значит, что он всего-навсего посланец пары телескопических глаз. Ничего плохого Рандольф ему не сделал (еще, до сих пор, пока). Он опустил руки, и — чудо: стоило их опустить, как плакат сам отлетел, подвывая под секущим ливнем. С такою же ли легкостью утишит он другой гнев, безымянный, чей вестник явился в образе Рандольфа? Вьюны из Лендинга протянулись сюда через мили, обвили его запястья, и планы его, его и Айдабелы, лопнули, как расколотое громом небо,— но нет, не совсем еще, надо только ее найти,— и он вбежал в дом: «Айдабела, ты здесь, ты здесь?»

Гул безмолвия был ему ответом; там, сям сторонний звук: дождь в дымоходе, словно шорох крыльев, мышиная пробежка по битому стеклу, девичья поступь той, что вечно бродит по ступенькам, и ветер -- отворяет двери, притворяет, ветер шепчет печально под потолком, дышит кислой сыростью ему в лицо, долгим выдохом продувает комнаты; Джоул позволил подхватить себя ветру: голова у него была легкой, как воздушный шарик, и полой; лед вместо глаз, вместо зубов шипы, язык из фланели; в это утро он видел рассвет, но с каждым шагом, приближавшим его (неведомо по чьей указке, такое было чувство) к пропасти, все меньше надежды оставалось увидеть новый: сон был как дым, Джоул вдыхал его всей грудью, но он обратно уходил в воздух — цветными кольцами, мошками, искрами, чьи вспышки только и удерживали от того, чтобы свалиться на пол кучей тряпья: предупреждениями были эти огненные мухи: не засни, Джоул, в Эскимосии сон — погибель, сон — конец; помнишь? Она мерзла, мать, она уснула, и волосы пахли снежной росой; если бы он только мог оттаять ей глаза, она бы обняла его здесь и сказала, как он сказал Рандольфу: «Все будет хорошо»,— нет, она раскололась, как замороженный хрусталь, и Эллен собрала осколки в ящик, обложенный гладиолусами по пятьдесят центов дюжина.

Где-то у него была своя комната, была кровать: видение приюта дрожало перед ним точно в знойном мареве. Айдабела, почему ты поступила так ужасно!

На веранде раздались шаги; хлюп-хлюп промокших туфель; внезапно луч фонарика просунулся в окно гостиной и на секунду уперся в больное, крапчатое зеркало над камином; зеркало осветилось, как пласт студня, и фигура за окном курилась смутно в амальгаме; невозможно было узнать, кто там, но, когда луч ушел и шаги зазвучали в холле, Джоул понял, что это — Рандольф. И родилась в голове унизительная догадка: неужели с тех пор, как он сбежал из Лендинга, не остался незамеченным ни один его шаг? Как же должно было удивить мистера Сансома их прощание!

Он присел за дверью; сквозь щель между петлями он видел холл: свет полз по нему огненной сороконожкой. Пускай Рандольф найдет его, он

будет только рад. Но что-то мешало ему подать голос. Хлюпающие шаги приблизились к двери, и он услышал: «Маленький мальчик, маленький мальчик»,— жалобное хныканье.

Мисс Глициния стояла так близко, что он обонял сырую затхлость ее сморщенных шелков; кудри ее распрямились, маленькая корона сбилась набекрень, желтый кушак линял на пол. «Маленький мальчик»,— повторяла она, водя фонарем по выгнутым, треснувшим стенам, где карликовый ее силуэт путался с бегучими тенями предметов. «Маленький мальчик»,— повторяла она, и от безнадежности ее зов звучал еще жалостнее. Но Джоул боялся показаться: то, чего она хотела, он не мог ей дать: его любовь была в земле, раздроблена и недвижима, с сухими цветами на месте глаз, мхом на губах, любовь была далеко, питалась дождем, и лилии вскипали над ее останками. Глициния ушла, поднималась по лестнице, и Джоул, слушая ее шаги наверху, где от нужды в нем она обыскивала дебри комнат, ощутил нестерпимый стыд: что́ его ужас по сравнению с ее ужасом? У него — комната, у него постель, в любую минуту он убежит отсюда, придет туда. А для мисс Глицинии, которая плачет оттого, что маленькие мальчики вырастут большими, всегда будет это странствие по умирающим комнатам, пока, в один печальный день, она не найдет своего нежданного — улыбальщика с ножом.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

12

Он приговорил себя: он виновен: его руки приступили к исполнению приговора: месмерически нашли патрон, украденный у Сэма Редклифа (Простите, пожалуйста, мистер Редклиф, я не хотел воровать), и вложили в старинный индейский пистолет майора Нокса (Детка, сколько раз я тебя просила: не трогай эту гадость.— Мама, не ругай меня, мамочка, у меня кости болят, я весь горю.— Добрые умирают холодом, злые — огнем: ветры ада голубые пышут сладким мимозным мозга жаром, рогатые детки с раздвоенными языками пляшут на лужайке, а лужайка — поверхность солнца, и краденое привязано к их хвостам, как жестянка к кошке,— знак воровской жизни), и пустили пулю ему в голову: ух ты, ничего, только щекотно, ух, как же теперь? Но что это? Он очутился там, где и не чаял снова побывать — в прятаной тайной комнате, откуда жаркими нью-орлеанскими днями смотрел, как сеется снег, сквозь опаленные августом ветви: звонко зацокали по мостовой копыта северных оленей, и злодейски-элегантный в черной мантии Мистер Мистерия появился на великолепных санях: они были сделаны из ароматичного дерева, резной красный лебедь украшал передок, а над ними стоял парус из снизанных серебряных колокольчиков,— и какую же знобкую музыку играл он, звеня и раздуваясь, когда Джоул, угревшийся в складках мантии Мистера Мистерии, мчался по заснеженным полям и небывалым склонам!

Но вдруг способность управлять приключениями в тайной комнате покинула его: перед ними выросла ледяная стена, и сани мчались к верной гибели, которой огорчат страну ночные радио: Выдающийся маг Мистер Мистерия и всеобщий любимец Джоул Харрисон Нокс погибли сегодня в катастрофе, также унесшей жизни шести северных оленей... кр-кр-рак, лед прорвался, как целлофан, и сани вкатились в гостиную Лендинга.

Там происходила странная вечеринка. Присутствовали: мистер Сансом, Эллен Кендал, мисс Глициния, Рандольф, Айдабела, Флорабела, Зу, Маленький Свет, Эйми, Р. В. Лейси, Сэм Редклиф, Джизус Фивер, обнаженный человек в боксерских перчатках (Пепе Альварес), Сидни Кац (хозяин кафе «Утренняя звезда» в Парадайс-Чепеле), толстогубый каторжник с длинной бритвой на цепочке, вроде какой-то зловещей ладанки (Кег Браун), Ромео, Сэмми Силверстайн и еще три члена Секретной девятки Сент-Дивал-стрит. Почти все — в черных, довольно торжественных наря-

дах; пианола играла «Ближе к Тебе, Господи». Не замечая саней, наклонной черной вереницей они обходили можжевеловый сундук, увитый гладиолусами, и каждый опускал туда свое приношение: Айдабела — темные очки, Рандольф — альманах, Р. В. Лейси — волос из бородавки, Джизус Фивер — скрипку, Флорабела — пинцет, мистер Сансом — теннисные мячики, отшельник — чудесный амулет, и так далее: в сундуке же покоился сам Джоул, весь в белом, с напудренным и нарумяненным лицом и влажными золотисто-каштановыми кудрями; прямо ангел, говорили они, красивее Алкивиада, красивее, говорил Рандольф, а Айдабела хныкала: поверьте, я хотела его спасти, а он — ни с места, а змеи страшно быстрые. Мисс Глициния, надевая на него свою корону, так сильно перегнулась через край, что чуть не упала в сундук: слушай, шептала она, меня не проведешь, я знаю, что ты жив,— если не ответишь сейчас, не буду тебя спасать, не скажу ни слова: мертвые так же одиноки, как живые? Тут комната начала колебаться, сперва тихонько, потом сильнее, стулья опрокидывались, горка вывалила свое содержимое, зеркало треснуло, пианола, сочинявшая свой собственный гибельный джаз, пустилась во все тяжкие, и дом стал тонуть, уходить в землю, все глубже и глубже, мимо индейских могил, мимо глубоких корней, холодных подземных ручьев, в косматые руки рогатых детей со шмелиными глазами, которые могут глядеть без ущерба на огненный лес.

Ритм качалки был давно ему знаком: парамп, парамп, час за часом, сколько часов он слушал его, летя в пространстве? и можжевеловый сундук в конце концов включился в эту качку: если падаешь, падаешь вечно с качалкой увечной, можжевеловый гроб, качания скрип; он стискивал подушку, хватался за столбы кровати, потому что морем лампового света плыла, плавно по волнам качалки, и качка была звоном колокольного буя — кто этот пират, который придвигается с каждым скрипом? До рези в глазах он напрягал зрение, силясь узнать его: кружевные маски морочили, матовое стекло застило — то ехали в кресле Эйми, то Рандольф, то Зу. Но Зу не могла тут быть, Зу шла по Вашингтону с аккордеоном, объявлявшим о каждом ее шаге. Неузнанный голос ссорился с ним, дразнил, изводил, выдавал секреты, которых он не открывал и самому себе; замолчи, кричал он и плакал, пытаясь заглушить этот голос, но голос, конечно, был его собственный: «Я видел тебя под чертовым колесом»,— упрекал он пирата в кресле. «Нет,— отвечал пират,— я не уходил отсюда, милый мальчик, милый Джоул, всю ночь я прождал тебя, сидя на лестнице».

И вечно грыз он горькие ложки, и силился продохнуть сквозь шарфы, смоченные в лимонной воде. Руки заботливо расправляли занавес сонного сумрака; пальцы, худые и твердые, как у Зу, перебирали ему волосы, и другие пальцы, прохладней этих и летучее морских брызг; их утешительным арабескам вторил голос Рандольфа, еще более мягкий.

И вот однажды днем качалка стала самой собой, и будто ножницы прошлись кругом его сознания, и когда он отряхнул мертвые отрепья, Рандольф принял нормальный облик, осветился в блаженной близи.

— Рандольф,— сказал Джоул, потянувшись к нему,— ты меня ненавидишь?

Рандольф с улыбкой прошептал:

— Тебя, деточка? Ненавижу?

— За то, что сбежал. Сбежал и оставил твой херес под вешалкой.

Рандольф обнял его, поцеловал в лоб, и Джоул, измученный и благодарный, сказал:

— Я болен, очень болен.

И Рандольф ответил:

— Ляг, мой дорогой, лежи спокойно.

Так вплыл он глубоко в сентябрь; райские глубины постели простирались в будущее, и каждая пóра тела благодарно вбирала ее охранную прохладу. А когда он думал о себе, мысль развивалась в третьем лице,

обращенная на другого Джоула Нокса, который занимал его весьма умеренно — примерно так, как занимает человека его детская фотокарточка: что за дундук! с удовольствием расстался бы с ним, с этим прежним Джоулом... правда, не сейчас — почему-то он еще нужен. Каждый день он подолгу изучал свое лицо в зеркале и, в целом, оставался разочарован: увиденное никак не подтверждало подозрений насчет того, что в нем пробуждается мужественность, хотя кое-что в лице изменилось: исчез детский жирок, и обозначилась истинная форма, взгляд потерял мягкость, стал тверже: лицо невинное, но без прежнего обаяния, лицо, внушающее тревогу: слишком трезвое для ребенка, слишком миловидное для мальчишки. Трудно было определить возраст. Единственное, что ему решительно не нравилось,— прямые каштановые волосы. Он хотел бы кудрявые и золотые, как у Рандольфа.

Непонятно было, спит ли вообще Рандольф; казалось, он покидал качалку только на то время, когда Джоул ел или справлял нужду; случалось, проснувшись ночью, при луне, которая заглядывала в окно, как бандитский глаз, Джоул видел мерцавшую во тьме астматическую сигарету Рандольфа: да, дом утонул, но он был не один, другой уцелел — и не чужой, а тот, кто добрей и лучше всех на свете, друг, чья близость есть любовь.

— Рандольф,— сказал он,— ты когда-нибудь был таким молодым, как я?

И Рандольф сказал:

— Я никогда не был таким старым.

— Рандольф,— сказал он,— знаешь что? Я очень счастлив.

На это его друг не ответил. А счастье, кажется, состояло лишь в том, что он не чувствовал себя несчастным; вернее, он ощущал в себе некое равновесие. Даже туман, всегда окутывавший речи Рандольфа, и тот рассеялся или, по крайней мере, больше не мешал — Джоулу казалось, что он понимает их до конца. Так, открывая другого, большинство людей испытывают иллюзию открытия самих себя: глаза другого отражают их истинную чудную ценность. Такое чувство было у Джоула, и было оно ни с чем не сравнимо, это счастье, подлинное или мнимое,— оттого, что он впервые совершенно отчетливо видел друга. И он больше не хотел никакой ответственности, он хотел вверить себя другу и, как сейчас, на ложе скорби, зависеть от него самой своей жизнью. В результате созерцание себя в зеркале стало делом мучительным: теперь словно бы только один глаз искал там признаков взросления, другой же, и все более внимательный, заглядывал внутрь, с надеждой, что его обладатель навсегда останется таким, как сейчас.

— Сегодня прямо октябрьский холод,— сказал Рандольф, ставя в вазу у кровати полуосыпавшиеся розы.— Боюсь, это последние, вялые — даже пчелы потеряли к ним интерес. А вот еще тебе осенняя примета — лист платана.

На другой день, хотя погода была мягче, он разжег камин, и у огня они чокнулись алтеем и пили чай из двухсотлетних чашек. Рандольф изображал разных людей. Чарли Чаплин получился у него как живой, Мэй Уэст [1] — тоже, а когда он зло спародировал Эйми, с Джоулом сделался припадок, такой, когда смех становится для самого себя затравкой; и Рандольф сказал ха! ха! сейчас он покажет кое-что действительно смешное.

— Только мне надо нарядиться,— предупредил он, блестя глазами, и направился было в коридор; потом отпустил ручку двери и обернулся.— Но уговор: когда покажу, не смеяться.

Ответом Джоула был смех, он не мог остановиться — это было как икота. Улыбка стекла с лица Рандольфа, как растаявшее масло, и, когда Джоул крикнул: «Давай, ты же обещал», он сел, сжал круглую розовую голову между ладонями и устало ответил:

— Не сейчас. Как-нибудь в другой раз.

Однажды утром Джоул получил свою первую в Лендинге почту; принес

---

[1] Американская актриса.

ее Рандольф, явившийся к нему с «Макбетом», которого они собирались читать.

— Это от девочки, что живет по дороге,— сказал он, и у Джоула захватило дух: голенастая и независимая, вышла из стены Айдабела и уселась в качалку.

Он не думал о ней толком с того циркового вечера и, хотя не мог объяснить такую забывчивость, ничего противоестественного в этом не усмотрел: как-никак она была одной из тех, кто сгинул, когда утонул в земле дом, из тех, чьи имена занимали прежнего Джоула, и теперь на покоробленных пятнистых октябрьских листьях читались ветром. Тем не менее, Айдабела вернулась — призраком, быть может, но вернулась сюда, в комнату: Айдабела-хулиганка, обстреливавшая камнями однорукого парикмахера, Айдабела с розами, Айдабела с саблей, Айдабела, которая призналась, что иногда плачет: вся осень была в листе платана, и рыжий цвет ее волос в его цвете, и ржавый грубый тон ее голоса в его ржавом черенке, склад и образ ее лица в обгрызенном контуре.

На открытке с изображением радостных сборщиков хлопка и алабамским почтовым штемпелем значилось: «Миссис Колли сводная сестра, а он баптистский священник. Прошлое воскресенье я ходила по церкви с тарелкой! папа и Ф застрелили Генри. Они засадили меня сюда на всю жизнь, зачем ты Спрятался? пиши АЙДАБЕЛЕ ТОМПКИНС».

По правде говоря, он ей не поверил; она сама себя посадила, но не к баптистскому священнику, а с мисс Глицинией. Он передал открытку Рандольфу, а тот предал ее огню: Айдабела и сборщики хлопка скукожились, и в этот миг он готов был рукой пожертвовать для их спасения, но Рандольф уже надел золотые очки и начал: «Первая ведьма. Когда средь молний, под дождем сойдемся снова мы втроем?», и Джоул улегся и стал слушать, уснул и проснулся с криком, потому что лез по дымоходу за Айдабелой и вместо нее были только дым, небо. «Ну тихо, тихо»,— произнес Рандольф, медленно и негромко, голосом, подобным гаснущему свету, и он радовался за Рандольфа, милосердие Рандольфа его обнимало, ему было покойно.

Иногда он бывал близок к тому, чтобы выговорить свою любовь к нему; но всегда небезопасно показать человеку свое чувство или степень осведомленности; в случае, например, похищения, которое он часто воображал: лучшая защита тут — не показать похитителю, что ты угадал в нем такового. Если единственное оружие — скрытность, то злодей — ни в коем случае не злодей: улыбайся до самого конца.

И если бы даже он открылся Рандольфу — кому бы он признавался в любви? Многогранный, как глаз мухи, ни мужчина, ни женщина, существо, у которого одна личность отменяет другую, маленький склад масок — кто он, что он такое, Рандольф? Икс, контур, который закрашиваешь цветным карандашом, чтоб придать ему реальность; идеальный герой: любая его роль — твое творение. В самом деле, можно ли представить себе его одного, без зрителей, без слушателей? Нет, он тут же становится невидим, невообразим. Но такие, как Рандольф, оправдывают фантазию, и, появись, допустим, джинн, Джоул непременно попросил бы его о том, чтобы запечатанные эти дни продлились на сто календарей.

Дни эти кончились, однако, и, казалось,— по вине Рандольфа.

— Очень скоро мы посетим гостиницу «Морок»,— сказал он.— Нас дожидается Маленький Свет; по-моему, ты уже окреп — нелепо делать вид, что нет.— В голосе его звучали настойчивость, энтузиазм, которым Джоул не вполне поверил, ибо чувствовал, что этот план рожден личными и наверняка неприятными обстоятельствами, неизвестно какими, но идущими вразрез с истинными желаниями Рандольфа. И он сказал:

— Давай останемся здесь, Рандольф, давай никуда не ходить.

А когда его просьба была отвергнута, вернулись прежние, царапающие и едкие мысли насчет Рандольфа. Досада взяла такая, что захотелось поссориться; но тем и нехороша зависимость, что ссориться с Рандольфом было нельзя: что ни говори, любовь безопаснее ссоры, и только тот, кто

уверен в своем положении, может позволить себе и то и другое. И все-таки он готов уже был вступить в пререкания, как вдруг звук снаружи откинул его назад во времени.

— Что ты так смотришь? — удивился Рандольф.

— Это Зу... я слышу ее,— сказал он: сквозь вечерние окна доносился аккордеоновый наигрыш.— Нет, правда.

Рандольф был раздражен.

— Если ее так тянет на музыку, ей-богу, я предпочел бы губную гармошку.

— Ее же нет.— Джоул поднялся на колени.— Зу ушла в Вашингтон...

— Я думал, ты знаешь,— сказал Рандольф, крутя закладку в «Макбете».— В самое тяжелое время, когда тебе было хуже всего, она сидела возле тебя с веером — ты совсем не помнишь?

Итак, Зу вернулась; а вскоре он и сам увидел ее: на другой день она принесла ему бульон; они не поздоровались, не улыбнулись друг другу, усталое смущение неудачников сковывало обоих. Но что-то помимо этого было в Зу: она будто не знала его, стояла и ждала, когда их познакомят.

— Рандольф сказал мне, что ты не можешь вернуться. Я рад, что он ошибся.

В ответ раздался вздох, такой несчастный, что казалось, он вырвался из самой души. Она прислонилась лбом к столбику кровати, и только тут, внутренне вздрогнув, он заметил, что косынки на шее у нее нет: наклонный шрам кривился, как скверная улыбка, и разделенная надвое шея лишилась жирафьей величавости. И какой же маленькой стала она сама, сжавшейся — словно упадок духа взял двойную дань, взыскал и с плоти тоже: с иллюзией роста исчезла и звериная грация, и гордость стрелы, дерзкий символ ее особого сердца.

— Зу,— сказал он,— ты видела снег?

Она смотрела на него, но глаза ее, казалось, не воспринимали увиденного и даже косили, словно обращены были внутрь, прикованы к утешительному видению.

— Снег видела? — переспросила она непонятливо.— Снег видела! — С жутким смешком она закинула голову и открыла рот, как ребенок, когда он ловит ртом дождь.— Нету снегу,— сказала она и так затрясла головой, что масленые черные волосы зашуршали, как обугленная трава.— Глупости это, снег и все такое. Солнце! Оно всегда!

— Как глаза мистера Сансома,— сказал Джоул, занятый уже своими мыслями.

— Негритянское это солнце, и душа у меня тоже черная.— Она взяла тарелку из-под бульона и стала вглядываться в нее так, словно там была кофейная гуща.— Я отдыхала у дороги; солнце мне по глазам било, думала, ослепну...

А Джоул спросил:

— Зу, если там не было снега, что же ты видела в Вашингтоне? Может, кого из тех людей, кого в хронике показывают?

— ...а в туфлях у меня дырки, что червы и буби, камнями прорезало; целый день шла, а кажется, не прошла нисколько, сижу, ноги огнем горят, и ни одной души живой кругом.— Две слезы скатились по ее костлявым скулам и растаяли, оставив серебристые следы.— Так замучилась — ущипну себя, и хоть бы чего почувствовала, сижу, сижу в пустыне этой, потом голову подняла, а в небе Большая Медведица. Потом гляжу, едет большой красный грузовик, фары на меня наставил — вся как на ладони.

В грузовике, рассказывала она, ехали четверо — три белых парня в кабине и негр на куче арбузов. Из кабины вылез шофер.

— Такой низенький, сигарой пыхает, как бык, а сам без рубашки, плечи и руки рыжим волосом заросли; тихонько по траве ко мне подходит и смотрит так ласково — думаю, пожалел меня, что ноги изрезала, и скажет: поехали, девушка, с нами на нашей красивой машине.

Давай, сказал он и стряхнул пепел ей в лицо, давай, красавица, в канаву; не твое дело зачем, сказал он и толкнул так, что она покатилась вниз и приземлилась на спину, беспомощная, как майский жук.

— Ну, и закричала я, завопила, а этот бычина низенький говорит: замолкни, не то башку разобью.

Она вскочила и побежала, но остальные двое по свистку шофера спрыгнули в канаву и отрезали ей путь с обеих сторон; оба были в панамах, а один из них — в матросских штанах и солдатской рубашке; он-то ее и поймал и крикнул негру, чтобы тот принес ружье.

— Этот злой негр очень похож был на Кега — он приставил мне ружье к уху, а шофер разорвал все мое нарядное платье спереди и говорит этим в панамах: начинайте. Слышу голос Господа через ружейный ствол, говорит мне Господь: неверную дорогу ты выбрала, Зу, не туда зашла, вкусила от яблока, а оно как есть гнилое, и Господь смотрел с неба, и утешил меня, когда эти дьяволы дрыгались, как козлы, и я в позорной своей муке сказала святые слова: Хоть иду я долиной смертной тени, не убоюся зла, потому что Ты со мной, Господи. Сказала так, а они, дураки, засмеялись, а Господь мой принял вид того моряка, и мы с Господом любили друг друга.

Парни были без шляп, а теперь надели, и один спросил шофера, ну, а он чего же? и шофер пососал сигару, почесал за ухом и ответил, что, по совести сказать, он не шибко любит у людей на глазах; ладно, сказали те и вылезли из канавы наверх, и негр с ними, и все трое засмеялись, а у шофера от этого задергалась щека.

— ...и глаза сделались желтые, как у котищи. И чудное дело — сам не свой от страха.

Он не придвинулся к ней, не прикоснулся, сидел на корточках бессильно, как человек, потерявший возлюбленную, как истукан; потом грузовик засигналил, парни стали звать его, и он наклонился ближе.

— Воткнул сигару мне в пуп, и огонь во мне зачался, как ребенок.

Джоул заткнул уши — его мутило от рассказа, зачем она только вернулась, наказать ее было надо.

— Кончай, Зу,— сказал он,— я не хочу слушать, не хочу...

Но губы у Зу кривились, незрячие глаза повернуты были ко внутреннему виде́нию; и в грохоте тишины она была мимом: безумная радость Христова светилась на ее лице, блестела, как пот; палец, как проповедь, сотрясал воздух, радостная мука колыхала ее грудь, зубы оскалились для низкого вопля; втянулись кишки, распростерлись руки, обнимая предвечное: она была крестом, она была распятой. Джоул видел, не слыша, и это было еще страшнее; потом она ушла, покорно забрав тарелку, а он все держал пальцы в ушах, покуда звон не стал таким громким, что заглушил даже память о звуках.

Они были уверены, что Джон Браун не одолеет холм.

— Если он сейчас ляжет и прокатится по нам, я его не упрекну,— сказал Рандольф, а Джоул напряг мускулы в надежде, что это облегчит мулу ношу.

Вместо седла у них был мешок, вместо поводьев — веревка, тем не менее, им удавалось усидеть верхом, хотя Рандольф опасно кренился, все время кряхтел и поедал крутые яйца, которые доставал для него из корзинки Джоул.

— Еще яичко, мой милый, меня опять страшно укачало: когда подкатывает снизу, надо осадить чем-то сверху.

День был мглистый, небо — как смоченная дождем кровля, солнце, если показывалось,— бледнее рыбьего брюха; Джоул, выдернутый из постели и увезенный в запальчивой спешке, весь покрылся гусиной кожей, потому что надета на нем была только майка (и та наизнанку) да летние штаны, лишившиеся почти всех пуговиц на ширинке. Зато туфли на нем были нормальные, тогда как Рандольф ехал в ковровых шлепанцах.

— Ноги у меня пухнут угрожающе; это — единственное, во что их удается втиснуть: представляю, каким упырем я должен выглядеть при свете дня; и ощущение преотвратное: кажется, что при каждом шаге этого скорбного животного волосы у меня выпадают пучками... а глаза — правда, что они катаются, как игральные кости? И несет от меня, конечно, нафталином...

Пахло, действительно, так, словно из него вытекал газ, а костюм, полотняный тесный костюм, туго накрахмаленный и лоснившийся от утюжки, топорщился и скрипел, как средневековый доспех, и жил в нем Рандольф крайне неосмотрительно, ибо швы обнаруживали намерения непристойные.

Около двенадцати они спешились и раскинули завтрак под деревом. Рандольф прихватил из дому банку с мускателем и болтал его во рту, как полосканье; когда вина не осталось, Джоул употребил банку для ловли муравьев. Благочестивое Насекомое называл их Рандольф:

— Они внушают мне безмерное уважение и, увы, безмерную тоску: чую пуританский дух в сем бездумном шествии Божьего усердия; но разве может такое антииндивидуальное правление признать поэзию того, что выше всякого ума? Понятно, что человека, который отказался нести свою крупицу, ждет на его тропе убийца, и в каждой улыбке — приговор. Что же до меня, я предпочитаю одинокого крота: не роза он, зависимая от шипа и корня, не муравей, чье время бытия организовано неизменным стадом; незрячий, он идет своим путем, зная, что истина и свобода суть состояния духа.— Он пригладил волосы и засмеялся, по-видимому, над собой.— Будь я мудр, как крот, будь я свободным и равным, какого прелестного дома терпимости был бы я хозяйкой; впрочем, скорее кончил бы госпожой Никем Особенным — расплывшимся без корсета созданием при кирпичноголовом муже и лесенке отпрысков, при плите с горшком жаркого.

Торопливо, словно с важным донесением, по его шее взобрался муравей и скрылся в ухе.

— У тебя муравей в голове,— сказал Джоул, но Рандольф лишь слегка кивнул и продолжал говорить. Тогда Джоул прижался к нему и, насколько мог тактично, заглянул в ухо. Мысль о муравье, бродящем внутри головы, так захватила его, что он не сразу услышал молчание Рандольфа и заметил его долгий напряженно-вопрошающий взгляд; от этого взгляда у него самого по телу таинственно побежали мурашки.— Я смотрел, где муравей,— объяснил он.— В ухо к тебе влез. Знаешь, это может быть опасно, ну, как булавку проглотить.

— Или потерпеть поражение,— сказал Рандольф, и лицо его спряталось в сладких складках покорности.

Тряская трусца Джона Брауна приотворяла хрупкий лес; платаны роняли дождем пряно-карие октябрьские листья; как жилы в желтом ливне, вились пятнистые тропки; на понурых башнях аризем примостившись, клюквенные жуки пели об их приближении; древесные квакши величиной не больше росинки прыгали и верещали, сообщая новость белу свету, который весь день был в сумерках. Они двигались по заросшей дороге, где катили когда-то лакированные экипажи, и дамы, благоухавшие вербеной, щебетали в них под яркими зонтиками, как коноплянки, а дубленые, разбогатевшие на хлопке господа хрипели друг другу сквозь сизый гаванский дымок, и с ними ехало потомство — чинные девочки с мятой, растертой в носовых платках, и мальчики с недобрыми глазами-вишнями, маленькие мальчики, до визга пугавшие сестер рассказами о кровожадных тиграх. Осень проветривала наследный бурьян, вздыхала по жестоким бархатным детям и бородатым мужественным отцам: *было*, шептал бурьян, *кануло*, шептало небо, *прошло*, шептал лес; но первым плакальщиком по минувшему досталось быть жалобному козодою.

Как чайки оповещают моряка о близкой суше, так жгутик дыма, размотавшийся за стеной сосен, дал знать о гостинице «Морок»; копыта Джона Брауна чмокали в болотной жиже; путь их шел по зелени кругом Утопленного пруда, и Джоул все смотрел на воду, не выплывет ли креол или картежник, но, увы, эти скользкие типы не показывались. Зато, не добредя до берега, стояло горбатое человекообразное дерево, и мох свисал с его макушки, как волосы у пугала; закатные птицы галдели вокруг этого островного насеста, взрывая унылую окрестность печальными криками, а плоскую кисельную гладь пруда тревожили только сомовьи пузырьки; и взрывом, подобным птичьему крику, раздался в ушах Джоула смех красивых плескуний-девушек, вздымавших алмазные плески, красивых, ар-

фоголосых девушек, ныне умолкших, канувших в объятия возлюбленных,— картежника и креола.

Гостиница поднялась перед ними курганом костей; крышу венчали деревянные мостки, и там, перегнувшись через перила, с нацеленной на тропинку подзорной трубой стоял Маленький Свет. При их приближении он бешено замахал руками; сперва они сочли это не в меру бурным приветствием, но, поскольку неистовство его не шло на убыль, довольно быстро поняли, что он их предостерегает. Осадив Джона Брауна, они ждали в натеке сумерек, когда отшельник, исчезнувший в люке, появится снова на пологой лестнице, тенькавшей втуне над феодальным лужком к самому краю воды. Потрясая ореховой тростью, он по берегу ковылял корякой, корягой, и глаза сыграли с Джоулом шутку: ожившим деревом в пруду примерещился ему отшельник.

Поодаль от них отшельник остановился и, накрючась на трость, приклеил к ним взгляд. Тогда Рандольф назвал его по имени, и старик, изумленно моргая, разразился игривым кудахтаньем.

— Ай да проказники! Глаза-то никудышные, стою тут с трубой и думаю, кто там такой едет, кого это там несет? Переполошили вы старика. За мной, за мной идите, да поглядывайте — пески зыбучие кругом.

Они двигались гуськом. Джоул вел мула последним и, ступая в болотца Рандольфовых следов, недоумевал, зачем его обманули, ясно ведь было, что Маленький Свет их не ждал.

Лестница под мягкой плесенью ковра лебединым изгибом уходила наверх из вестибюля гостиницы; сатанинский язык кукушачий высовывался из стенных часов, немо кукуя сорокалетней давности час; на щербатой конторке портье истлевали в горшках сухостойные пальмы.

Привязав к ноге Джона Брауна плевательницу, чтобы слышно было, если он куда убредет, они оставили его в вестибюле и гуськом потянулись в танцевальный зал, где упавший канделябр алмазел в залежах пыли и сорванные драпировки на волнистом полу стояли кучками, подобно дамам в реверансе. Минуя рояль, затянутый паутиной, как музейный экспонат кисеей, Джоул пробежался по клавишам, но вместо чаемого собачьего вальса в ответ раздалась лишь сухая тараторка торопливых ног.

За танцевальным залом располагалось то, что некогда было личными покоями миссис Морок — две просторные, скупо обставленные комнаты, прекрасно чистые; в них и обитал отшельник, и то, что он нескрываемо гордился ими, добавляло прелести этому неожиданному островку; когда же он затворил дверь, окружающие руины как бы перестали существовать. Огонь камина полировал вишнево-красную мебель, золотил крылья резного ангела, и отшельник, вынесши бутыль самогонного виски, поставил ее так, чтобы еще и светом сдобрить ожидаемую усладу.

— Давненько вы сюда не заглядывали, мистер Рандольф,— сказал он, придвигая кресла к огню.— Ребенком еще, вроде этого милого мальчика.— Он ущипнул Джоула за обе щеки — а ногти у него были такие длинные, что чуть не прорвали кожу.— С рисовальными книжками сюда приходили; вот бы опять так пришли.

Рандольф наклонил лицо к тенистым глубинам кресла.

— Как это глупо, мой милый; знаешь ли ты, что, раз я приходил сюда ребенком, так здесь почти весь и остался? Я всегда здесь был, так сказать, даровым постояльцем. То есть надеюсь, что был, иначе почему мне так неприятно думать, что я оставил себя где-то еще.

Джоул улегся перед камином, как собака, и отшельник дал ему подушку под голову; весь день, после многих недель в постели, он словно боролся с круговертью, и теперь, блаженно разомлев от тепла, уступил, сдался огненной речке, и та понесла его к порогам; в голубом смежении век многословное журчанье пьющих звучало где-то далеко: отчетливей и ближе были шепоты за стенами и над потолком: кружение бальных туфель, послушных требованиям скрипок, шастанье детей, взад и вперед шаги, слагавшиеся в танец, вверх-вниз по лестнице чок каблучков и девчоночий щебет, рассыпная лопнувших бус, катящихся жемчужин, соскучившийся

храп дородных отцов, постук вееров, отбивавших такт, плеск одетых в шелк ладоней, когда вставали кланяться музыканты, белые, как женихи в костюмах-пирожных. (Он смотрел в огонь, томительно желая увидеть их лица, и пламя вылупило эмбрион: в прожилках, трепетное нечто, медленно обретавшее черты, но так и не выступившее из-под ослепительной пелены; он все приближал к нему глаза, уже закипавшие: скажи, скажи, кто ты? я знаю тебя? ты мертвый? ты друг мой? ты любишь ли меня? Но цветная, без тела, голова так и не выпросталась из-под маски, не разгадалась. Тот ли ты, кого я ищу? спросил он, не зная, о ком спрашивает, но в полной уверенности, что такой человек должен быть, как есть у всех: у Рандольфа с его альманахом, у мисс Глицинии, фонариком обшаривавшей тьму, у Маленького Света, который помнит другие голоса, другие комнаты,— у всех у них, помнящих или никогда не знавших. И Джоул отодвинулся. Если узнает он лицо в огне, то что еще найдет ему в замену? Легче не знать, лучше небо держать в ладони, как бабочку, которой нет.) Доброй ночи, дамы, сладких снов вам, дамы, прощайте, дамы, мы покидаем вас! Прощальные вздохи складываемых вееров; грубый топот мужских сапог; крадущиеся шажки, смешки девочек-негритянок, их бег на цыпочках по громадным сотам, задувание свеч, задергивание штор на ночных окнах: отголоски оркестра гуляют по дому сна.

Потом послышалось вполне земное бряцание чего-то таскаемого по полам, и Джоул, пораженный этим грохотом, повернулся к остальным. Они тоже услышали. Рандольф, разрумянившийся от выпитого и от разговора, нахмурился и поставил стакан.

— Мул, должно,— с хмельным хохотком сказал отшельник,— бродит там где-то.

Джоул вспомнил о плевательнице, привязанной к ноге Джона Брауна: она гремела о ступени, кувыркалась как будто над головой, то дальше, то совсем близко.

— Как он туда забрался? — с тревогой уже спросил отшельник.— Нечего ему там делать, убьется, дурак чертов.

Он подержал в огне толстую лучину и с ней поплелся в танцевальный зал. Джоул отважно двинулся за ним. А пьяный Рандольф идти не мог.

Реяли белые хоры поющих крыл вокруг факела, прыгало и качалось все, до чего досягал колеблемый ими свирепый свет: горбатые борзые неслись по залам, топча неслышными тенями лап паучьи клумбы, и динозаврами в вестибюле маячили ящерицы; кукушка с коралловым языком, навеки замершая на трех часах, раскинула крылья, как коршун, как яростный ястреб.

Они остановились перед лестницей. Мула нигде не было видно; громыхание опознавательной плевательницы смолкло.

— Джон Браун!.. Джон Браун!..— Голос Джоула расширил тишину: он поежился от мысли, что в каждой комнате какое-то бессонное что-то слушает его.

Маленький Свет выше поднял факел — и осветился балкон, нависший над вестибюлем: там в чугунной неподвижности застыл мул.

— Ты слышишь, уважаемый, спустись оттудова! — велел отшельник, и Джон Браун вскинулся, попятился, захрапел, забил копытом; потом, будто обезумев от ужаса, кинулся вскачь — и, проломив балконные перила, прыгнул.

Джоул сжался, ожидая грохота, но ничего не произошло; когда же он посмотрел опять, мул висел на балке, захлестнутый за шею веревками-поводьями, и качался; в его больших, как лампы, глазах, зажженных факелом, золотилось невозможное лицо смерти, та голова из огня.

Утро набиралось в комнату, обозначился в углу тюк из одеяла — это спал Маленький Свет. Рандольф поднялся, опрокинув три порожние бутылки из-под виски, и шепнул: «Не буди его». Пока пробирались по гостинице, Джоул не открывал глаз, боясь увидеть висельника, и его вел Рандольф; Рандольф же только судорожно вздохнул при виде мула — он ни разу не

обмолвился о несчастье, ни разу ни о чем не спросил: словно так и было задумано, что они вернутся в Лендинг пешком. Утро было как чистая аспидная доска, на которой напишется будущее; будто конец наступил, и все, что было прежде, стало птицей, отлетело на дерево среди пруда: буйная радость владела Джоулом, он бегал, он носился, он пел, он любил, он поймал маленькую квакшу, потому что любил ее, и отпустил, потому что любил, и смотрел, как она скачет, прыгает вместе с его гулко скачущим сердцем; он обнимал себя, живого и веселого, молотил по воздуху, бодался, как козел, прятался за кустами, выскакивал: гав! «Смотри, Рандольф,— сказал он, напялив на голову тюрбан из мха,— смотри, кто я?»

Но Рандольфу было не до него. Он шел с угрюмо сжатым ртом. Шел, словно по палубе в качку: то его тащило вперед, то бросало из стороны в сторону, и его налитые кровью глаза действовали, как неисправный компас,— он, казалось, не знал, в каком направлении движется.

— Я — это я,— вопил Джоул.— Я — Джоул, мы с ним — одно и то же.

Он поглядел вокруг, на какое бы влезть дерево: он взберется на самую макушку и там, на полдороге к небу, раскинет руки и потребует себе весь мир. Далеко убежав от Рандольфа, он стал карабкаться на березу, но на середине кроны замер, обняв ствол: голова закружилась; с высоты он поглядел назад и увидел Рандольфа, который шел по кругу с вытянутой вперед рукой, точно играл в жмурки. Ковровые шлепанцы свалились с него, но он не заметил. Время от времени он встряхивался, как мокрое животное. И Джоул вспомнил о муравье. Ведь предупреждал! Ведь говорил, что это опасно! Или это просто виски бродит у него в голове? Но почему тогда Рандольф тихий? Пьяные тихими не бывают. Это было непонятно. Рандольф как будто был в трансе.

И тогда Джоулу открылась правда: он увидел, как беспомощен Рандольф: парализованный хуже мистера Сансома, больший ребенок, чем мисс Глициния, что может он один, вне дома? Только круг описать, ноль своей не-жизни. Джоул съехал по стволу; он не добрался до верха, но это не имело значения: он знал теперь, кто он такой, знал, что он сильный.

Дорогу назад он с грехом пополам отыскал. Рандольф не проронил ни слова. Дважды он падал и сидел с младенчески важным лицом, пока его не поднимал Джоул. А один раз наткнулся на пень. После этого Джоул взял его за полу.

Длинная, как проход в соборе, в пасмурном лиственном свете открылась тропа, потом ориентир: «Тоби, убитая кошкой». Миновав лунное дерево, под которым, не обозначенный камнем, лежал Джизус Фивер, они вышли к Лендингу с тыла и вступили в сад.

Глазам их открылось нелепое зрелище: присев возле сломанных колонн, Зу дергала плантаторский колокол, словно пытаясь вывернуть его с корнем, а Эйми с растрепанными волосами и разводами грязи на лице, напоминавшими боевую раскраску, расхаживала рядом, руководя ее действиями.

— Кверху тяни, глупая, кверху... да это же ребенку ясно!.. А ну, еще раз! — Тут она увидела Рандольфа, лицо у нее исказилось, щека задергалась, и она закричала ему: — Не вздумай меня останавливать, это тебе не удастся! Ты не всем тут владеешь, все это такое же мое, как твое, и даже больше мое, если бы кто знал правду,— я буду делать то, что мне угодно, не тронь меня, Рандольф, тебе будет плохо! Я пойду к шерифу, я объеду всю страну, я буду выступать повсюду. Ты думаешь, что нет,— но я сделаю это, сделаю...

Рандольф не взглянул на сестру и пошел через сад так, будто ее тут не было, а она побежала за ним, стала дергать его за рукав, теперь уже умоляя:

— Рандольф, ну отдай мне его, пожалуйста. Я хорошо себя вела, сделала все, как ты велел: сказала, что они ушли, надолго ушли, охотиться на белок; я надела хорошее серое платье, испекла кексы, и в доме было убрано,— я ей правда понравилась, Рандольф, она сама сказала и объяснила про магазин в Нью-Орлеане: там могут взять мои серьги, и колокол.

и зеркало из передней... ты не слушаешь, Рандольф! — Она ушла за ним в дом.

Едва она скрылась, Зу мстительно плюнула на колокол и дала ему такого пинка, что он опрокинулся с гулким звоном.

— За эту дрянь никто не даст денег. Сама с ума спятила и мисс Эйми голову морочит.

Джоул постучал по колоколу.

— Это кто спятила?

— Была тут... не знаю кто.— И вдруг Зу будто ушла от него, не сходя с места: речь ее замедлилась, слышалась как бы издалека: — Какая-то из Нью-Орлеана... с девочкой некрасивой, у ней машинка в ухе — глухая, стало быть, девочка. Кто их знает. Ушли они.

— У меня сестра двоюродная глухая, Лоис,— сказал Джоул, думая о том, как прятал от нее слуховой аппарат, как плохо с ней обходился — до слез доводил малышку! Жаль, денег нет. Но когда они встретятся — ух, какой он будет добрый, и говорить будет громко, чтобы каждое слово слышала, и в карты с ней сядет играть. А подразнить все-таки забавно. Один разик. А Эллен на его письма так и не ответила. Ну и черт с ней. Не очень надо. Родственница, называется. А наобещала сколько. Любит, сказала. А сама забыла. Ну и ладно, и он забыл; забыла и забыла, подумаешь. А еще говорила, любит.— Зу...— сказал он и, подняв глаза, увидел только, как она скрылась за изгородью туи, и туя колыхнулась и замерла.

Будто колокол ударил в саду и лег переливчато-зеленый, белесо-бесплотный навей одиночества, и Джоул закинул голову, как если бы следил за змеем: на солнце нашли облака, он ждал, когда они пройдут,— когда они пройдут и он опустит взгляд, может совершиться какое-то чудо: окажется вдруг, что он сидит на бордюрном камне Сент-Дивал-стрит или читает перед кинотеатром «Немо» афишу на неделю — а почему нет? Все возможно, небо везде одно, только то, что под ним,— разное. Облака двигались медленнее стрелок в часах, и, пока он ждал, сделались грозово-темными, сделались Джоном Брауном и жуткими мужчинами в панамах, гостиницей «Морок», старым псом Айдабелы... прошли, и солнцем оказался мистер Сансом. Джоул опустил взгляд. Чуда не совершилось; но что-то совершилось — или вот-вот должно было. Он сидел, оцепенев от предчувствия. Стебель розы перед ним отбрасывал тень, как в солнечных часах: час прополз, за ним другой, растворилась черточка тени, все слилось в саду, пришло в движение.

Как будто он вел счет про себя, и, когда дошел до нужного числа, интуиция и разум сказали ему: пора. Потому что он вдруг встал и поднял взгляд на окна Лендинга.

Сознание его было совершенно чистым. Как фотокамера, ждущая, чтобы перед объективом появился предмет. Желтела стена под копотливо садившимся октябрьским солнцем, и холодными зеркалами осени рябились окна. Из одного кто-то наблюдал за ним. В нем все оцепенело, кроме глаз. Глаза знали. Окно было Рандольфа. Слепящий закат медленно стекал со стекла, темнел, и словно снег уже валил там, складывая из хлопьев снежные глаза, волосы: лицо трепетало, как крылья прекрасного белого мотылька, улыбалось. Она манила его, серебряная, блестящая, и он понял, что должен уходить: без страха, без колебаний, он задержался только на краю сада и, точно спохватившись, оглянулся на погасшую палую синь, на мальчика, которого там оставил.

ЖУЖА РАКОВСКИ

Перевод с венгерского АННЫ ГЕДЫМИН

Программа окончена

Преступник вернее — случайная жертва тьмы,
И надзирательница тюрьмы
С хорошими устоями и ногами.
Идиллия... Но что помешает даме
Из зрительниц солидного полусвета
Сказать: мол, как неприлично это!
Таким приятней леди Агата [1]—
Кроткая, чем, собственно, и богата.
А впрочем,— нет! Ее моральные нормы:
Плохо все то, что «секс» или «порно».
Далее. «Заблудшая овца» почтенной семьи
После бурной молодости и еще лет двадцати семи
Возвращается, кается, остается,
Становится ханжой (а что ей еще остается?).
...В пустой комнате, как вскрытая консервная банка,
Я пустая и легкая — не тихоня, не хулиганка,
Вообще — никто. Ни хорошего, ни плохого
Нет во мне. Кроме ужина (это к слову).
Но где же та, кем была я — о Боже! —
Жившая в любви и ярости, ни на кого не похоже,
Которую застали на кухне порезавшей вены —
Правда, в меру (что вполне современно)!
Навсегда ли она потерялась (если она потерялась?),
Или это — недолгая осень, вялость?
Есть ли то, что назвали бы критики «внутренним светом»?
Ах, что я опять все об этом, об этом!..
Нет, правда, засветит ли внутренний свет фотопленку?
Тогда проверить — раз плюнуть даже ребенку.
Или внутренний свет только жизнь превращает в ад,
Как несколько лет назад?
Да что я, право, все время назад, назад!..
Мне кажется, что страданье — это глаза...
Глаза, что видят сквозь зудящий экран —
Автомобиль, набережную, листьев сухой ураган,
Опушку леса — тихую, как волшебство.

---

[1] Главная героиня очень популярного в Венгрии киносериала.

© Magvetö Könyvkiadó, 1990

А дальше — уже ничего.
Лишь буквы шипят отточенно:
«Программа окончена»...

Два сна с огнем

1

После полуночи, где-то, не знаю когда,
Зябко, на старом диване (в графине вода)
Друг возле друга (а стоило ль снова?) молчим,
И отмирает любовь — безо всяких причин.
Там между нами — полуметровая тьма,
В створке окна — металлическая луна,
Плотно и гладко застрявшая в высоте
Шляпкой гвоздя, приколоченного к пустоте.
А небо бунтует и звездами лезет в окно,
Стоглазо глядит, но меж нами все так же темно.
Ты глухо заметишь: «Как тихо! И ветра нет...»
И небо, надежду теряя, погаснет в ответ.
Взгляну на часы и увижу, что время ушло.
Оно догорает. Дымит. И дышать тяжело.

2

Узкие улочки ночью миную на ощупь,
Вот прохожу подворотню, безлюдную площадь.
Что это — Шопрон? И вдруг понимаю, что Пожонь [1],
Словно была в ней когда-то привычным прохожим.
Так же, неведомым чувством, потом узнаю
Дом, неудобно стоящий на самом краю.
Ручка дверная и — памяти резкий укол:
Комната э т а, накрытый приветливо стол.
Здесь меня ждали, сюда я стремилась — и вот
Знаю, что здесь наконец-то не будет забот,
Что б ни творилось снаружи за э т о й стеной —
Только старуха безумная будет со мной.

Бродит старуха и вот перед зеркалом встала,
Все примеряет истлевшее покрывало,
В нем незаметна была ей гроза-непогода
Тыща шестьсот — не поверить! — седьмого года!
Это в конце уже года ударил гром,
Вспыхнул пожар, и сгорел неприметный дом.

Как будто...

Водолечебница, тихо, осенний бульвар,
Стелется по-над землей то ли дым, то ли пар,
Ярко сверкает сквозь дымку зеленой слюдой

[1] Пожонь — древнее венгерское название Братиславы.

Прямоугольный бассейн с лечебной водой.
Тени в тумане: резкая, наискосок —
Это ворона, приметившая кусок;
Легкая, неторопливая, сверху вниз —
Это нередкий здесь путник — опавший лист.
Впрочем, осенние листья чаще толпой —
Пляшут, шуршат и подпрыгивают над тропой,
Их разговоры услышать можно везде.
Рраз — и один в бассейне, в теплой воде.
Даже красиво, изысканно, наконец! —
В теплом стекле замурован яркий мертвец.
Он не взлетит, не вскрикнет, не явит спесь,
Он не живет, не дышит — и все же есть!
Странная вечность, манящая простотой,
Словно пробел между буквой и запятой.
Просится так же настойчиво под стекло
Снег прошлогодний и давней весны тепло.
Вот на такую смерть, наподобье сна,
Я бы пошла, не думая, и сама.
Чтобы насосом из комнаты кто-нибудь
Выкачал время, и мне осталось уснуть.
Нет ни в минувшем, ни в будущем ничего —
Только тепло, и нега, и волшебство;
Вроде ты есть — но с реальностью рвется нить...
Жаль, что «как будто» — нельзя себя схоронить.

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 1978 г.

ИСААК БАШЕВИС ЗИНГЕР

Поклонница

РАССКАЗ

Перевод с английского ДМИТРИЯ ВЕДЕНЯПИНА

Сначала я получил от нее длинное восторженное письмо. Среди прочего она писала, что я помог ей «найти себя». Потом она позвонила, и мы договорились о встрече. Тут же раздался новый звонок — оказалось, что на этот день у нее уже назначена встреча, и мы перенесли наше свидание на другое число. Через два дня пришла многословная телеграмма. Выяснилось, что в день ее предполагаемого визита ко мне ей придется посетить парализованную тетю. Я никогда еще не получал такой длинной и столь изысканно написанной телеграммы. Последовал новый звонок, мы назначили новую дату. Во время нашего предыдущего телефонного разговора я упомянул о своей любви к Томасу Харди. Вскоре посыльный принес роскошно упакованное собрание сочинений Томаса Харди. Мою поклонницу звали Элизабет Абигель де Соллар — примечательное имя для женщины, чья мать, по ее словам, была дочерью раввина польского городка Клендева.

Наступил назначенный день, я прибрался в квартире и сложил все свои рукописи и письма, на которые еще не успел ответить, в корзину для белья. Моя гостья должна была появиться в одиннадцать. В двадцать пять минут двенадцатого зазвонил телефон, и я услышал громкий взволнованный голос Элизабет Абигель де Соллар:

— Вы дали мне неправильный адрес! Здесь нет такого дома!

Оказалось, что вместо Уэст-Сайда она по ошибке записала Ист-Сайд. Я опять принялся подробно объяснять, как меня найти. Когда она окажется на моей улице, ей нужно будет войти в ворота, на них тот номер, который у нее записан. Ворота выходят во двор. Там ей нужно будет подойти к подъезду (номер у нее есть) и подняться на одиннадцатый этаж.

К сожалению, пассажирский лифт не работает, поэтому ей придется воспользоваться грузовым. Элизабет Абигель де Соллар повторила все мои инструкции, но ей было нечем их записать — пока она рылась в сумочке в поисках карандаша и бумаги, голос оператора потребовал доплатить монетку. У Элизабет Абигель де Соллар монет больше не было, и она паническим тоном выкрикнула номер телефонной будки, из которой звонила. Я тут же перезвонил, но никто не ответил. Видимо, она сказала мне неверный номер. Я взял с полки книгу и начал читать там, где открыл — с середины. Раз у нее есть мой адрес и телефон, рано или поздно она объявится. Не успел я дочитать и до конца абзаца, как телефон снова зазвонил. В трубке раздалось покашливание, заикание — я услышал, как кто-то прочищает горло. Наконец звонивший справился с голосом и сказал:

— Меня зовут Оливер Лесли де Соллар. Я бы хотел поговорить с моей женой.

— Ваша жена неправильно записала адрес. Она недавно звонила и должна появиться с минуты на минуту.

— Извините за беспокойство. Дело в том, что наша дочь внезапно заболела. Она страшно кашляет и задыхается. Я не знаю, что делать. У нее

© 1976 by Isaac Bashevis Singer

приступ астмы. Элизабет в таких случаях дает ей специальные капли, но я не могу их найти. Я просто в отчаянье.

— Вызовите врача! Позвоните в «скорую помощь»! — закричал я.

— Дело в том, что сейчас нашего врача нет на работе. Секундочку, извините.

Я подождал несколько минут, но Оливер Лесли де Соллар не возвращался, и я положил трубку. Вот и связывайся после этого с людьми, подумал я, сразу же проблемы. «Всякое действие есть грех»,— мысленно процитировал я священную индийскую книгу — но какую? Что это — «Бхагавадгита» или «Дхаммапада»? Если ребенок — не дай бог — задохнется, я, хотя и косвенно, тоже буду в ответе.

Раздалось несколько долгих настойчивых звонков в дверь. Я бросился открывать и увидел молодую женщину со светлыми распущенными волосами, в соломенной шляпке, украшенной цветами и вишнями, какие носили в те времена, когда я ходил в хедер. На ней была белая блузка с кружевом вокруг выреза и на рукавах, черная юбка с вышивкой и туфли с застежкой-пуговицей. Хотя на улице было солнечно, в руках она держала зонтик с ленточками и бантиками — в общем, ожившая фотография из старого альбома. Она не успела еще закрыть за собой дверь, как я сказал:

— Только что звонил ваш муж. Не хочу вас пугать, но у вашего ребенка приступ астмы, а ваш муж не может дозвониться до врача. Он не знает, где капли.

Я был уверен, что моя гостья тут же кинется к телефону, который стоял на столике в прихожей, но вместо этого она несколько раз оглядела меня с головы до ног, и ее лицо осветилось счастливой улыбкой:

— Да, это вы!

На ней были белые перчатки до локтя. Она протянула мне нечто, завернутое в блестящую черную бумагу и перетянутое красной лентой.

— Не беспокойтесь. Он всегда так делает, стоит мне уйти. Это просто истерика.

— Да, но ребенок?

— Биби такая же упрямая, как ее отец. Она тоже не хочет отпускать меня. Это его ребенок от первого брака.

— Пожалуйста, проходите. Спасибо за подарок.

— О, вы заполнили пустоту в моей жизни. Я себя совсем не понимала. Однажды в книжном магазине я случайно наткнулась на ваш роман и с тех пор не пропускаю ни одной вашей книги. Я, кажется, вам уже говорила, что я внучка клендевского раввина. Это — по материнской линии. А предки моего отца любили приключения.

Мы прошли в гостиную. Она была маленького роста, стройная, с белой гладкой кожей, какая редко бывает у взрослых. Глаза у нее были бледно-голубые с желтоватым оттенком, нос — довольно длинный, губы — узкие, подбородок — острый и срезанный. Она чуть-чуть косила. Косметикой она не пользовалась. Обычно какое-то представление о человеке складывается у меня сразу, стоит мне увидеть его лицо, но на этот раз я не мог бы сказать ничего определенного. Болезненная, подумал я, впечатлительная, светская. По-английски говорит без американского акцента. Я предложил ей сесть, а сам развернул сверток и обнаружил планшет для спиритических сеансов, очевидно ручной работы, из дорогого дерева, обрамленного слоновой костью.

— Из ваших рассказов,— сказала она,— я поняла, что вы интересуетесь оккультизмом, и подумала, что это как раз то, что нужно.

— Вы меня просто завалили подарками.

— Вы заслужили их все.

Я начал задавать ей разные вопросы. Она охотно отвечала. Ее отец был адвокатом на пенсии. С матерью Элизабет он развелся и теперь живет в Швейцарии с другой женщиной. Мать страдает ревматизмом и перебралась в Аризону. Там у нее есть друг — восьмидесятилетний старик. Элизабет Абигель познакомилась со своим мужем в колледже. Он там преподавал философию. Еще он был астрономом-любителем

и полночи просиживал в обсерватории, разглядывая звезды. Еврей? Нет, Оливер Лесли — христианин, родился в Англии, хотя сам родом из басков. Вскоре после свадьбы он заболел, впал в хроническую депрессию, бросил работу и купил дом в нескольких милях от Кротона-на-Гудзоне. Он сделался совершенным отшельником. Сейчас он пишет книгу об астрологии и нумерологии. На губах Элизабет Абигель заиграла улыбка человека, давно осознавшего тщету всех человеческих устремлений. А порой ее взгляд становился грустным и даже испуганным.

Я спросил, чем она занимается у себя дома в Кротоне-на-Гудзоне, и она ответила:

— Схожу с ума. Лесли молчит целыми днями, а то и неделями, общается только с Биби. Она не ходит в школу — он сам ее учит. Мы давно уже не спим вместе. Книги для меня стали всем. Когда мне попадается книга, которая что-то говорит моей душе, это великое событие. Вот почему...

— А кто ведет хозяйство?

— По сути дела, никто. У нас есть сосед. Когда-то он был фермером. Он живет один, без семьи. Он покупает нам еду, а иногда и готовит. Простой человек, но тоже философ в своем роде. Он, кстати, еще и наш шофер. Лесли больше не может водить. Наш дом стоит на холме, и ужасно скользко, не только зимой, но всегда, когда дождь.

Моя гостья умолкла. Я привык к тому, что многие из тех, кто мне писал или приходил ко мне, были чудаками, неприкаянными, потерянными душами. Элизабет Абигель немного напоминала мою сестру. Раз она внучка клендевского раввина, она вполне могла быть моей дальней родственницей. Клендев — недалеко от тех мест, где жили поколения моих предков.

Я спросил:

— Почему Биби живет с отцом, а не с матерью?

— Ее мать покончила с собой.

Зазвонил телефон, и до меня вновь донеслось уже знакомое покашливание и заикание. Я сразу же позвал Элизабет, которая подошла медленно и неохотно, всем своим видом показывая, что ей заранее известно все, что должно произойти. Я услышал, как она сообщила мужу, где стоят капли, и резким тоном попросила больше ее не беспокоить. В основном говорил он, а она лишь отделывалась редкими короткими фразами, вроде:

— Что? Ну нет.

Наконец она с явным нетерпением бросила: «Понятия не имею» — и вернулась в комнату.

— Это вошло у них в привычку. Стоит мне куда-нибудь уйти — у Биби спазмы, а ее отец начинает названивать и трепать мне нервы. Он никогда не может найти капли, которые — кстати сказать — совершенно не помогают. Более того, он сам провоцирует приступы. На этот раз я даже не сказала ему, куда иду, но он подслушал. Я хотела задать вам несколько вопросов и вот из-за него все забыла. Да, скажите мне ради бога, где находится Клендев? Я не могу найти его на карте.

— Это деревня в районе Люблина.

— Вы когда-нибудь там бывали?

— Бывал. Когда я ушел из дома, один человек рекомендовал меня в качестве школьного учителя в Клендев. Я дал единственный урок, после чего администрация школы и я, не сговариваясь, пришли к заключению, что учитель я никакой. На следующий же день я уехал.

— Когда это происходило?

— В двадцатые годы.

— Значит, моего деда там уже не было. Он умер в тринадцатом году.

Хотя то, что рассказывала моя гостья, в общем-то не очень меня интересовало, я слушал внимательно. Было трудно поверить, что всего одно поколение отделяет ее от клендевского раввина, его окружения, его стиля жизни. Ее лицо таинственным образом приобрело англосаксонские черты, это была уже ее культура. Она была человеком другого климата, другой земли. А может, Лысенко все-таки прав?

Часы показали половину первого, и я пригласил свою гостью на ленч.

Оказалось, что в это время она не ест. Самое большее, она выпьет чаю, но если я хочу есть, она посидит со мной. Через какое-то время мы пошли на кухню, и я заварил чай. Я поставил на стол блюдо с печеньем для нее и бутерброды с сыром для себя. Мы уселись за стол друг против друга, как супружеская чета. По столу прополз таракан, но ни я, ни Элизабет даже не попытались его потревожить. По-видимому, тараканы, живущие в моей квартире, знали, что я вегетарианец и не испытываю ненависти к их тараканьему роду, который на сотни миллионов лет старше человеческого и, должно быть, переживет его. Элизабет пила крепкий чай с молоком, а я слабый — с лимоном. Отхлебывая чай, я держал кусочек сахара между зубами, как было принято в Билгорае и Клендеве. Поскольку Элизабет так и не притронулась к печенью, постепенно я съел все сам. Между нами воцарилась атмосфера близости, не требующая уже никаких предисловий.

Я услышал, как спрашиваю:

— Когда вы перестали с ним спать?

Элизабет начала краснеть, но, залив пол-лица, краска отступила.

— Я вам сейчас кое-что скажу, хотя вы, наверное, не поверите.

— Я поверю каждому вашему слову.

— В физическом смысле я девственница.

Эти слова словно нечаянно вырвались у нее — казалось, она сама поражена тем, что сказала.

Чтобы показать, что я не особенно потрясен этим сообщением, я бросил почти небрежно:

— Я полагал, эта порода давно вымерла.

— Всегда есть последний из могикан.

— Вы никогда не обращались по этому поводу к врачу?

— Никогда.

— А к психоаналитику?

— Ни я, ни Лесли им не верим.

— А разве вам не нужен мужчина? — спросил я, сам удивляясь собственной наглости.

Она взяла чашку и сделала глоток.

— Еще как нужен, но пока я не встретила человека, с которым мне захотелось бы быть вместе. Так было до моего знакомства с Лесли, так все и осталось. Когда мы познакомились, я решила, что Лесли — мужчина для меня, но он сказал, что нужно подождать до свадьбы. Мне это показалось глупым, но мы ждали. После свадьбы мы сделали несколько попыток, но ничего не вышло. Иногда я думаю, что клендевский раввин не допустил бы нашего брака, ведь Лесли — не еврей. Кончилось тем, что мы стали испытывать отвращение ко всему этому.

— Вы оба аскеты,— сказал я.

— Вы думаете? Не знаю. В мечтах я пылкая любовница. Я читала Фрейда, Юнга, Штекеля, но они не способны мне помочь. Странно, что я с вами так откровенна. Знаете, я никогда в жизни не посылала писем писателю. Я вообще терпеть не могу писать письма. Мне даже трудно написать собственному отцу. И вдруг я пишу вам, потом звоню. Как будто один из ваших дибуков вселился в меня. Теперь, когда вы словно вдохнули в меня новую жизнь, я вам еще кое-что скажу. С тех пор как я начала читать ваши книги, вы стали моим любовником. Вы вытеснили всех остальных.

Я почувствовал, что в горле у меня пересохло, мне потребовалось усилие, чтобы справиться с голосом:

— Расскажите о ваших фантазиях.

— Ну, мы проводим время вместе, путешествуем. Например, в Польше по тем деревням, которые вы описываете. Поразительно, но ваш голос в моих грезах был точно таким же, как сейчас,— как это может быть? Даже ваш акцент точно такой же. Совершенно необъяснимо.

— Любовь вообще необъяснима,— сказал я, и мне почему-то стало неловко за свой поучительный тон.

Элизабет склонила голову набок и некоторое время обдумывала мое высказывание.

— Иногда я ложусь спать с этими фантазиями, и они превращаются в сны. Я вижу шумные города. Я слышу, как говорят на идиш, и, хотя на самом деле я не знаю языка, во сне я понимаю каждое слово. Если бы мне не было доподлинно известно, что все там давно изменилось, я бы поехала, чтобы проверить, насколько мои сны соответствуют действительности.

— Теперь уже не соответствуют.

— Мать часто рассказывала мне о своем отце, раввине. Она попала в Америку со своей матерью, моей бабушкой, когда ей было восемь. Дед в возрасте семидесяти пяти лет женился на восемнадцатилетней девушке. От этого брака родилась моя мать. Через шесть лет дедушка умер. Он оставил много комментариев к Библии. Но так как почти вся семья погибла во время оккупации, рукописи сгорели. Моя бабушка сохранила всего одну маленькую книжечку на иврите. Дед в свое время успел ее опубликовать. Я захватила ее с собой, она у меня в сумочке в прихожей. Хотите взглянуть?

— Конечно.

— Позвольте, я вымою посуду. Посидите здесь. Сейчас я принесу книжку, и пока я буду мыть посуду, вы сможете ее просмотреть.

Я остался за столом, и Элизабет принесла мне тоненькую книжечку, которая называлась «Протест Мардохея». На титульном листе автор поместил свою генеалогию, и, изучив ее, я увидел, что у нас с моей гостьей действительно есть общие родственники: раввин Моисей Ишерль и автор книги «Открывающий глубины». Книжечка клендевского раввина была памфлетом, направленным против радзинского раввина реба Гершона Еноха, который полагал, что он нашел в Средиземном море некоего брюхоногого моллюска, чья секреция использовалась в древнем Израиле для окрашивания в голубой цвет кистей на талесах, хотя традиционно считалось, что этот моллюск сделался недоступным для людей после разрушения Храма и будет обретен вновь лишь с приходом Мессии. Реб Гершон Енох, презрев многочисленные протесты других раввинов, распорядился, чтобы его последователи носили талесы с голубыми кистями. Между раввинами разгорелся жесточайший спор. Дедушка Элизабет называл Гершона Еноха «предателем Израиля, отступником, посланцем Сатаны, Лилит, Асмодея и их злокозненного владыки». Он предупреждал, что грех ношения этих фальшивых талесов может повлечь за собой страшную кару Божию. Страницы «Протеста Мардохея» пожелтели и высохли настолько, что их края крошились у меня под пальцами.

Элизабет терла губкой наши тарелки и чашки.

— Что там написано? — спросила она.

Непросто было объяснить Элизабет де Соллар суть разногласий между радзинским раввином и другими учеными-талмудистами его поколения, но я все-таки подобрал слова. Ее глаза вспыхнули.

— Потрясающе!

Зазвонил телефон. Я вышел в прихожую. Это опять был Оливер Лесли де Соллар. Я сказал, что позову его жену, но он неожиданно попросил:

— Подождите. Если можно, я бы хотел сказать вам несколько слов.

— Да, конечно.

Оливер Лесли начал покашливать, прочищая горло.

— Моя дочь, Биби, чуть не умерла сегодня. Мы с трудом спасли ее. У нас есть сосед, господин Портер, он наш друг, и вот он нашел одно лекарство, которое когда-то выписал другой врач. Она сейчас спит. Я хочу вам сказать, что моя жена — больная женщина, физически и психически. Она дважды пыталась покончить с собой. Второй раз она приняла такую дозу снотворного, что ее три дня держали на искусственном дыхании. Она о вас необычайно высокого мнения и по-своему влюблена в вас, так вот, я хочу предупредить, чтобы вы ее никак не поощряли. Наш брак ужасно несчастлив, но я для нее как отец, потому что родной отец бросил их с матерью, когда Элизабет была еще ребенком. Равнодушие отца развило в ней холодность, сделавшую наше существование сплошным кошмаром. Пожалуйста, ничего ей не обещайте. Она живет исключительно в мире иллюзий. Ей нужна помощь психиатра, но она об этом и слышать не хочет.

Я уверен, что вы меня понимаете и поведете себя как ответственный человек.

— Можете в этом не сомневаться.

— Она держится на транквилизаторах. Когда-то я преподавал философию, но после того как мы поженились, мне пришлось бросить работу. К счастью, у меня богатые родители. Они нам помогают. Я столько перенес из-за нее, что мое собственное здоровье тоже пошатнулось. Она из тех женщин, что лишают мужчин потенции. Если вы — не дай бог — свяжетесь с ней, пострадает ваш талант. Если бы она жила в шестнадцатом веке, ее наверняка бы сожгли на костре как ведьму. С тех пор как мы познакомились, я верю в черную магию — естественно, как в психологическое явление.

— Я слышал, что вы пишете книгу об астрологии?

— Это она вам сказала? Чепуха! Я работаю над биографией Ньютона. Меня особенно интересуют последние тридцать лет его жизни и его религиозные убеждения. Вы, конечно, знаете, что Ньютон полагал, будто гравитация — это божественная сила, беспримесное выражение божественной воли. Величайший ученый всех времен был еще и глубочайшим мистиком. Из того, что гравитация управляет Вселенной, следует, что небесные тела воздействуют на органический и духовный мир. Между этим взглядом и астрологией с ее гороскопами и прочим вздором — пропасть величиной в вечность.

— Позвать вашу жену?

— Не нужно. И не говорите ей, что я звонил. Она устроит страшный скандал. Однажды она уже бросалась на меня с ножом...

Пока я беседовал с Оливером Лесли, Элизабет не появлялась. Было странно, что она так долго вытирает две чашки и две тарелки, но я решил, что она просто не хочет мешать моему разговору. Повесив трубку, я сразу же прошел в кухню. Элизабет там не было. Я понял, что произошло. Узким коридором кухня соединялась со спальней, где на ночном столике стоял параллельный аппарат. Я открыл дверь в коридор — Элизабет стояла на пороге.

Она сказала:

— Я была в ванной.

По тому, ка́к она это сказала — смущенной скороговоркой, словно защищаясь,— я понял, что она лжет. Возможно, она действительно направлялась в ванную — хотя откуда она могла знать, что эта дверь ведет именно туда,— и заметила параллельный аппарат. В ее взгляде читались гнев и насмешка. Так вот, значит, что ты за штучка, подумал я. Последние остатки сдержанности, которые я еще сохранял по отношению к ней, улетучились. Я положил руки ей на плечи. Она дрожала, а ее лицо стало похоже на лицо вредной маленькой девочки, пойманной на воровстве или переодевании в мамино платье.

— Для девственницы вы очень находчивы,— сказал я.

— Да, я все слышала и никогда больше к нему не вернусь.

Ее голос сделался тверже и моложе. Казалось, она сбросила маску, которую носила много лет, и сразу стала совсем другой — юной и озорной. Она собрала губы бантиком, как будто хотела меня поцеловать. Мне ужасно ее захотелось, но в ушах звучало предупреждение Оливера Лесли. Я наклонился к ней, и наши глаза приблизились настолько, что я различал только голубизну — как внутри грота. Мы коснулись друг друга губами, но не поцеловались. Мои колени прижались к ее, и она начала слегка подаваться назад. Я чуть-чуть подталкивал ее, но трезвый голос не умолкал: «Будь осторожен! Это ловушка!»

Тут опять зазвонил телефон. Я рванулся так, что едва не сбил ее с ног. Звонящий телефон неизменно вызывает у меня реакцию неопределенной, но страстной надежды — я часто сравниваю себя с собакой Павлова. Некоторое время я колебался, куда бежать — в спальню или в прихожую, и в конце концов бросился в прихожую. Элизабет кинулась за мной следом. Я поднял трубку, а она стала вырывать ее у меня, очевидно, уверенная в том, что

снова звонит ее муж. Я тоже так думал, но в трубке раздался решительный голос пожилой женщины:

— Элизабет де Соллар у вас? Я ее мать.

Сначала я даже не понял, что имеется в виду. От волнения я забыл имя своей посетительницы. Но уже через мгновение пришел в себя:

— Да, она здесь.

— Позвольте представиться: Харвей Лемкин. Мне только что звонил мой зять, доктор Лесли де Соллар. Он сообщил, что дочь отправилась к вам, оставив больного ребенка. Я хочу предупредить вас, моя дочь психически не совсем здорова и не вполне отвечает за свои действия. Мой зять, профессор де Соллар, и я потратили целое состояние, чтобы ей помочь, к сожалению, безрезультатно. В свои тридцать три года она все еще ребенок, хотя, надо признать, она необычайно умна и даже пишет стихи, на мой взгляд, весьма замечательные. Вы мужчина, и я прекрасно понимаю, когда хорошенькая, одаренная молодая женщина выказывает свое восхищение, это не может оставить равнодушным, но не позволяйте себе вступить с ней в близкие отношения. Вы попадете в такую историю, из которой уже никогда не выберетесь. Из-за нее мне пришлось уехать из Нью-Йорка, города, который я люблю всем сердцем, и заживо похоронить себя в Аризоне. Дочь так много говорила о вас и так вас расхваливала, что я тоже начала читать ваши книги по-английски и на идиш. Я дочь клендевского раввина и хорошо знаю идиш. Я могла бы вам рассказать массу интересного и была бы чрезвычайно рада встретиться с вами — я время от времени бываю в Нью-Йорке,— но заклинаю вас всем святым: оставьте в покое мою дочь!

Пока ее мать говорила, Элизабет стояла рядом, бросая на меня испуганные, смущенные и вместе с тем любопытные взгляды. В какой-то момент она сделала движение, как будто собиралась подойти ближе, но я отстранил ее свободной рукой. Мне невольно пришел в голову образ школьницы, которую учитель или директор отчитывает в присутствии родителей, а ей недостает воли удержаться и не опровергать обвинения. Ее мать говорила так громко, что Элизабет, несомненно, слышала каждое слово. Только я собрался ответить, как она прыгнула вперед, вырвала у меня трубку и истерически завопила:

— Мама! Я тебя никогда не прощу! Никогда! Никогда! Ты мне больше не мать, а я тебе больше не дочь! Ты продала меня этому психу, этому кастрату!.. Мне не нужны твои деньги, и ты мне не нужна! Всегда, когда судьба дарит мне миг счастья, ты все портишь! Ты мой самый главный враг! Я убью тебя! Убью, раз ты так... Сволочь! Шлюха! Воровка! Ты за деньги спишь с восьмидесятилетним подонком! Я плюю на тебя! Плюю, плюю, плюю!

Пена выступила у нее на губах. Скорчившись от боли, она схватилась за стену. Я бросился, чтобы поддержать ее, но не успел: с грохотом она рухнула на пол, телефон полетел следом. Начались судороги, ее тело страшно выгибалось, а рука быстро-быстро колотила по полу, словно подавая сигнал моему соседу снизу. Я услышал хрип, она начала задыхаться. Наверное, это был припадок эпилепсии. Я схватил телефон и крикнул:

— Госпожа Лемкин! У вашей дочери приступ! — Но связи не было. Нужно было вызвать «скорую». Но как это сделать? Мой телефон, по-видимому, был сломан. Я хотел открыть окно и позвать кого-нибудь на помощь, но понял, что в грохоте Бродвея меня никто не услышит. Я кинулся в кухню, налил стакан воды и плеснул ей в лицо. Элизабет дико взвизгнула и оплевала меня. Выскочив на площадку, я принялся барабанить в дверь своего соседа — никто не открывал. Только теперь я заметил у его порога стопку журналов и писем. Я хотел вернуться к себе и вдруг с ужасом обнаружил, что захлопнул дверь. Ключ остался внутри. Я попытался выбить дверь плечом, но, очевидно, я не из тех здоровяков, кто на это способен.

В отчаянье я вспомнил, что дубликат ключей висит в домовой конторе во дворе. Кстати, я мог бы там попросить кого-нибудь вызвать «скорую».

Я хорошо представлял себе, что сделают со мной мать и муж Элизабет, если она — не дай бог — умрет в моей квартире. Они даже могут обвинить меня в убийстве... Я нажал на кнопку грузового лифта, но он был занят и словно застыл на семнадцатом этаже. Я бросился бежать по лестнице — про себя, а может, и вслух,— проклиная тот день, когда появился на свет. В какой-то момент я услышал, что лифт поехал вниз. В холле двое мужчин перегородили входную дверь диваном — кто-то с семнадцатого этажа переезжал. Весь холл был заставлен мебелью, напольными вазами, связками книг. Я попросил, чтобы мне дали пройти, но грузчики сделали вид, что не слышат. Да, подумал я, этого визита я не переживу. Вдруг я вспомнил, что на шестом этаже живет наборщик — сотрудник одной газеты, в редколлегии которой я состоял. Если хотя бы кто-нибудь из его семьи дома, мне помогут вызвать «скорую» и позвонят в контору насчет ключей. Я помчался на шестой этаж. Мое сердце бешено колотилось, пот лил с меня градом. Я позвонил в дверь наборщика, но никто не открыл. Я уже собирался опять кинуться вниз, когда дверь приоткрыли на длину цепочки. Я увидел глаз и услышал женский голос, который произнес:

— Вы к кому?

Я принялся объяснять, что происходит. Я говорил обрывочно и бессвязно, как человек, находящийся в смертельной опасности. Единственный видимый мне глаз сверлил меня с явным недоверием.

— Я не хозяйка. Хозяева за границей. Я двоюродная сестра.

— Я прошу вас о помощи. Поверьте, я не грабитель. Ваш брат набирает все мои статьи. Может быть, вы слышали мое имя?

Я назвал газету, я даже перечислил несколько своих книг, но она ничего обо мне не слышала. После некоторого колебания она наконец сказала:

— Все-таки я не могу вас пустить. Сами знаете, как сейчас бывает. Подождите, я позвоню в контору. Скажите еще раз вашу фамилию.

Я повторил, как меня зовут, назвал номер своей квартиры и рассыпался в благодарностях. Она закрыла дверь. Я полагал, что дверь вот-вот откроется и она сообщит мне, что дозвонилась до конторы и что «скорая» уже вызвана, но прошло семь минут, а никто не появлялся. Я стоял несчастный и подавленный и думал о горьком человеческом жребии. Насколько же все мы рабы обстоятельств. Малейшее недоразумение, и вот все летит вверх тормашками. В сущности, из этого положения есть только один выход: нужно вообще перестать праздновать шабат, называемый жизнью, и, разорвав цепь причин и следствий, мужественно встретить смерть — подлинную основу мироздания.

Прошло еще пять минут, а дверь все не открывалась. Я опять бросился вниз, на ходу воображая, как бы я поступил с этой бессердечной женщиной, если бы обладал неограниченной властью. Когда я оказался в холле, диван уже вынесли на улицу. Я увидел господина Брауна, председателя нашего домового комитета, и сбивчиво рассказал ему о своем бедственном положении. Его взгляд выразил полнейшее изумление:

— Нет, никто не звонил. Пойдемте, я дам вам ключ.

Грузовой лифт был свободен, и я поднялся к себе на одиннадцатый этаж. Открыв дверь, я обнаружил, что Элизабет Абигель де Соллар, без туфель, с мокрыми спутавшимися волосами, бледная как полотно, лежит на диване в гостиной. Я едва узнал ее. Она выглядела намного старше — ей можно было дать пятьдесят. Под головой у нее лежало полотенце. Она поглядела на меня с молчаливым укором — как жена на мужа, который бросил ее больную и одинокую, а сам отправился развлекаться. Я почти закричал:

— Моя дорогая Элизабет, идите домой к мужу! Я уже слишком стар для всего этого.

Она обдумала мои слова и грустно сказала:

— Если вы хотите, чтобы я ушла, я уйду, но только не к нему. С ним и с матерью все кончено. С этого дня я одна в мире.

— Куда вы пойдете?

— В гостиницу.

— Вас не зарегистрируют без багажа. Если у вас нет денег, я бы мог...

— У меня есть с собой чековая книжка, но почему мне нельзя остаться у вас? Я не очень здорова, но это не органика, а только функциональное нарушение. Это все из-за них. Я умею печатать, стенографировать. Ах, я забыла: вы же пишете на идиш. Идиш я не знаю, но могу выучить через какое-то время. Моя мать разговаривала на идиш с бабушкой, когда хотела, чтобы я не могла понять, о чем они говорят, и я запомнила довольно много слов. У меня есть вегетарианская поваренная книга, я могла бы готовить для вас.

Я молча смотрел на нее. Да, она определенно была моей родственницей — я чувствовал родные гены. Мысль о том, что наша совместная жизнь фактически была бы инцестом, мелькнула в моей голове — незваная, одна из тех нелепых мыслей, что приходят бог знает откуда и поражают своей фантастической неуместностью.

— Да, конечно, это была бы райская жизнь, но, к сожалению, это невозможно.

— Почему? Наверное, у вас кто-то есть. Да, я понимаю. Но почему бы вам не завести служанку? Я могла бы и убираться, и готовить. Ваша квартира совершенно не ухожена. Вы, наверное, обедаете в кафетериях. У себя дома я совсем не занимаюсь хозяйством, но это просто потому, что мне не хочется. На самом деле я многое умею. Мать заставила меня пройти курс домоводства. Я могла бы работать на вас бесплатно. Мои родители очень богаты, а я у них единственная дочь. Я не нуждаюсь в деньгах...

Я собрался ответить, но тут раздался резкий звонок в дверь. Одновременно зазвонил телефон. Я поднял трубку, объяснил, что звонят в дверь, и бросился открывать. Сомнений быть не могло: передо мной стоял Оливер Лесли де Соллар — высокий, худой, с длинной шеей и вытянутым лицом, с венчиком редких выцветших волос вокруг лысого черепа, в клетчатом костюме, в рубашке с жестким воротничком и узким галстуком, завязанным еще более узким узлом, он напомнил мне стародавних варшавских денди. Я кивнул ему и вернулся к телефону. Я был уверен, что это снова мать Элизабет, но вместо этого услышал суровый мужской голос, который, назвав мое имя, потребовал, чтобы я подтвердил, что это действительно я. Затем он внушительным официальным тоном заявил:

— Меня зовут Ховард Уильям Мунлайт, я представляю интересы госпожи Харвей Лемкин, матери госпожи Элизабет де Соллар. Я полагаю, что вы...

Я перебил его, крикнув:

— Господин де Соллар у меня. Сейчас он поговорит с вами!

Я кинулся к двери, где по-прежнему стоял мой посетитель, вежливо ожидая приглашения войти, и закричал:

— Господин де Соллар! С прихода вашей жены не прошло и двух часов, а здесь уже настоящий ад! Мне уже угрожали по телефону сначала вы, потом ваша теща, а теперь ее адвокат. У вашей жены был припадок эпилепсии и бог знает что еще. Мне неприятно это говорить, но мне не нужны ни ваша жена, ни ваша теща, ни ваш адвокат, ни весь этот бедлам! Сделайте одолжение, заберите ее домой, иначе я...

Тут я осекся. Я хотел сказать, что вызову полицию, но слова застряли у меня в горле. Оглянувшись, я, к своему удивлению, увидел, что Элизабет бормочет что-то в телефонную трубку, не отрывая взгляда от меня и моего незваного гостя, который тонким голосом, странно не соответствующим его рослой фигуре, произнес буквально следующее:

— Боюсь, что здесь какое-то недоразумение. Я совсем не тот человек, за которого вы меня принимаете. Меня зовут Джефри Лифшиц. Я профессор литературы Калифорнийского университета и большой ваш поклонник. В этом доме живет мой приятель, который также является вашим постоянным читателем, и когда я сегодня, сидя у него, заговорил о вас, он сказал, что вы его сосед. Я хотел позвонить, но не нашел вашей фамилии в телефонной книге и решил, что позвоню прямо в дверь. Извините, я, кажется, вам помешал.

— Вы мне совсем не помешали. Я очень рад тому, что вы мой читатель, но сейчас здесь действительно творится что-то невообразимое. Вы надолго в Нью-Йорк?

— На неделю.

— Вы не могли бы зайти завтра?

— Разумеется.

— Тогда завтра в одиннадцать утра.

— Прекрасно. Для меня это большая честь. Еще раз извините за вторжение...

Я заверил профессора Лифшица, что буду очень рад его видеть, и он ушел.

Элизабет положила трубку. Она застыла на месте, словно ожидая, что я подойду к ней. Я остановился в нескольких шагах и сказал:

— Извините меня. Вы потрясающая женщина, но я не могу сражаться с вашим мужем, вашей матерью, а теперь еще и с ее адвокатом. Что ему было нужно? Зачем он звонил?

— Они все просто безумцы. Но я слышала, что́ вы сказали этому человеку, которого приняли за моего мужа, и обещаю вам, что больше вас не побеспокою. То, что сегодня случилось, лишний раз доказывает, что мне остается лишь один выход. Хочу только заметить, что вы поставили неверный диагноз. Это не эпилепсия.

— А что же тогда?

— Врачи сами не знают. Что-то вроде гиперестезии, которую я унаследовала неизвестно от кого, может быть, от нашего общего предка. Как, кстати, называется его книга?

— «Открывающий глубины».

— Ну и какие же глубины он открыл?

— Любовь не бывает напрасной,— сказал я, хотя не читал ни единой строчки моего предка.

— А он объясняет, куда уходят наши мечты, наши желания, наша любовь?

— Они где-то остаются.

— Где? В глубинах?

— В небесном архиве.

— Даже небо не вместило бы такого архива. Все, я пошла. О боже, опять телефон! Пожалуйста, не отвечайте!

Я все-таки взял трубку — молчание. Элизабет сказала:

— Это Лесли. Его идиотская манера. Открывающий глубины пишет что-нибудь о безумии? Все, пора идти. Если я не сойду с ума, я вам еще позвоню. Может быть, даже сегодня из гостиницы.

Элизабет де Соллар не позвонила и не написала мне больше. Она забыла у меня свой нарядный зонтик и книгу дедушки «Протест Мардохея», по-видимому, единственный сохранившийся экземпляр, за которым так и не обратилась,— почему, осталось для меня тайной. Зато другая тайна, связанная с этим визитом, вскоре была открыта. Я встретил своего соседа-наборщика и рассказал ему о неблаговидном поведении его кузины. Сосед улыбнулся, покачал головой и сказал:

— Вы позвонили не в ту квартиру. Я живу не на шестом этаже, а на пятом.

Из английской поэзии XVI века

Перевод ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА

От переводчика

Первым английским ренессансным поэтом, в сущности, был уже Джеффри Чосер (1340(?)—1400) — современник Боккаччо и Петрарки. Недаром его поэма «Троил и Крессида» наряду со стихами итальянцев послужила непосредственным образцом для английских поэтов XVI века от Уайетта до Шекспира. Но столетие между Чосером и Уайеттом не дало почти ничего замечательного. Почему? Загадка. Многие связывают это с политической нестабильностью Англии пятнадцатого века. Сравните: от 1307 до 1399 года — три короля; от 1399 до 1509 — семь королей плюс война Алой и Белой розы, долгое и кровавое междоусобье. И одновременно — пауза в поэзии.

Затем — почти сорокалетнее царствованье Генриха VIII (1509—1547) и первый расцвет ренессансного стиха. После смутного времени в середине века (период малолетнего Эдуарда VI и Марии Кровавой) еще более долгое царствование Елизаветы (1558—1603) — и все наивысшие достижения английского Ренессанса, включая Шекспира. Получается, что для поэзии важна именно стабильность, если даже это жесткая власть или тирания. Так или не так, тут есть о чем задуматься.

Сэр Томас Уайетт (ок. 1503—1542) и Генри Говард, граф Сарри (ок. 1517(?)—1547), традиционно поминаются вместе, хотя в жизни вряд ли много общались — они принадлежали к разным поколениям, к разным политическим кланам. Известно лишь, что младший поэт горячо восхищался стихами старшего и написал несколько стихотворений на его смерть.

Поглядите на их лица, запечатленные Хансом Гольбейном Младшим. С этих двух поэтов начинается новый век, новая гармония; именно Уайетт и Сарри ввели в английскую литературу такие формы, как сонет, терцины, белый пятистопный ямб — размер шекспировских пьес и мильтоновских поэм.

Устойчивая легенда связывает Томаса Уайетта с Анной Болейн, второй женой Генриха VIII. Ей, по-видимому, посвящен ряд стихотворений Уайетта, в том числе сонет «Noli me tangere» («Не прикасайся ко мне»). То, что их могла связывать дружба, неудивительно: Анна была не только красавицей, но и одной из утонченнейших дам своего времени, воспитывалась при французском дворе; ей посвящал стихи Клеман Маро, она прекрасно играла на лютне и танцевала. Вряд ли там было что-нибудь, кроме обычной куртуазной игры. Но в 1536 году королева Анна была обвинена во многих изменах (супружеская измена королю в те времена официально считалась *государственной изменой*) и казнена — так же как ряд ее предполагаемых любовников. Томас Уайетт смотрел на эти казни из окна Тауэра и ждал своей очереди. Но Генрих неожиданно «простил» его и вскоре отправил в Европу с важной дипломатической миссией. Умер поэт в 1542 году от жестокой дорожной простуды, выполняя очередное поручение короля.

Граф Сарри был старшим сыном герцога Норфолкского, унаследовавшим королевскую кровь как по отцовской, так и по материнской линии. Образцовый рыцарь, поэт и воин, он стал жертвой придворных интриг и свирепства Генриха VIII, чей нрав отнюдь не смягчился под конец царствования. Обвиненный опять-таки в измене и заключенный вместе с отцом в Тауэр, Сарри был казнен в январе 1547 года — всего лишь за несколько дней до монаршей смерти, избавившей герцога Норфолкского (кстати, редкого негодяя, по мнению большинства историков) от той же участи.

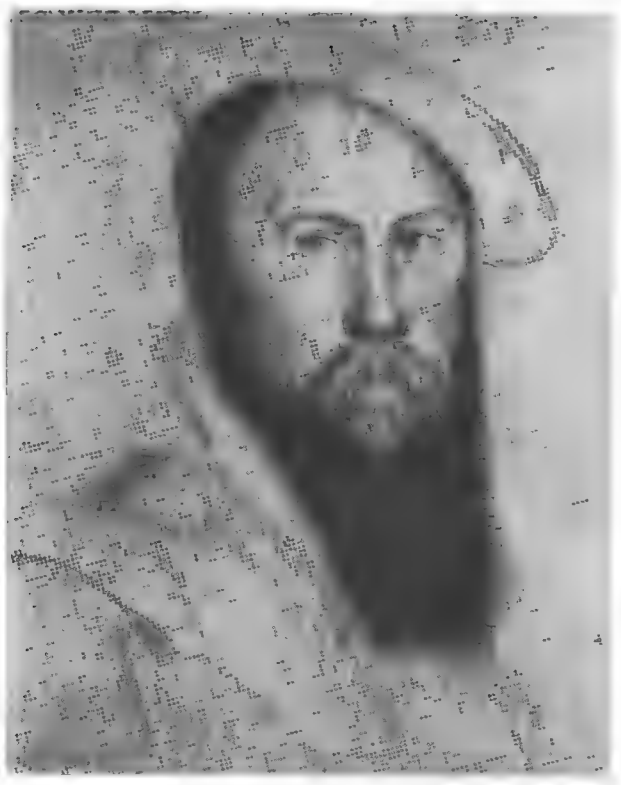
«Оправдание графа Сарри» — великолепный образец возрожденческой игры ума. С каким мастерством гуляка и буян переходит от защиты к нападению, как ловко он представляет свои бесчинства чуть ли не подвигом праведника и пророка! Тут предвосхищены парадоксы Фальстафа и Меркуцио, шум и ярость элегий Донна. А это уже елизаветинский период, девяностые годы.

Джон Донн (1572—1631) писал свои элегии в бытность студентом юридической школы в Лондоне. Его веселая циничность и откровенный натурализм в описании уродств, болезней

и секса (способный оттолкнуть иного читателя) — тоже, в основном, литературного происхождения. Образцами послужили не только римские сатирики, но и итальянские «антипетраркисты» — например, Франческо Берни. Это — первый период творчества великого поэта, совершившего впоследствии «восхождение» к шедеврам своей любовной и философской лирики и кончившего религиозным служением и покаянием.

Завершают подборку стихи Томаса Бастарда (1566—1618), никогда прежде не переводившегося на русский язык. Его единственная книга эпиграмм была напечатана в 1598 году. Т. Бастард окончил Оксфордский университет, стал сельским священником... Сведений о нем немного. Нищий и безумный, он умер в долговой тюрьме в Манчестере.

Таковы несколько малоизвестных страниц английской поэзии XVI века, с которыми я собираюсь вас познакомить. На моем столе лежит еще немало законченных и начатых переводов из этого богатейшего пласта — одного из вершинных явлений в истории европейской поэзии. Хочу воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить Фолджеровскую Шекспировскую библиотеку в Вашингтоне, предоставившую мне возможность в течение трех месяцев читать и изучать замечательное собрание книг и рукописей английского Возрождения.



ТОМАС УАЙЕТТ

Возможно ль быть?

Возможно ль быть,
Чтоб высший спор —
Душ пылких гордый разговор —
В ничтожный перешел раздор?
Возможно ль быть?

Возможно ль быть,
Чтоб дымно так
Огонь взметнувшийся иссяк,
Что от любви к презренью — шаг?
Возможно ль быть?

Возможно ль быть
Такой блажной,
Чтоб две души иметь одной —
Сквозных, как ветер продувной?
Возможно ль быть?

Возможно ль быть,
Чтобы в глазах
Менялись жалость, гнев и страх
Быстрей, чем выигрыш в костях?
Возможно ль быть?

Возможно ль быть
У райских врат —
И сверзиться оттуда в ад —
И раз, и много раз подряд?
Да, может быть!

Все может быть,
Пока сердца
Надежде верят без конца,
Как зверь, бегущий на ловца,
Все может быть!

Noli me tangere

Кто хочет, пусть охотится за ней,
За этой легконогой ланью белой;
Я уступаю вам — рискуйте смело,
Кому не жаль трудов своих и дней.

Порой, ее завидя меж ветвей,
И я застыну вдруг оторопело,
Рванусь вперед — но нет, пустое дело!
Сетями облака ловить верней.

Попробуйте и убедитесь сами,
Что только время сгубите свое;
На золотом ошейнике ее
Написано алмазными словами:

«Ловец лихой, не тронь меня, не рань:
Я не твоя, я цезарева лань».

О терзаниях и страданиях, причиняемых любовью

В чем тут секрет? Ложусь в кровать
И нет чтоб мирно почивать —
Тотчас начну вздыхать, стенать.
В чем тут секрет?

Постель мне кажется жестка;
Весь изверчусь ужом, пока
И впрямь не заболят бока.
В чем тут секрет?

Всю ночь бессонницей томлюсь:
Едва засну — в поту проснусь,
Горю и зябну и трясусь.
В чем тут секрет?

А поутру встаю больной;
Иду с улыбкой напускной
Туда, где помыкают мной.
В чем тут секрет?

Вблизи нее я нем, как дух,
Не смею слова молвить вслух,
Язык прилип и взор потух.
В чем тут секрет?

Боюсь я даже намекнуть,
Какое пламя жжет мне грудь,
Боюсь не так при ней вздохнуть.
В чем тут секрет?

Одно и то ж — день ото дня,
В них нет просвета для меня;
Но не пускает западня.
В чем тут секрет?

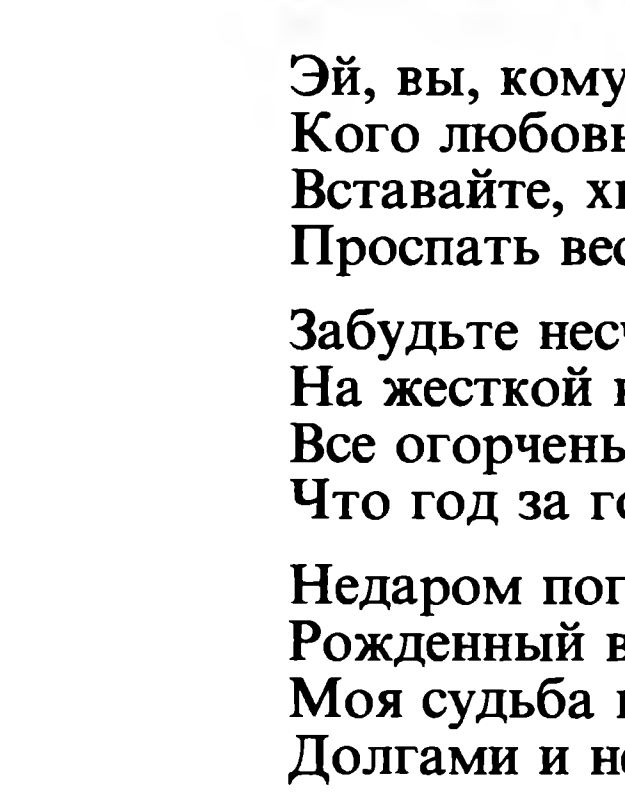
Сонет из тюрьмы

Эй, вы, кому удача ворожит,
Кого любовь балует награждая,
Вставайте, хватит праздновать лентяя,
Проспать веселый праздник мая — стыд!

Забудьте несчастливца, что лежит
На жесткой койке, в памяти листая
Все огорченья и обиды мая,
Что год за годом жизнь ему дарит.

Недаром поговорка говорит:
Рожденный в мае маяться обязан;
Моя судьба вам это подтвердит.
Долгами и невзгодами повязан,

Повержен в прах беспечный вертопрах...
А вы ликуйте! С вами я — в мечтах!



ГЕНРИ ГОВАРД, ГРАФ САРРИ

Оправдание графа Сарри, написанное в тюрьме Флит

Ты, Лондон, в том винишь меня,
Что я прервал твой сон полночный,
Шум непотребный учиня.

А коли стало мне невмочно
Смотреть на ложь твою и блуд,
Град нечестивый и порочный?

И гнев во мне разжегся лют;
Души, я понял, лицемерной
Увещеванья не спасут.

Иль впрямь свои грехи и скверны
Ты втайне думал сохранить?
Сии надежды непомерны.

Возмездия не отвратить;
Непрочен мир творящих злое!
Чтоб эту истину внушить,

Решился я с моей пращою —
Прообразом Господних кар —
Лишить бездельников покоя.

Как молнии немой удар —
Ужасного предвестник грома,
Так камешков летящих стук

По ставням дремлющего дома —
Негромкий и невинный звук —
Я мнил, тебе судьбу Содома

С Гоморрою — напомнит вдруг,
Чтобы Гордыня усмирилась
И, смертный пережив испуг,

К возвышенному обратилась;
Чтоб Зависть тотчас поняла,
Как гнусен червь — и устыдилась;

Чтоб Гнев узрел, в чем корень зла,
И свой унял жестокий норов;
Чтоб Леность сразу за дела

Взялась без дальних разговоров;
Чтоб Жадность раздала свой клад,
Познав бессмысленность затворов

И страхов ежеденный ад;
Чтоб любодеи клятву дали
Забыть про похоть и разврат;

Чтобы обжоры зарыдали,
Очнувшись, о своей вине,
Чтоб даже пьяницы в кружале,

Забыв о мерзостном вине,
Душою потянулись к Богу.
Вот ведь чего хотелось мне!

Вот для чего я бил тревогу!
Не окна я ломал — будил
Тех гордых, что, греша помногу,

Небесных не боятся сил,
Не внемлют голосу провидца!
Но тщетно я потратил пыл.

О величайшая Блудница,
Тщеславный, лживый Вавилон!
Твои виссон и багряница

Не скроют бесов легион,
Кишащих в этих тесных стенах;
Ты лишь обманчиво силён;

Кровь мучеников убиенных
Взывает к небу, вопия
О вероломствах и изменах;

Их вопль услышит Судия
И скоро отомстит, нагрянув
С чумой и гладом — на тебя,

И ты падешь, в ничтожность канув
Всем прахом башен и колонн,
Дворцов и гордых истуканов,

Чтоб стать навек среди племен
Предупреждением нелишним —
Как Град греха, что сокрушен

Благим и праведным Всевышним.

ДЖОН ДОНН

Ревность

Вот глупо! Ты желаешь стать вдовой
И тем же часом плачешься, что твой
Супруг ревнив. Когда б на смертном ложе
С распухшим чревом, с язвами на коже
Лежал он, издавая горлом свист
Натужно, словно площадной флейтист,
Готовясь изблевать и душу с ядом
(Хоть в ад, лишь бы расстаться с этим адом),
Под вой родни, мечтающей к тому ж
За скорбь свою урвать хороший куш,—

Ты б веселилась, позабыв недолю,
Как раб, судьбой отпущенный на волю;
А ныне плачешь, видя, как он пьет
Яд ревности, что в гроб его сведет!
Благодари его: он так любезен,
Что нам и ревностью своей полезен.
Она велит нам быть настороже:
Без удержу не станем мы уже
Шутить в загадках над его уродством,
Не станем предаваться сумасбродствам,
Бок о бок сидя за его столом;
Когда же в кресле перед очагом
Он захрапит, не будем, как доселе,
Ласкаться и скакать в его постели.
Остережемся, ибо в сих стенах
Он — господин, владыка и монарх.
Но если мы (как те враги короны,
Что отъезжают в земли отдаленны
Глумиться издали над королем)
Для наших ласк другой приищем дом,—
Там будем мы любить, помех не зная,
Ревнивцев и шпионов презирая,
Как лондонцы, что за Мостом живут,
Лорд-мэра или немцы — римский суд.

Анаграмма

Женись на Флавии, мой дорогой!
В ней сыщешь все, что было бы в другой
Прекрасным: не глаза ее, а зубы
Темны, как ночь; не грудь ее, а губы
Белей, чем алебастр; а нос — длинней
Ее, как перлы, редкостных кудрей;
Глаза — красней бесценного рубина;
И если взвод не в счет, она невинна.
В ней есть все элементы красоты,
Ее лицом гордиться должен ты,
А не вникать, как именно смешалась
В твоей любезной с белизною алость.
В духах неважно, что за чем идет:
За амброй мускус иль наоборот.
И чем тебя смущает эта дама?
Она — красы небесной анаграмма!
Будь алфавит к перестановкам строг,
Мы б не смогли связать и пары строк.
Взять музыку: едва прелестной песней
Мы насладимся, как еще прелестней
Другой певец нам песню пропоет,
А сложена она из тех же нот.
Коль по частям твоя мадам похожа
На что-то, то она уже пригожа;
А если не похожа ни на что,
Но несравненна, стало быть, зато.
Кто любит из-за красоты, тот строит
На зыбком основанье. Помнить стоит,
Что рушится и гибнет красота,—
А этот лик надежен, как плита.

Ведь женщины что ангелы: опасней
Падение — тому, кто всех прекрасней.
Для дальних путешествий шелк негож,
Нужней одежа из дубленых кож.
Бывает красота землей бесплодной,
А пласт навоза — почвой плодородной.
Коль ты ревнив (затем что грешен сам),
Жена такая — истинный бальзам
От всех тревог: ей не нужна охрана —
Тут испугается и обезьяна.
Как наводнений мутная вода
Фламандские хранила города
От вражьих армий,— так в отлучку мужа
Ее лицо, мужчин обезоружа,
Хранит ее от скверны. Рядом с ней
И мавр покажется куда светлей.
Немыслимо, что можно покуситься
На эту сласть: девицей мнят блудницу.
Рожай она — побьются об заклад,
Что это у нее кишки болят.
Сама покайся — не поверят вздору,
Как ведьм под пыткой самооговору.
Ведь даже чурка, взятая в кровать,
И та побрезгует ее чесать.
Она чудна? нелепа? превосходно!
В наш век что несуразно, то и модно.

ТОМАС БАСТАРД

Песочные часы

Песочные часы привел я в ход,
Чтоб знать, как время за трудом течет.
Мне размышлялось туго, еле-еле;
Не то чтоб мысли все оцепенели,
Но, как улитки, медленно ползли,
Не в силах оторваться от земли.
Лишь время даром время не теряло:
Я глянул — часа будто не бывало.
Поток песчинок за стеклом бежал
И каждый миг меня опережал.
Стой, время! переменимся ролями,
Ты школяром побудь, а я часами;
Погнись, пока я буду праздно жить
И временем крупитчатым сорить.
Беги, беги, песок неугомонный!
Что мне часы! ведь я батрак поденный.

О веке нынешнем

Князей, господ кругом — как никогда,
А рыцарства не сыщешь и следа.
Как никогда, кругом домов богатых,
Но корки не дождешься в тех палатах.
Как никогда, друзьями полон свет.
«День добрый!» — «Добрый день!» — а добрых нет.
Ученых уйма, а ума не стало;
Тьма набожных, а милостивых мало;
В судах законы загнаны в тупик,
Где правда? Или там, где громче крик?..
Век шествует вперед, бурлит, гордится;
Но гибнет истина, а грех плодится.

О наследье отцовском

Рачительность отцов нам сберегла
Мир в целости, за малым лишь изъятьем.
Увы, мы промотали все дотла;
Чем нас помянут сыновья? — Проклятьем.

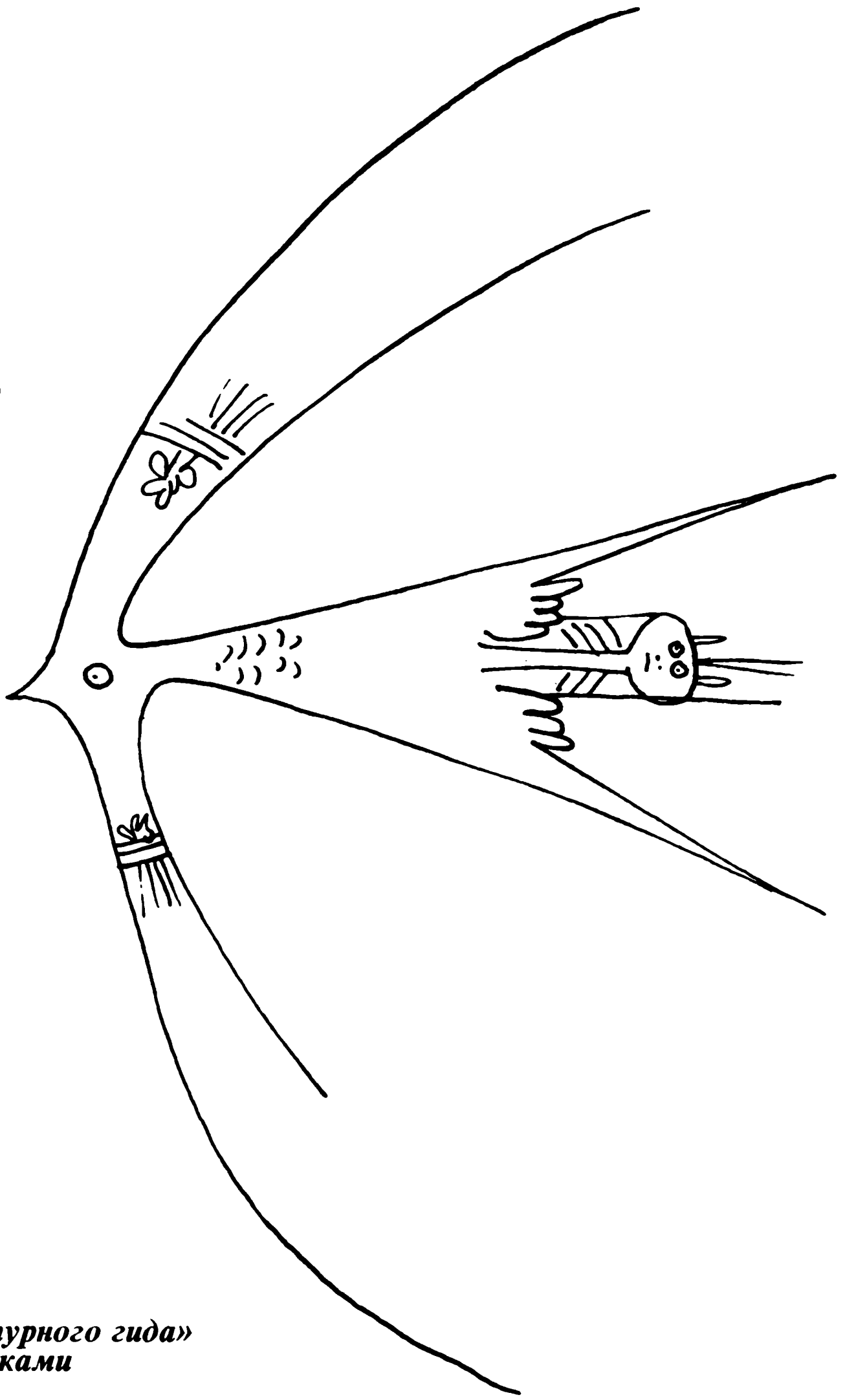
Мы истощили сок земли живой,
Засеяли бессильем наши нивы;
Леса и рощи, пышные листвой,
Теперь сквозят, клочкасты и плешивы.

Мы памятники прошлого смели,
Разграбили сокровищницы храмов;
И честь, и слава — брошены в пыли.
Что скажут сыновья, на это глянув?

Мир обречен. Коль Бог не поспешит,
Сама же тварь творенье сокрушит.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

ПИСАТЕЛЬ В ИЗГНАНИИ



Материалы «Литературного гида» иллюстрированы рисунками кубинского художника Вифредо Лама (1902—1982)

«Этой страны нам не переменить, давайте переменим тему»,— говорит один герой «Улисса» другому. О тех, кого при перемене темы вынесло на «другие берега», кто «выбрал свободу» или был лишен возможности вернуться на родину,— материалы нашего очередного «Литературного гида». О себе рассказывают авторы русского, польского, испанского, венгерского зарубежья, талантливые самобытные художники, ставшие чужими в своих странах. Многие из этих опальных мастеров писали свои воспоминания для неведомых друзей, не надеясь, что их книги когда-либо увидят свет.

За портретами представленных нами художников встают биографии поколений, разных волн эмиграции, которая в XX столетии стала явлением не только социальной жизни, но и культуры. Одна из характерных черт прозы и поэзии зарубежья — «вечный напор прошлого», память об «окаянных днях», а нередко — и ностальгическая ирония изгнанника.

«Литературный гид» предлагает вниманию читателей американские дневники корифея испанской поэзии Хуана Рамона Хименеса, биографию поколения «красивых, двадцатилетних» Марека Хласко, необычный рассказ Владимира Набокова, а также другие материалы.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Второй режиссер

РАССКАЗ

Перевод с английского И. БЕРНШТЕЙН

1

В каком смысле? Да в том, что часто жизнь как раз и есть всего лишь Второй режиссер, не больше. Сегодня мы отправимся в кино. Назад, в тридцатые годы, и еще дальше, в двадцатые, и за угол — в «Синема-Палас» старой Европы. Героиня — прославленная певица. Не опера, даже не «Сельская честь», нет, совсем не в том роде. «La Slavska», так ее называли французы. Жанр: на одну десятую цыганщина, на одну седьмую русская деревня (она была по рождению крестьянка) и пять девятых — популярные песни, то есть мешанина из фальшивого фольклора, армейской мелодрамы и казенного патриотизма. Незаполненный остаток уйдет на физическую мощь ее великолепного голоса.

Родившийся в сердце России, по крайней мере географическом, он со временем достиг больших городов, Москвы, Санкт-Петербурга, и царского окружения, где этот жанр высоко ценился. Ее фотография висела в уборной Шаляпина — русский народный головной убор с подвесками из крупных жемчужин, рука подпирает щеку, ослепительные зубы меж полных губ и поперек — крупная корявая надпись: «Тебе, Федюша». Звездчатые снежинки, успевая выявить каждая свою неповторимую симметрию, тихо опускаются и тают на плечах, рукавах, усах и шапках публики, ждущей в очереди, когда откроются кассы. Она до самой смерти всего больше дорожила — или притворялась, будто так уж дорожит,— аляповатой брошью в виде медали, подарком царицы. Это было изделие одной ювелирной фирмы, которая добилась большого коммерческого успеха благодаря тому, что на каждый праздник подносила императорской чете какую-нибудь (год от году все более ценную) эмблему царской власти — то огромный аметист, а на нем усыпанная рубинами бронзовая тройка, точно Ноев ковчег, застрявший на вершине горы Арарат; то на хрустальном шаре размером с арбуз — золотой орел с ромбическими бриллиантовыми распутинскими глазами. (Впоследствии, много лет спустя, наименее символические из этих подарков Советы выставили на Всемирной выставке как зримые черты расцвета своего искусства.)

Если бы все шло так, как тогда представлялось, она бы, возможно, и сегодня пела в натопленном Зале дворянского собрания или в Царском Селе, а я, сидя в глухом степном углу, выключал бы радио, на всю матушку-Сибирь транслирующее ее голос. Но судьба свернула не туда; и когда случилась Революция, а затем Война Красных и Белых, ее расчетливая крестьянская душа выбрала более практичную сторону.

На фоне призрачной атаки призрачной казачьей конницы тают титры с именем второго режиссера. Виден молодцеватый генерал Голубков, равнодушно наблюдающий за сражением в театральный бинокль. Когда кинематограф и мы были молоды, то, что открывается взору, нам показывали в двух соприкасающихся кругах-картинках. Теперь не то. Мы только видим, как генерал Голубков, вдруг встрепенувшись, вскакивает

в седло, вздергивает на дыбы своего скакуна, застив на мгновенье полнеба, и бешено бросается в гущу битвы.

Но неожиданно обнаруживаются инфракрасные лучи в спектре искусства: вместо общепринятой пулеметной дроби слышно далекое женское пение. Приближается, нарастает и наконец разливается во всю ширь. Роскошное контральто, исполняющее что там в фонотеке подобрал музредактор из русских протяжных песен. Так кто же ведет в бой инфра-Красных? Женщина! Поющая душа этого особого, специально обученного батальона. Она шагает впереди, топча русскую народную люцерну и распевая песню «Волга-Волга». Отважный молодец и джигит Голубков (теперь мы понимаем, что́ он углядел в театральный бинокль), хоть и ранен в нескольких местах, на всем скаку подхватывает и увозит ее, буйно отбивающуюся, с поля боя.

Самое странное, что этот пошлый сценарий воплотился в реальной жизни. Я лично знаю по меньшей мере двух надежных свидетелей описанного эпизода; и часовые истории пропустили его, не оспорив. Совсем немного времени прошло, а мы уже видим ее в офицерской столовой, где она сводит собравшихся с ума своей пышной смуглой красой и дикими разудалыми песнями. Она была Прекрасная Дама, но не жестокосердая, а трепетно-живая, не в пример Луизе фон Ленц или Зеленой Леди. Это она скрасила им дни общего бегства, которое началось вскоре после ее волшебного появления в лагере генерала Голубкова. Мы видим, как в сумрачном небе зловеще кружат вороны, или галки, или каких там птиц удалось для этой цели раздобыть и одна за другой садятся на усеянную трупами подходящую равнину где-нибудь в штате Калифорния. Вот мертвая рука белого солдата сжимает медальон с портретом матери. А рядом лежит красный солдат, и на его развороченной груди — письмо из дому и то же самое старушечье лицо наплывом поверх тающих строк.

Тут, как положено, контраст: взыгрывает громкая музыка, хлопают в такт ладони, притоптывают сапоги — это гуляет штаб генерала Голубкова. Ходит в танце грациозный грузин с кинжалом, толстобокий самовар сконфуженно отражает искаженные лица, Славская, запрокинув голову, гортанно смеется, и скотски пьяный, жирный военврач (шитый золотым позументом ворот расстегнут, лоснящиеся сальные губы собраны в плотоядный поцелуй) тянется через стол (крупным планом опрокинутый бокал), чтобы обнять — пустоту, так как жилистый, совершенно трезвый генерал Голубков успел подхватить ее и теперь, стоя с ней рядом перед всей честной компанией, холодным ясным голосом объявляет: «Господа, позвольте вам представить мою невесту»,— но тут среди наступившей тишины в окно залетает шальная пуля, вдребезги разнеся рассветно голубеющее стекло, и только после этого все громогласно приветствуют славную чету.

Похищение певицы, очевидно, состоялось не на сто процентов случайно. Киностудии не терпят индетерминизма. Еще того очевиднее, что к началу великого исхода, когда они, как и многие, многие другие, вступили на извилистый путь от Сиркеджи — на Моцштрассе, а оттуда — на рю Вожирар, генерал и его жена уже составляли пару — одну команду, один шифр, один мотив. Генерал, вполне естественно, становится деятельным членом СБВ (Союза Белого Воинства), повсюду разъезжает, организует военные курсы для русских юношей, устраивает благотворительные концерты, добывает из-под земли бараки для поселения неимущих, разрешает разногласия, и все так скромно, потихоньку. Этот СБВ, я думаю, приносил свою пользу. Но, к несчастью для его духовного благополучия, он оказался не способен оборвать связи с заграничными монархическими группировками и не чувствовал, в отличие от эмигрантской интеллигенции, всю ужасающую вульгарность и первобытный гитлеризм этих хотя и жалких, но подлых организаций. Когда доброжелательные американцы спрашивают у меня теперь, знаком ли я с милейшим полковником Таким-то или с величественным старцем графом Таковским, у меня не хватает духу открыть им неприглядную истину.

Но с СБВ были связаны и люди иного пошиба. Я имею в виду охотников до приключений, также вносивших лепту в общее дело,— тех, что переходили границу где-нибудь в заснеженной еловой чаще, какое-то время слонялись по родной земле, пользуясь легендами, разработанными для них, кстати сказать, бывшими эсерами, и тихо возникали в маленьком парижском кафе «Ешь-Бублики» или в берлинском Kneipe [1] вообще без названия, имея при себе разные ценные пустяки, какие привозят шпионы тем, кто их засылает. Иные из них были таинственно замешаны в разведывательную работу других стран, они смешно вздрагивали, если подойдешь сзади и тронешь их за плечо. Были и такие, что занимались этим для забавы. И только двое или трое, наверно, всерьез верили, что своей деятельностью мистическим образом подготавливают возрождение слегка обомшелого, но святого прошлого.

2

Далее мы оказываемся свидетелями зловещей череды однообразных событий. Умирает первый председатель Союза Белого Воинства, который был вождем всего Белого движения и самым достойным человеком из них всех; и в некоторых мрачных симптомах его внезапной болезни просматривается тень отравителя. Следующий председатель, верзила и здоровяк с громовым голосом и головой, как пушечное ядро, был похищен неизвестными лицами; есть основания предполагать, что он погиб, получив слишком большую дозу хлороформа. Третий председатель... но моя кинопленка бежит чересчур быстро. В действительности на то, чтобы убрать двух первых, ушло семь лет — не потому, что такие дела впопыхах не делаются, а из-за неких тонких обстоятельств, требовавших очень точного расчета времени,— так, чтобы мерному восхождению одного отвечало периодическое появление неожиданных вакансий. Это надо пояснить.

Маленький Голубков был не только очень ловким шпионом (тройным агентом, если точнее), но и отчаянным честолюбцем. Почему ему страстно хотелось возглавлять организацию, которая была лишь отсветом заката над погостом,— это головоломка только для тех, кто сам не ведает страстей и увлечений. Хотелось ужасно — и весь сказ. Менее понятно другое: откуда бралась у него уверенность, что он сумеет сберечь свою жалкую жизнь при столкновении могучих противников, от которых он одновременно рисковал принимать деньги и помощь? Здесь мне потребуется все ваше внимание, иначе останутся непонятными некоторые нюансы.

Советы едва ли так уж беспокоила маловероятная угроза того, что призрачная Белая Армия когда-либо возобновит военные действия против их окрепшего могущества; но их, бесспорно, должно было сильно раздражать, что данные об их фабриках и фортификациях, собранные неуловимыми лазутчиками СБВ, с четкостью механизма попадают в благодарные немецкие руки. Немцев мало интересовало невразумительное политическое разноцветье русской эмиграции, но у них не мог не вызывать досаду прямодушный патриотизм председателя СБВ, воздвигавшего время от времени моральные преграды на гладком пути дружеского сотрудничества.

Так что генерал Голубков оказался просто даром небес. Советы твердо надеялись, что при его председательстве лазутчики СБВ станут им поименно известны и понесут немцам заготовленную для них дезинформацию. А немцы не менее твердо рассчитывали, что благодаря ему смогут внедрить в шпионскую сеть СБВ сколько угодно своих, абсолютно надежных агентов. Ни та, ни другая сторона не заблуждалась насчет голубковской верности, но обе полагали, что сумеют использовать в своих интересах флуктуации его двойной игры. А чаянья простых русских

---

[1] Погребок, бар *(нем.)*.

людей, множества работящих семейств в отдаленных углах русской диаспоры, где они занимаются своими скромными, но честными ремеслами, совсем как в Самаре или в Твери, растят хрупких детей и наивно верят, что СБВ — это своего рода Круглый стол короля Артура, воплощение всего, что было и будет милого, здорового и благородного в сказочной России,— все эти фантазии как не идущие к делу, наверно, будут вырезаны из фильма.

Когда СБВ создавался, кандидатура генерала Голубкова на пост председателя стояла в списке (чисто теоретически, разумеется, ведь никто не думал, что их лидер скоро умрет) далеко не первой — не потому, что сослуживцы-офицеры мало ценили его легендарную отвагу, а просто уж так получилось, что он был в армии самым молодым генералом. Но ко времени выборов второго председателя он уже выказал столь недюжинные организаторские способности, что счел возможным вычеркнуть большинство стоящих впереди фамилий (чем заодно спас этим людям жизнь). Когда же и второй генерал был устранен, многие члены СБВ ожидали, что следующий кандидат, генерал Федченко, отречется в пользу младшего и более дельного товарища и уступит ему это удовольствие, которое причиталось старшему по праву возраста, репутации и образования. Но старый генерал, полагая удовольствие сомнительным, тем не менее счел малодушием отказываться от поста, уже двоим стоившего жизни. И Голубков, сжав зубы, принялся копать снова.

Внешне он не отличался привлекательностью. В нем не было ничего от лубочного русского генерала, эдакого славного пучеглазого, толстошеего здоровяка. Наоборот, он был худощавый, поджарый, остролицый, усики щеточкой и стрижка «ежиком», как это называется у русских, то есть короткая, жесткая и торчком. Он носил на волосатом запястье узенький серебряный браслет и, угощая русскими самодельными папиросами или английскими сигаретами «Кэпстен» со сливовым духом, открывал вместительный старый портсигар из черной кожи, который, как можно было понять, сопровождал его сквозь дым неисчислимых сражений. Держался всегда крайне вежливо и совершенно не бросался в глаза.

Когда Славская устраивала «приемы» — обычно в доме у кого-нибудь из своих меценатов, вроде остзейского псевдобарона доктора Бахраха, чья первая жена прославилась когда-то в роли Кармен; или русского старозаветного купца, радостно скупавшего в обезумевшем от инфляции Берлине жилые дома целыми кварталами по десяти фунтов за штуку,— молчаливый супруг скромно прохаживался между гостями: тому принесет бутерброд с колбасой и огурцом, этому — запотевшую стопку водки. И пока Славская поет (а она на таких «дружеских» вечерах пела сидя, подперев щеку кулаком и подставив ладонь под локоть), он, бывало, стоит в сторонке у стены, а то вдруг на цыпочках пробежит за дальней пепельницей и поставит тихонько на широкий подлокотник вашего кресла.

На мой взгляд, он уж чересчур тушевался, переигрывал, привнося в роль даже что-то лакейское,— хотя задним числом это оказалось в самый раз. Он просто пользовался в жизни эффектом контраста и испытывал радостный трепет, когда по неким долгожданным признакам — по наклону головы, по скошенному взгляду — догадывался, что Имярек на том конце зала указывает на него новоприбывшему и с восторгом поясняет, что вот, мол, такой скромный неприметный человек, а ведь сказочный герой, свершавший на легендарной войне неимоверные подвиги (в одиночку захватывал города, в таком духе).

3

Немецкие кинокомпании, подобно ядовитым грибам повсеместно выраставшие в те годы (то есть перед тем, как дитя света научилось говорить), нанимали по дешевке русских эмигрантов, чье прошлое было их единственной профессией и единственной надеждой,— иначе говоря,

людей как бы нереальных — исполнять в фильмах роль «реальной» публики. Вид этого миража в мираже порождал у чувствительного зрителя ощущение, будто находишься в зеркальной зале, где зеркала повешены одно против другого, или, правильнее сказать, в зеркальной тюрьме, и уже не различаешь, где отражение, а где ты сам.

Теперь, вспоминая берлинские и парижские залы, в которых пела Славская, и типажи, составлявшие ее публику, я словно занимаюсь озвучанием и раскрашиванием очень старого фильма, где жизнь представала в виде какой-то серой дрожи, похороны проходили вприпрыжку, и одно только море было чуточку окрашено (в слабо-голубой цвет), а сбоку крутили за ручку машину, производящую несинхронизированный звук шипения прибоя. Вот некий плешивый господин с безумным взором, гроза благотворительных комитетов, медленно проплывает через мое поле зрения в сидячей позе пожилого эмбриона и — о чудо! — как раз попадает на стул в заднем ряду. Здесь же и наш знакомец граф в неизменном обличии: при высоком воротничке и в грязных гамашах. В первом ряду, не оглядываясь по сторонам, сидит убеленный сединами, но жизнелюбивый батюшка, и крест колышется на его широкой груди.

Участники этих «правых праздников», связанных в моей памяти с именем Славской,— такие же призраки, как и ее публика. Очень подошел бы сюда артист варьете с выдуманным славянским именем, из тех виртуозов гитаристов, которых выпускают в мюзик-холле первым номером; его лакированная гитара в блестках и его небесно-голубые шелковые штаны — это как раз то, что надо. За ним на эстраду мог бы выйти бородатый старый разбойник в поношенном фраке, из бывших «Защитников русского народа»; он будет красочно описывать, что́ учиняют над русскими людьми масоны и израильсоны, эти два семитских племени.

А теперь, дамы и господа, мы имеем честь и удовольствие... И вот уже она на убийственном фоне пальм и национальных флагов, облизывая бледным языком жирно накрашенные губы и непринужденно сцепив на затянутом животе руки в лайковых перчатках, стоит и ждет, пока ее постоянный аккомпаниатор невозмутимый Иосиф Левинский, побывавший вместе с нею и в придворном концертном зале у царя, и в салоне товарища Луначарского, и в притонах Константинополя, не возведет перед нею ступени беглых вступительных аккордов.

Иной раз, если подбиралась подходящая публика, она начинала с того, что пела российский гимн и только потом переходила к своему узкому, но всегда восторженно принимаемому репертуару. Тут обязательно будет мрачная песня «На старой Калужской дороге» (где на сорок девятой версте стоит сосна, грозой разбитая), и еще другая, которая в немецком переводе, напечатанном в программке ниже русского текста, начинается словами: «Du bist im Schnee begraben, mein Russland» [1], и старинная народная баллада (сочиненная в восьмидесятые годы неким частным лицом) про атамана разбойников и красавицу персидскую княжну, которую он бросает в Волгу, когда товарищи укоряют его в мягкотелости.

Художественный вкус у Славской полностью отсутствовал, техника хромала, общий стиль был — черт знает что. Но люди, для которых музыка и сантименты — одно, которым нужно, чтобы песня, как медиум, вызывала из небытия призрак их личных и неповторимых воспоминаний о былом, эти люди находили в ее оглушительных распевах и ностальгическую усладу, и патриотический восторг. Особенно нравились песни разудалые, буйные. Эта удаль, не будь она такой откровенно нарочитой, могла бы, наверно, уберечь ее от полнейшей вульгарности. Но маленькая, цепкая душонка торчала наружу из каждой песни, и всего ее темперамента хватало разве что на всплеск, но не на вольный поток. В наши дни, когда в каком-нибудь русском доме заводят патефон и с пластинки

---

[1] Замело тебя снегом, Россия *(нем.)*.

льется ее контральто, я с содроганием вспоминаю этот рот, широко, всем на обозрение разинутый в притворном вокальном экстазе, и красиво уложенные иссиня-черные волосы, и скрещенные ладони, прижимающие к груди знаменитую медаль в ленточной розетке, когда она кланялась в ответ на овацию, и всю ее широкоплечую крепкую фигуру, прямую даже в поклоне и затянутую в прочный шелк, как в серебряную обертку,— придворная дама Снежного короля или камер-фрейлина в Подводном царстве.

4

Далее вы увидите ее (если цензор не усмотрит в последующих кадрах оскорбления религиозных чувств) в медвяном полумраке набитой людьми русской церкви — она самозабвенно рыдает, стоя на коленях бок о бок с женой (или вдовой? — уж ей-то это точно известно) генерала, чье похищение так четко организовал ее муж и так ловко осуществили безымянные молодцы-профессионалы, которых подослал в Париж Хозяин.

Увидите вы ее и в другой обстановке еще два или три года спустя, она поет в *апартемане* на рю Жорж Санд, окруженная восхищенными гостями, как вдруг — обратите внимание! — веки у нее приспускаются, гаснет улыбка на поющих губах: это появился ее муж, его задержали последние приготовления в связи с одним делом, и теперь он тихо входит, жестом мягкого укора усаживает на место седовласого полковника, вздумавшего было уступить ему свой стул; а жена машинально допевает в десятитысячный раз все ту же песню, а сама щурится (она близорука, как Анна Каренина), высматривая определенный знак, и когда она уже утонула, а его расписные челны уплыли, и предательские круги на реке Волге, что в графстве Самара, расходятся и теряются в беспросветной вечности (ибо то была последняя в ее жизни песня), он подходит к ней и говорит громко, так что слышно сквозь рукоплескания: «Маша, завтра дерево будет срублено».

Эти слова насчет дерева — единственное яркое пятно, какое он себе позволил во всей своей серо-голубиной карьере. И мы простим ему такую невыдержанность, если вспомним, что речь идет о последнем генерале, преграждавшем ему дорогу, и что завтрашняя рубка должна автоматически привести к его, Голубкова, избранию. В то время его друзьям служила предметом безобидных шуток (русский юмор — птица малая и довольствуется крохой) ссора этих двух больших детей из-за развесистого старого дерева, которое она капризно требовала свалить как затеняющее ей окно на загородной вилле, а он говорил, что это ее самый многолетний поклонник (вот остроумно-то!) и потому заслуживает снисхождения. Заметьте, как вон та толстая дама в горностаевом палантине игриво упрекает храброго генерала Голубкова за столь скорую капитуляцию и как Славская, сияя, заключает его в свои холодные, словно студень, объятия.

На следующий день, ближе к вечеру, генерал Голубков сопровождает жену к портнихе, терпеливо ждет там, читая «Пари суар», а потом она посылает его домой — привезти платье, которое она хотела расставить, но забыла захватить. Через подходящие промежутки времени она правдоподобно изображает, будто звонит ему домой, и по телефону бурно руководит поисками. Армянка-закройщица с мастерицей, молоденькой княжной Тумановой, от души потешаются в соседнем помещении над ее богатым арсеналом деревенских ругательств (которыми она дополняет роль, когда исчерпана творческая фантазия). Это шитое белыми нитками алиби не было предназначено для латания прорех задним числом — ибо никаких прорех возникнуть не могло,— просто надо было дать человеку, которого заведомо никому не придет в голову подозревать, возможность отчитаться как положено в своем местопребывании, когда начнут выяснять, кто последним видел генерала Федченко. Наконец перерыты все воображаемые шкафы, генерал Голубков

у всех на глазах возвращается с искомым платьем (которое, конечно, загодя было положено в машину). И снова погружается в чтение газеты, а его жена продолжает примерку.

5

Тридцати пяти минут, что он отсутствовал, хватило с лихвой. Когда она начала игру с выключенным телефоном, он уже подобрал генерала Федченко на условленном безлюдном углу и повез на вымышленную конспиративную встречу, представленную таким образом, что таинственность оказывалась естественной, а присутствия требовал долг. Через несколько минут Голубков затормозил, и оба вышли. «Улица не та»,— заметил генерал Федченко. «Верно,— ответил генерал Голубков,— но здесь удобнее оставить машину. У входа в кафе лучше не парковаться. А тут две минуты ходу напрямик по этому переулку». «Хорошо, идемте»,— согласился старый генерал и прокашлялся.

В том квартале Парижа улицы носят имена философов, и переулку, которым идут два генерала, некий начитанный отец города дал название — рю Пьер Лабим. Переулок потихоньку забирает в сторону, мимо темного собора, мимо строительных лесов, и приводит нас туда, где стоят какие-то сомнительные особняки с заколоченными окнами, каждый сам по себе позади ограды, за которую цепляются умирающие кленовые листья по пути от голой ветки до мокрого тротуара. Слева тянется длинная стена, на ней сквозь серую штукатурку здесь и там проглядывают кроссворды кирпичной кладки; и еще в этой стене имеется маленькая зеленая дверь.

Поравнявшись с дверцей, генерал Голубков достает свой заслуженный боевой портсигар и останавливается, чтобы прикурить. Генерал Федченко, сам некурящий, как человек вежливый тоже останавливается. Порывистый ветер шелестит сумерками и задувает первую спичку. «Я все же думаю,— говорит генерал Федченко, продолжая давешний не очень важный разговор,— я все же думаю (чтобы не стоять молча у зеленой дверцы), раз отец Федор желает оплачивать эти квартиры из своих средств, мы, по крайней мере, могли бы взять на себя отопление». Вторая спичка тоже гаснет. Наконец, растаяла в отдалении спина случайного прохожего. Генерал Голубков громко чертыхается, проклиная ветер, и так как это — условный сигнал, зеленая дверца открывается и три пары рук в одно мгновенье уволакивают старика с глаз долой. Дверца захлопывается. Генерал Голубков, раскурив сигарету, уходит туда, откуда пришел.

Старика с тех пор никто больше не видел. Тихие иностранцы, снимавшие некий тихий дом сроком на один месяц, были всего лишь безобидные голландцы или датчане. И вообще это все — обман зрения. Нет там зеленой дверцы, а только серая, да и та никакими силами не открывается. Я пересмотрел превосходные энциклопедии: не было такого философа — Пьер Лабим.

Но я видел жабу у нее в глазах. Существует русская пословица: «Всего двое и есть — смерть да совесть». Что трогательно в человеке, это — что можно иногда не ведая поступить хорошо, но всегда сознаешь, если поступаешь дурно. Один страшный злодей, у которого жена была еще пущей злодейкой, признался мне, когда я был священником: больше всего его мучил тайный стыд, что стыдно спросить у жены, может, она в глубине души презирает его или тайно подозревает, что, может, он в глубине души презирает ее. Поэтому я хорошо знаю, какие лица были у генерала Голубкова и его супруги, когда они наконец остались наедине.

6

Впрочем, ненадолго. Часов в десять вечера генерал Р. уведомил генерала Л., секретаря СБВ, что госпожа Федченко крайне обеспокоена непонятным отсутствием мужа. Только тут генерал Л. вспомнил, что

в обед их председатель сказал ему без особого нажима (такая у старика была манера), что вечером у него дело в городе и если к восьми он не вернется, пусть генерал Л. прочтет записку, которая лежит в среднем ящике председательского стола. Два генерала со всех ног бросились в помещение Союза, потом обратно за ключом, так как генерал Л. его забыл захватить, и снова в помещение Союза, где наконец достали записку. Там было написано: «Не могу избавиться от странного чувства, за которое потом мне будет, наверно, стыдно. На 5.30 у меня назначена встреча в кафе, дом № 45, рю Декарт. Там я должен увидеться с осведомителем противной стороны. Я подозреваю ловушку. Все устроено генералом Голубковым, и он везет меня в своем автомобиле».

Что сказал генерал Л. и что ответил генерал Р., я опускаю. По-видимому, оба соображали довольно медленно, потому что потратили еще какое-то время на маловразумительный телефонный разговор с негодующим владельцем кафе. Была уже почти полночь, когда Славская, в цветастом халате и якобы спросонья, отперла им дверь. Ей не хотелось бы тревожить мужа — по ее словам, он уже спал. А в чем, она поинтересовалась, дело? Не случилось ли чего с генералом Федченко? «Он исчез»,— ответил честный генерал Л. «Ах!» — произнесла Славская и грохнулась в глубоком обмороке, чуть ли не переломав в гостиной мебель. Все-таки сцена потеряла в ее лице не так много, как полагало большинство ее поклонников.

Двое генералов сумели сдержаться и не рассказать генералу Голубкову про записку, и он, отправляясь с ними в помещение СБВ, думал, что его просто позвали обсудить, следует ли сразу обратиться в полицию или сначала спросить совета у восьмидесятивосьмилетнего адмирала Громобоева, который почему-то почитался царем Соломоном Союза.

— Как это надо понимать? — спросил генерал Л., протянув Голубкову разоблачительную бумагу.— Вот, прошу ознакомиться.

Голубков ознакомился — и сразу понял, что все пропало. Не будем заглядывать в бездну охвативших его чувств. Он возвратил записку и пожал худыми плечами.

— Если это действительно писано генералом — а похоже, надо признать, что почерк его,— мне остается только выдвинуть предположение, что кто-то действовал, приняв мое обличье. У меня есть, однако, основания надеяться, что я смогу оправдаться перед адмиралом Громобоевым. Предлагаю немедленно отправиться к нему.

— Да,— сказал генерал Л.,— поедемте прямо сейчас, хотя уже очень поздно.

Генерал Голубков набросил на плечи шуршащий макинтош и вышел первым. Генерал Р. помог генералу Л. разыскать кашне, которое сползло на пол с банкетки — уж эта конторская мебель, она уготована для служения вещам, а не людям. Генерал Л. со вздохом обеими руками насадил на голову старую фетровую шляпу. И двинулся к дверям.

— Одну минуту, генерал,— тихо окликнул его генерал Р. — Я хочу у вас спросить... Как офицер офицеру, вы абсолютно уверены, что... ну, что генерал Голубков говорит правду?

— Это мы сейчас узнаем,— ответил генерал Л., он был из тех, кто убеждены, что всякое высказывание, будучи высказыванием, заведомо небессмысленно.

В дверях они замешкались, любезно пропуская один другого вперед. Наконец тот, что был чуть постарше, принял на себя первенство и молодецки шагнул через порог. За дверью оба остановились: на лестнице было что-то уж слишком тихо. «Генерал!» — крикнул вниз генерал Л. Они переглянулись. И торопливо, неуклюже топоча, сбежали по черным ступеням, выскочили под ночную морось, посмотрели направо, посмотрели налево и потом снова уставились друг на друга.

Она была арестована назавтра рано утром. И в течение всего следствия ни разу не вышла из роли потрясенной горем невинности. Французская полиция выказала при расследовании довольно странную пассивность, словно пропажа русских генералов — это такая туземная

особенность, восточный феномен растворения в воздухе, лучше бы он, конечно, не имел места, да поди ему воспрепятствуй. Впрочем, кажется, в Sûreté о том, как делаются такие фокусы с исчезновением людей, знали больше, чем дозволялось говорить вслух по дипломатическим соображениям. Заграничные газеты подавали всю эту историю в шутливо-сочувственной и слегка брезгливой манере, потому что надоело, заголовки «L'affaire Slavska» не наделали особого шума — тема русской эмиграции уже, бесспорно, исчерпала себя. По забавному совпадению, германское и советское агентства новостей одновременно дали краткие сообщения о том, что в Париже два русских белых генерала скрылись, похитив все средства Белой Армии.

7

Суд прошел на удивление скомканно и нечетко, свидетели далеко не блистали, а обвинительный приговор Славской за похищение был юридически сомнителен. Без конца всплывали затемняющие дело несущественные подробности. Показания, которые следовало давать, давали не те, кому следовало их давать. И наоборот. Отыскался подписанный неким Гастоном Куло, фермером, счет «pour un arbre abattu» [1]. Генерал Л. и генерал Р. натерпелись горя от садиста адвоката. Парижский *клошар*, из тех живописных небритых созданий с переспелыми носами (легко поддающихся гримировке), которые все свое носят с собой в бездонных карманах, на ступни наворачивают слой за слоем расползающиеся газеты, расставшись с последним носком, и посиживают с бутылкой, раскинув ноги, у облезлой стены какого-нибудь от века недостроенного здания, очень красочно описал сцену дурного обращения с пожилым господином, которую наблюдал со своего укромного места. Две русские дамы, из них одна недавно лечившаяся от острой истерии, показали, что в день преступления видели генерала Федченко и генерала Голубкова едущими в автомобиле последнего. Один русский скрипач, находившийся в вагоне-ресторане немецкого поезда... Но к чему пересказывать все эти сплетни?

Напоследок — несколько кадров Славской в тюрьме. Вот она кротко сидит в углу и вяжет. Вот пишет, вспрыскивая слезами, письма мадам Федченко, в которых утверждает, что они теперь сестры, ведь у них у обеих мужья схвачены большевиками. Умоляет, чтобы ей разрешили пользоваться губной помадой. Рыдает и молится в объятиях бледной молоденькой русской монахини — та приехала рассказать, что ей было видение, подтвердившее невиновность генерала Голубкова. Требует, чтобы ей возвратили ее Новый Завет, а полиция не дает, прячет, правда, не от нее, а от следствия, чьи эксперты чуть было не расшифровали некие пометы на полях Евангелия от Святого Иоанна. Вскоре после начала второй мировой войны у нее выявилась какая-то внутренняя болезнь, и когда однажды летним утром в тюремном лазарете появились три немецких офицера и пожелали немедленно ее увидеть, им ответили, что она умерла,— и это, возможно, была правда.

Бостон, 1943 г.

---

[1] За срубленное дерево *(франц.)*.

Первый американский рассказ Набокова

Поклоннику рассказов Владимира Набокова (по определению одного из набоковедов, всего-навсего личинок, зародышей прославленных набоковских бабочек-романов, а по определению самого мастера — тоже бабочек, но только другой, более мелкой разновидности) первый американский рассказ Набокова может показаться необычным, точней, ненабоковским. Начать с того, что он имеет документальную основу и воспроизводит широко известное (скорее, конечно, русским эмигрантам, чем американским аборигенам, на кого рассчитан рассказ) «дело Плевицкой», что он вообще обращен к политике и «злобе дня», от чего, по широкому мнению (распространению которого немало способствовали во второй половине нашего века и сам лукавый творец собственного «имиджа» Набоков, и иные его доверчивые критики, в том числе и русские), писатель был якобы «весьма далек».

При внимательном рассмотрении многое из того, что показалось здесь на первый взгляд странным, оказывается вполне объяснимым и даже естественным. Накануне бегства в США из Франции Набоков, как и вся русская колония в Париже, с неослабным интересом следил по газетам за ходом процесса Плевицкой, отчеты о котором печатались в милюковских «Последних новостях» рядом с произведениями самого Набокова. Имя знаменитой эмигрантской певицы Надежды Плевицкой было знакомо Набокову еще в первые годы берлинской эмиграции, когда его литературный приятель и соавтор предприимчивый Иван Лукаш (писатель незаслуженно забытый) обрабатывал ради заработка ее биографию, изданную под названием «Дежкин карагод» в Берлине в 1925 году (на деньги богатого поклонника певицы) с предисловием А. Ремизова. Пересказывать головокружительную творческую и брачную карьеру Плевицкой, вероятно, нет смысла [1], а вот об организации, выведенной Набоковым под именем Союз Белого Воинства (СБВ) и называвшейся на самом деле Русским общевоинским союзом (РОВС), надо сказать несколько слов. Союз этот объединил за рубежом солдат и офицеров оставшейся не у дел белой армии. Полковники и прочие воины сели за баранку парижского такси или встали к станку на автозаводах Рено и Ситроена, но вне работы у них оставался в утешение Союз — воинская дисциплина, учения, монархические идеи. Когда возникли планы подпольной антибольшевистской борьбы, глава РОВС генерал Врангель высказал справедливое опасение, что где тайны, подполье, там провокаторы и шпионы (на памяти у Врангеля был, конечно, печальный опыт эсеров и азефовщина). После смерти Врангеля его преемник отважный генерал Кутепов решил при-

Н. В. Плевицкая

[1] Подробнее о трагической по сути своей судьбе «курского соловья» см. также: Вячеслав Костиков «Не будем проклинать изгнанье...», М., 1990 и вступление Ирины Ракши «Шкатулка с секретом. Возвращение в Россию» к книге мемуаров Н. Плевицкой, М., 1993.

Н. В. Скоблин

ступить к подпольным акциям и за благословением обратился к великому князю Николаю Николаевичу (местоблюстителю царского престола в. к. Кириллу Владимировичу монархическая эмиграция не простила красного банта, которым он украсил грудь в феврале 1917 года). Увы, опасения генерала Врангеля оправдались. Когда читаешь об истории РОВС и, в частности, его подпольной «Внутренней линии», создается впечатление, что чуть ли не все акции этой организации были придуманы и инспирированы Лубянкой (вплоть до поездки Шульгина в Россию и его знаменитой книги). И конечно, руководство РОВС было инфильтровано агентами ГПУ. Рядом с Кутеповым (а позднее и генералом Миллером) стоял их воспитанник и друг, герой-корниловец, молодой генерал Скоблин, муж певицы, некогда любимицы двора, позднее — эмигрантской публики, плакавшей навзрыд в темном зале, когда Плевицкая пела на сцене свою самую знаменитую песню «Замело тебя снегом, Россия» (Набоков лукаво дает эту строку в немецком переводе). Как сообщила недавно российская пресса, Скоблин и его жена были завербованы ГПУ (под кодовыми кличками Фермер и Фермерша) еще в начале тридцатых годов и получали оклад в долларах, который мог бы спасти тогда от голода целую украинскую деревню. Впрочем, настоящие фермеры были стране не нужны, а на кормление шпионов она денег никогда не жалела. Над штабом РОВС находилась, между прочим, в пору похищения генерала Миллера квартира бывшего промышленника Третьякова (из тех Третьяковых) — там скорей всего в ночь своего разоблачения и спрятался Скоблин, улизнув от стариков генералов. Пьяница Третьяков тоже был в ту пору агент ГПУ.

Что стало позднее со Скоблиным, нам с вами еще не поведали. И ясно, что кое-каких подробностей этой фантастической истории В. В. Набоков в пору написания своего рассказа не мог знать (как и мы с вами не знаем их сегодня), но иные из его догадок свидетельствуют о несомненно более глубоком проникновении в характеры преступников, чем то, что проявили французские судейские (это нас, вероятно, не может удивлять). Что до прославленной французской разведки, то она, скорей всего, не хотела тогда портить отношения с могучим «оплотом мира» СССР и не мешкая отстранила от следствия одного шустрого инспектора, который, похоже, выследил ящик с генеральским телом (так называемый «гаврский след», приводивший к советскому теплоходу «Мария Ульянова»). Если эмигрантская пресса и сам знаменитый мэтр Рибэ говорили на процессе о зловещей роли Плевицкой, «злого гения» всех преступлений, а генерала Скоблина в эмиграции называли «генералом Плевицким», намекая на его роль нищего подкаблучника, то проницательный Набоков подчеркивает в рассказе неукротимое тщеславие Скоблина, желавшего любой ценой стать главой РОВС, и называет его при этом «тройным шпионом». Набоков не мог знать в 1943 году, что, едва придя в Ренн, где незадолго до войны умерла в тюрьме Плевицкая, немцы приказали произвести эксгумацию тела. Искали следов насилия? Есть гипотеза, что именно через супругов немцы подкинули чехам материалы, «компрометирующие» маршала Тухачевского. Есть, впрочем, и другие предположения, грязная, в общем-то, история — монархия, генералы, доллары, замело тебя снегом, бедная ты наша родина... Как заметит читатель, Набоков, чей нежно любимый отец был убит именно такими зубрами, что царили в РОВС, с насмешливым презрением относится и к популярным песням Плевицкой, и ко всей этой сарафанно-матрешечной поп-культуре правой эмиграции (об этом у него найдете везде — от «Защиты Лужина» с лужинской тещей до четы Комаровых из «Пнина»).

Мне довелось листать послевоенную книжечку воспоминаний комиссара «Сюртэ» (французской ГБ) Белэна, вспоминавшего, как перед самой войной его

позвали в Ренн, где так упорно запиравшаяся на суде русская певица захотела ему исповедаться. Ее исповедь подтверждает догадку В. В. Набокова, книжки этой в глаза не видевшего: всему виной бесовское тщеславие ее Коленьки (он был моложе ее на 9 лет).

«Шпионский» сюжет не так уж необычен и неожидан для творчества Набокова, как может показаться. Эмигрантский Берлин уже в 20-е годы кишел советскими шпионами. У Набокова был даже ученик-шпион, а писатель Тарасов-Родионов назначил однажды Набокову тайное свидание, чтобы склонить его к возвращению в Россию. Тогда же Набоков пишет пьесу о шпионе (отголоски всех этих тайн есть и в «Подвиге»). Вдобавок юный Набоков (вопреки позднейшим его утверждениям) был вовсе не чужд ни политике, ни общественной жизни: он участвовал в эмигрантской художественной, так сказать, самодеятельности, избирал других и сам избирался в различные органы (например, в кассу взаимопомощи), заседал в разнообразных жюри и даже вошел с двумя младшими членами семьи А. Каменки в небольшую организацию антисоветского контршпионажа. Так что все эти шпионские, судебные и детективные страсти в рассказе не случайны.

Еще менее случаен в рассказе кинематограф, при помощи которого Набоков как бы отстраняется от слишком документальной сюжетной основы рассказа. Его прошедшая почти через всю жизнь любовь к странному искусству, отчуждающему от человека его тень, не находила взаимности до седьмого десятилетия его жизни. Оно, может, и к лучшему, что разочарование (о котором он — по-видимому, по договоренности с режиссером — предпочел не трубить на всех углах) пришло лишь так поздно, в пору, когда знаменитый Стэнли Кубрик поставил его уже ставшую бестселлером «Лолиту», преобразовав томительную нимфетку во вполне заурядную половозрелую телку (требования к нравственности в богатом массовом искусстве кино всегда строже, чем в нищей словесности). В годы берлинской юности, когда Набоков до слез умел хохотать в темной зале кинематографа над глупейшим американским фильмом (свидетельство И. В. Гессена), когда он один за другим придумывал сюжеты для кино и сам великий Льюис Майлстоун чуть было не клюнул на его «Картофельного эльфа»,— в те годы Набоков не поднимался в кино выше ранга простого (впрочем, не совсем простого, а имеющего собственный смокинг) участника массовки. Зато кинематограф вторгался тогда чуть не во все его произведения и придавал многим из них (самый характерный пример — «Камера обскура») «киношную» окраску. Один из бывших студентов Набокова, сам страстный киноман, А. Аппель написал даже целую книгу о киноманстве Набокова. Как знать, может, и «Второй режиссер» (до войны ту же должность в русском кино называли «первый ассистент режиссера») имел побочной целью намекнуть американским киношникам на новый кладезь сюжетов. Если и так, надежда была напрасной — для американского кино писал в это время бывший посол в Москве Дэвис, создававший (в соответствии с военной союзнической эйфорией) сцены из счастливой колхозной жизни. А Набоков снова шел против течения.

Зато ему тогда повезло с публикациями. Он мог бы десятилетиями в Америке писать «в стол», если бы общительный кузен-композитор Николай Набоков (по-семейному — Ника Набоков) не свел его со знаменитым американским писателем и критиком Эдмундом Уилсоном, который как раз в это время обнаружил, что кроме великого освободителя Ленина в России (что за страна!) был еще великий Пушкин. Уилсон бросился на помощь новому, безвестному русскому эмигранту (былая громкая слава Сирина в прах развеялась за океаном, и М. Слониму приходилось предварять публикацию стихов Набокова в «Новом русском слове» объяснительной врезочкой о том, кто такой Сирин-Набоков) и ввел его во все лучшие американские литературные журналы. Эта полезная дружба длилась долго, пока все углублявшаяся дискуссия о величии Ленина и о просодии Пушкина не положила ей конец (в ту пору, впрочем, «мавр» Уилсон, сделавший свое дело, мог уже уходить). В далеком 1943-м дружба эта помогла Набокову напечатать свой первый американский рассказ не где-нибудь, а в престижном ежемесячнике «Атлантик мансли».

Перевод американского Набокова на русский ставит немалые проблемы перед теми, кто на него отваживается. Сирин создал в Европе свой особенный русский стиль, а Набоков 1943 года (уже написавший, впрочем, в Европе сложнейший английский роман) еще только создает свой особый английский. Понятно, что перед русским переводчиком встает соблазн отождествить английский стиль Набокова с русским стилем Сирина (тем более что это «соскальзывание» с действительности на кинематограф или в мечту, эта емкость фразы, подобной удаву, который объелся кроликов, небрежное введение метафор в расчете на «умного, которому достаточно»,— все это было уже и у Сирина). Однако английский язык у Набокова в Америке не идентичен его русскому, и переводчику следует, вероятно, иметь дело с существующим иноязычным текстом, а не литературными реминисценциями. С этой точки зрения мне представляется удачным, что рассказ попал на перевод не ученому-набоковеду (который будет помнить к тому же, что в конце жизни Учитель, наглядевшись на небрежные переводы на Западе, где перевод художественной литературы не профессия и давно уже не кормит, завещал переводить «дословно», «буквально», может, даже «подстрочно», отвергая любые попытки «художественного» и «адекватного» перевода в нашем понимании термина), а опытной, профессиональной переводчице Инне Максимовне Бернштейн. Понятно, что и у нас в России, куда рынок вторгся так нежданно и бурно, литературный перевод скоро начнет терять уровень. А жаль, ибо десятилетия нашего привилегированного переводческого житья и добросовестных усилий успели воспитать в России читателя, который замечает не только название книжки, но и имя автора, и более того — имя переводчика, а главное — способен отличать хороший перевод от той беззастенчивой полупереведенной бодяги, какой «первоначальное накопление» и вольный рынок завалили ныне книжные прилавки.

Б. НОСИК

ЯН ЛЕХОНЬ

Перевод с польского и вступление А. ГЕЛЕСКУЛА

Первый сборник стихов Яна Лехоня увидел свет в 1912 году. Автору, Лешеку Серафиновичу, было тогда тринадцать лет, и псевдоним, ставший пожизненным, он образовал из собственного имени (в семейном обиходе — Лехо) с некоторым намеком на прародителя поляков Леха, к которому, впрочем, имел косвенное отношение,— захудалый, но старинный шляхетский род Серафиновичей основали в XV веке крещеные турки.

Отец поэта, железнодорожный служащий, и мать, учительница, были типичными варшавскими интеллигентами, преданными польской культуре и гражданскому долгу. Зато дед предстает фигурой легендарной — Иозеф Серафинович с войсками Наполеона вступал в Москву, тонул в Березине и подпоручиком кавалерийского корпуса сражался в рядах польских повстанцев 1830 года. Ему было уже под семьдесят, когда родился седьмой его сын Дионисий, последний побег могучего ствола и будущий отец поэта Яна Лехоня. Через деда поэт на всю жизнь ощутил кровную связь с героическим прошлым, освященным именами Словацкого, Шопена и Мицкевича. И с душой этого прошлого — польским романтизмом.

В пятнадцать лет Лехонь издал второй сборник стихов, и в этих лирических дебютах повинны во многом родители «чудо-ребенка». По-настоящему же он вошел в литературу как сатирик; уроженец Варшавы, Лехонь был варшавянином до мозга костей, и пылкость уживалась в нем с едкой иронией. Его политические сатиры военных и революционных лет — «Польша, божий одуванчик» и другие, в стихах и прозе,— первоначально анонимные, позже не раз переиздавались. С этим жанром он не расстался и уже в независимой Польше основал сатирический журнал «Варшавский цирюльник».

Еще в университете, где он подружился с Юлианом Тувимом, была написана книга стихов «Кармазинная поэма», принесшая автору бурную славу. Университета, кстати, Лехонь не кончил, поскольку в ноябре 18-го, после провозглашения независимости, был мобилизован. Близорукий астеник, нервный и слегка не от мира сего, как ни рвался умереть за Польшу, в действующую армию не попал по здоровью, но юношескую преданность Пилсудскому сохранил до старости. В университет он уже не вернулся, став одним из вдохновителей литературного содружества «Скамандр», куда вошли Тувим, Ивашкевич и другие молодые поэты. «Скамандриты» завели собственный столик в полуподвале знаменитого тогда литературного кафе «Малая Земянская», откуда Лехонь, по его признанию, «выходил только прогуляться и переночевать, а вообще-то жил там как дома».

В том же ноябре 18-го на вечере в литературном кафе «Пикадор» Лехонь читал «Кармазинную поэму». Романтически яркие композиции историко-мифологического склада, полные музыки, пафоса и героики, были сами по себе выразительны, а всеобщая эйфория ввиду обретенной независимости лишь усилила впечатление. Вечер стал литературным событием и остался в памяти как легенда. Друзья заговорили о «втором Словацком». Но сам Лехонь трезво сознавал, что в поэзии «второй» означает «вторичный». «В искусстве,— писал он,— никакого прогресса нет, а есть подлинные творцы, вечно современные друг другу, и есть беспомощные или искусные подражатели, которые вне своего времени не стоят ни гроша». К «творцам» он себя не причислял, а перепевать не хотелось никого, тем более самого себя. В новой книге стихов «Серебряное и черное», вышедшей в 1924 году, он предстал совершенно другим. Несколько театральный трагический героизм «Кармазинной поэмы» сменился усталым фатализмом. «По общему мнению,— писал Лехонь в дневнике,— после «Поэмы» я должен писать еще лучше. Виноват, но лучше не могу».

За эти годы произошло многое, опьянение свободой сменилось похмельем, а сам Лехонь пережил личную драму и, видимо, настолько глубокую, что остался на всю жизнь одиноким. После «Серебряного и черного» он замолкает на долгих пятнадцать лет.

В 1930 году Лехонь отбыл в Париж как референт при польском посольстве («сочинять речи послам», как заметил он в дневнике), на деле же стал культурным атташе. Там и застала его война. В июне 1940-го, после поражения Франции, Лехонь бежал в Испанию, добрался до Лиссабона и с помощью бразильского посла, поэта Мариано Олегарио, отплыл на одном корабле с Юлианом Тувимом в Рио-де-Жанейро. Вскоре оба поэта переселились в Нью-Йорк.

Война вернула Лехоня стихам, а стихам его вернула читателя. Он пережил вторую волну славы. Полякам, разбросанным по свету от Бейрута до Буэнос-Айреса, военные стихи Лехоня полюбились прежде всего потому, что их патриотический пафос был одухотворен непритворной тоской о родине. Да и вся его поздняя лирика согрета щемящей печалью.

В Америке Лехонь основал литературную газету «Польский еженедельник» и издал два сборника стихов «Лютня Бекварка» (1942) и «Ария с боем часов» (1945). Третий, и последний свой сборник «Мрамор и роза» он завершил в 1953-м — в год смерти Тувима. Он откликнулся на нее стихами, в которых протянул умершему «из дальней дали руку брата»; первые строки возникли сразу же вслед за скорбной вестью:

Мне седина твоя видна и профиль острый;
Рукой отталкиваясь, как веслом, от яви,
Ты задыхаешься, несчастный Калиостро,
В пустынной полночи и не твоей Варшаве.

Умеренный консерватизм Лехоня не мешал их долгой дружбе, но с окончанием второй мировой дороги двух поэтов, душевно надломленных войной и польской трагедией, разошлись навсегда. Тувим вернулся на родину и умер, не кончив поэму обо всем пережитом и навек утраченном; Лехонь остался и в июле 1956 года покончил с собой.

В послевоенной Польше Лехоня не печатали как эмигранта, да притом еще сотрудника «Свободной Европы». Первая книжка стихов вышла после его гибели, в 1957 году. Но воспринят он был поначалу как поэт литературный и несколько старомодный — «антология всей предшествующей ему поэзии». Лехонь — «закоснелый традиционалист», как он называл себя,— не жаловал верлибр и любил рифму: «Пресловутая искусственность рифм — это поводья, которые держат поэзию в узде и побуждают ее закусывать удила». А излюбленный стихотворный размер Лехоня — традиционный польский тринадцатисложник, такой же канонический, как у нас пятистопный ямб,— придавал стихам некоторое однообразие. Новая польская поэзия была иной — «стих, облитый горечью и злостью» и к тому же взращенный авангардизмом, которому Лехонь противился еще в 20-е годы. «Касательно своих стихов могу заблуждаться,— писал он,— но вообще-то внутреннее переживание нередко дает невзрачным и якобы стертым словам глубину, не доступную никаким формальным потугам».

Но все не вечно, тем паче авангардизм. И в сегодняшней Польше Ян Лехонь, прочтенный заново и даже переложенный на музыку, становится классиком. Недаром, подобно Мицкевичу, он любил повторять шиллеровские строки: «Чтобы воскреснуть в песне, надо погибнуть в жизни».

При всей ясности почерка Лехонь — поэт затаенный, интуитивный и неизменно погруженный в себя. Но его темноты не зашифрованы сознательно — это скорее недоговоренности, не проясненные до конца знаки жизненной судьбы; напротив, Лехонь периода эмиграции стремился к непосредственности, не требующей от читателя предварительных знаний. Знаменательно в этом смысле стихотворение «B-moll» в начале предлагаемой подборки. Суровый ноябрьский ветер, который воскрешает в сознании перекаты шопеновского траурного марша, третьей части B-мольной сонаты,— это не просто поздняя осень и не плоская аллегория зимы и смерти. Для поэта ноябрь — это и трагическое ноябрьское восстание 1830 года, в котором участвовал его дед, и ноябрьские дни 1918 года, когда юный Лешек Серафинович готовился умереть за польскую независимость, и ноябрь 1925-го, когда хоронили польского классика Стефана Жеромского и поэт Ян Лехонь нес перед гробом ордена через Театральную площадь Варшавы, а с балкона оперного театра звучал ему вслед шопеновский marche funebre. Но необязательно все это знать. Стихи затрагивают чем-то другим и близки, наверно, каждому. Они шире жизненных подробностей и внятны, как внятен шопеновский похоронный марш и для тех, кто не знает ни в какой тональности он написан, ни даже кем.

Этой емкой сдержанностью и притягателен поздний Лехонь, в минуты отчаянья внушавший себе:

«Стихи глубиннее, когда страдаешь молча».

B-moll

На осеннем ветру облака снеговые
И ноябрьского неба свинцовая чаша.
И в мозгу возникает уже не впервые:
Вот она, настоящая музыка наша.

Узнаю тебя, ветер, и помню вас, тучи.
Вновь курятся, как жертвенник, бурые кроны.
И с балкона Большого театра тягуче
Провожает меня польский марш похоронный.

И последний аккорд его в памяти стылой
Воскрешает минуту, когда за ворота
Разбредаются с кладбища стайки народа
И единственный кто-то стоит над могилой.

* * *

Не скрыть тоски, не спрятаться от боли,
И радуют одни воспоминанья.
На что еще рассчитывать, доколе
Чего-то ждать от нашего изгнанья?

Дивлюсь тому, что рад еще прохладе,
Восходу солнца, ветке краснотала,
А сам живу души бессмертной ради,
Чтоб то, что суждено ей, дострадала.

И что с того, что всё — как дождь по стеклам?
И что с того, что множатся могилы?
Спокойно мы со стариком Софоклом
Глядим на то, на что глядеть нет силы.

«Пенсильванские сирени» [1]

Засохла белая сирень
И тускло смотрится в окно.
Печальны письма. Смутен день.
...You know, you know... [2]

Под паровозные гудки
Пробродишь ночь, пока темно.
Ни слез, ни смысла у тоски.
...You know, you know...

Спускаться поутру в забой.
Глядеть в бутылочное дно.
Так день за днем. И вдруг отбой.
...You know, you know...

Алина

Весенний пыльный ветер копается в кювете,
Газетные обрывки — как солнечные блики.
У свалки, где играют замызганные дети,
В разболтанной тележке проехали гвоздики.

Плывет за мною запах, как вдовье покрывало,
И все, что тайно спало, разбужено весною.
Встаешь ты из-за гроба, и пахнут, как бывало,
В руке твоей гвоздики, подаренные мною.

Как в янтаре, застыло во мне пережитое,
И в сердце не тускнеет душистое соцветье,
Волос, давно зарытых, колечко золотое
И голос, не похожий ни на один на свете.

---

[1] Строка из популярной в тридцатые годы песенки Р. Кинга «Пенсильвания». *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Ты знаешь *(англ.)*.

Смерть Мицкевича [1]

Когда пришли к нему за указаньем,
Сказала стража: «Просите напрасно,
К больному никого пускать не станем —
Он при смерти, и хворь его заразна».

И плакали убитые утратой:
«Одни мы этой ночью замогильной,
Чужой нам даже месяц над Галатой [2]
И светит по-иному, чем над Вильной!»

А умиравший думал: «Я у цели.
Я песню эту слышал в колыбели.
Я Свитези [3] вдыхаю дуновенье...
Сейчас ее коснусь... Еще мгновенье...»

В раю

Замшелый сруб колодца, скрипучие воротца,
В округе сушат лен.
Низина в незабудках, кипрей вокруг болотца,
И все это как сон.

Кто плачет там над нами горючими слезами?
Чьи слезы так чисты?
Ручей уводит в поле, туда, где при костеле
Могильные кресты.

Волосы Словацкого [4]

Были скрыты резиной и мертвенны руки,
Те, что дробь насыпали в пустые орбиты,
Чтоб сумели измерить тебя эрудиты
Общей мерой и пользу извлечь для науки.

Горстка рыхлой земли стала прахом изгоя,
Горстка глины, в которую лег на чужбине.
Только прядь над виском костяным и поныне
Та же прядь, что лицо осеняла живое.

---

[1] В 1855 году Адам Мицкевич, формируя Польский легион, умер в Стамбуле от холеры.

[2] Галата — стамбульские кварталы, населенные европейцами.

[3] Свитезь — озеро на родине Мицкевича, воспетое в балладах.

[4] Стихотворение воскрешает одно из сильнейших жизненных впечатлений Лехоня: в 1927 году прах Юлиуша Словацкого, умершего в Париже от туберкулеза в 1849 г., был перенесен на родину. Лехонь, как представитель польского ПЕН-клуба, сопровождал останки поэта — череп с сохранившимися прядями волос и брошенную в гроб черного дерева парижскую землю — с кладбища на Монмартре в Краков. При вскрытии могилы французский профессор Пеппилоль сделал антропологические замеры черепа.

Мы, бледнея, глядим на твою сиротливость,
Вновь никто не погладит тебя на дорогу.
Будет так, как хотел. Гроб на плечи — и в ногу.
Смерти нет. Ибо есть на земле справедливость.

Погребальную медь, и плакучие дали,
И дорогу в раскатах народного моря
Горемыка-чахоточный вымечтал с горя.
И чтоб этому сбыться, империи пали.

Хелмонский [1]

Цветут кувшинки, тянут утки плавно —
Хоть сам пиши Хелмонского полотна.
Трава пьянит, и думаю: «Как славно!
И как печально и бесповоротно!»

Метнулся заяц, пёс мой — только свистни,
И горек дым, как польский воздух в марте.
О чем печаль, я знаю. Об отчизне,
Которой нет и не было на карте.

Беседы с ветераном [2]

Когда тикают ходики в кубе стеклянном
И огни растворяются в долгих закатах,
Я люблю коротать вечера с ветераном
Под рассказы о памятных шестидесятых.

Бьют часы, и дремотное очарованье
Для меня обретает его комнатенка,
Пирамида подушек, мурчанье котенка,
Молоко в черепке и кисет на диване.

Ветеран мой твердит о прорыве казачьем,
Говорит, что с лихвой расквитался за рану,
И, тот бой вспоминая, туманится плачем,
Потому что в корчме он проспал его спьяну.

Утешает одно, что и сам он, похоже,
Не особенно верит в мое красноречье
И доводит до слез, а назавтра при встрече
Снова друг перед другом мы лезем из кожи.

Мерно тикают ходики в кубе стеклянном,
Мы болтаем и кажемся оба при этом —
Он, убогий старик, настоящим уланом,
Я, смешной краснобай, настоящим поэтом.

---

[1] Йозеф Хелмонский (1849—1914) — выдающийся польский пейзажист.

[2] Стихотворение воскрешает юношеские впечатления Лехоня. Ветеран — участник польского восстания 1863 г.

Биография

Мечты заглохшие, былые обещанья,
И недоступные чужому взгляду слезы,
И все, что дорого,— оставят на прощанье
Лишь имя, вросшее в замшелый ствол березы.

Пускай развеется всё дымом унесенным —
Что недовысказал, того как не бывало.
Лишь сердце в зелени останется пронзенным,
И рядом с именем — твои инициалы.

Илиада

Привередливый книжник, любитель Гомера,
Ко всему примеряя былые деянья,
Приглядись, как слепой у варшавского сквера
«Варшавянку» поет ради крох подаянья.

Что Гекуба тебе? Илион с его славой?
Подойди к старику с головой непокрытой,
Обними и шепни: «Мой Приам седоглавый,
Мне все помнится сын твой, в ту осень убитый».

И на дне его глаз ты увидишь не рану,
А надежда блеснет и вперится незряче:
«Я не раз говорил и твердить не устану,
Что ошиблась Кассандра! Все будет иначе».

ХУАН РАМОН ХИМЕНЕС

Записки в изгнании

Перевод с испанского А. ГЕЛЕСКУЛА

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 1956 г.

ОДНОБОКОЕ СУЩЕСТВО

Плоский уродец на крючке, переодетый призрак, семеняющий вразвалку по рю де Кассет,— сколько потянет он на весах жизни?

В тесном и грязном желобе жалкой улочки его заносит то влево, то вправо, как пьяного воробья. Все в нем не просто невыразительно — невыразимо. Что слова, когда нет человека? Как назвать это существо, кто подскажет? Беглый кот, помойка, розовая крыса... Что он ищет? Себя? Вчерашний день? А может быть — свое завтра?

Иду, не отставая, улицей Вожирар, вдоль решетки Люксембургского сада, снова вверх по рю де Кассет. Те же колдобины, тот же силуэт, такой же однобокий. Как он ухитряется быть однобоким? Кто объяснит? Быть может, Жюль Ренар. Но он умер.

Вечер тускл от серых обшарпанных стен. Закопченный ампир светится стройными закругленными окнами. Загробные церковные вязы баюкают больную зелень. Помойный дух сточной канавы, смрадные струйки, сизый кот, бурая крыса — уроженцы сырых осенних сумерек. Спитое небо с едкими звездами. Бедный Верлен в Люксембургском саду.

Я прекращаю погоню. Устал. Площадь Святого Сульпиция. Вдовья скамейка. Мысль отвлекается, переключась на Буало и Малларме.

И вдруг я замечаю, что существо, став боком, и, как ни поразительно, другим, косится на меня потусторонним глазом.

ПО ТУ СТОРОНУ МИРА

Этой темной, как пучина, ночью на исходе лета мне вспоминаются летние сумерки четырнадцатого года, когда мы — горстка друзей и в их числе француз, учившийся тогда в мадридской Студенческой резиденции на улице Фортуни,— тревожно и подавленно перечитывали при свете фонарей первые сводки той большой, только что объявленной войны — первой и, быть может, большей, чем вторая, поскольку требовала большего мужества.

Испания сохраняла нейтралитет, и нам казалось, что мы по ту сторону мира. Нас не покидало ощущение дали, глухоты и бессилия. Наша Испания была так же безучастна к тому, что творилось в Бельгии и Франции, как это небо с его слепыми загадочными звездами, не ведающими о наших горестях.

Пару ночей назад ко мне вернулось это ощущение здесь, в Париже тридцать шестого года. Оно преследовало меня в окрестностях Сорбонны, на площади Святого Сульпиция, в Люксембургском саду, и такой же глухой, посторонней и безучастной была летняя пустота французского предместья, совсем рядом с исходящей криком Испанией. Никогда мои любимые Пиренеи не казались мне таким бездушным заслоном. Мы только-только покинули Испанию, а в равнодушной реальности Парижа казалось, что прошли уже десятилетия. Как Бельгия и Франция четырнадцатого года, Испания вся осталась в будущем, а мы вернулись в забытое прошлое.

И те, кто видит нас, точно так же, охваченные смутным предчувствием,

перечитывают при свете фонарей в Сен-Жерменском предместье военные сводки, как перечитывали двадцать два года назад мы. Мне уже незачем их читать, я все знаю на память — все это было, будет и бог весть когда кончится. Мне хватает моей скорби о мертвых, голодных и отчаявшихся, о благородных моих друзьях, о стольких испанцах, одинаково испанских по ту и другую сторону, на стыке идей, которые так неразумно сошлись врукопашную. А Париж, эту махину, похоже, никто не в силах расшевелить. И я не смею упрекать, разве только глазами, потому что и мы, испанцы, не двинули с места нашу махину, достаточно мощную, когда эти французы отчаивались выстоять, застигнутые врасплох превосходящей силой, той же самой, что сегодня штурмует нас и скоро, очень скоро снова обрушится на них.

1936, скамья на площади Святого Сульпиция

ИЗГНАННИК

(Из дневника)

Прошлое и тогда прошлое, когда не прошло.

Для меня жизнь в Америке (всей Америке) — изнанка европейской. Что-то промежуточное между жизнью и смертью — по крайней мере, моей жизнью и моей смертью.

Но европейская смерть сегодня не та, что была еще вчера, в моей Европе. И моя смерть уже не та. Европа может обернуться для меня смертью, Америка станет моим бесконечным небытием.

Европа дала мне мою испанскую почву с ее душой и плотью, мое солнце и мой язык — и взамен отняла у меня свободу. Америка дает мне свободу взамен души моего языка и моей земли. Здесь, в Америке, такой красивой, я — вольное тело, неприкаянный дух, ходячая самоутрата.

Безысходно пространство, и нет места вырванному с корнем испанскому тополю?

Красив воскресный Нью-Йорк! У здешней недели должны быть шесть воскресений и один понедельник. Тогда жизнь наладится.

Грандиозность искусственного мешает величию природного.

Грандиозность искусственного — лишь совокупность искусственных мелочей. Природное величие в ладу с мелочами, но не сводится к их сумме.

Нельзя размениваться на необязательные мелочи. Необходимо крупное, насущное, бесспорное; прогресс не в том, чтобы множить «вещи».

В конце концов, товары на прилавках — это слова в словаре. Не обилие вещей и вещичек красит жизнь, а только то, в чем мы действительно нуждаемся и что нуждается в нас.

И какая удача для вещи и для слова найти хозяина, как нужны они друг другу!

Чтобы встроиться в механизм современного Нью-Йорка, выжить в недрах этой машины, нужно много денег — многократно переваренной пищи, питающей машину. И серый, обесцвеченный человек начинает изобретать массу ненужного, потому что живет он внутри монументальной ненужности.

Зубная щетка, например, вещь необходимая и достаточная, полоскание для зубов — тоже вещь неплохая. Но серый человек, чистя и полоща зубы согласно медицинским указаниям, вскоре считает себя обязанным блюсти чистоту и порядок, предписанные его зубам, и вынужден неукоснительно обслуживать эти зубы как механическую отдельность, деталь своего малого механизма, встроенного в огромный. И зубы становятся капиталом. А жертва изобретательности превращается в ее деспота, и вот появляется щетка для полоскательницы. На том не кончается, и щетку для полоскательницы подкрепляет полоскательница для щетки. Но и этого мало, и в конце концов на траектории прогресса рикошетом возникает зуб куда надежней и удобней настоящего и упраздняет беднягу, живого, здорового и такого чистого до, после и при участии щетки для зубов, и полоскания для зубов, и щетки для полоскания, и полоскания для щетки.

И оскал сияет, как рекламный щит, которым заявляют о себе в бесконечной дали от себя самого.

Капиталистический коммунизм. И горе тому, кто здесь не стал, не может стать «коммунистом»!

Упраздненный человек «держит марку», спеша обзавестись всеми новинками прогресса и прогрессика.

Один мой знакомый (и не он один) таскал на себе целый набор подобных безделиц. На отдельной цепочке, например, болтались приспособления для заточки карандашей, рядом — для обрезки сигар и там же — для очистки фруктов.

При этом он не писал, не курил и был тайным людоедом.

Машина, чтобы стать машиной, нуждается во многом и пожирает все, но, став машиной — а это ее конечная цель,— не переваривает и не усваивает ничего.

Человек и машина сближаются как два врага, и хуже того — два равнодушных врага.

Человек волен, он должен быть вольным, и его главное достоинство, его высшая красота — это свобода.

Если наше продвижение устремлено к великому, мы останемся свободными, ибо великое способно расти не подавляя. Не будем же потакать, угождать и способствовать ничему мелкому, мишурному, поддельному. Доверимся своей душе, разуму и просто инстинкту.

Пока человек ценился как человек, Испания была на своем месте. Когда изворотливость, общая черта малодушных, вытеснила дух и последнего из людей снабдила хитроумными устройствами, Испания сникла. Сникла внешне, не внутренне.

Страны с изобретательной оснасткой, где люди ходят мехом наружу, проворно обзаводятся богатствами, владениями и прочими свидетельствами так называемой державной мощи. Испания, где у людей иной покрой, мехом внутрь, едва держится на ногах, стойкая нищенка, и миру нет дела до ее высот и глубин.

Но в этой войне, развязанной умельцами, Испания напомнила, что дух еще способен «вопреки всему» противостоять хитроумию, человек — машине, что надо безотлагательно вернуться к человеку и что война, если уж она необходима, должна быть достойной.

Война и мор были бы терпимы, даже приемлемы, если бы судьба распоряжалась ими справедливо. Но судьба, подобно статистике, не бывает праведной или неправедной.

Войны и бедствия уносят, разными способами, лучших, самых благородных, самых храбрых, самых добрых, самых честных, именно они жертвуют жизнью и всем, что входит в это понятие,— своим достоянием, духовным или материальным. Ибо честные уходят на фронт и живут смертью, когда отринуто или отнято все. Тогда они спокойны.

Ловкачи, дельцы, шулера и прочие отбросы, что прячутся, пережидают, юлят и всегда готовы переметнуться, запродаться или откупиться, составляют тот подозрительный второй эшелон, где идет иная война и фабрикуются «рецепты» мирного времени для одной или другой враждующей стороны, а то и сразу для двух, смотря по конъюнктуре.

И, как водится, после войны и прочих бедствий они начинают выползать из своих паучьих сетей и плести новые, благо пространство расчищено и лучезарно, и снова с упыриным эгоизмом ведут свою страну умирать.

Испания (сердце, душа, мозг) покидает Испанию.

Многие, в ком теплится дух, идеалы, порывы, культура, оставляют — ради чего? ради кого? — Испанию одну, без них и без себя самой, чтобы трудиться на бескрайней земле, под бескрайним небом, ибо для них и для Испании это и значит жить и трудиться по-испански.

Бедная моя Испания!

Судьба страны всегда в ее народе, она зреет вместе с ним, неотвратимо и неуправляемо, и она глубже и выше любого вторжения в нее.

Глубже и выше. Любое вмешательство изнутри или извне обманчиво, неестественно, противоестественно — «богопротивно», как говорят мои андалузцы.

Испания и народ Испании, уверен, вытравят из сердца все то поддельное, обманчивое и ложное, что чуждо или враждебно их судьбе и природе, что вторглось и разобщило их неподдельные глубины и высоты.

Избранные — «несметное меньшинство» [1] — встречаются и, быть может, чаще, чем где-либо, среди простого народа.

Я жил и умру влюбленным в мой народ, и свидетельством тому вся моя жизнь.

И никогда, господа демагоги, я не набивался к нему в друзья и ради этого не шевельну пальцем.

Поэзия, что бы там ни твердили политики, есть лишь самозабвенное насыщение красотой, магия заклинаний. И счастье или несчастье поэта, как я не раз уже говорил,— расколдовывать мир пением.

Поэт старается знать и приносить пользу, и даже соблюдать логику, но он не может не петь свою вольную песню. Когда он поет вольно, он очищается, даже не помышляя о том, от любой скверны. Знание, опыт и логика его не выручат, и если рассудок помешает ему петь вольно, он запоет вымученно и черство.

И лучше бы политику не принуждать поэта не петь или петь под диктовку, а самому пригубить эту вольную песню. Вольная песня красива и к тому же лучший поводырь и лучший спутник по дороге в пустыню и на войну, навстречу смутной жизни и верной смерти.

Настоящая сила не бывает, не будет и никогда не была грубой, разве не так?

Для изгнанника лучший край, единственная родная земля — это море (говорю «земля», потому что у моря тоже есть недра и в море тоже хоронят).

Только в море, всемирной отчизне, солнце, луна и звезды знаменуют собой свободу, равенство, братство. И что с того, что Средиземное море не такое, как Карибское или Китайское? Море не остается таким же, оно вечно движется и меняется, и любое море в одном из его несметных обликов может оказаться моим родным, как и мое родное таит в себе все моря.

И, наконец, однажды придет последний день моря, день белой земли, единого материка, не расчлененного водами, сплошного льда, где примет нас общая родина — единое беспамятство, единый братский покой погребенных в белизне неведомого.

Вместе с морем завершимся и мы.

Дни мои спешат к устью, уходят от меня к морю, однообразно чередуя неповторимые всплески жизни — сны и раны.

Но я мыслящая река и знаю, что возвращаюсь к истокам.

К северу, совсем как в Мадриде, тугие рощицы да охристые облака в розоватом небе. К югу — серебро и мальвы севильских небес над той тропинкой, что «ведет никуда», как вела в Испании, как ведет повсюду, ничейная, кругосветная.

Здешние края в общем-то роднятся с испанскими не больше, чем андалузские с каталонскими или галисийские с арагонскими. Могла бы жизнь — наша, моя — стать просто жизнью?

Вдруг заплакал ребенок. И от этого слабенького, родного звука вздрогнула, переменилась и стала чужой вся природа.

Нет, нас роднят и разобщают в жизни не рощи, не стены и даже не цвет облаков и оттенки птиц. Лишь этот голосок. Плач ребенка на чужом языке.

«В Париже,— говорил Фраскуэло [2],— все иностранцы». И мне было смешно... в Испании...

«В Америке,— говорю я здесь,— все мы иностранцы». И мне не до смеха.

В этих тропиках, на Кубе, Пуэрто-Рико и Флориде, моя жизнь кажется возвращением в мою горькую андалузскую молодость. Жалкий жаркий Могер [3], постылый и родной. Та же тоска по каким-то небывалым утратам, тот же злосчастный романтизм и смертный холодок пустоты перед вымершим морем, та же тревога, растущая с каждой волной ночного прилива, пустынная луна над морем, пустынное солнце.

Юные земли, утренние страны. Вы и вправду таите тот заветный родник, что искал, по слухам, влюбленный испанский авантюрист [4], и созданы вы для юно-

[1] «Несметному меньшинству» — посвящение некоторых поэтических книг Хуана Рамона Хименеса. *(Здесь и далее — прим. перев.)*.

[2] Гранадский матадор.

[3] Город на юго-западе Андалузии, родина Хуана Рамона Хименеса.

[4] Конкистадор Хуан Понсе де Леон (ок. 1460—1521), открывший Флориду якобы в поисках «источника молодости».

сти — той, что любит, и знать ничего не хочет, и гибнет без оглядки. Но долги вечера и тяжки ваши ночи для того, кто изверился, для того, кто запутался, для гонимых, отверженных, одиноких, для всех, кто ищет «иного».

Долги вечера и тяжки ночи, когда жизнь мечется и слепнет в огненном кольце, как бедный скорпион. Неистовый жар зари — это сама молодость. И нестерпимо тому, кто сам перегорел, и счел было пеплом безлюбую и нелюбимую молодость, и проклял ту зарю, что была сплошным солнцем, под стать сегодняшней.

Заморский испанец? Образчик колониальных товаров?

А как я любил в Андалузии моего детства бакалейные лавки с их заморскими товарами, эхом наших заморских владений!

Здесь я — заморский товар, там — эхо?

Непостижимо, а постигать нечего.

В Испании иностранцы казались иностранцами и часто занятными людьми, здесь не кажутся ни занятными, ни даже людьми.

Поскольку язык — особый организм, который живет, умирает и постоянно меняется, испанский 36 года, когда я покинул Испанию, за двенадцать лет неизбежно изменился, на двенадцать лет постарел или помолодел, а уж поумнел он при этом или поглупел — выяснится потом.

Окажись я сейчас в Испании, я бесспорно, прислушиваясь и подлаживаясь, заговорил бы, поначалу неуверенно, не на том испанском, на каком говорю. Каким это казалось бы странным! Какой странный я, какой странный испанский! Я словно здешние евреи, что и поныне говорят на испанском XV века. Непостижимо.

Во всяком случае, мой испанский остался во мне. Я надеюсь, но поручиться не могу, что говорю так же, как и двенадцать лет назад. Сейчас я не доверяю ни себе, ни тому, что читаю из написанного сегодня по-испански.

И когда я думаю, вспоминаю и пытаюсь судить язык и авторов, я сам уже не понимаю ни того, что читаю, ни того, что говорю, ни того, что думаю.

Одно хорошо в этой неразберихе — иногда понятно, что же действительно хорошо и что такое повседневный испанский, когда он хорош, потому что обиходный испанский (такой, на каком говорила та севильяночка, что забегала к нам в Мадриде поболтать) — это лучшее из лучшего.

Но тоже, увы, редко, не на каждом шагу. И та же севильяночка, замечая, что я заслушался, старалась говорить «лучше».

Я ухожу на берег Гудзона или Потомака угадывать в их шуме певчее эхо испанских рек, и для меня шумят они не сами по себе, а как испанская река в английском переводе.

Чужие наречия лучше слушать, как голоса природы, голоса птиц и собак.

И надо ли владеть ими, и владеть хорошо? Зачем «хорошо владеть» чужим? Зачем собаке лаять, а птице петь не по-своему?

Они это знают, и я тоже.

Мы с женою, само собой, всегда говорим по-испански, но уже поправляем друг друга и даже сверяемся со словарем.

Моя мать, научившая меня всему и прежде всего, больше всего — моему языку, своей речью дарила мне всю Испанию. И вся Испания сейчас говорит ко мне — откуда? — как моя покойная мать, с каждой минутой все дальше на земле, все ближе под землей и все выше надо мной, в заоблачной глубине своей смерти.

1937—1953

ЖЕЛАННЫЙ ТРУД [1]

Трудно решить, что для человека, для человечества естественней — война или мир. В детстве и ранней юности, насколько я помню, я бессознательно верил, что естественней мир, что все военные подвиги, о которых я слышал или читал, давние или теперешние, вздорны, нелепы и бессмысленны и благородна одна

[1] Лекция, которую Хименес впервые прочел в Мадриде за месяц до франкистского мятежа и повторял потом (в разных вариантах и под разными названиями) в Латинской Америке. Публикуется с некоторыми сокращениями.

только защита мира. Позже, в бредовые годы великой войны, застигшей меня «на середине жизненной дороги», я уверился — и, думаю, не я один,— что нормой для человечества роковым образом и уже навсегда стала война — злая изобретательность, животная сила ненависти и торжество смерти во имя — какой грустный парадокс! — громких прав и хваленых свобод. И если ребенком я верил в мир, а взрослым — в войну, то на старости лет, в пору всемирной гражданской войны, всеобщей схватки, исступленной классовой борьбы, я свято верю, что нормой может и должен быть только мир — бодрый хмель радостных открытий, труд любви и жизни во имя единственной возможной свободы. Как и в поэзии, мои ребячьи химеры были предчувствием моих зрелых мыслей, детская тоска — тайной завязью будущей воли. Смутная весна дала смысл умудренной осени — детский разум оказался здравым. Мой детский инстинкт и зрелый опыт убеждают меня, наполовину уже смертника, что мир — и речь, подчеркиваю, не о мистическом душевном мире, но о повседневном, насущном достоянии всех — в поэзии, и только там надо искать его как подлинную красоту и правду жизни.

Приравнивая мирную жизнь к поэзии, я имею в виду не ту разновидность литературы, что неуклюже именуется «гражданской поэзией» и бесспорно играет малопонятную мне воспитательную роль, но говорю о мире, о повседневной, вольной поэзии всей нашей жизни, поэзии прямой и подлинной, у которой нет иного смысла, кроме нее самой. Эта поэзия остается «поэзией» и с точки зрения художественной, потому что изначально нет и не может быть противоречия между поэзией стихийной и всеобщей и поэзией умудренной и личной, поэзией одного и поэзией каждого, поэзией обиходной и единственно неповторимой. В моем понимании поэзия — это цель жизни, и как цель, пусть и похожая порою на средство, она не может, не принижая себя и нас, становиться средством для того или сего, а должна вести нас к нашей личной цели, сопровождая неотступно, подобно ангелу в любой из мифологий. Ясно, что поэзия, например, никогда не станет текстом нудного коллективного гимна, назойливого призыва трудиться или веселиться. То и другое не нуждается в зазывалах, когда поэзия жизни естественна и неподдельна. Притягательность действенней понуканий. Что же до гражданской поэзии — подумаешь, невидаль! Оригинально, как мокрая вода.

Человек рождается уже предназначенным для своей собственной поэзии и живет, часто не подозревая о том, в ее владениях, в республике своей поэзии. Он — гражданин этой республики и всегда волен стать ее президентом.

Жизнь и труд не должны подчиняться никакому иному ритму, кроме своего, и не вправе позволить ни сбить, ни загнать себя. Та «охота пуще неволи», что знакома всем, и есть излучатель и мера житейской поэзии, которая дает работе смысл и красоту и должна сопровождать ее всегда. Работа по душе — это духовная и телесная гармония, это вольная песня, это и есть мир на земле. Жизнь — общее дело, и этот совместный труд облагораживает поэзия. Желанный труд рождает уважение, не менее желанное, к чужому желанному труду. Будь семейное или соседское согласие задушевным, оно не подтачивалось бы неприязнью, худшим из наркотиков, подножным кормом войны. Это не пустые слова. Война коренится в неприязни, берет начало в семейных и соседских распрях — кому не дано жить и трудиться от души, тому не по душе труд и спокойствие других.

Отец севильского художника Винтхюйсена каждую весну, когда по андалузскому обычаю красят фасады, посылал маляра к соседу напротив — осведомиться, какой цвет тому желателен: «Ему глядеть, ему и решать». Мог бы этот милый старик, эта славная душа, такая практичная и такая поэтичная, развязать войну и ввязаться в нее? А ведь он был адмиралом.

Подлинная борьба человека с человеком — это не борьба идей, а борьба душ. В идеях важнее всего то, как они вочеловечиваются. То, чем душа откликается мысли. Начинают народы, партии, классы, но их борьбу вскоре сменяет другая, главная — борются разные породы людей внутри одного стана, и когда борьба соратников выявит лучшего, он обычно или брезгливо сходит со сцены, или становится жертвой. И всегда в поединке сходятся двое — «тонкий» и «грубый», чуткий и тупой, высокородный и вырожденец. Христос и Нерон.

«Тонкий» кажется тупому женственным, потому что много и многое любит, великое и малое (малое не так уж мало при взгляде из бесконечности, но оставим это Эйнштейну). Естественно, тупым быть легче, это не требует усилий. Человек легко дичает и легко свыкается с одичанием.

Грубым называют все нескладное, несуразное, недоделанное. «До чего груб! — говорим мы.— Как ни подойди — чурбан чурбаном». И весь набит кулаками! А многие ведь убеждены, что мужчина и должен быть таким. Спросите андалузцев, и вас заверят в этом мужчины, женщины, дети, и даже собаки.

Тонкий — это лучший, тонок тот, кто тоньше чувствует человеческую природу, ее изъяны и достоинства; тупы те, кто путает их и валит в одну кучу, и это худшие — худшие политики, худшие поэты. Для меня человек тем тоньше, чем сильней он любит, чем больше любви отдает людям, работе, миру и всем живым существам.

Предлагаю вашему вниманию несколько набросков с натуры о людях достаточно тонких, чтобы работать с душою в те недавние и такие далекие дни, когда мир еще был возможен. Я всегда считал, что подлинная сила нашего стойкого народа — в его душевной тонкости, в его особом, непростом закале. Да, испанцы — помимо всего и прежде всего народ тонкий в самом широком смысле слова. Наиболее точный смысл, по-моему, вкладывают в это слово андалузцы с их обостренной чуткостью к человеческому достоинству. «Тонким» они называют мастера, того, кто делает лучше, кто ревнив к своему делу, у кого больше стойкости и упорства, больше способностей, больше готовности трудиться и любить. «Тонкий» значит «хорош». Кто в чем: Хосе — в работе, Мария — в любви, а Хуанильо, когда вынудят,— в драке.

СЕВИЛЬСКИЙ САДОВНИК

Севилья, Триана, Гвадалквивир за садовой оградой и в довершение — Соловьиная улица (это уж чересчур, но таковы андалузцы). В нимбе заката — Собор и Хиральда, огненно-розовые на темной зелени. Садовник торговал цветами и пестовал их с немыслимой заботливостью. Он любил их, как любят женщин и детей, и то была единая семья. И каких сил ему стоило продавать своих домочадцев, расставаться с ними и долго потом тосковать! Душевная борьба шла ежедневно, на сей раз поводом стал горшок с гортензией.

Он долго колебался, раздумывал и наконец рискнул — продал гортензию, но с условием, что будет за ней присматривать. И горшок унесли. День за днем он навещал ее у новых хозяев, убирал засохший цвет, отгребал или подсыпал землю, расправлял стебли. И, уходя, всякий раз останавливался, чтобы наставить на путь истинный: «Поливать, сеньора, надо не так, а вот так... света должно быть ровно столько и ни в коем разе не больше... поосторожней, бога ради, с вечерней сыростью... все, все, сеньора, ухожу...»

Хозяевам быстро приелись его визиты. «Ладно, ладно, зря вы беспокоитесь. Ну, до другого раза, где-нибудь через месяц...» И садовник стал появляться реже, то есть появлялся-то он исправно, но уже не заходил. Он проходил мимо раз, другой и смотрел на гортензию с улицы. Иногда не выдерживал и торопливо вбегал, борясь со стыдом и бормоча: «Я тут раздобыл вам леечку, чтобы сподручней поливать...», или «Я вроде оставил тут ножницы...», или что-нибудь еще в том же духе. И под этими жалкими предлогами приближался к «своей» любимице.

Однажды он появился неузнаваемый и решительный.

— Раз не хотите, чтобы я приходил, скажите, сколько я вам должен за гортензию, потому как я беру ее с собой.

И, схватив синий горшок с розовой гортензией, унес его, обнимая, как девушку.

МЕДНИК

«Дин-дон-дилидон...» До чего же любил я смотреть из моего зеленого тенистого окна, как шествует он по солнечной брусчатке Новой улицы, весь в золотых доспехах, увитый молниями, ослепительный и звонкий, как слиток червонного золота. Золотой лев! Золотой в золотом, на золотом, среди золотого, и внутри — чистое золото! Ступки, шандалы, жаровни, светильники, кружки; скудная роскошь, безупречная, чистая, драгоценная. Творения ремесленной Лусены [1] в жарких отсветах своей загадочной жизненности. «Дин-дон-дилидон, дин-дон-дилидон...»

И следом — искры света и музыки, жгучие и жаркие сполохи, золотые зарницы на все четыре стороны, до самого кладбища, ответные вспышки в алой, синей, зеленой мозаике балконных окон, электрические разряды золотого огня. Шаг медника по надраенной брусчатке, по голышам в зеленых былинках, мимо свежевыбеленных субботних стен, в осенней синеве, где так радует солнце и дышат первые дожди!.. «Кто купил — не сглупил, дин-дон-дилидон!..» Вдруг солнце

[1] Селение вблизи Могера.

скрадывает тучка, черная мушка, сама не больше солнца. И медник из золотого сперва становится медным, блекнет, потом чернеет, меркнут жестяные латы, редеет и гаснет львиная грива, словно тучка смыла его с Новой улицы и унесла на солнце или само солнце всосало его, оставив пустую оболочку, сморщенную кожуру. У него проступало лицо и крикливо круглился рот, как у любого торговца. И «динь-дон» переходило в «дзинь-дзинь», а золотая ворожба оборачивалась честной бедностью, услужливой и невзрачной. Мне казалось, что появлялся другой медник, совсем другой... Поникший, сгорбленный своим искусством, подручный бедноты. И женщины окружали его и покупали задешево.

Но... снова солнце в ровной синеве, снова крыло света взмывает к самому морю, снова светлеет желтизна и лучится золотом. И снова — слепящий, светозарный медник, без лица, без облика — миф, царь и бог медников, дух солнцеворота. Он не торгует — он слишком богат и раздаривает себя, единственный, победоносный и с горсткой меди в потайном кармане, чтобы полакомиться в дешевой харчевне. Мой солнечный медник!

УГЛЕЖОГ

Приземистый невзрачный паренек из Палоса [1] с ясными, вечно вытаращенными глазами, он заготавливал товар в лесу и грузил его на старую ослицу, вернее говоря — делил с нею груз. Не взгромождался поверх мешков, а помогал ей чисто по-сыновьи.

Ослица была спутницей едва ли не всей его жизни, матерью, сестрой и подругой. Она была для него всем, образцом и подобием. Она согревала жизнью горную глушь, и с ней он забывал заманчивые морские отмели.

Этой зимой она слегла. Он силился понять, что с ней, и, собрав воедино всю свою любовь, ломал голову, не зная, что делать. Дóлги, страшно долги часы темной лесной тоски. Плакучий ветер в соснах, безучастные птицы, беспросветные дали.

Когда ослица слегла, он не смог поставить ее на ноги и лишь отчаянно старался хоть чем-то ее порадовать. Он обложил ее соломой, таскал ей свежую траву, предлагал ей свой хлеб и свои сардинки. Он раскрашивал лицо сажей и суриком и в таком виде выплясывал перед ней что-то магическое и первобытное или, растянувшись напротив, часами рассказывал ей сказки и пел песни на собственные, подходящие к обстановке слова.

Когда похолодало, он ради больной развел огонь на славу и поддерживал его час за часом, пока бедняга не умерла.

«Зато она умерла довольной!» — говорил он, выкатывая огромную чумазую слезу.

ГРАНАДСКИЙ ВОДОНОС

Сумерки, затаенная Гранада, Хенералифе [2] и я, замерший впотьмах на ступеньках водостока, утомленный неземными красками райского вечера, бесплотной тенью погруженный в ту бездонную фиалковую темноту, что росла и все вокруг растворяла в небесной прозрачности, пока не остались одни звезды.

Вблизи и вдали, из лабиринта струек, родников и стоков, вода обдавала меня свежестью цветистых отголосков. Она без конца сбегала и бежала мимо, и мой слух, настраиваясь на нее, схватывал малейший звук с чуткостью чудесно слаженного инструмента; погруженный в себя, то был уже не инструмент, а сама музыка воды — музыка, ставшая немолчной, своевольной водой. И музыка эта была все внятней и звучала все смутней, потому что звучала уже во мне, в лад моей крови, моей жизни, и я угадывал мелодию моей жизни в беге воды. Я слышал сердцебиение мира. И чем темней и звучней становился воздух, тем окрыленней пела гранадская вода, и все во мне звучало в лад воде, которой я не слышал, потому что сам был ее песней и всем, о чем пелось...

Мне почудилась узкая тень на белесом, и нелюдимая, чуткая тишина, вся — напряженный слух, сгустилась в угловатую тень человека, такую же тень, как я. Мне показалось, что приближался он бережно и нерешительно. И наконец заговорил, но так, словно боялся спугнуть журчание:

---

[1] Порт неподалеку от Могера (незначительный, но всемирно известный — из Палоса отплыл Колумб).

[2] Бывшая летняя резиденция гранадских эмиров, ансамбль водоемов, каскадов, фонтанов и т. д.; в частности, лестничные перила сделаны там как водостоки — желоба, по которым бежит вода.

— Слушаете воду?

Между моей тенью на ступеньках и чужой, по ту сторону перил, пела вода, и без устали, блестя глазами, бросая на нас беглые взгляды, спешила дальше, и, наверно, замирала на уступе, глядя вниз, перекликалась с пустотой, полусмеясь, полуплача, пропадала и вновь возникала, везде и нигде, завораживая своей то ли правдой, то ли ложью.

— Слушаете воду?

— Да,— кивнул я, все еще в забытьи,— похоже, и вам это нравится?

— Да не должно бы,— отозвался он,— тридцать лет уж ее слушаю.

— Тридцать лет...— повторил я словно в полусне, плохо понимая, что значат эти слова.

— Представляете, сколько она мне понарассказала?

И, помолчав, добавил:

— Всего наслушался....

Сомкнулась ночь, и он потонул в темноте и плеске.

МЕХАНИК ИЗ МАЛАГИ

Выбирались мы из Малаги с трудом. То и дело мотор задыхался и глох. Из очередной мастерской сбегались механики и, долго не думая, пинали машину куда попало, выжимали сцепление, потели и дружно ругались. И все зря. С великим трудом мы дотащились до мастерской на краю города, у подъема на Гранадское шоссе.

Из темной глубины, весело щурясь от раннего солнца, не спеша вышел рослый мужчина, явно опытный и знающий себе цену. Он уверенно подошел к машине, ловко откинул капот, наметанным глазом заглянул внутрь и, погладив машину, как живое существо, легко и точно тронул что-то, понятное ему одному. Потом так же ловко и бережно опустил капот.

— Машина в порядке. Езжайте куда хотите.

— Да как же в порядке? Три механика ничего не сумели!

— В порядке. Просто с ней грубо обращались. Машина тоже любит ласку.

Когда мы облегченно и уверенно свернули на слепящее шоссе в буйной июньской зелени, я оглянулся. Механик стоял подбоченясь, синий силуэт во тьме дверного проема, и следил за нами с явным удовлетворением.

Я уверен, что все эти люди со вкусом ели и спали и со вкусом встречали свой трудовой день. И если бы за труд, за их работу от души платили по справедливости, чего бы только не сделали они в жизни, своей и нашей. В том-то и суть. Все мы должны оцениваться по достоинству.

Стало расхожим мнение, что поэзия расслабляет, что это удел мечтателей, а не мощное проявление жизни. Но самые мощные страны всегда славились самой утонченной поэзией. Китай, Греция, Рим. Мощные страны знали всегда и знают сегодня, что поэзия, достигшая вершины, ведет в народ: чувство тем долговечней, чем оно естественней, чем оно ближе к народному. Кто, подобно мне, вырос в захолустье, тот хорошо знает, как отзывчивы грубые крестьяне, как они трогательно чутки к той хрупкой красоте, что их окружает,— к облакам, цветам, птицам и звездам, как чувствуют они ветер и воду. Это городу в лице чинуш, торгашей, писак и клубных завсегдатаев подобная чувствительность кажется слабостью. Рядом с этими шулерами крестьянин выглядит робким, затурканным недорослем, подавленным их дутой спесью. И все потому, что в городе он лишается тех мимолетностей, что дают ему силу и питают ее. Вживаясь в ощущения, пробуя окрестный мир на вкус, на цвет, на запах, на ощупь, он остается естественным и живет в ритме природы. В поле как нигде очевидно родство человека с землей, очевидно, что человек — это вздыбленный пласт земли, и крестьянин, который не любит свой труд и свою землю, не обретет мира ни в труде, ни в земле. Деревенский люд, возвращаясь вечерами, всегда приносит в дом какую-то частичку природы — колосок на шляпе, цветок в зубах, кисточку ягод — и не пользы ради, а с единственной целью — не оборвать ниточку, связующую с родными полями. Самые образные, самые поэтические обороты слышал я от темных мужиков, и ни с кем я так не любил вести разговоры, как с ними, их женами, их детьми. Никто не сумеет сказать так, как эти крепкие мужчины, эти ладные женщины, эти ловкие дети, и мало кому дано так чувствовать, понимать и любить зыбкую прелесть мира. Исабель Гарсиа Лорка, сестра поэта, тоже выросшая в деревне, рассказывала мне в Гранаде, как однажды вечером, когда птицы то ли отпевают, то ли окликают солнце, на берегу

ей повстречался крестьянин. Пустела в закатном мареве долина, пели птицы на крайнем из тополей, и песня звучала дикой переливчатой радостью, как звучит она, когда остается одна в вышине, с каждой минутой все выше и единственней. Встречный вскинул голову и, отвечая своим молчаливым мыслям, усмехнулся: «Словно все, что ни делается,— все ради них».

Нет, поэзия не расслабляет. Слабость не в душевной глубине, а в поверхностном лоске, не в тонкости, а в изворотливости. Мужчина и женщина одинаково сильны, и если словом «женоподобный», нескладным и для женщин обидным, довольно неудачно именуется слабость, оно равно применимо и к мужчинам, и к женщинам. Намекая на мужскую ущербность, оно обозначает по сути все то показное, мелочное и манерное, что присуще, к сожалению, обоим полам.

Женщина не слабей мужчины, как и мужчина не сильней ее, но поскольку желанно то, что кажется полярным, мужчины чувствительней к слабости, а женщины — к силе. Можно быть слабым от природы, от болезни, от чего угодно и не уступать в силе духа и глубине чувства. Мы слабы, когда слабеет в нас поэзия жизни.

Когда люди хватаются за колья, это уже не люди, это колья. Давайте же доверять нашей подлинной силе.

ИСПАНЦЫ ТРЕХ МИРОВ

Гойя

Гойя, один из трех лучших испанских художников, помимо того, лучший английский художник.

Он на лету освоил английскую живопись и воссоздал на свой и такой испанский лад то, чем она должна быть.

Словом, живопись у него тонкая.

Но под этой тонкой живописью нет холста, как у англичан, а вместо того, как у некоторых монстров с полупрозрачной кожей, пульсирует живой организм.

Росалия де Кастро [1]

Льет по всей Галисии. Земля растворилась в небе, и на все четыре стороны, как волокна сердечной ткани, вибрирует ливень. Вся Галисия — огромное притихшее сердце. Хутора, черные церкви, черные какой-то изначальной чернотой, высвеченной ливнем, пахнут сырым человечьим стойлом. Росалия, задумчивая, траурная, на пороге своего дома, полуамбара с кукурузой и виноградом, своего поля, на пороге дождя. Она смотрит, как размывает ливень вялую зелень, жидкую землю, землистую воду, как тонет в ливне примелькавшаяся корова, выцветший парень, обтрепанный лекарь, кудлатый паломник, замызганный священник, веснушчатая хилая девочка, утлая убогая повозка. Глухо тонут в жидком воздухе бастабальские колокола.

Я тянусь тебе вдогон,
словно заживо в могиле,
бастабальский перезвон.

Нищета и пустыня. Она задыхается в этой бедности и глухомани. Большеротая, некрасивая, милая, она давится слезами. Она отчаивалась и плакала всегда, эта трагическая галисийка — черная одежда, черная тоска, погребенное тело, золотая душа в темном колодце. Безутешна красота этой пленной, затравленной, замурованной души. Вокруг людское стадо, неотличимое от любого стада,— та же понурая унылость, тот же неистребимый запах, та же покорность и привычная похоть. И Росалия де Кастро не бережется, не в силах беречься. Она сходит с ума от внутреннего звона, от гулкого сердца и проливного плача. Вся Галисия — промозглый бедлам, куда ее заперли. Тюрьма с окнами, зарешеченными ливнем и плачем, к которым она припадает и видит лишь раскаленные недра своей души.

Галисийские туманы. Туманы, что тугой ватой, соленой пеной, липкой замазкой закупоривают устья рек, штурмуют стены, затопляют берега и все вокруг делают тусклым, белесым, невнятным. Слепнут корабли и цепенеют. Тонет в тоскливой мути редкий прохожий. И по дому, по полю, по пустынному берегу моря, где обрываются родные дали, Росалия кружит и кружит, то медленно, то

[1] Росалия де Кастро (1837—1885) — галисийская поэтесса и новеллистка.

все быстрей, вслепую натыкаясь на четыре черные скалы, на четыре белые стены. А вблизи и вдали, в затерянных домах, нелюдимых камнях, сдвоенных могилах, зарытых или отверстых, в заупокойности вечных галисийских сумерек томятся другие бедные Росалии, постарше или помоложе,— «вдовы живых и вдовы мертвых, те, чью печаль не утолить».

Пабло Казальс [1]

Я не знаю большей тишины в переполненном зале, чем та, что исходит от Пабло Казальса, когда он играет, потому что в его игру вслушиваются, как в тишину.

Кажется, что и сам он, светлый, строгий, с лицом, запрокинутым в бесконечность, играет тишину, делает ее музыкой, своей серебряной сестрой, хранящей золотое безмолвие высшей пробы.

Так звучит родник в полном безлюдье или во сне. То высшее, что достигается музыкой: звук, не подражая природному, становится природным.

И закрадывается в сердце. Поскольку на самом-то деле Пабло Казальс играет не на виолончели, а на собственном сердце, чудится — si vis me flere,— что смычок касается не струн, а наших сердец.

Мануэль де Фалья [2]

В Гранаду он перебрался в поисках тишины и времени, а дала ему Гранада гармонию и вечность. Случайный прохожий на углу Антекеруэлы порой видит крохотный силуэт, четкий и черный, с белыми каемками — черную клавишу стоймя в мерной и слитной зыби верхнего сада,— или высвеченных пыльным кирпичным закатом, гулким от аэропланов, воскресных визитеров у столика (мансанилья и печенье) в нижнем саду: романтически стройную даму в кружевном трауре, вечно юную старушку в ископаемом капоре, манерную заграничную приму, заезжего пустомелю с лицом оборотня, кого-нибудь из испанских поэтов.

Свой дар, никем не превзойденный в нашей музыке, Фалья день ото дня углублял и делал богаче, то бросая его в облачные волны бездонной зелени на откосах Альгамбры, в объятия неистощимой неги рядом с холодной нежностью опалов, аметистов и тусклых роз Сьерра-Невады, то оставляя его у балюстрады Сан-Николас лицом к лицу с массивными кубами багровых башен, недвижных и одиноких под невесомой кроной ветвистых вечерних туч, то вверяя его стойкому кипарису, совсем не кладбищенскому и такому стройному и статному на лунной белизне известковой стены.

Ночью снизу долетает шум Гранады — крики детей, колокола, блеянье коз — как россыпь мелких звезд (крупные — все наверху), пастуший рожок, обрывки песни, плакучие переливы. Зыблются бессчетные огоньки долины. И словно вымерла Антекеруэла, где одиноко загорается этот зеленый балкон с этой зеленой шторой под этим зеленым фонарем (в уличном водостоке — мертвая крыса). Урочный час, и сны музыканта, который счастливо улыбается, перебирая четки, прячутся от лунного света на тайном углу жгучих искушений, где бродят темные чары гибкой, бронзовой и заблудшей цыганской песни.

Сантьяго Рамон-и-Кахаль [3]

Отрешенный, тонкий и трезвый реалист, весь ушедший в чудесный лабиринт жизненных хитросплетений микроскопа. Я не знаю другого облика, настолько же испанского, настолько нашего — сильного, тонкого, резкого, чуткого и задумчивого. Он не смотрит ни на кого — и ни на что в отдельности, но вечно озирается, рассеянно и растерянно, словно втайне отыскивает себя, чтобы наконец увидеться лицом к лицу.

Воплощенная уступчивость, нерешительность, детская робость, он внезапно взрывается словами, твердыми, вескими, решительными и бесповоротными — вырвался из-под материнской опеки,— и похож тогда на ребенка, утверждающего

[1] Пабло Казальс, правильнее Пау Казальс (1876—1973) — каталонский виолончелист, композитор и дирижер. Умер в эмиграции в Пуэрто-Рико.

[2] Мануэль де Фалья (1876—1946) — испанский композитор, родился в Кадисе, умер в эмиграции в Аргентине.

[3] Сантьяго Рамон-и-Кахаль (1852—1936) — выдающийся испанский ученый, гистолог, лауреат Нобелевской премии по медицине.

правду... И, независимый, неприкаянный, уходит — не в ту сторону, сворачивает, и снова не в ту,— сжимая в руке зонтик, который вряд ли когда раскрывал, в чужом пальто, забыв о шляпе.

Однажды вечером, ослепшим от затяжного дождя, я увидел его в трамвае — вдев в серебряную гриву дужки очков, он собрался читать, забылся, склонился к окну и замер в усталом и грустном оцепенении, вглядываясь в какую-то свою бесконечность.

Альбенис [1]

Взгляд тонет в ослепительном закате, похожем на детские сны, полные разноцветных звезд. Радужные переливы вот-вот зазвучат.

Предвечерний мираж, расколотый сумерками, бередит окрестность, рассыпаясь осколками сновидений. Ничего больше не хочется, ничего не надо, лишь бы не кончалась эта радужная дорога в оцепенелое южное марево золотисто-розовых городов.

Там и сям в печальных сумерках, чей цвет сейчас так отчетлив, в огромных сумерках, затопивших Андалузию,— розовые отсветы на зеленом небе, лиловый мрак в синем поле, световые кружева зданий, и отовсюду брызжут звезды.

Небо полно звезд, ночь полна глаз, и вся засеянная сердцами земля расцветает голосами и взглядами.

Асорин

С ним, как ни с кем, хочется быть поласковей, словно он только что плакал. Заговорить, пойти рядом, разговорить его. Пустая затея. Почти пустая. Он не откликается. Не отвечает. Не способен рассмеяться. Но в его глазах, в их голубовато-зеленой легкой и милой косине брезжут теплые ответные слова.

Он и пишет глазами. И поскольку руки, которые ревматизм сделал негодными — верно, чтоб дать им отдых,— его не слушаются, зимой он просит меня найти стенографиста, который умел бы читать по глазам.

«Дорогой Хуан Рамон!
Не могли бы Вы прислать ко мне завтра, в четверг, того молодого стенографиста? Утром к одиннадцати или днем, часам к четырем.

Сколько ему следует заплатить?

Всегда Ваш Асорин».

Вся его проза — стенографирование, и чувство прямо из глаз переливается скорее в некие знаки, нежели в слова. Она кажется результатом осторожного зондирования, слабым истечением из переполненной и готовой прорваться полости... Но чувствуется, что там, в этих недрах, есть какой-то неиссякаемый источник света.

Говорить с ним надо, как с девушкой, когда все уже сказано: улыбками и взглядами... Уходящему, за оградой, на зеленых мостках, хочется сказать ему что-то еще. И он тоже на миг останавливается, грустный-грустный, и кажется, что губы его подрагивают. Какая-то тонкая щемящая красота есть в этом мгновении. И становится горько, что он ушел, так ничего и не сказав, и ты опускаешься на пустую скамью среди цветов и вспоминаешь, а взгляд тянется к чему-нибудь обязательно красивому — золотому тополю, сиреневым и розовым горам или струйке воды.

Хавьер де Винтхюйсен [2]

Новый вид медведя? Да, садовый медведь (рыжий, чувствительный и с юмором), любитель родниковой воды и жасмина в анисовке.

В своей берложьей школе он все еще учится говорить, медвежонок, безнадежный сосунок, и все еще, как зубы мудрости, так и не выросшие, не прорезались у него взрослые глаза. И своими изначальными, райскими глазами, укрытыми в чаще леса, этими застенчивыми незабудками в зеленых ресницах, он без конца

---

[1] Исаак Альбенис (1860—1909) — испанский пианист и композитор.

[2] Хавьер де Винтхюйсен Лосада (1874—1956) — испанский пейзажист голландского происхождения, автор книги «Сады Испании».

вглядывается в ясный, тонкий облик нашей Андалузии и, разгадывая на холсте ее красоту, в конечном счете приумножает ее.

Обе руки у него левые. Вспомните поговорку, от которой морщатся пенкосниматели: «То, что умеешь правой, делай левой». Но он никогда не умел делать правой. Поэтому его мысли, его чувства — такие простые! — так непросто одолеть, поэтому они так уместны, верней — так неуместны, еще верней — так естественны.

Сальвадор Дали

Крылатые муравьи слетают с холста и роятся в нереальности. Никелированный прут распускается цветами миндаля. Странный свет, непривычно ослепительный, магический леденящий сплав невинности, самобытности и садизма.

Из переслаивания мыслимого с немыслимым и состоит мир этого темного художника, мастера метафор, который в отблесках трех угасших иудейских цивилизаций заявился однажды в Кадакес из вселенского Содома, цивилизованного и вечного.

Обманчивый двойник Венеры, он возникает нагим, как бесстыдный светоч, из моря миражей, держа в руке зеркало, где отражается все неправдоподобие мира, высвеченное шестиконечной звездой его фантазии.

Унамуно

У него походка идущего степью, безлюдным нагорьем. Одинокая, пустынная, наперекор ветру. Яростно запахивается плащ, ураганные порывы рвут воображаемую шляпу.

Кузнец. Народный умелец. Автор пособия по холощению скота.

Бродячий акробат, он развлекает по дороге в рай. Потом обходит со шляпой.

Он вечно на пороге смерти. Он — ее тень. Его истинное место — черный гроб и желательно — открытый. Ему хотелось бы, чтобы всегда, живого или мертвого — неважно, его провожали в последний путь.

Антонио Мачадо

Антонио Мачадо с детства душой и телом вверился смерти, распаду и безучастному «не все ли равно». Он бесхитростно сочетал, мирил в себе живого и мертвого. Когда я встречал его рано поутру, мне казалось, будто он восстал из гроба. От него издали сквозило потусторонним. Черви не смущали его, в них было что-то свойское. Думаю, что холеное тело претило ему больше, чем полуистлевшие кости, и почти так же чувственно, как вольные бабочки, завораживали его домашние, дорожные и кладбищенские мухи,

«неотвязные лакомки».

Я много думал о смерти, предчувствовал ее и готовился к ней, и я не встречал никого, кто бы так же, как он, жил умирая и настолько же, полностью и во всем, уравнивал эти два состояния, преодолев зазор между этими формами бытия, единственно известными, так парадоксально противопоставленными и такими неразрывными вопреки всем нашим потугам разделить их, столкнуть и ввергнуть в единоборство. Вся наша жизнь обычно в том и состоит, чтобы бояться смерти и отдалять ее, а вернее — самим от нее отдаляться. Антонио Мачадо шел к ней навстречу и нес ее в себе. Быть может, он вообще не столько родился, сколько воскрес. Помимо прочего, это подтверждает и зрелость его юношеских мыслей. И, владея секретом воскрешения, он ежедневно воскресал у нас на глазах — чудесным образом, естественным для поэта,— чтобы взглянуть на свою новую жизнь, нашу жизнь, которой тоже сторонился. Он редко проводил ночи в городском жилище, снятом, собственном или казенном. Сон в конце концов,— разновидность умирания и примиряет нас со смертью всего, что должно умереть. Антонио Мачадо не желал быть разгаданным, истолкованным однозначно, и потому, вернувшись издалека, бродил, одетый словно для погребения, по улочкам, закоулкам, лестницам, переходам, а застряв в пути — коротал ночь наедине с морем, станционными зеркалами, одинокими фонарями, замершими надгробиями.

На наш полуслепой взгляд, он казался грузным, нескладным, землистым, похожим на пень, только что вывороченный из земли, и свою массивность он вечно прятал во что-то длиннополое, черное или бурое, в тон его странной

мертвенности,— подозрительного вида пальто, купленное где-то по случаю в захолустье и годное до первых холодов, линялые ветхие брюки, подобие шляпы, обвислое и бахромчатое, загадочного покроя, ибо мертвая жизнь уравнивает времена и моды. Вместо броских запонок — шнурки, похожие на личинки, взамен ремня — плетенная из дрока веревка, как положено отшельнику. Пуговицы? А зачем они? Логика тела, которое обзавелось уже кладбищенской недвижимостью.

Когда умерла в горной Сории его единственная любовь, нездешняя птица, верная своему предназначению, его счастье осталось по ту сторону смерти. С этой минуты его пристанищем новобрачного, для посторонних — вдовца, стала могила, потаенное гнездо, и в нашем мире он появлялся лишь ради самого необходимого. Мелькнет в издательстве, книжной лавке, выправит нужные бумаги... И вдруг война, жесточайшая за три века испанская война. Вот когда он покинул свою смерть и своих мертвых и на какую-то долю вечности влился в общую жизнь, чтобы умереть еще раз, как лучшие и достойнейшие, достойней других, достойней нас, прилепившихся к тому клочку существования, который облюбовали и принимаем за жизнь. И не могло быть у его странной земной жизни, испанской жизни, лучшего конца, лучшего настолько, что Антонио Мачадо, незримо живой, больше не воскреснет во плоти. Он умер бесповоротно, нищенски, неотличимо от остальных — одна из голов, самая крупная, гонимого человечьего стада, выдворенного из Испании, где у каждого, как у Антонио Мачадо, было свое родное стойло, свое гнездо, и припертого к глухой стене. Он поднялся по ней, по горной крутизне оледенелой границы, потому что поднимались лучшие из его друзей, самые бедные и достойные. И если он остался с зарытыми на чужбине, то единственно из любви и желания остаться с ними, потому что я убежден — Антонио Мачадо, изведавший самые глухие закоулки смерти, сумел бы и под землей вернуться в Испанию как на крыльях.

Под этой высокой луной, что плывет из Испании и отражает в печальном зеркале Испанию с ее горами и ее поэтом Антонио Мачадо, голубовато-зеленой луной, алмазной слезой на сизой плюшевой пальме у моей калитки, в бессонной глубине своего сна я, безоговорочный изгнанник, бредил этой ночью строками «Ночной радуги», одного из самых глубоких стихотворений Мачадо и самых красивых.

Ты, отверзший нам веки,
видишь наши сердца.
Верю, в час нашей встречи,
ты не скроешь лица.

Из бредовой вечности испанского братоубийства, трагически приобщившего Испанию к иной вечности, Антонио Мачадо, Мигель де Унамуно и Федерико Гарсиа Лорка, такие живые в их общей смерти, у каждого разной, ушли врозь, одинаково горестно и прекрасно, чтобы взглянуть в лицо Бога. Нам не увидеть, как оборачивается к ним это лицо, бросая предвечный отсвет на лица трех жертв, быть может, не самых обездоленных, и как глядят они в лицо Бога.

Испытание внутренней свободы

В летописи европейской эмиграции нашего столетия испанские страницы — наверно, самые драматичные. Прошлый век, покончив с империей, сделал испанцев «оседлыми»; сознание одомашнилось, и общей чертой его стала привязанность, душевная и просто житейская, к родным местам. И вдруг, по словам Хименеса, «Испания покидает Испанию». В считанные дни вихрь истории разметал по свету миллионы людей. Зимой 38—39 годов мир облетели газетные снимки, на которых полуголые мужчины по колено в снегу несли на плечах детей, закутанных в рубахи и гимнастерки. Цепочки, вереницы, потоки беженцев, волоча по снегу скарб, гоня домашний скот, одолевали Пиренеи. Зима в горах неласкова, а в том году выдалась особенно суровой. И лишь за один день этой жестокой зимы, 9 февраля 1936 года, французскую границу перешло почти полмиллиона человек. А несколькими днями раньше в таком же людском потоке покинул Испанию великий поэт Антонио Мачадо. Он был стар, болен и едва мог ходить, но шел, волоча чемодан с рукописями, ведя под руку столетнюю мать, шаг за шагом прощаясь с родиной. Брошенные рукописи остались на пиренейском снегу, а через месяц не стало и матери, и сына — они умерли почти одновременно.

Испанию покинул цвет нации. И почти вся интеллигенция. У одних, как у скульптора Альберто Санчеса, не было выбора: поэт Мигель Эрнандес, друг Санчеса и тоже коммунист, не сумев бежать, поплатился жизнью. Но другие ничем не рисковали и все

равно выбрали изгнание: люди самого разного склада и убеждений уходили вместе — полуанархист Леон Фелипе и христианский демократ Хосе Бергамин, республиканец Пабло Казальс и католик Мануэль де Фалья. Непостижимо, но Испания, этот вековой заповедник музыки, осталась без музыкантов. Эмигрировал даже цыганский гитарист Сабикас — первый, кому народная испанская гитара обязана всемирной известностью. А он был так же неискушен в политике, как и в нотной грамоте (что, впрочем, не мешало ему держаться высокомерно с самим Андресом Сеговией). После нашей гражданской войны в эмиграции оказались Рахманинов, Стравинский, Шаляпин. Но музыка не эмигрировала. Испанию вместе с музыкантами покинула музыка, и до сих пор эта утрата восполняется с трудом.

Происшедшее тогда с испанцами трудно даже назвать эмиграцией. Это был Исход. И чтобы попытаться понять его, надо мысленно вернуться в то время.

...Гулко ударил колокол
в пятом часу пополудни.
Звон хлороформа и дымной крови
в пятом часу пополудни.
В трауре улиц безмолвные толпы
в пятом часу пополудни...
То смерть отложила личинки в рану
в пятом часу пополудни.
Было пять пополудни.
Было ровно пять пополудни [1].

Эти строки Федерико Гарсиа Лорки не связаны с гражданской войной, но началась она именно так, и даже рефрен, по мистическому совпадению, обернулся телеграфной строчкой шифрованного приказа-пароля: «Семнадцатого в семнадцать». Историческая память почему-то облагородила эту фразу, и мифическое «безоблачное небо над Испанией» вошло в анналы. Но произошло все согласно приказу — 17 июля, в пять пополудни, подняли мятеж колониальные войска, на две трети состоявшие из иностранного легиона и марокканцев. Сутки спустя мятежников поддержала едва ли не вся 200-тысячная испанская армия, где на каждые полторы сотни солдат приходилось по генералу — слишком густо даже по российским меркам.

Что же происходило в Испании в этот черный день? Самое разное. В Эстремадуре, например, состоялись «красные крестины»: накануне плакаты известили о празднестве в Рибера де Муртига, где «будут торжественно наречены шестеро младенцев обоего пола». Одного младенца, очевидно мужского пола, окрестили Лениным; другого — Либертарией («либертариями» именовали себя анархисты). А незадолго до этого Конгресс анархосиндикалистов и анархокоммунистов в Сарагосе отменил зарплату — как «современную форму рабства» — и школьные отметки. Сообщая в номере от 17 июля о новомодных крестинах, журналист Флорес увидел в них «залог грядущего одичания» и заметил, что испанская революция все больше напоминает «увеселительную прогулку из болота в болото». Еще хлестче метафора другого публициста: «Фальшивая монета, сфабрикованная на верандах кафе и в редакциях газет; результат — отсутствие культуры, недостаток ума, избыток жульничества». Вообще, вольная печать не щадила новорожденную демократию, и как-то забывалось, что до победы Народного фронта, всего год назад, за выпады в адрес Гитлера журналист Антонио Эспина угодил в Бильбао за решетку.

Словом, раздоров и крайностей хватало. А между тем семнадцатого в семнадцать фактически началась вторая мировая война (и с нею все то, о чем Европа не ведала или успела забыть,— стертые с лица земли города, толпы беженцев и массовые казни). Это, кажется, сознавали все европейские лидеры — и те, кто пытался отсрочить катастрофу, и те, кто ее торопил. Сознавало и республиканское правительство Испании, от лица которого премьер Хуан Негрин заявил, что Испания заведомо отвергает «любые намерения, от кого бы они ни исходили, превратить испанскую войну во всеобщую, провоцируя европейский пожар». Этот честно выполненный зарок особенно благороден тем, что прозвучал он в самую трудную для республики минуту и в условиях, когда на стороне мятежников сражалась 150-тысячная итальянская армия, 50 тысяч немецких профессионалов и 20 тысяч марокканцев. Для сравнения — легендарные интербригады с октября 36-го, когда они возникли, по октябрь 38-го, когда были распущены, не превысили за два года войны 40 тысяч добровольцев (и каждый третий остался лежать в испанской земле). А в первые военные месяцы добровольческие отряды назывались центуриями; их было пять — две итальянские, немецкая, французская и польская,— и ни одна не достигала ста человек [2].

Но эта неутешительная военная арифметика по-своему радовала республиканцев, поскольку давала им моральный перевес. Сознавать братоубийственную суть войны было одинаково нестерпимо для всех, от музыканта до офицера. И понятен тот нескрываемый вздох облегчения, что прозвучал в выступлениях Мачадо, Хименеса и многих других после итальянского вторжения,— гражданская война обрела черты освободительной, и теперь испанцы в республиканской форме убивали уже не испанцев, а интервентов и их испанских приспешников. В ноябре по осажденному Мадриду накануне штурма прошла,

---

[1] Перевод Михаила Зенкевича.

[2] Название было чисто символическим, но возникло не случайно. 19 июля в Барселоне должны были начаться Олимпийские игры (в противовес позорной Олимпиаде на берлинском стадионе). В день мятежа сто спортсменов из разных стран вступили в народную милицию. Видно, тогда не только спорт, но и спортсмены были иными.

подобно античному хору, процессия женщин — одетые в черное, они скандировали: «Лучше быть вдовой героя, чем женой труса». Возможно, кому-нибудь этот пафос покажется театральным, но Мадрид не был взят ни тогда, ни два года спустя. И Мачадо мог с полным правом сказать: «Победим мы или нет, но мы достойны победы».

Но человек, стоявший над схваткой, видел иначе. Сент-Экзюпери, побывав в Испании, писал: «Гражданская война — не война. Это болезнь, и потому война принимает такую страшную форму: больше расстреливают, чем воюют». Он нашел для такой войны выразительный и горький образ: «Расстреливают, словно лес вырубают».

И не только расстреливали. В Мадриде пуля подстерегала на каждом углу. Чистая публика старалась одеваться как можно бедней и замызганней, зато во франкистской зоне рабочие носили белые воротнички и галстуки. Загородный парк Каса дель Кампо стал синонимом славной обороны Мадрида, но в первые военные месяцы он славился иными подвигами. По ночам туда приглашали «на прогулку», то есть на расстрел, и поводом для приглашения могла стать инженерская фуражка, университетский диплом или увиденный на стене образок.

У республиканцев, к несчастью, были две застарелые фобии, которые дорого им обошлись. Первая — недоверие к армии как таковой — побудила партии и союзы вооружаться вразброд; лишь после трех месяцев войны приступили к созданию единой армии. Вторая — неприязнь к церкви — породила бессмысленные расправы. Еще за пару месяцев до мятежа мадридцы бросились громить монастыри и кондитерские, воспламенясь слухами, будто монахини раздают детям отравленные конфеты. Угол падения равен углу отражения. Кинорежиссер Луис Бунюэль навсегда запомнил убитого священника у дверей своей мастерской. Но запомнил он и снайперов на колокольнях, и доминиканцев у станкового пулемета.

Символом испанской войны стала Герника. Но так же символична судьба родины Бунюэля, неприметного арагонского селения Каланда. Сначала в эту глухомань с пятитысячным населением пришли анархисты, расстреляли восемьдесят человек позажиточней и объявили день свободной любви, а заодно — сплошную коллективизацию. Крестьяне стали разбегаться, и кое-кто даже подался к мятежникам. Потом в полувымершую Каланду пришли франкисты и расстреляли еще сто человек, по словам Бунюэля, «неповинных даже с их точки зрения».

Своей книге воспоминаний Бунюэль дал итоговое название «Последний вздох». И рассказав о пережитом в годы войны, умудренный жизнью великий художник подводит итог: «В 1936 году испанский народ впервые в истории взял слово. И безотчетно обрушился на своих давних недругов... С фашистской стороны преступления совершались испанцами более обеспеченными и образованными. И совершались в большем количестве, без малейшего повода и с убийственным хладнокровием. Это позволяет мне утверждать, что по сути своей народ великодушней... Обеспеченность и культура, казалось бы, должны умерить жестокость. Но этого не было и в помине.— И Бунюэль грустно добавляет: — С тех пор я не верю ни в деньги, ни в культуру».

Перед штурмом Франко пообещал в первый же день расстрелять двадцать пять тысяч мадридцев. Он мыслил по-военному, масштабно, и обещания обычно выполнял. В захолустном андалузском городке Мороне было расстреляно больше трех тысяч — каждый пятый. Расстреливали по всей Андалузии. И просто расстреливали, и с выдумкой. Захваченных с оружием перед расстрелом оскопляли. Зачем?

Понятно, что угроза надругательств и расправ ширила потоки беженцев. Но прошли годы, и те, кто вполне мог бы вернуться, не вернулись. Или вернулись и остались эмигрантами, как философ Ортега-и-Гассет, который так и не принял испанское гражданство. Человеческое достоинство не позволило вернуться Хуану Рамону Хименесу, Луису Бунюэлю, Пабло Казальсу, а кроткий Мануэль де Фалья завещал не переносить его прах в Испанию, пока не сменится режим. Испанские интеллигенты самых разных убеждений отвергли фашизм не рассуждая, безотчетно, повинуясь нравственному инстинкту. Что-то в этом было от пушкинского цыгана: «Но жить с убийцей не хотим».

Наверно, многим сейчас близок афоризм Сергея Довлатова: «После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов». Отлично сказано. Но попробуйте подставить в эту фразу «фашистов» и «антифашистов». Повернется язык?

Между тем судьба изгнанников была несладкой. Французские власти загнали их в концлагеря, под охрану сенегальцев, которые обходились с ними хуже, чем с уголовниками. А петеновское правительство передало республиканцев нацистам, и многие окончили жизнь в Маутхаузене.

На фоне этой народной трагедии эмигрантская судьба замечательного испанского лирика Хуана Рамона Хименеса, быть может, одна из самых благополучных. Он покинул Испанию в самом начале войны, и причин тому было две. Война быстро переполнила мадридские приюты, и Хименес, непритворно любивший детей, взял к себе двенадцать сирот. Материально он рассчитывал на свое многотомное собрание сочинений, которое начало выходить, и на маленький магазин народного искусства, где его жена была одной из совладелиц. Но с началом войны народу стало не до народного искусства, а собрание сочинений прекратилось на первом же томе. Хименес оказался в отчаянном положении. На беду, на улице Веласкеса, где он жил со своими беспризорниками, разместился по соседству штаб анархистов, которые поэта сразу невзлюбили, заподозрив, что он верит в Бога. Он, положим, действительно верил, но по-своему и церковь обходил стороной. Однако подозрительность соседей крепла и становилась гибельной. Рафаэль Альберти, которого Хименес некогда «вывел в люди», даже предлагал ему охранников из коммунистической ячейки (видимо, такое практиковалось), на что Хименес ответил удивленным вопросом: «Разве в Мадриде больше нечего охранять?»

В это время республиканское правительство предложило ему пост культурного атташе в Нью-Йорке. Был в этой заботе определенный расчет. Хименеса хорошо знали и любили в Латинской Америке (существовало даже содружество поэтов «Камень и небо» — по названию одной из его книг). Его отношение к фашизму было однозначным — «бунт средневековья». При этом Хименес не входил ни в одну из партий, и политическое беспристрастие делало его свидетельства весомей, а призыв помочь республике — убедительней. Хименесу сказали об этом без обиняков, и, надо признать, возложенную на него миссию он выполнил с честью.

Такова была вторая и главная причина его отъезда. Продав все, что нашлось в доме ценного, Хименес обеспечил своим питомцам трехмесячное содержание, бросил дом, библиотеку, архив, рукописи и в конце августа выехал в Париж, а оттуда — в Америку. Весь семейный багаж состоял из двух чемоданов с бельем и двух обручальных колец. Едва прибыв на место, Хименес объявил сбор средств и переслал своим сиротам сумму, которой должно было по его расчетам хватить на четыре года. Он так и не узнал, хватило ли и на сколько: в конце войны вести от детей пришли уже из Каталонии и оказались последними.

С падением республики для Хименеса началась борьба за существование, старость, а с ней — болезни и утраты. Свое шестидесятилетие в 1941 году он встретил на больничной койке, а в 1956 году всего через несколько дней после присуждения ему Нобелевской премии похоронил жену. Последние два года его жизни были одиноким угасанием, но до этого он работал не покладая рук. В архиве остались сотни неопубликованных стихов и, к сожалению, десятки незавершенных замыслов — среди них две книги прозы, фрагменты которых предлагаются в нашей журнальной подборке. Одна называлась «Испанская война», другая, задуманная в форме дневника,— «Изгнанник»; обе остались незаконченными.

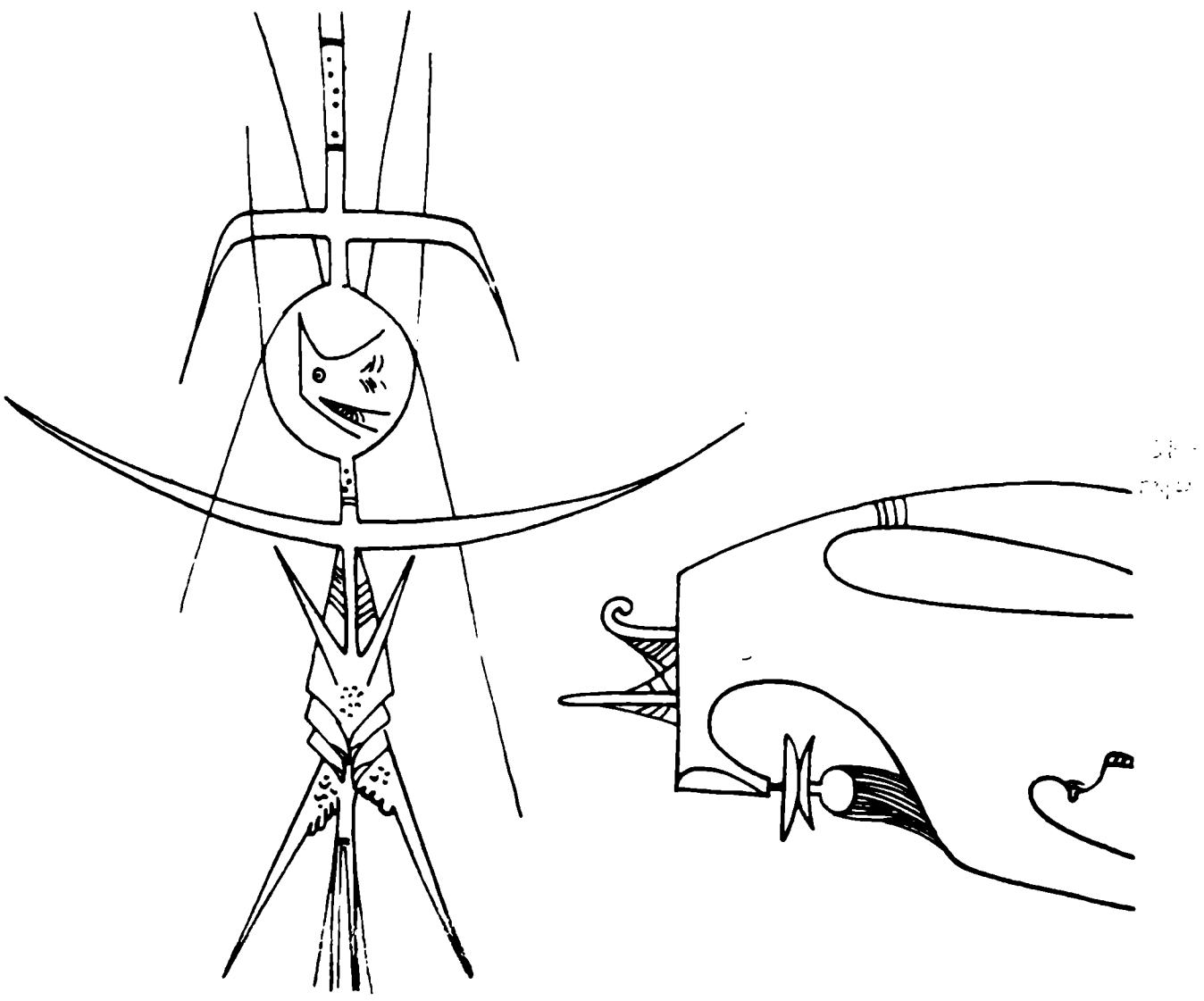
Третью книгу прозы — «Испанцы трех миров» (Старого, Нового и «того» света) — Хименес успел издать, но, в сущности, она тоже не была завершена. Это миниатюры, в большинстве шаржированные, людей известных, малоизвестных и совсем безвестных — по словам Хименеса, «тех, с кем я жил и кого хорошо знаю, и тех, кто жил до меня и кого я хорошо чувствую». Книга вместила шестьдесят миниатюр, а должна была вместить полторы сотни — остальные погибли в разграбленной мадридской квартире поэта.

Жизнь Хименеса на чужбине была скитальческой и большей частью прошла в Латинской Америке. И, казалось бы, в одном его эмигрантская судьба счастлива — он остался в родной языковой среде. Родной, но только не для Хименеса с его обостренным языковым чутьем — и в дневнике он не раз говорит об этом. В Испании его называли на андалузский лад «Поэтом из Могера» (издавна андалузские сказители, певцы и музыканты к своему имени присоединяли имя родного города). Разумеется, Хименес не был могерским поэтом, как Есенин не был рязанским, но, видимо, его корневая связь с родной почвой ни у кого не вызывала сомнений. Сам же он называл себя «гражданином Вселенной». Таким было его мироощущение. И только став изгнанником, он с горечью, а может быть — и с тайной радостью, ощутил окончательно, что он навсегда — Поэт из Могера. «Каждую ночь я хватаю карту и, обегая глазами мир, ищу, где жить,— писал он в Америке,— и не нахожу...»

Много позже другой поэт-изгнанник и тоже, подобно Хименесу, Нобелевский лауреат — Чеслав Милош — скажет: «Изгнание — испытание внутренней свободы, и эта свобода приводит в ужас». Думается, природу ужаса чутко уловил русский религиозный мыслитель (и тоже изгнанник) Георгий Федотов: это возможность «поставить свободу выше любви». А Федотов знал цену свободе.

Хуан Рамон Хименес и его братья по изгнанию, от лица которых он говорит, не могли и не захотели ставить свободу выше любви и еще раз, собственной жизнью, ее тоской и надеждами, подтвердили давнюю правоту Дантона — родину не унести на подошвах.

А. ГЕЛЕСКУЛ



ШАНДОР МАРАИ

Дневники

Перевод с венгерского Ю. ГУСЕВА

От переводчика

Венгерский писатель Шандор Мараи (1900—1989) достиг вершины творческого расцвета — а вместе с тем и популярности — в 30-е годы. В его романах, рассказах, пьесах, стихотворениях, публицистических статьях и эссе перед читателем предстает прежде всего сам автор — человек жизнелюбивый и широко образованный, тонко чувствующий искусство, увлеченный экзистенциальными проблемами. Мараи — немного эстет и немного эгоцентрик; но главное, что он ищет гармонию в данном — данном историей или Богом — мире, не занимаясь ниспровергательством, разоблачением, хотя и вовсе не идеализируя то, что есть. Мараи называли певцом венгерской буржуазии. В этом имеется большая доля правды, если, конечно, видеть в буржуазии не класс паразитов, питающихся исключительно кровью трудящихся, а сословие собственников, основу стабильности и спокойного, без скачков и без революций, прогресса. Нужно лишь уточнить, что, будучи певцом буржуазии, Мараи не был ее адептом. Он искал в жизни то, что сейчас мы торжественно называем общечеловеческими ценностями. И под этим углом зрения с наибольшей симпатией он относился к буржуазии.

Именно угроза, нависшая над этим естественным для Мараи порядком, заставила его в первые послевоенные годы всерьез встревожиться; он наблюдал, как продвигается к власти, пользуясь грубой силой, обманом и демагогией, маленькая, но нахрапистая партия и как в обществе по ее следам прорастают лицемерие, несправедливость, террор. Эти процессы должны были неминуемо коснуться и его. И коснулись. В частности, рукой одного из ведущих ученых авторитетов тех лет, эстетика и философа Дёрдя Лукача, который сурово осудил роман Мараи «Оскорбленные»: автор-де правильно клеймит национал-социализм, но зато не приветствует должным образом демократическую и тем более социалистическую революцию 1918 и 1919 годов в Венгрии.

Не принимая того направления, куда шла или, вернее, куда была толкаема коммунистами страна, Мараи навсегда покидает родину.

В сущности, это был конец его творческого пути. Автор книги о Мараи Михай Сегеди-Масак пишет: «...в сущности, он умер еще тогда, когда эмигрировал, ибо утрата родины равнозначна отказу от своего Я».

Живя вдали от Венгрии, от своего читателя, Мараи, в отличие от многих других эмигрантов, так и не смог приспособиться, перейти, скажем, на английский язык в своем творчестве. За сорок с лишним лет жизни на Западе он писал и печатался — когда печатался — только по-венгерски. Его постоянство в этом плане, как и упорное нежелание делать шаги навстречу коммунистическому режиму на родине, даже когда тот принимал либеральный оттенок, следует, видимо, считать проявлением особой душевной, нравственной стойкости.

В последние несколько лет венгерские издательства активно осваивают огромное творческое наследие Шандора Мараи, его книги выходят одна за другой. Публикуемая здесь композиция была сделана для сцены главным режиссером театра им. Миклоша Радноти в Будапеште Андрашем Балинтом; премьера спектакля состоялась в марте 1992 г.

Свидетельство о смерти

Имя: Шандор
Фамилия: Мараи
Дата смерти: 21 февраля 1989 г., 13 ч. 45 мин.
Пол: мужской
Раса: белый (не испанец)
Дата и место рождения: 11 апреля 1900 г., Венгрия
Гражданство: Соединенные Штаты Америки
Имя и фамилия отца: Геза Гросшмид
Имя и фамилия (девичья) матери: Маргит Ратковски
Семейное положение: вдовец
Род занятий: писатель
Место смерти: Сан-Диего, Шестая авеню, 2820, кв. 1
Причина смерти: самоубийство, посредством автоматического пистолета 25-го калибра, выстрелом в рот
Вид погребения: кремация
Номер похоронного разрешения: 119.

Было так:

Ты просыпаешься в семь утра, когда горничная ставит на столик возле твоей постели стакан со смесью апельсинового и лимонного сока и рядом кладет утренние газеты. Залпом выпив терпкий, бодрящий напиток, ты просматриваешь газеты, затем берешь книгу, которую начал читать накануне, и погружаешься в чтение. В девять на сервировочном столике привозят завтрак: чай, масло, яйцо всмятку, мед. В десять ты встаешь, до одиннадцати работаешь. В одиннадцать перед домом уже стоит авто: механик вывел его из гаража к воротам. Ты надеваешь белые брюки и рубашку, садишься в авто и едешь на остров Маргит играть в теннис. Тренер подает мячи осторожно, словно главная цель игры — в том, чтобы игроки не слишком утомились. Этот лечебный сеанс продолжается около часа. Затем ты едешь в бассейн и принимаешь горячий душ; массажист беспощадно мнет тебе спину, плечи, ноги. Ты проплываешь несколько сотен метров и, ощущая легкость в душе и бодрость в теле, отправляешься домой. По пути останавливаешься возле какого-нибудь кафе и, облокотившись на стойку, выпиваешь чашечку зверски крепкого черного кофе. Обед легок и вкусен; если кухарка плохо справляется со своим делом, ее через некоторое время рекомендуется поменять. После обеда ты спишь, потом до пяти работаешь; потом — прогулка в Прохладной долине или на Швабской горе (туда ты добираешься опять-таки на авто; машина работает иногда не вполне так, как надо, причиняя тебе неприятности,— придется ее заменить!). После прогулки — домой, переодеться: вечером придут гости или ты зван к кому-нибудь. К полуночи ты стараешься быть дома. Еще часок с книгой в постели, и перед тем, как заснуть, ты, зевая, говоришь себе, что ужин был из рук вон, беседа — скучной, литература день ото дня все хуже, и вообще жизнь, как она есть, просто невыносима.

Бог знает: может, действительно так и было...

8 февраля 1933 г.

Этот голос, позже вторгшийся в мою жизнь и полностью исковеркавший ее, я впервые услышал в своей парижской квартире. Тот момент запомнился мне довольно подробно. Было часов шесть вечера; я сидел в своей комнате, высоко над окружающими домами, и читал свежий номер литературного журнала.

На столе негромко играло радио: какая-то немецкая станция передавала песни Шуберта. И вдруг неожиданно возник этот голос. Он ворвался в музыку, беспрекословно, надменно прервав ее, словно сказал Шуберту: «Цыц!» По-немецки он говорил с едва заметным славянским акцентом. Я стал вслушиваться: ведь он обращался ко мне лично. «Невыносимо»,— убеждал он меня. Слово это он произносил многократно и с такой гипнотической силой, что я невольно кивал, соглашаясь с ним. Что именно для него невыносимо, нельзя было разобрать: то ли любовь некоей женщины, то ли правительственная программа Бриана [1], то ли новые правила уличного движения, то ли голливудская кинопродукция. «Но это невыносимо»,— упорно настаивал он.

[1] Аристид Бриан (1862—1932) — французский государственный деятель. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Все-таки он, пожалуй, преувеличивает, рассеянно думал я. Не так уж невыносимо; ну, может, малопонятно, путано, глупо, иногда трагично, часто смешно, но никак не невыносимо... Вот так я с ним спорил. Но голос взывал теперь прямо ко мне; ко мне, человеку, который придерживается иного мнения. Именно этого голос и не желал терпеть. Он уже кричал, он был вне себя от ярости. Я чувствовал, за его словами стоит что-то другое, не то, что они означают. Его речь — это, собственно, повод поведать миру о чем-то действительно невыносимом. Это всхлип обиды, стон возмущения, нечленораздельный, первобытный вопль, в котором он обличает всех и вся. В этом голосе была настоящая боль; так кричат раненые животные, так кричат женщины, когда уже все равно, когда мужчина уже сидит в поезде с другой женщиной, ради которой он увез с собой из дома последние драгоценности...

Я ощущал беспокойство и некое странное, пополам с жалостью, нервное возбуждение; подобное чувствуешь, если в соседней комнате некто, тяжко больной, исходит криком от диких страданий. Может, владельца этого голоса терзают почечные колики, и ни горячие компрессы, ни опий не помогают ему? Голос тоскливо изливается в ночь, люди в домах начинают прислушиваться, садятся в постели, включают свет, смотрят на часы и задаются тревожным вопросом: «Кто это? Не вурдалак ли на могиле воет?» — или что-то подобное. «Сделайте же с ним что-нибудь!» — шепчут они спустя какое-то время. Но помочь ему мы не в силах, и всех нас переполняет одно-единственное желание: пусть этот голос наконец стихнет, из-за него мы не в состоянии ни спать, ни думать. Дайте же этому крикуну морфий, или заткните ему рот, или найдите автомобиль и увезите его куда-нибудь, где он будет жить или умрет... но увезите!

Но мало-помалу тревога и жалость уступили место в душе у меня подозрению. Голос, как мне стало казаться, был не вполне искренним. В нем было что-то актерское. Невыносимо, утверждал он, но утверждал как-то так, как король Лир, который, страдая на сцене, с нетерпением ждет финала, чтобы снять накладную бороду и пойти в корчму пить пиво.

Потом голос умолк ненадолго, и какие-то люди принялись хлопать в ладоши, хрипло ревя от восторга. В их реве были все оттенки одобрения и ненависти, согласия и отрицания; десятки тысяч ног стучали по полу каблуками, потом, без всякого перехода, запели какую-то незнакомую песню, которая не имела никакого отношения к Шуберту.

А голос наполнял мир. Четыреста миллионов людей, что населяют Европу, возвращались домой с работы, или гуляли по улице, или сидели в пивной, или склонялись над книгой, над губами любимой женщины, складывали выглаженное белье, или отдавались магической власти музыки, или таяли в сладкой судороге объятия и блаженном расслаблении после него, мужчины переодевались, мыли руки, стояли возле окна, глядя на вечернее небо, или, сунув в карман острый нож, выходили искать добычу, дети умирали или в слезах засыпали в темной комнате,— а голос крался во тьме как тень, как голодный волк...

И мы начали понимать, что с нами что-то произошло.

29 марта 1939 г.

Час на скамье в саду Хорват. Дети в песочнице: маленькие Гитлеры, Чингисханы, Тамерланы — без устали истребляют друг друга. Трехлетний карапуз, который едва научился ходить, со знанием дела, упорно, серьезно, молча, потея, сопя, норовит вдавить туповатого пятилетнего мальчишку лицом в песок, чтобы тот задохнулся. Родители на скамейке с умилением наблюдают за этим поединком в грязи. Четверо сорванцов, соорудив из стручков свистульки, с дьявольским шумом и криками гоняются за перепуганной девочкой. Другие девочки, поглупее, сидят в сторонке, ждут, пока придет их очередь...

11 апреля 1940 г.

Сегодня мне исполняется сорок. Марк Аврелий [1] где-то сказал: мужчина, в котором горит хотя бы искра разума, к сорока годам должен понять и пережить все, что случалось с людьми до него и что может с ними случиться после него. Он должен испытать все страсти и чувства, постичь постоянство законов природы и смириться с тем, что он, человек, смертен.

Самая женская строчка женской поэзии, написанная когда-либо поэтом-мужчиной,— вздох Ади [2]: «Хотел бы, чтоб меня любили». Мужчина не должен

---

[1] Марк Аврелий (121—180) — римский император, автор философских сочинений.

[2] Эндре Ади (1877—1919) — крупнейший венгерский поэт начала XX в.

просить, чтобы его любили. На мужском языке эта строчка выглядела бы так: «Хочу, чтоб я любил тебя».

Прошу, люби меня спокойно и между делом, словно бы и не замечая этого, люби просто, как дышишь или как, скажем, проводишь обычный день недели, когда «совсем ничего не случается». Я уже не хочу, чтобы меня любили, как во втором действии оперного спектакля, когда надрываются трубы, прожекторы играют всеми цветами радуги, а исполнители главных партий за каждое представление получают по тысяче пенгё. Люби меня так, словно это какое-то частное дело, не слишком для тебя важное. Тогда, пожалуй, я отвечу тебе взаимностью.

11 апреля 1943 г.

Мне — сорок три.

В этом страшном мире, мире убийц, писатель должен беречь как зеницу ока свою беспартийность; не уклоняться от прямого ответа, но и не заниматься обличением. Против вставшего на дыбы времени у нас нет оружия, кроме собственной твердой позиции. Не удивляться и не обижаться. Лишь молчать и наблюдать! Если ты чувствуешь себя оскорбленным, значит, ты принял навязанный тебе способ борьбы.

Когда я размышляю о литературной жизни Венгрии последних десяти — пятнадцати лет, меня охватывает отвращение. То, что Чортош [1], актер, называл «тиранией хористов», в литературе было бесстыдным засильем полуталантов, истерических графоманов. О, эти «народники», что борются за права народа, живя в комфорте и пользуясь привилегиями! Если они садятся писать стихи, то мыслят не понятиями, не эпитетами, не подлежащими и сказуемыми, а исключительно категориями «народ» и «нация». О, эти «урбанисты», у которых словесные выкрутасы заменяют талант и волю!.. Какая ужасная мерзость!.. И во всем этом я жил.

18 марта 1944 г.

В полном соответствии с григорианским календарем, мы и в этом, 1944 году пригласили на именинный ужин по случаю дня Шандора нескольких родственников. Ужин был скромным: время военное, запросы приходится ограничивать. И все же стол, благодаря стараниям Лолы, выглядел совсем как в мирные времена, когда мы жили и принимали на широкую ногу. Из комода, с самого низа, на свет божий появились фамильный мейсенский фарфор и старое серебро; стол освещен был не электричеством, а свечами в двух французских подсвечниках. В старом будайском доме, где я жил уже почти двадцать лет, вокруг овального стола нас собралось одиннадцать человек. В трепетном пламени свечей, таком интимном и немного загадочном, лица гостей, уютная комната, старинная мебель казались ближе, роднее, чем когда-либо прежде.

После ужина мы, как обычно, остались сидеть за столом, беседуя за вином и кофе о том о сем. И вот наступил момент, когда все страстно заспорили о политике. Гости — за исключением одного — осуждали нацистов. Большинство сходилось в том, что будущее у нас довольно печальное. Правда, сторонник нацистов тут же вспомнил легенду про чудо-оружие. Страна в те дни была полна подобными россказнями: говорили о каких-то бомбах, которые, взрываясь, просто-напросто «замораживают» неприятеля, о самолетах, которые летают до того быстро, что пилотов привязывают к сиденьям, чтобы они не вывалились на вираже... Сторонник Гитлера, крепко набравшись, колотил по столу кулаком и повторял газетные фразы насчет «выдержки» и «союзнической верности».

Я попробовал было ему возражать; и тут он, немало всех озадачив, ответил таким образом:

— Да, я национал-социалист! Тебе этого не понять, потому что ты — талантливый. У меня талантов нет, вот почему мне нужен национал-социализм.

Когда прозвучали эти слова, сказанные громко и с вызовом, кое-кто из нас засмеялся; но смех этот был не слишком веселым, и мы поскорее сменили тему.

Около полуночи гости разошлись. Когда я провожал последнего в прихожую, зазвонил телефон. Я узнал голос одного моего друга, он служил в канцелярии премьер-министра. У нас с ним не было заведено звонить друг другу по ночам, поэтому я спросил встревоженно:

— Какие новости?

— Сегодня ночью немцы оккупировали Венгрию.

— Где они?

---

[1] Дюла Чортош (1883—1945) — выдающийся актер венгерского театра и кино.

— Здесь, в крепости. Как раз идут танки. Я вижу их из окна.

— Ты можешь ко мне приехать?

— Нет, сейчас не получится,— ответил он.— Не пропустят. Завтра, если буду на свободе, пожалуй, приеду.

— Спокойной ночи,— сказал я и тут же сообразил, что звучит это довольно неуместно.

— Спокойной ночи,— серьезно ответил он.

Я ушел в кабинет, сел за свой старый письменный стол, закурил. В кабинете стояла приятная теплота. Я рассеянно смотрел на книги, стоявшие на полках: книги эти я собирал по всему свету. Вот Марк Аврелий, которого я приобрел у букиниста на набережной Сены; вот беседы Эккермана с Гёте; там — старинное венгерское издание Библии и еще семь тысяч томов и томиков. Со стены на меня смотрели портреты отца, деда, умерших родственников...

13 апреля

Уже три недели живу в Леаньфалу [1].

8 июня

Одного моего знакомого депортировали в Польшу. Я написал прокурору письмо, просил не трогать семидесятилетнего старика, оставить его в гетто. Ответ прокурора был краток: он бессилен выполнить мою просьбу. Но если ты бессилен, почему не уйдешь в отставку?

15 августа

Всех родных и близких этого мальчика погрузили в вагон и увезли; сам он спасся чудом, сейчас живет в приюте. На воскресном утреннике он декламирует стихи. Ему восемь лет. Стихотворение он выбрал сам. В нем такие строки:

В Венгрии я вырос, венгром я родился,
Мне напев венгерский с детства в душу лился,
Мама по-венгерски чтить учила Бога
И любить отчизну милую до гроба...

Зрители, знавшие о страшной судьбе мальчика, сидели бледные, опустив глаза.

Я чувствую себя как Иосиф Флавий [2], которого Тит и Веспасиан послали к стенам Иерусалима, чтобы он увидел и описал гибель города. Если буду жив, опишу.

28 октября

Немцы в самом деле способны творить чудеса. Вот одно из чудес, которое им удалось совершить: сейчас каждый уважающий себя человек всем сердцем надеется на скорый приход русских, большевиков, которые явятся к нам как освободители.

10 ноября

Леаньфалу.

«Добрые венгры» прислушивались, присматривались. В самом начале, в марте, они еще колебались. «А ладно ли оно будет, кум? — вполголоса спрашивали они друг друга.— Пойдет дело? Не будет ли беды?..» И в один прекрасный день увидели, что опасаться вроде бы нечего. Русские пока далеко; во Франции, в Бельгии еще хозяйничают немцы; евреи же рядом, их можно грабить, можно убивать. И тут добрые венгры: министры, госсекретари, депутаты, секретари управ, судебные исполнители, жандармские чины и примкнувшие к ним военные и людишки всяких званий — засучили рукава, подкрутили усы и с чисто венгерской хваткой взялись за дело. И убедились, что дело очень даже «идет».

Минуло восемь месяцев. Война проиграна, русские стучатся в дверь Будапешта. В тот самый день, когда русские подошли к столице, на недалеком Сентендрейском острове, в трудовом лагере, полном евреев, вперемешку мужчин и женщин, появились юные нилашисты в зеленых рубашках и стали снимать у евреев с пальцев еще оставшиеся обручальные кольца. Зачем? Во-первых, потому что кольца из золота и блестят. Во-вторых, потому что юноши сообразили, что им все дозволено. «Ух ты, кольцо! Айда, ребята!» — сказал один. И ребята пошли.

---

[1] Село недалеко от Будапешта. С давних времен — излюбленное место загородного отдыха венгерских писателей.

[2] Иосиф Флавий (37 — после 100) — древнееврейский историк, перешедший на службу к римлянам. Присутствовал при осаде и разрушении Иерусалима.

Нилашисты эти — не такие уж и преступники. Они скорее — одичавшие бойскауты, испорченные мальчишки, игравшие в пиратов и застрявшие в подростковом возрасте. Преступники же — те венгры, кто остался в это время на месте, даже принял присягу, чтобы спасти свое ноябрьское жалованье. Не забудем, ноябрь — это месяц, когда нужно вносить квартплату. В такое время нации не до протестов.

В Пеште у врача, потом дома. Добыл еще одну дозу морфина — три ампулы по три кубика; теперь, если жизнь станет слишком скучной и бессмысленной, я за себя спокоен.

13 декабря

Встань на стул — увидишь будущее. Сейчас ни к чему взбираться на стул: достаточно подойти к окну. Русские уже в Ваце и Гёдёллё [1].

26 декабря

После обеда ходил в деревню. По дороге видел женщину, которая кричала истерически: «Русские пришли».

Когда я поднимался на крыльцо сельской управы, во двор влетело четверо верховых казаков. Они явились сюда из снежных, запорошенных инеем краев России: на прекрасных лошадях, в добротной одежде, в руках у каждого — готовый к стрельбе автомат. Впереди — совсем молодой парнишка в белом бараньем полушубке, с характерным славянским широкоскулым лицом и светлым чубом, выбивающимся из-под меховой шапки с красной звездой. За ним — казак постарше, с угрюмым взглядом. Первый спрашивает меня: кто такой? Собрав свои знания словацкого и русского, отвечаю: венгерский писатель. «Писатель?» — переспрашивает он, смеется и протягивает мне руку. Его юное, горделивое, румяное лицо светится улыбкой. «Ладно, ступай домой». Вот так оно было, без выстрелов. Словно эти добродушные всадники сошли со страниц какого-то русского романа.

Молодые, энергичные, они были очень-очень чужими. Другой мир, другая порода. Факт тот, что я, осколок уходящей культуры, впервые встретился сегодня с людьми, представляющими культуру новую. Встреча эта оставила странную память. Хорошую или плохую? Скорей, это некоторая уверенность, что будущее небезнадежно.

8 января 1945 г.

Вечером к нам пришел русский майор с большой свитой: все в дубленых тулупах, хороших сапогах, меховых рукавицах. Майор прилично говорит по-немецки. Они были в соседней усадьбе, там их угощали обедом; они узнали, что здесь живет писатель, вот и заехали посмотреть на редкого зверя. Визит был хотя и недолгим, но весьма содержательным. Майор стоял в середине комнаты, в кругу своих офицеров, со стеком в руке, с биноклем на груди, похожий на полководца, как их изображают в школьных учебниках. «Это вы — писатель?» — спросил он, разглядывая меня. И сделал знак одному из офицеров, чтобы тот меня сфотографировал. На столе стояла пишущая машинка с листом рукописи. Твердо, но вежливо он спросил, над чем я сейчас работаю. Я ответил, что в такой момент не могу заниматься чистой литературой, что пишу в основном дневник, как писал и прежде, в мирное время и в годы войны. Он кивнул, выражая абсолютное согласие с этим, и поинтересовался, все ли я записываю в дневник, что вижу вокруг. Нет, не все, ответил я, только то, что считаю важным.

— Тогда запишите,— сказал он серьезно и строго,— что сегодня у вас был русский офицер и он вас не тронул. Еще запишите, что офицер этот видел в Ясной Поляне дом Льва Толстого, который солдаты вашей страны полностью разрушили. Запишете? — спросил он сурово.

Я обещал, что, разумеется, все запишу. (Момент, чтобы вступать в спор с русским офицером, был явно неподходящим. Поэтому я не сказал ему, что предыдущей ночью русские солдаты вломились в дом Жигмонда Морица [2], разграбили его, грязными сапогами ходили по рукописям, рассыпанным по полу... Такова война.) Офицер постоял еще немного, глядя вокруг, потом козырнул, махнул офицерам, и они ушли. Я ошеломленно смотрел им вслед: все было не так, как мы себе представляли.

Немного погодя прибежала из соседней усадьбы горничная и рассказала, что те же русские офицеры у них пообедали, после обеда поцеловали хозяйке руку, вежливо попрощались и ушли, а с дороги послали обратно шофера,

---

[1] Небольшие города в окрестностях Будапешта.

[2] Жигмонд Мориц (1879—1942) — выдающийся венгерский писатель.

вооруженного автоматом, и тот потребовал, чтобы хозяин немедленно отдал ему золотые часы с браслетом. Потерпевший, который во время обеда, ни о чем не подозревая, посматривал на свои часы, позже, испуганно озираясь, подтвердил эту новость. «Но тогда зачем они руку жене целовали?» — обескураженно повторял он.

Мы стали подозревать, что в русских есть что-то странное.

Они ребячливы, иногда — сумасбродны, иногда — раздражены и печальны; но всегда — непредсказуемы. Есть в русских что-то «другое», непонятное человеку, выросшему на Западе.

Что же это за «другое»? Может быть, «советское», свойственное новому, искусственно выведенному существу, которое видит мир под другим углом? Или просто «русское», что живет в душе у этих людей, которые, отнюдь не впервые в своей истории, но впервые, пожалуй, так мощно и в таком количестве вышли из своего евразийского дома и отправились, слегка неуверенно, с опаской, но в то же время с огромным любопытством открывать для себя мир?.. Не знаю.

Разумеется, у нас забрали поросенка, забрали муку, но все это было не столь важно, не столь характерно. В те дни, например, солдаты часто забирали велосипеды и, покатавшись на них, бросали где-нибудь на дороге... Пристрастие к собиранию наручных часов тоже легко объяснимо.

Размышляя об этих людях, о режиме, который их воспитал, я не раз спрашивал себя: что же все-таки означает их появление? Всего лишь **конец** некоего периода в истории культуры, периода господства христианско-гуманистического мировосприятия,— или **начало** чего-то нового? Чуваши, киргизы, русские, вся восточная рать двинулась из Советского Союза в Европу, чтобы защитить свою родину. Кроме того, у Красной Армии есть и иные задачи: обеспечить Советскому Союзу безопасность в дальнейшем и, насколько возможно, насаждать в мире советский строй. Такова политическая сущность того, что в течение тех нескольких недель превращалось в реальность у нас на глазах. Но есть ли, сверх того, некий высший смысл у Советов?

«Восточный» человек великую, конечную цель бытия видит в полном растворении личности, в достижении такого состояния, когда индивид поднимется над своей индивидуальностью и сольется с ритмом вселенной. Для меня, человека «западного», это звучит как китайская грамота, ведь если я откажусь от своей личности, от маниакальной привязанности к ней, то исчезнет главное, что связывает меня с жизнью. Восточный человек думает по-иному. И когда я сейчас непосредственно наблюдаю у русских это иное отношение к личности, я понимаю, что грандиозный эксперимент по созданию «коллективистского» общества, где личность была бы лишена личностного — всегда настроенного критически — самосознания и включена в сферу сознания «коллектива», в контекст «общественной личности»,— такой эксперимент мог быть осуществлен только на Востоке.

В 1924 году я путешествовал по Ближнему Востоку. В Смирне, в одном монастыре, в котором была и мечеть, мне довелось послушать «орущих» дервишей.

Дервиши эти орут раз в неделю; в тот день, когда я туда попал, «выступала» не местная команда, а группа бродячих дервишей, которые в Смирну прибыли, так сказать, на гастроли.

Первым в мечеть вошел священник в черном одеянии; он повернулся лицом на Восток, упал на колени, прочел молитву, потом разложил коврики по полу и с тарелкой пошел по кругу, собирая подаяние. Все платили, сколько могли; я дал примерно столько же, сколько другие, но он остался недоволен мною. Потом из-за занавеса парами вышли дервиши, числом двадцать, и опустились в середине мечети на колени. Одеты они были лишь в коричневые шерстяные балахоны, на поясе перевязанные веревкой. Стоя на коленях, они тихо молились. Потом на кафедру поднялся ходжа, который не принадлежал к дервишам, и произнес по-турецки, с большим количеством гласных, молитву. Говорил он почти шепотом. Иногда в его бормотанье слышалось протяжное, как стон, «аллах», «ильаллах».

Вдруг один дервиш вскочил, сделал шаг вперед, словно Лоэнгрин перед главной арией, и громко, со страдальческой интонацией, заорал. Мы с моим сопровождающим переглянулись: смотри-ка, вроде пошли дела. Орал он так, словно ему отдавили ногу. Или словно он вспомнил вдруг, что забыл дома что-то очень важное. Может быть, в его вопле крылось какое-то религиозное содержание, не знаю; но если бы так заорал венгр, смысл можно было бы трактовать однозначно... Этот вопль послужил сигналом для остальных. Дервиши встряхнулись и откликнулись на его зов, сразу все двадцать. Орали они довольно слаженно: двое — приятный баритон и «запевала» — задавали тон,

остальные вторили им, несколько сдерживая голоса; чувствовалось, они берегут силы для финала.

Впрочем, «запевала» и баритон с самых первых минут орали, что называется, как оглашенные: шея раздута, на горле прыгает острый кадык, глаза вылезли из орбит, голова задрана к небу — чисто волки в полнолуние. Только, в отличие от волков, вопли их были не заунывными, а короткими и отрывистыми. Все это продолжалось часа полтора без единого перерыва; тот, кто любит такое искусство, тут мог насладиться в полную меру. Иные из дервишей орали, лежа на полу, полуголые. Другие, шатаясь, выскакивали из мечети и, глотнув свежего воздуха, возвращались и начинали орать с удвоенной силой. Должно быть, сейчас они были совсем близко к аллаху...

Самый яркий образ, который уносит с собой европеец из путешествия по Востоку,— это образ молящегося человека. Здесь у молящегося есть нечто, чего начинает недоставать человеку на Западе,— безусловная вера. На Западе у людей есть догадки и есть сомнения. У людей на Востоке есть Бог.

Будапештские острословы в те дни говорили: «Сталин промахнулся, показав русских Европе, и еще раз промахнулся, показав русским Европу». Честное слово, в этом что-то есть.

13 февраля 1945 года

Пала Буда. В пять утра, в мягком свете полной луны, в серебристом призрачном полумраке отправляемся в путь. Уже ходит, пока, правда, лишь до окраины города, старенький, едва живой пригородный поезд.

По городу ты идешь словно через раскопки. Многие улицы узнаешь не сразу: вот эта груда обломков несколько дней назад была шестиэтажным жилым домом. Сейчас — развалины, мусор, прах...

И вот я стою на углу своей улицы, ищу взглядом свой дом. И вижу руины. Во время осады в дом угодило три бомбы и более тридцати гранат. На месте лестничной клетки — путаница разбитых ступеней, искореженных перил, в которых застряли обломки мебели. Кое-как взбираюсь на второй этаж и там, среди пыльного мусора, на месте бывшей моей квартиры, нахожу свой цилиндр и французский фарфоровый подсвечник. Тут же валяются фотографии, среди них — та, что висела над моим письменным столом: Горький у Льва Толстого в Ясной Поляне. Снимок этот я уношу с собой.

Большая часть моих книг, словно в бумагодробилке, превращена взрывной волной в кашу. И все же среди обломков я вижу книгу с неповрежденной обложкой. Поднимаю, читаю название: «Уход за домашней собакой». Сунув ее в карман, выбираюсь на улицу, чувствуя отчего-то странное облегчение.

Ноябрь 1946 г.

Получил приглашение из-за границы, еду в Швейцарию, потом в Италию и в Париж. Приглашение групповое — простому смертному сейчас опасно путешествовать в одиночку,— но я решил воспользоваться им: очень остро ощущаю необходимость сменить обстановку. В Швейцарии группа рассеивается кто куда, каждый ищет свою собственную Европу.

Париж, 3 февраля 1947 г.

Отель прежний. Все прежнее. Здесь я не был уже десять лет. Смотрю на старинные гостиничи вдоль улицы Вожирар: в одной из них я снимал номер в свой первый приезд в Париж, двадцать четыре года назад. С утра звенят во мне строчки Радноти [1]:

Где Сен-Мишель и рю Кюжа,
Сошлись, слегка покато, тротуары...

Тротуары там и сейчас слегка покаты. Далее:

О юность вольная! Кружа
По свету, не забыл я твои чары,
И голос твой поет, как эхом лес.
Была пекарня на углу Месье ле Пренс... [2]

Пекарня там стоит до сих пор.

10 февраля

Под вечер зашел в кафе «Дом», сел за столик на террасе, заказал бокал вина и купил у мальчишки вечернюю газету. И стал читать новости на первой странице. А читать было что.

---

[1] Миклош Радноти (1909—1944) — венгерский поэт.

[2] Перевод Д. Самойлова.

Вечерний выпуск парижской бульварной газетки под огромными заголовками сообщал: в этот день, 10 февраля 1947 года, в одном из помпезных залов Министерства иностранных дел Франции подписаны документы, которые называются мирными договорами, но для Венгрии, Финляндии, Болгарии, Румынии и Италии носят директивный характер. Меня, естественно, особенно интересовал договор, касающийся Венгрии, его я начал читать в первую очередь. Мой родной город, прекрасная, благородная Кашша [1], снова перешел к чехам. Фельвидек [2], не спросив венгерского населения, вопреки воле этого населения, отдали на растерзание чешскому и словацкому мини-империализму. Эрдей [3], венгерский Фельвидек и Дельвидек [4] снова оторваны от тысячелетнего государства. Сумму контрибуции определили для Венгрии в 300 миллионов долларов: 200 — Советскому Союзу и по 50 — Чехословакии и Югославии.

В этот вечер я должен был решать, возвращаться ли в Будапешт.

Что ждет меня дома, в Венгрии? Урезанная, истекающая кровью страна. Русская военная оккупация. А что ждет меня здесь, если я не вернусь? Ведь Европа для западного человека — совсем не то, что для нас. Моя личная судьба, возможно, сложится хорошо, но это нисколько не меняет того факта, что здесь я всегда буду чужаком, которого терпят, пускай и не подают виду.

Да, французские напитки великолепны. Они поднимают теплую волну в голове, расширяют капилляры; под их влиянием насыщенная кислородом кровь, питающая сознание, быстрее попадает в мозг. Где мое настоящее место? На выжженном, изолгавшемся Западе? Или долг мой — вернуться домой? В то, что Родина меня ждет, я не очень-то верю. Но бывают в жизни моменты, когда мы как бы слышим некий немой зов. Это был один из таких моментов: я чувствую, что должен вернуться туда, где мне трудно найти «роль», «призвание» для себя, но где есть нечто, что составляет единственный смысл моей жизни: венгерский язык.

Ибо меня, и молодого, и поседевшего, пережившего две мировые войны, больше ничто по-настоящему не интересует. Только он, венгерский язык, и его высшая, абсолютная ипостась — венгерская литература. Язык, который среди миллиардов жителей Земли понимают всего-навсего десять миллионов, и кроме них — никто. И замкнутая в этом языке литература, которая, несмотря на героические усилия поколений, так и не смогла предстать перед миром в подлинной своей сути. Мой хлеб, мое лакомство, мой рабочий инструмент, моя печаль, мое счастье — венгерский язык. Пользуясь им, я могу сказать: «Черт, куда делся опять мой рожок для ботинок?» И могу, пользуясь ста двадцатью тысячами венгерских слов, выразить то, чем я живу. И лишь на этом языке я могу умолчать о том, о чем не хочу говорить.

Я оглядел террасу кафе и постучал рюмкой по столику, подзывая официанта: мне нужно было немедленно расплатиться и отправляться в путь.

Когда уходит поезд на Восток?

Чуть не бегом я вернулся к себе; но очень скоро мне представилась возможность с изумлением обнаружить, как мало все-таки мы, современники, готовы встретить то, что на нас надвигается. В конце концов если ты собираешься ехать на остров Суматру и поселиться там, то раздобудешь сначала историю острова, внимательно прочитаешь ее, возьмешь карту, изучишь географию, климат Суматры. Если ты вынужден жить при режиме, который грозится создать коммунизм, то разумней всего познакомиться с главными принципами коммунистической тактики. Есть книжка, «История ВКП(б)» (Москва, Издательство иностранной литературы), которая с подозрительной откровенностью объясняет, чего хотят коммунисты. Удивительно, как мало людей в Будапеште прочли эту книгу; а ведь продавали ее совсем недорого: помнится, всего за 3 форинта. Написана она для простых людей, ясно, доходчиво. Вроде учебника агрономии для крестьян.

Книга эта точно указывает, когда следует покончить с крупным капиталом и вообще с частной собственностью, затем — со школами, с кулаками и с теми, кто прячет свое несогласие под религиозными убеждениями. Потом — как и когда избавиться от так называемых «попутчиков». Коммунистическая тактика учит, что тех, кто не является коммунистом, но с какой-нибудь стороны полезен режиму, нужно скомпрометировать, то есть, пользуясь соблазном и посулами, швырнуть им хорошую должность, парочку наград, а потом использовать, пока

---

[1] Венгерское название города Кошице.

[2] Фельвидек (Верхний Край) — венгерское название Словакии.

[3] Венгерское название Трансильвании.

[4] Дельвидек (Южный Край) — южные области Венгрии, отошедшие после 1945 г. к Румынии и Югославии.

в них есть необходимость. Или их нужно запугать, покорить, присоединить к стаду послушных, услужливых мамелюков, беспрекословно подчиняющихся властям. («Мамелюк» — слово турецкое, его значение: купленный слуга.) Если же человек заартачится, он будет обречен на общественную смерть, на жалкое существование. Или вынужден будет стать добровольным изгнанником. А если его не удалось ни купить, ни припугнуть, ни поставить вне общества, ни вытолкнуть в эмиграцию — что ж, его остается уничтожить физически. Такова инструкция.

7 декабря

Спектакль в Опере в честь Тито. В зале — яблоку негде упасть. Впервые вижу живьем элиту демократии. В одной из гостевых лож виднеется страстное, восторженное, слегка сумасшедшее лицо, слышится взволнованный смех: это коммунист Райк [1], министр внутренних дел. В директорской ложе — президент Тилди с женой, они растерянно улыбаются. Между ними — Тито, загадочный и всесильный балканский вождь. Он похож на Геринга: толстый, ласковый, со светскими манерами. В этой ложе сиживал Франц Иосиф, позже — Хорти, а теперь вот она принимает Тито... Много может увидеть любитель оперы, если долго будет ходить на спектакли.

19 февраля 1948 г.

Из Москвы вернулась делегация венгерских политиков, они восторженно рассказывают о тамошней гостинице «Москва», о том, какие комфортабельные там номера. И каждый упоминает, как приятно был удивлен, обнаружив в номере рояль. Этот рояль в гостиничном номере — типичная восточная роскошь. Представляю, как Ракоши [2], перед тем как лечь спать, мечтательно пробегает пальцами по клавишам и берет несколько аккордов «Лунной сонаты»...

1 мая

Город залит красным соусом. Над подъездами домов — портреты Маркса, Ленина, Сталина, Танчича [3], Кошута [4], Петёфи [5], Герё [6], Райка и Ракоши. Придя в больницу, вижу, что все ушли на праздничную демонстрацию, даже врачи. Спрашиваю: а что, больные тоже обязаны участвовать во всенародном ликовании? Нет, нет, успокаивают меня. А жаль; то-то было бы зрелище: толпа восторженных калек марширует перед трибунами, размахивая листками анализов с количеством красных кровяных телец...

21 мая

Зазвонил телефон, и в трубке защебетал голос Гизи Байор [7]. Она проворковала, прочирикала, пропела, прошептала самые свежие сплетни и пригласила к себе на обед. Да, они уже сняли квартиру, а Тибор, муж, наконец получил клинику, теперь у него звание университетского ординарного профессора.

За обедом прислуживал камердинер в белом сюртуке; к лапше с творогом подано было французское шампанское. Муж — молчаливый, внушающий симпатию человек, с аристократической внешностью, прекрасный врач,— прервав обед, уехал в клинику, чтобы удалить миндалины какому-то ребенку. «Тибор сейчас на верху блаженства,— доверительно сказала актриса, когда муж ушел.— Наконец-то он достиг всего, чего хотел». Вернувшись, Тибор налил палинки в рюмки, потом лишь улыбался и молчал. Гизи изображала образцовую хозяйку. В то же время она оставалась образцовой актрисой и держалась так, словно осваивала новое амплуа: вчера она была любимицей консервативной публики, а теперь появились новые господа, коммунисты, и она играет для них. Муж ее молчал, но молчал с таким видом, будто и сам был гостем в этой наспех

---

[1] Ласло Райк (1909—1949) — венгерский политический деятель; один из тех, кто возглавлял страну после прихода к власти коммунистов. В 1949 г. был незаконно репрессирован и казнен.

[2] Матяш Ракоши (1892—1971) — в 1945—1956 гг. глава партии венгерских коммунистов, в течение ряда лет премьер-министр Венгрии.

[3] Михай Танчич (1799—1884) — венгерский общественный деятель, публицист; по убеждениям — революционный демократ.

[4] Лайош Кошут (1802—1894) — венгерский политический деятель; один из лидеров буржуазно-демократической революции и национально-освободительной войны 1848—1849 гг.

[5] Шандор Петёфи (1823—1849) — венгерский поэт и общественный деятель, лидер революционно настроенной интеллигенции во время событий 1848—1849 гг.

[6] Эрнё Герё (1898—1980) — венгерский политический деятель, сподвижник Ракоши.

[7] Гизи Байор (1893—1951) — выдающаяся венгерская актриса.

обставленной роскошной квартире. И в какой-то момент этот вежливый, улыбчивый, сдержанный человек вдруг посмотрел мне в глаза, и во взгляде его был тревожный, беспомощный, почти отчаянный вопрос. Этот блеснувший взгляд я с тех пор не могу забыть. Тибор словно хотел сообщить мне что-то... или закричать; но в следующую минуту он отвернулся и заговорил о чем-то другом.

Спустя несколько лет Тибор отравил Гизи; она умерла сразу. Потом покончил с собой; правда, не совсем удачно: несколько часов он еще жил. К счастью для него, на рассвете он тоже умер. Видимо, Гизи ошибалась, говоря, что Тибор счастлив...

Это было время, когда я понял: нужно немедленно уезжать из этой страны. Не только потому, что здесь не дают писать свободно, но прежде всего и главным образом потому, что не дают свободно молчать.

Приходит момент, когда ты должен однозначно сказать «нет». Когда должен покинуть зараженную территорию. Сократ говорит в «Критоне» (томик этот оказался среди уцелевших книг; я взял его с полки и перелистал): любой гражданин имеет право покинуть родину, если не хочет участвовать в действиях, которые он считает несовместимыми с ее, родины, интересами. Бабич был не первым и не последним, когда прохрипел через силу: «Среди преступников сообщник, кто молчит» [1].

Что меня ждет, если я останусь? В святилище Партии будут решать, выделять ли бумагу для издания моих книг. Время от времени меня будут отпускать за границу (при соответствующей гарантии, что я вернусь), где я за казенный счет стану участвовать в литературных встречах, своим присутствием подтверждая, что и в Венгрии есть свобода духа: ведь вот я, некоммунист, печатаюсь, выступаю... Партия предоставит мне сносное жилье в квартире какого-нибудь изгнанного буржуа. И за все это с меня не потребуется совсем-совсем ничего; ну, разве что иногда, по заказу, по команде, пинать приговоренных к смерти людей, причем не только «контрреволюционеров», но и коммунистов, которые уже не нужны, которых пора убрать с дороги, как, например, убран был Райк. (И находились писатели, которые пинали.) Или призывать венгерских рабочих, чтобы они, когда уж совсем невтерпеж от социалистического соревнования, шли к бронзовому монументу Сталина: там, подняв глаза на Учителя Народов, они сразу поймут, в чем цель и смысл каторжного труда. (И ведь были, кто призывал.) Или выражать одобрение, когда венгерских интеллигентов вместе с семьями выгоняют из дому, выселяют в деревню, в сараи,— и еще доказывать, что «с идеологической точки зрения» именно так и следует поступать?.. (Многие и одобряли, и доказывали.) Или, под номером тридцать четыре, фигурировать в юбилейном издании, где тридцать три венгерских прозаика и поэта возносят осанну Миклошу Ракоши в связи с его шестидесятилетием? (Издание появилось спустя четыре года, в 1952-м.) Эти уэльские барды [2] наизнанку, посвятившие книгу «любимому вождю венгерского народа», семь лет наблюдали в непосредственной близости его деятельность. Когда вышла эта книга, уже был казнен Райк, крестьян после раздела земли уже загнали кнутом в колхозы, уже добрались домой из Советского Союза свидетели, рассказавшие, что стало с Белой Куном и его товарищами, что стало с миллионами людей, еще до второй мировой войны сгинувших в братских могилах после сталинских чисток. Когда вышла эта книга, в Венгрии уже не было свободной прессы, книгоиздательства, театра.

Какой «дом» обрету я такой ценой? Есть ли в мире что-либо — «родина», «народ», «нация»,— ради чего стоило бы отказаться от свободы? И что такое свобода? Бабич заявлял гневно: «Свобода! — всюду говорят, а видишь виселицы в ряд». Монтескье (томик — вон он, на верхней полке, третий справа) говорил: «Стремление к свободе — глубочайший смысл человеческой истории». И еще: «Пускай тираны хотят **добра** людям: если добро это не нужно народу, если народ не выбирает его по своей воле,- то старания их тщетны». Роже Мартен дю Гар писал: «Нельзя ненавидеть, но можно уйти». Вот уже несколько дней в голове у меня звучат слова Каринти: «Лучше пускай меня жрут черви, а я червей не желаю жрать» [3]. Для меня это был момент, когда я утвердился в мысли, что

---

[1] Михай Бабич (1883—1941) — венгерский поэт. Цитируемая строка взята из поэмы «Книга Ионы» (1940). Бабич умер от рака горла; последние месяцы перед смертью он почти не мог говорить, отсюда — «прохрипел через силу».

[2] Автор имеет в виду балладу венгерского поэта Яноша Араня (1817—1882) «Уэльские барды» (1857), написанную вскоре после разгрома революции и национально-освободительной войны в Венгрии. Пятьсот бардов добровольно пошли на костер, отказавшись славословить английского короля Эдуарда, покорившего Уэльс.

[3] Фридеш Каринти (1887—1938) — венгерский писатель. Строчки взяты из его стихотворения «Struggle for Life» («Воля к жизни»).

должен покинуть Венгрию. Покинуть без всяких условий и компромиссов, без надежды на возвращение.

2 августа

В один из последних вечеров я устроил нечто вроде прощального ужина. Мы с моим старым другом Микшей, торговцем искусственными цветами, сидели в какой-то пивной в Обуде. Микша был единственный человек в Будапеште, кому я полностью доверял. Сейчас, когда мы прощались, я попросил его прикинуть, много ли я стою — в надгробных венках и букетах. Это была его специальность: точно устанавливать, сколько должны стоить похороны известных людей, писателей, журналистов. У его сестры была цветочная лавка на площади Сервита, Микша же искал ей клиентов, чтобы поддержать коммерцию. Мою просьбу он понял сразу; заказав вино с содовой, он закурил сигару и надолго задумался. «Сначала — семья,— сказал он.— Стало быть, один венок... Розы, шелковая лента, золоченая надпись. Это точно.— Потом добавил: — Союз писателей... Там у тебя еще осталось несколько старых приятелей. Но о шелковой ленте нечего и говорить. Разве что о муаровой, с серебряной надписью.— Он опять помолчал.— Женщины...— Тут он пожал плечами.— Читательницы... Но про камелии не думай. Только букет и просто цветы, россыпью... Это — все,— сказал он строгим тоном специалиста.— Как ни смотри, здесь умирать тебе никакого смысла».— И выпил вино.

Утром я пошел погулять по городу; никаких особых дел у меня не было, я рассеянно брел из улицы в улицу, вокруг не было ничего, что могло бы меня удивить, задержать внимание,— просто где-нибудь на углу, перед какими-нибудь воротами мне — как бы между прочим, но с убийственной четкостью — приходило в голову: «Эту улицу я больше не увижу». И я шагал дальше. Встретил знакомого, которого давно не видел; обмениваясь рукопожатием с ним, я думал: «Как интересно: сейчас я в последний раз его вижу, в последний раз мы жмем руки друг другу». Я не чувствовал никакой особой печали. Лола пообещала заехать за мной, и я был рад этому: ее обещаниям можно верить. В женщину мы влюбляемся дважды: в первый раз, когда с ней знакомимся, и потом, во второй раз — после серебряной свадьбы.

24 августа

Экспресс «Арльберг» отправился из Будапешта вскоре после полудня, а к полуночи достиг границы. В купе вошел русский солдат, попросил паспорта. Посмотрев на печати, вернул документы и равнодушно закрыл дверь. Мы поехали, все дальше углубляясь в мир, где никто нас не ждал. В эти минуты — впервые в жизни — мне действительно стало страшно. Я понял, что свободен. И — оробел...

Неаполь, 1 ноября

На станцию Маргеллина поезд приходит в полночь. Мраморные своды вокзала искрятся в свете дуговых ламп. Автомобиль бежит по серпантину, залитому лунным светом, поднимается на Позиллипо. Жилье, которое мне приготовлено, лежит высоко. Терраса выходит на море, другой стороной — в сад, под луной испещренный черно-белыми контрастными пятнами. Из сада доносится аромат ванили; там растут пальмы, лавр, виноград...

25 декабря

Сады Неаполя к Рождеству наполняются темно-фиолетовыми цветами.

18 января 1949 г.

Полдень. Сижу без пальто на каменном парапете над заливом. В южной жизни есть какая-то скрытая в глубине медлительность. Не лень, а замедленный ритм. На улице продают мимозу в больших корзинах.

10 мая

Утром иду на берег, окаймленный тенистыми елями, и купаюсь в море. Впервые за последние десять лет. Вода — холодная, жесткая, очень знакомая, умная...

20 ноября

На адрес одного моего друга почта доставила полную коллекцию моих книг, увидевших когда-либо свет. Теперь они перемолоты коммунистической бумаго-

дробилкой. Судя по квитанции, до сих пор я написал тринадцать с половиной килограммов: таков общий вес моих книг.

Эта цифра заставляет меня задуматься. В будущем надо быть осмотрительней. Я бы хотел написать еще граммов сто пятьдесят или двести; все остальное — лишнее.

11 апреля 1950 г.

Сегодня мне стукнуло пятьдесят. За последние несколько лет я потерял работу и дом; исчез общественный слой, для которого я писал; потом я утратил отечество, родной язык, себя как юридическую личность. У меня нет ничего. Теперь я понимаю, что чувствовал Франциск Ассизский [1], когда лежал нагой на мерзлой земле.

Смотрите, братие, очеми, что мы есть.
Мы — прах и немощь есть [2].
Разлезлась память, вся в прорехах, дырках.
Труп бородой оброс, на пальце — номер-бирка...
Былое — залежи старья, обломки, черепки,
Там — остров Маргит, тополя, аллея у реки.
«Росинка», «сердце», «мотылек» — все, было все другим,
Когда поэт слагал стихи любимым, дорогим,
Когда он был понятен всем — так в мирном, тихом сне
Ребенку нянькины слова понятны в тишине...
Теперь стук сердца — тайный зов к тому, кто вдалеке.
Читаешь «Толди» [3] малышу, он говорит: о'кей.
Бормочет по-испански поп над свежею могилой:
«Господь, грехи нам отпусти, спаси нас и помилуй!»
Огайо: дрогнет в руднике усталая рука —
И знак надстрочный унесет с фамилии кирка.
В накате волн Тирренских мне стих Бабича звучит,
И арфой Круди [4] мне звенит Австралия в ночи.
Они, как тень отца, меня зовут сто раз на дню,
А тело помнит прошлое, как дальнюю родню.
Порой еще вскричишь: «Абсурд! Не столь священна воля...»
Но знаешь: не абсурд! И вновь, смирясь с душевной болью,
Долбишь в Тюрингии руду. Нет писем. И не будет.
Нет адреса у каторги, умерших не разбудишь...
У консула тоска в глазах; жуя резинку тщательно,
Глядит он на постылые документы с печатями.
Машина, тыща в месяц... Он, конечно, рвется ради
Жены, дочурки... Что ему, простите, Эндре Ади?
Что этот весь народ ему? Тысячелетний опыт?
Что краски Рипля [5]? Бартока [6] неукротимый ропот?
«Возможно ль, чтоб сердца людей...» Возможно. Брось
терзанья.
Державы пусть друг другу шлют длиннейшие посланья.
Ты ж слушай и молчи. И знай: рожден уже шакал,
Чтоб в жаркой Африке твою могилу раскопал.
И кактус в Мексике пророс, чтоб заслонить собой
Крест с именем твоим и надписью скупой.
Ты веришь: в памяти народа много-много лет
Ты будешь жить? Забудь скорее этот бред!
Еще ты слышишь хриплый вопль: «Брат брата предает...»
И шепот слабый: «Кто молчит, тот больше проживет...»
И стон: «Вы, кто вдали, в тепле, жалеет нас сейчас...»
И снова хрип: «Не дай вам Бог возненавидеть нас».
Вот так. Keep smiling [7]. Никого не спрашивай: за что?

---

[1] Франциск Ассизский (1181 или 1182—1226) — один из канонизированных столпов христианской церкви. Проповедовал бедность, призывал церковь отказаться от всякой собственности.

[2] Начало древнейшего из сохранившихся памятников венгерской письменности — «Надгробной речи».

[3] Поэтический эпос Яноша Араня.

[4] Дюла Круди (1878—1933) — венгерский писатель.

[5] Йожеф Рипль-Ронаи (1861—1927) — венгерский живописец.

[6] Бела Барток (1881—1945) — всемирно известный венгерский композитор.

[7] Всегда улыбайся *(англ.)*.

Иль: «Чем я хуже, чем они?» Ты — венгр, и это — все.
Эстонец, венгр, латыш, румын... Страдай, молчи, плати.
Исчезнем, как ацтеки? Что ж, так и должно идти.
Засыплет атомная пыль дороги, города,
И кости наши будут в ней укрыты навсегда.
Терпи: ты там — не человек, а классовый чужак.
Терпи: ты здесь — не человек, а номер, просто так...
Терпи: ведь терпит это Бог, и в грозном поднебесье
Не шлет он серу и огонь, чтоб сжечь поля и веси.
Терпи, не плачь, когда палач язык тебе кромсает,
В гробу благодари судьбу, что в яму не бросают.
Терпи, коль зубы станет босс считать тебе во рту.
Храни, дрожа, последний грош, последнюю мечту,
Пучок последних бледных рифм и горсточку реликвий:
Седую прядь, стихов тетрадь, друзей ушедших лики,—
И это — все... Ах да, еще припомнишь ты легко
Каштаны, все до одного, на улице Мико
И то, что Ене не вернул тебе твой томик Шелли;
Его с тех пор уже давно, пожалуй, мыши съели...
Тускнеет взгляд, коснеет мозг. Где счастья хмель? Бог
весть.

Смотрите, братие, очеми, что мы есть,
Мы — прах и немощь есть.

12 ноября 1951

Неаполь, кафе на пьяцца Данте. К моему столику подсаживается пожилая проститутка. Попросив огонька, интересуется: «Американо?.. Инглезе?.. Франчезе?..» Я мотаю головой: дескать, ни то, ни другое, ни третье. Она с довольным видом, словно разобравшись наконец, что я собой представляю, констатирует: «Аллора интернацьонале...» Я киваю в знак согласия. Действительно, по бумагам я — человек без родины, человек интернациональный. Если придется покинуть этот континент, Европы мне будет очень не хватать. Но Европы мне не хватает и здесь, в Европе. Поскольку нельзя жить там, где я хочу, приходится довольствоваться всем миром.

Нью-Йорк, 26 апреля 1952 г.

«Конститьюшен» входит в манхэттенскую гавань строго по расписанию, в девять утра. Вдали, в апрельской дымке, возникают, словно плавая в воздухе, небоскребы. Удивительное, волшебное зрелище; ничего красивее я в жизни не видел. Залитые золотым светом, небоскребы покачиваются в мягком, серовато-синем воздухе. Нью-Йорк в эти минуты чем-то напоминает Венецию. Правда, Венецию атомной эры, а вовсе не сеттеченто [1].

Новый дом, где мы сняли трехкомнатную, с холлом, квартиру, стоит на берегу Гудзона. Дом набит современными американскими штучками, которых хватило бы еще на одну серию сказок «Тысячи и одной ночи». Чудеса эти отапливают и охлаждают дом; механические и электрические големы, невидимые и надежные, днем и ночью обслуживают жильцов. У нас есть электроутюг, электробритва, электромиксер, электрические часы, электрический вентилятор, несколько радиоприемников и телевизоров. Если найду по сходной цене, куплю себе заодно уж и электрический стул.

Рождественская ночь

Еще годом больше?.. Нет, еще годом меньше.

25 февраля 1956 г.

В России что-то началось. Может быть, пролог революции, а может быть, ее эпилог. Разоблачают Сталина — банда рвет на куски главного бандита. Большевики взялись доказывать миру, что неверны были **методы** коммунизма: террор, империалистические амбиции, милитаризм, бюрократия.

23 октября

Божьи мельницы мелют быстро [2].

7 ноября

Восемь часов полета, и вот над океаном, над облаками — взрыв света.

---

[1] Шестнадцатый век.

[2] 23 октября 1956 г. в Венгрии началось восстание народа против коммунистического режима.

Самолет перенес нас из западного в восточное полушарие. Мир сияет ослепительно. Садимся в Шотландии, через полчаса — дальше. Шестнадцать часов полета, и мы приземляемся в Мюнхене. На улицах приспущенные красно-бело-зеленые флаги, траур по Венгрии, демонстранты.

10 ноября

Разговариваю с беженцами. Один всего несколько дней назад видел в Будапеште моего брата. Другой говорит: «Знаете, теперь уже поздно. Но было несколько дней... во главе страны стояло такое правительство, которое признавал и поддерживал весь венгерский народ...» Люди говорят, говорят, перебивая друг друга. Они словно приходят в себя после ночного кошмара. Среди них кто-то всего двадцать четыре часа тому назад еще находился на венгерской земле. Кое-кто собирается возвратиться. «Русские по ночам боятся вылезать из танков, так что ночью перейти границу — пара пустяков.— И снова, без паузы: — Было десять дней, когда нас с Западом не разделяла граница, исчез железный занавес... Любой мог, если хотел, идти и туда, и обратно...»

Кто-то, долговязый, приехавший три дня назад, говорит спокойно: «Если бы между двадцать третьим октября и вторым ноября в Будапешт приехал генеральный секретарь ООН с комиссией, русские не посмели бы четвертого ноября устроить бойню... Когда там находились наблюдатели всемирной организации...» С ним многие соглашаются. «Теперь, если и захотят, уже поздно,— говорит какой-то старик.— Да их теперь и не пустят».

Неаполь, 15 ноября

Сирокко. На улицах — автомашины с громкоговорителями, толпы людей. Все кричат: «Унгерия, Унгерия!» Этот крик отдается эхом у подножия Везувия, в гавани. В соборе на виа Бриджида — масса народу. Священник, воздев к небесам руки, восклицает: «Унгерия!» И: «...мортификацьоне...» Все опускают головы, многие прячут лицо в ладонях.

Один итальянский дипломат говорит: «Венгрии нужен сейчас такой государственный деятель, который умеет торговаться. Не Гарибальди, а Кавур [1]».

Мюнхен, 22 ноября

Прилетаем в снегопад, при посадке колеса скользят по мокрому снегу. Один из беженцев — он врач, еврей, был в трудовом лагере, прибыл сюда три дня назад — рассказывает: «В те дни, после двадцать третьего октября, в Венгрии не было антисемитизма. Не было классов, религий. Все были едины. Ради этого стоит жить. Я еврей, мне много скверного пришлось пережить. Но в эти дни я впервые почувствовал гордость за то, что я венгр».

Другой беженец: «Неправда, что западные радиостанции подстрекали к восстанию. Неправда, что обещали оружие или вооруженную помощь,— помолчав, он продолжает, тщательно выбирая слова: — Но это правда, что все западные радиостанции, газеты, государственные деятели — все нас много лет уверяли, что существует западная солидарность.— Он опять умолкает. Потом тихо, спокойно говорит: — «Знаете... мы, венгры, хотим теперь жить в душевном нейтралитете».

Нью-Йорк. 4 декабря

Жарко. Над Гудзоном — горячий туман. Гуляя, я вдруг слышу голос беженца-инженера. Слышу, как он говорит: «Знаете... мы, венгры, хотим теперь жить в душевном нейтралитете».

Сижу на скамейке в Центральном парке.
Вокруг Нью-Йорк, а не остров Маргит.
Здесь все красиво: земля и небо;
Но странен вкус у здешнего хлеба.
Красивы дома, дорожки из гравия...
Как теперь называют улицу Кароя?
В декабре — такой недекабрьский зной.
Святой Иштван, где я? Что со мной?...

1 января 1959 г.

Вопрос не в том, что принесет завтрашний день. Настоящий вопрос: что принесет день вчерашний?

---

[1] Джузеппе Гарибальди (1807—1882) — итальянский революционер, один из лидеров борьбы за независимость Италии. Камилло Бенсо Кавур (1810—1861) — итальянский государственный деятель, дипломат, много сделавший для объединения Италии.

1 января 1961 г.

Утром, проснувшись, испытываю приятное удивление: смотри-ка, жив еще!

26 февраля 1964 г.

Густой баритон по радио исполняет венгерские песни. Музыкальный фольклор на экспорт чаще всего на чужбине пробуждает у слушателя одно отвращение. Но к словам стоит иногда прислушаться. Например, баритон поет: «Коли ручку ты поранишь, кто мне хлебушек спечет?..» Слушаешь — слова вроде бы нежные, даже сентиментальные. Но вдумаешься — и что выходит? О чем беспокоится тип, который поет? Не о том, что будет с женщиной, поранившей ручку,— вдруг она получит заражение крови,— а о том, что он, баритон, будет лопать, если женщина не сможет испечь ему хлеба.

10 марта 1968 г.

Тетрадь Лолы с кулинарными рецептами. Она начала собирать их лет сорок назад. Тетрадь с потрепанной обложкой исписана вся, с первой до последней страницы. Почерки разные: Лолы, ее матери, моей матушки, подруг Лолы. Читаешь — и чувствуешь себя как-то странно, тревожно. Под иными рецептами имя автора. Вот совет Вильмы: как печь коржики. (Позже Вильму саму *испекли в Освенциме*). «Быстрые рецепты» матушки — матушка всегда была практичная женщина. «Дешевое печенье», рецепт тети Розы — тетя Роза жила в бедности. В рецептах этих — опыт и мудрость нескольких поколений. Супы, мясо, рыба, мучные блюда... и во всем — кухонный аромат некоей целостной культуры, что-то очень сильное, прочное, сама Действительность, стоящая над идеями, мнениями, поветриями. Для печенья нужны яйца, мука, миндаль; затем нужна кухня, чтобы печенье испечь; к кухне требуется квартира, в которой живет семья, еще требуется прислуга, челядь: без прислуги нет семьи [1]. К говяжьему языку нужен родной язык... К оковалку полагается не только гороховое пюре, но еще и эпитет, способный выразить, почему блюдо вкусно или невкусно... Увлекательное чтиво!

12 сентября 1969 г.

В одном из писем привычные вздохи: «Какое несчастье, что ты — венгерский писатель! Вот если бы ты писал по-английски или по-французски!..» Да нет же, не несчастье это! В известном смысле трагично, пожалуй, что мне не дано жить дома и писать по-венгерски для венгерских читателей. Это, может быть, в самом деле несчастье. Но писать на таинственном, одиноком языке маленькой нации — это и великая возможность для писателей. Ведь любого из них, на каком бы он языке ни писал, читает всегда одна и та же немногочисленная группа людей, считающих, что они думают так же, как он. На английском языке говорят пятьсот миллионов человек; но есть и было очень много прекрасных английских писателей, чье творчество этим пятистам миллионам почти совершенно неведомо. Писать на языке, которым владеет небольшой, одинокий народ,— не несчастье, пока есть хотя бы несколько человек, этот язык понимающих; скорее наоборот: мощный стимул.

Та встреча произошла в Луксоре, в 1925 году, в восемь вечера. Был последний день Рамадана. Я шел по сумеречной улице, мимо садов, откуда лился экзотический, тревожный аромат африканских цветов, наполняя собой эту улицу, вовсе не ароматную и не романтическую. Я шагал не спеша; вокруг быстро темнело. Передо мной шел, опираясь на палку, араб в белой одежде; вдруг он остановился, дождался, пока я с ним поравняюсь, и тихо, медленно проговорил:

— Дай вам Бог добрый вечер, господин хороший!

Произнес он это неторопливо и с таким чистым, сочным трансильванским выговором, как и я бы произнести не смог. Лицо у него было арабское, и одет он был по-арабски: в длинный белый балахон и большой тюрбан. Я остановился, решив поначалу, что просто ослышался.

— Вы — венгр?

И снова неторопливая, округлая венгерская речь:

— Нет, барин. Арабы мы.

Сказал он это «арабы мы» так неповторимо по-венгерски — здесь, в тысячах и тысячах миль от Венгрии, на берегу Нила, напротив Долины Смерти и гробницы Тутанхамона, в сердце Африки, в непостижимой дали от всего, что есть Венгрия и венгерский язык,— и в то же время так просто, словно в мире нет

---

[1] По-венгерски «család» — семья, «cseléd» (то же славянское слово в другой огласовке) — челядь.

ничего естественней, что он, араб, обращается ко мне в Луксоре, на темной улице, по-венгерски. Сначала я поражен был лишь тем, что слышу венгерскую речь. И лишь в следующий момент сообразил: куда невероятнее то, что обратился он именно ко мне. В Луксоре я был впервые, приехал лишь в это утро, в отеле еще не записал свое имя, ни с кем не беседовал... Словом, не было ни единого признака или следа, по которому этот араб узнал бы о моей венгерской национальности.

— Откуда вы знаете, что я венгр?

И я услышал ответ, который, пока живу на земле, не забуду:

— По цвету кожи, барин. И по форме лба. По коже да по лбу я венгров узнаю сразу.

Вот так меня разоблачили в двух шагах от Нила и от усыпальниц фараонов XVIII династии, близ границы с Суданом. Пускай я покупал костюм в Париже, шляпу — в Лондоне, обувь — в Вене; по мне и слепой видит, что я венгр.

— По цвету кожи?

— Точно, барин. Бывали здесь англичане, французы, немцы, но венгра я сразу могу узнать, потому как цвет кожи другой.

Тихо, темно. Мы едва видим друг друга.

— Какой же именно? Темнее? Или светлее?

Я чувствую, что волнуюсь; мне кажется, разговор наш имеет какой-то смысл.

— Не темнее и не светлее. Просто — другой.

Лоб у меня вспотел. Я вытираю его платком.

— Как вас зовут?

— Ахмед Руми.

— Откуда вы знаете венгерский?

— Жил я в Венгрии, барин. Еще до войны. Пять лет служил у графа Шаму Телеки.

Он вздыхает:

— Так охота опять в Венгрию, барин!

— Почему?

— Потому что,— задумывается он,— хорошо там жить. Так же, как в Африке.

— Аминь,— говорю я.

11 апреля 1970 г.

Почта приносит несколько писем в связи с моим семидесятилетием: скорее это выражения соболезнования, чем поздравления.

15 июня 1972 г.

Умер Анри де Монтерлан [1]. В старости он очень боялся, что ослепнет и станет совсем беспомощным. Поэтому покончил с собой. Убил себя, как тореадор закалывает быка. Он не раз писал, что в Древнем Риме самоубийство не считалось проявлением малодушия.

Самоубийство воспринималось как достойное завершение зашедшей в тупик жизни; но технически осуществить его было нелегко. Яд — средство ненадежное. Высоких зданий, откуда кандидат в самоубийцы мог бы броситься вниз, не строилось. Огнестрельное оружие еще не изобрели. У Плутарха [2] читаем: Катон Младший [3], поняв, что избежать позора он может лишь с помощью самоубийства, потребовал у домашних, чтобы на ночь ему оставили меч, и, заполучив его наконец, сделал себе харакири. Но умер не сразу; слуга, увидев хозяина с вывалившимися наружу кишками, послал за врачом, и Катон в ярости начал рвать себе внутренности руками. Только так ему удалось убить себя.

Времена меняются; нынче все куда проще. Хемингуэй покончил с собой легко и быстро. Монтерлан тоже застрелился, вставив дуло в рот и направив его вверх: считается, что такой способ — самый верный....

Вена, 6 декабря 1973 г.

Прустовская прогулка по следам потерянного времени. Минуло тридцать пять лет; странник-венгр вечером, в снегопад, вновь приезжает в Вену. Наскоро ополоснувшись в отеле, он спешит на улицу, идет в ресторан и заказывает себе поджарку, гуляш, нашпигованную салом заячью спинку с галушками и брусникой, затем коврижку, рогалик и настоящее пиво... Кёльчеи [4] мудро сказал: нация живет в языке.

---

[1] Анри де Монтерлан (1896—1972) — французский писатель.

[2] Плутарх (ок. 46 — ок. 127) — древнегреческий писатель и историк.

[3] Марк Порций Катон Младший (95—46 до н. э.) — политический деятель Древнего Рима. Противник Цезаря. Покончил с собой после одной из крупных побед Цезаря.

[4] Ференц Кёльчеи (1790—1838) — венгерский поэт.

Ну и, конечно, кафе! Четверть века скитаний, и вот — снова кафе! После душных и тесных нью-йоркских кафетериев, после итальянских кофеен, шумных эспрессо с гуляющими сквозняками — настоящее кафе! По стенам, в рамках, газеты. После полуночи подают сосиски и стакан — ein echter! [1] — вина. Здесь можно часами сидеть за одной чашкой кофе. Для любого писателя в Центральной Европе кафе — настоящий дом, единственное прибежище, где, по словам Альфреда Полгара, находят приют люди, чье мировоззрение сводится к очень простому тезису: нет никакого смысла предпринимать усилия, чтобы посмотреть мир.

Венгерская граница отсюда — камень добросишь, и венгерские эмигранты, давно не видевшие родины, но не желающие ехать в Будапешт, организуют сентиментальные экскурсии — группами ездят к границе, «откуда виден кусочек Венгрии». Портье в отеле предлагает и мне совершить такую прогулку. Но у меня для этого — ни желания, ни энергии. И вообще: разве оттуда увидишь Венгрию? Видишь приграничную территорию со сторожевыми вышками и минной полосой. За минувшие четверть века редко случался день, когда я не думал о Венгрии; думал я о ней всегда с чувством солидарности и ответственности. Но теперь Венгрия для меня — скоре стихи Араня, чем отгороженная колючей проволокой полоса за окном автобуса.

Май 1975 г.

В Канаде вышла на венгерском языке моя новая книжка, «Земля, земля». Шесть экземпляров ее я отправил по почте в Будапешт знакомым; отправил заказными бандеролями, в незапечатанных конвертах. Все шесть вернулись обратной почтой: штамп «Retour» [2], рядом надпись: «Non admis. Conv. de Tokyo [3]. 29.1.9.»

Спустя двадцать шесть лет после захвата власти коммунистами страна, охраняемая вооруженными до зубов воинскими формированиями, все еще боится книг.

11 апреля 1980 г.

В семьдесят еще можно прыгать, в восемьдесят — сиди и не суетись.

8 июля

Сан-Диего. Дом, где мы теперь будем жить, стоит по соседству с дивным парком. Прямо под окном — удивительные растения, бурно разросшиеся кустарники, питаемые испарениями Тихого океана. Белки и голуби — почти ручные, они ничуть не боятся, когда к ним подходишь Они словно верят, что демократия их защитит. Оптимисты.

17 февраля 1986 г.

Дорогой Тамаш!

Спасибо за письмо с соболезнованиями.

Долгая болезнь Лолы в апреле прошлого года усугубилась головокружениями, короткими обмороками. В октябре ее положили в больницу, там определили: рак.

Умерла она 4 января, в 1.45 дня. Я держал ее руку, на другой руке сиделка измеряла давление. Лицо казалось удивительно спокойным, на нем не было и следа страданий. Она не хрипела, не задыхалась, не дергалась в судорогах: она в буквальном смысле слова «испустила дух».

Как она и просила, ее кремировали, а прах рассеяли над океаном. Я написал в завещании, чтобы так же поступили с моим телом. Пустоту, что осталась после ухода Лолы, нельзя заполнить ничем, даже работой.

Постскриптум. В некрологе, который ты так любезно прислал мне, допущена ошибка: моя настоящая фамилия не Goldschmied, как написал автор, а — Grossschmid. Предки мои по отцу в XIV веке служили на монетном дворе саксонского курфюрста в качестве Groschen-Schmied'ов, то есть чеканщиков грошен, металлических денег. После ухода турок они, как и многие саксы из Спиша, перебрались в Венгрию, где нашли работу в марамарошских казенных рудниках. Вот откуда происходит моя фамилия. Все это, конечно, значения не имеет, сообщаю лишь порядка ради.

Дружески обнимаю,
твой старый Шандор.

---

[1] *Здесь:* самого что ни на есть настоящего *(нем.)*.
[2] Возврат *(франц.)*.
[3] Не принято (адресатом). Токийская конвенция *(франц.)*.

Сан-Диего, 31 января 1987 г.

Уважаемый господин!

Что касается Вашего любезного предложения относительно переиздания в Будапеште некоторых моих книг, с сожалением вынужден сообщить: на переиздание или иное использование моих давних и новых книг, пьес и т. д. я соглашусь лишь в том случае, когда оккупационные советские войска будут выведены с территории Венгрии и венгерский народ путем свободных демократических выборов, в присутствии беспристрастных иностранных наблюдателей примет решение, как ему жить дальше, каким путем идти. До тех пор я не дам согласия, чтобы мои произведения издавались в Венгрии.

17 марта

Не вино было хорошим, а застолье.

11 апреля 1987 г.

Восемьдесят семь лет! Автор одного письма кроет старость на чем свет стоит. Одно могу сказать: «Не ругайте старость! Придет время, захочешь вернуть свои слова назад, да будет поздно».

11 апреля 1988 г.

Восемьдесят восемь! Уходя, приличествует благодарить хозяев за гостеприимство; за все, что в этом столетии, «несмотря ни на что», было удивительным и неповторимым. Среди общего плача и жалоб воздать благодарность за то, что испытало и пережило «дитя века», то есть я. Поблагодарить за то, что Земля стала светлее и меньше, что людям, даже живущим на разных континентах, чтобы поговорить, требуются всего лишь секунды, что жизнь стала дольше и люди наконец получили возможность взглянуть в лицо тьме, имя которой — Универсум.

Я, нижеподписавшийся, Мараи Шандор (род. 11 апреля 1900 г. в городе Кашша), гражданин Соединенных Штатов Америки, в полном уме и телесном здравии сообщаю:

1. Состоящую в моем владении квартиру (одна комната с холлом, ванной и балконом), находящуюся по адресу: Будапешт, 1 р-н, ул. Зарда, 28 (теперь: ул. Флориша Ромера, 28) и записанную в кадастровой книге на мое имя, а также принадлежащую мне, в соответствии с кадастровой книгой, часть земельного участка при многоквартирном доме по адресу: Будапешт, 1 р-н, ул. Мико, 2 — завещаю детям моей покойной сестры Като и покойного брата Габора: Жуже Яки, Кинге Яки, д-ру Яношу Яки и Юлии Мараи, с условием продажи этой недвижимости и разделения стоимости в равных долях между всеми наследниками.

2. Половину гонораров за возможное переиздание моих книг завещаю трем дочерям моего приемного сына Яноша, ныне покойного: Лизе Мараи, Дженнифер Мараи и Шаре Мараи.

3. Список вещей, оставленных в августе 1948 г. у писателя Эндре Иллеша, ныне покойного:

а) серебряные столовые приборы на двенадцать персон, серебряный кувшин, другие серебряные вещи;

б) столовый гарнитур;

в) стенные часы с маятником;

г) два французских кресла в стиле Людовика XIII;

д) ковры;

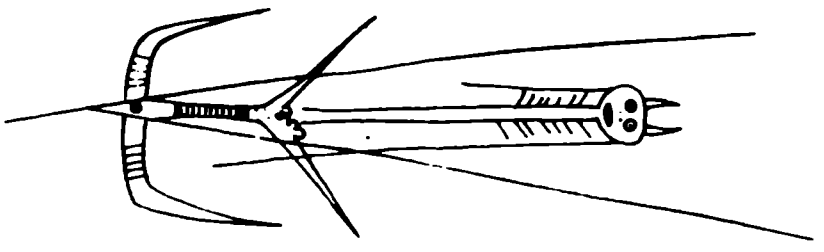
е) ящик с рукописями, книгами, личными и семейными документами.

Если эти вещи найдутся и можно будет получить разрешение на вывоз, прошу ящик с рукописями, книгами и документами, а также настенные часы отправить в Торонто, моему другу Иштвану Вёрёшвари; остальное передать моим наследникам.

Вот и все.

Написано в Сан-Диего 11 августа 1987 г. Завещание заверяю своей подписью,

Шандор Мараи



МАРЕК ХЛАСКО

Красивые, двадцатилетние

ЛИТЕРАТУРНАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

От переводчика

«Я не мог ответить, почему покинул родину, так как не покидал ее никогда...»

Марек Хласко умер в изгнании. Случилось это 4 мая 1969 года в немецком городе Висбадене, не столь уж и отдаленном от его родной Польши, куда путь ему был заказан. Хласко остановился там по дороге из одной далекой страны в другую; думал, на несколько дней, а оказалось — навсегда. Было ему 35 лет, с 58-го он жил за границей. Объездил полмира, нищенствовал, брался за любую работу, нарушал местные законы, сидел в тюрьмах, писал. На чужбине он понял: «Мир состоит из двух половин, в одной из которых невозможно жить, а в другой — невозможно выдержать». В 1966 году в Париже вышли «Красивые, двадцатилетние» — исповедь талантливого писателя и незаурядного человека. В ней есть такие строки: «...если среди моих читателей найдется хотя бы один, который поверил (в обвинение в измене родине и шпионаже. — *К. С.*),— эта книга написана для него». Автобиография эта одновременно и биография целого поколения «красивых, двадцатилетних», и картина литературной жизни Польши середины 50-х годов, и полное горького юмора, самоиронии и неподдельной боли описание странствий силой вырванного из родной среды художника.

Похожая судьба выпала на долю и многих наших соотечественников. Когда-то их осудили — безоговорочно, даже не выслушав; их имена вычеркнули из истории литературы. Но времена изменились: мы получили возможность прочитать их книги, узнать, что они думали и чувствовали.

Марек Хласко был похоронен в Висбадене. В 1975 году, после долгих стараний, матери удалось перевезти его прах в Варшаву; на могильной плите высечена надпись: «И все отвернулись» (одна из повестей Хласко называется «Все отвернулись»). К тому времени из изгнания начали возвращаться его книги. Вначале они публиковались в «самиздате»; с середины 80-х — в «легальных» издательствах. «Красивые, двадцатилетние» вернулись на родину последними: они были добавлены пятым томом к выпущенному в 1985 году издательством «Чительник» четырехтомному собранию.

Перевод книги сделан по первому — парижскому — изданию, печатается с небольшими сокращениями. Он как бы продолжает начатое «Иностранной литературой» с рассказов и повести «Петля» («ИЛ», 1991, № 9, 1992, № 8—9) знакомство с творчеством Марека Хласко. Рассказы и повести Хласко печатались также в альманахе «Феникс XX», в журнале «Дружба народов». Смеем надеяться, что найдет своего издателя давно уже готовый однотомник, куда вошло лучшее из написанного им.

© by Institut Littéraire, S.A.R.L, 1966.

Шнурочки, ремешок, галстучек

В тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году, в феврале, я сошел с прилетевшего из Варшавы самолета в аэропорту Орли. В кармане у меня лежало восемь долларов; мне было двадцать четыре года; я был автором опубликованного сборника рассказов и двух книг, которые печатать отказались. Правда, я был лауреатом премии книгоиздателей: ее мне вручили за несколько недель до отъезда. И еще одно: меня объявили человеком конченым, который уже никогда ничего не напишет. Как я сказал, было мне тогда двадцать четыре года — люди, со сноровкой профессиональных могильщиков поспешившие меня похоронить, были по меньшей мере на тридцать лет старше. Адольф Рудницкий где-то написал, что самое модное направление в польской литературе — оплевывание и уничтожение. Тот же Адольф Рудницкий, когда я напечатал свой первый рассказ, спросил: «Друзья-писатели уже говорят вам, что вы кончились?» — «Почему?» — удивился я. «Потому что,— сказал Рудницкий,— когда я выпустил «Крыс», свою первую книжку, Кароль Ижиковский при встрече прежде всего спросил: «Коллеги уже говорят вам, что вы кончились?»

Выходя из самолета в аэропорту Орли, я думал, что не позже чем через год вернусь в Варшаву. Сейчас я знаю, что в Польшу не вернусь уже никогда; но пишу эти слова и понимаю, что хотел бы ошибиться. Много лет я не говорил по-польски; жена моя — немка; друзья — американцы или швейцарцы, и я с ужасом замечаю, что все чаще думаю на чужом языке и перевожу свои мысли на польский. Я знаю — это конец; мои варшавские могильщики не ошиблись. Профессионалы редко ошибаются.

До сих пор я еще никому не говорил, какие мотивы побудили меня остаться на Западе. Когда мне задавали этот вопрос журналисты, я старался отвечать как можно глупее; в конце концов они от меня отстали. Я не мог ответить, почему покинул родину, так как не покидал ее никогда. И все же попробую объяснить, почему я живу в другой стране, а вернее, в других странах: я уже побывал в Англии, Испании, Германии, Швейцарии, Франции, Австрии, Дании, Израиле и еще кое-где.

Писать я начал в восемнадцать лет; виновата в этом мама, которая давала мне читать книги,— я стал запойным читателем. Школы я не закончил: частично из-за семейных неурядиц, частично по причине идиотизма, обнаруженного у меня учителями. По сей день не знаю, есть ли какая-нибудь разница между физикой, алгеброй и химией, и никогда уже не узнаю. Понятия не имею, делится ли вообще на что-нибудь сорок девять; если каким-нибудь чудом кто и разделит, то уж наверняка не я. Начальную школу мне удалось с грехом пополам закончить исключительно благодаря тому, что математику вел тот же учитель, который преподавал польский. Во время войны, в Варшаве, я ходил в школу к монахиням на улице Тамка; в этой школе был обычай: самому плохому ученику прицепляли огромные ослиные уши из бумаги; я их носил все время. После войны, «когда родилась новая Польша», дела мои стали получше: ослиные уши вышли из употребления, и я просто стоял в углу, лицом к стенке. Научиться чему-либо в таких условиях трудно; но до восьмого класса я продержался, «выезжая» на сочинениях.

Потом началось хождение по мукам. Из общеобразовательной школы меня выгнали за тупость; это была школа номер два имени Ла Гардии, позже — Марии Конопницкой. По предложению инспектора меня послали в психотехническую — не уверен, что не перепутал назва-

ния,— консультацию. Там мне велели складывать кубики, вписывать недостающие слова в какие-то идиотские фразы, задавали неприличные вопросы насчет родителей и родственников; напоследок заставили раздеться догола и, сочтя неспособным к обучению в школе с гуманитарным уклоном, направили в торговое — или, кажется, кооперативно-торговое — училище во Вроцлаве, исходя, вероятно, из убеждения, что торговля нуждается в идиотах; возможно, впрочем, тут сказалась забота о покупателях. Не знаю.

Мое приобщение к торговле закончилось после нескольких уроков математики. В это время в Варшаве открыли театрально-производственное училище; мы поехали туда вместе с братом Юзефом. Три месяца брат делал за меня задания по математике и химии, однако из-за так называемых семейных раздоров перестал; меня опять вышибли. Училище мне нравилось; оно находилось в здании ИМКА [1], и нам разрешали посещать бассейн. Директором у нас был — если не ошибаюсь — Жмигродский, представительный бородач, ни дать ни взять капитан корабля из рассказа Конрада «Конец рабства». Там же я познакомился с Басей Свидзинской, прелестным рубенсовским ангелочком, и воспылал к ней... Без взаимности.

Вернувшись во Вроцлав, я поступил на работу и одновременно посещал вечернее ремесленное училище; почему меня оттуда выгнали, уже не помню. Вылетев из училища, я записался в спортклуб и стал играть в футбол, центральным нападающим. Особыми талантами я не отличался, но на поле проявлял звериную жестокость. Как в рассказе Чапека, меня перед каждой игрой вызывал тренер и говорил: «Хласко, если ты не снесешь хотя бы двоих, будешь исключен из клуба». В спортклубе я научился играть в покер; там же познакомился с Тадеком Мазуром — «племянником» одного писателя, равнодушного к женским чарам. Тадек сам пробовал писать; я иногда заходил к нему и так познакомился с его «дядей» — это был первый пишущий человек, которого я узнал лично. Еще я познакомился с Ковалой — потом его поставили левым крайним; он виртуозно лягал противников носком бутсы в голень, а когда те падали — в лицо. Ковала ухитрялся двинуть игрока чужой команды так, что судья ничего не замечал. И выглядел при этом пай-мальчиком: всегда поднимал упавшего и извинялся перед судьей.

По воскресеньям мы с Ковалой и Тадеком ходили на боксерские матчи во вроцлавский «Зал Столетия». Денег у нас не было, и в зал мы проникали через крышу — с риском для жизни. Главным там тогда был судья Микула — атлетического сложения толстяк, который вышибал безбилетников одним пинком; потом, правда, он полюбил нас за фанатизм и впускал, не спрашивая билетов. В то время нашим кумиром был Рышард Валюга — прекрасный fighter [2] с сильным ударом и отличной техникой; впоследствии, впрочем, нас покорил Касперчак, по прозвищу Куколка, первый после войны чемпион Европы. В «Зале Столетия» я увидел — издали — еще двух писателей. Одним из них был Стась Дыгат, неизменно сидевший в первом ряду с крайне недовольной физиономией; а на первенстве Польши в 1949 году мне показали Страшного Юзя — Прутковского.

Все мы — Тадек, Ковала и я — жили игрой в покер. Но судьба недолго нам улыбалась: за азартные игры нас исключили из клуба; Тадек угодил за решетку, а мы с Ковалой занялись разбоем. Первое серьезное дело мы провернули в торговом училище с помощью нашего одноклубника Селезня. Селезень вроде бы нечаянно выбил в раздевалке окно, выходящее на улицу. На следующий день Ковала занял пост под окном, а я с портфелем в руке вошел с другими ребятами в раздевалку и спрятался между пальто. С виду я тогда был симпатичный пацан с открытым славянским взглядом, которому нельзя верить. Начался урок; школьный

[1] Христианский мужской молодежный союз. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Боец *(англ.)*.

сторож запер раздевалку на ключ, а я стал выбирать из вещей что получше и передавать Ковале; потом сам вылез в окно, и уже через час мы загнали все на площади Епископа Нанкера, где была барахолка. Однажды мы прослышали, что во второй общеобразовательной гимназии на улице Сталина состоится вечер и что туда придет поручик УБ [1], ухаживавший за одной из гимназисток. У нас не возникло сомнений, что поручик оставит пистолет в раздевалке; едва вечер начался, я был там. Оружие пару раз нам пригодилось, но потом Ковала, надравшись, потерял пистолет, и наша шайка распалась.

Мне тогда исполнилось шестнадцать лет, и по закону — как нигде не учащийся — я был обязан работать. Я устроился помощником водителя в Государственный строительный трест, потом перешел на базу лесоперерабатывающего объединения «Пагед» в Быстшице Клодзкой. Об этой базе я написал книгу; много лет спустя Кшиштоф Теплиц в статье «Святые отроки» назвал ее рассказом о людях, какими их себе представлял юный Маречек. Меня много раз спрашивали, действительно ли все было так, как я написал. Нет, не так. Было гораздо хуже: мы вставали в четыре утра, а разгрузку на станции заканчивали в десять вечера; потом ехали по горным дорогам сорок километров до дома, что на грузовике «GMC» [2] с прицепом отнимало около двух часов. Потом мы еще готовили себе еду и только после этого ложились спать. Выходных и праздников не было; в конце месяца директор базы объявлял, что мы выполнили план примерно на сорок, иногда на сорок пять процентов. В Быстшице Клодзкой я проработал сравнительно недолго: ушел, чтоб не попасть в тюрьму за экономический саботаж. За это время мне довелось быть свидетелем двух несчастных случаев со смертельным исходом и одного — с травмой позвоночника; парень, повредивший позвоночник, потом тоже, кажется, умер, так как мы не смогли вовремя доставить его в больницу; наши машины были приспособлены для перевозки кряжей, и положить человека было некуда. Зарабатывал я тогда около семисот злотых в месяц.

Тадеуш Конвицкий сказал: это не книга, это вестерн,— и был прав. Мне никогда не удавалось понять, в чем беда польской литературы. Если рассуждать логически, мало какой народ имеет столько оснований для создания хорошей литературы, сколько мы, поляки. У нас есть все: неустроенная жизнь, политические убийства, вечная оккупация, доносительство, нищета, отчаяние, пьянство — что еще нужно, скажите на милость? В Израиле я жил среди последних подонков, но не встречал таких отчаявшихся, озверевших и несчастных людей, как в Польше. Главный мотив вестерна — маниакальное стремление вершить правосудие; его герой — одиночка, борющийся со злом и насилием. Неважно, что на эту тему написана масса чепухи; Джесси Джеймс [3] и другие скорые на расправу — не писательская выдумка. У нас подобным героем мог бы быть, например, коммунист — человек, наводящий порядок в разоренной стране, где общество деморализовано бесконечными бедами; мог бы, если б это нужно было commies [4]. Среди гор макулатуры, которые я прочитал о комми, такие мне не встречались — если не считать Подгурского из «Пепла и алмаза» Ежи Анджеевского. Подгурский судит поляка, служившего капо в немецком лагере,— судит и проигрывает. Он еще человек; будь книга написана несколькими годами позже, он бы, вероятно, стал майором из шедевра Анджея Мандальяна. Или следователем Глеткиным из книги Кёстлера [5]. Но скорее всего Рубашовым, попадающим в руки Глеткина.

Что касается меня, я против комми ничего не имею. Пока они творят

---

[1] Управление (общественной) безопасности.

[2] Автомобильная корпорация «Дженерал моторс».

[3] Джесси Джеймс (1847—1882) — американский бандит, занимавшийся разбоем и грабежом.

[4] Американское жаргонное название коммунистов *(прим. автора)*.

[5] Речь идет о политическом романе Артура Кёстлера (1905—1983) «Слепящая тьма».

всякие свинства, а я могу об этом писать — все о'кей. Я просто свидетель на судебном процессе; суть дела меня не волнует, лишь бы разбирательство было интересным. Вот и все. Жизнь, которая мне дана, только сюжет; а уж как я его изложу — моя забота. Это для меня главное.

Написав такое, я спросил у одного своего приятеля, прав ли я — можно ли утверждать, что у нас, поляков, есть все для создания хорошей литературы. Он сказал: нет; он сказал, что поляки слишком устали; что им засорили мозги и они смирились с судьбой. Не понимаю: разве хирург имеет право ссылаться на усталость, когда привозят человека, который нуждается в операции? Не знаю, не знаю. Помню, я стоял как-то с Павлом Херцем в баре, жаловался на неприятности, на безденежье, на придирки редакторов. Херц посмотрел на меня укоризненно и сказал: «Если я вас правильно понял, вы хотите стать писателем. Это не доставит удовольствия ни вам, ни тем, кто вас будет читать. На что вы рассчитываете?» И отвернулся, пожав плечами; разговор был окончен.

Итак, я ушел с лесозаготовок и вернулся в Варшаву. Поступил грузчиком в метрострой; через некоторое время перешел в отдел снабжения. Работа была — лучше не придумаешь; я просто ходил по городу, по разным конторам, с заявками на запчасти для автомобилей, а мне ставили штамп: «Запчастей не имеется». Потом я отправлялся в так называемый кооперативный сектор — в маленькие ремесленные артели. Единственная разница между государственным и кооперативным сектором заключалась в том, что в государственном ставили штамп «Запчастей не имеется», а в кооперативном — «Запчастей нет». Вот и все. После этого составлялся протокол о необходимости закупок, который подписывали начальник отдела снабжения, председатель месткома и секретарь партбюро или водитель вышедшей из строя машины, а также завмастерскими. Потом я брал бутылку водки и ехал на другую базу к знакомому кладовщику, который давал мне нужную запчасть. Эту запчасть я сдавал в комиссионный на Хмельной; мой напарник приходил туда через час и ее покупал; потом мы обмывали удачную сделку. Эту систему я изобрел сам: тогда я научился мыслить в категориях драмы.

Однажды на базу пришла какая-то бабища, и меня вызвали к директору.

— Ты член партии?

— Нет.

— Член Общества польско-советской дружбы?

— Нет.

— Член профсоюза?

— Нет.

— Будешь рабочим корреспондентом.

Бабища оказалась из «Трибуны люду». У «Трибуны люду» были так называемые корреспонденты на местах, которые писали о трудностях и достижениях своих предприятий. И я стал писать о том, что не хватает запчастей, что машины слишком долго простаивают, так как мало бензонасосов, да и те ручные, а не автоматические, и о всяких подобных вещах. Однажды меня вызвали в редакцию и вручили в качестве премии роман Анатолия Рыбакова «Водители». Его я никогда не забуду.

«Водители» была первая прочитанная мной соцреалистическая книжка; должен признаться, что она меня ошеломила. Так и я могу, сказал я себе. С этого все и началось.

Из метростроя меня выгнали. Работы я найти не мог: водителей было слишком много, а машин — слишком мало. «Трибуна люду» пристроила меня в Варшавскую потребительскую кооперацию; когда я сообразил, что стал осведомителем, было уже поздно.

Работа в ВПК была тяжелая; автобаза находилась на Соколовской, а я жил на Маримонте. В четыре утра полагалось уже быть на месте; почти каждый день я вставал в два и топал через Повонзки [1]. Шел и на

---

[1] Район Варшавы, где находится несколько кладбищ.

ходу спал; оказывается, это возможно. Потом начиналась каторга: мотор не желал заводиться, и приходилось лезть под машину с паяльной лампой, потому что горячая вода, которую грели для нас водители из ночной смены, помогала как мертвому припарки. Потом я отправлялся на Зеленяк — там уже ждали огородники, приезжавшие из пригородов ночью: Варшаве требовались зелень и овощи к семи утра. Ездили мы всегда вчетвером — я с помощником, охранник и грузчик. Овощи делились на три категории; первая была самая дорогая. Расплачивался наличными охранник; он выписывал огороднику квитанцию на первую категорию, а платил за третью. У мужика не было выбора; между нашими охранниками из ВПК и ребятами из Управления розничной торговли существовал на этот счет уговор. Если огородник отказывался продавать свой товар, никто другой его не покупал — приходилось возвращаться домой и выбрасывать овощи. Уговор свято соблюдали как наши, из ВПК, так и партнеры из УРТ; за нарушение грозила, как говорится, разборка. Очень точное определение.

Так нам удавалось немного подработать; когда мы возвращались около семи на базу, там уже вертелись милиционеры, придирчиво проверявшие, не пьян ли кто. Занятие бессмысленное: шофер ВПК «не имел права» быть трезвым. Во избежание неприятностей покупалась бутылка водки и вручалась бдительным стражам порядка. Так поступали мы, водители с Зеленяка. Водители с Зомбковской или из «Монополя» выкручивались своими способами. Красть со склада водку было хлопотно: разбил бутылку — предъяви горлышко с залитой сургучом головкой и приложи протокол о списании; на это жаль было тратить время. Поэтому мы просто брали большой шприц, из каждой бутылки вытягивали по сто граммов, а взамен доливали воду.

С Зеленяка меня перевели на бойню. На бойне воровать было гораздо труднее; но воровали и там. После того как порожняя машина взвешивалась и завскладом записывал вес, мы кружным путем ехали в цех. По дороге я останавливался и говорил помощнику: «Здзишек, спускай вес». Помощник залезал под машину и открывал кран радиатора; грузовик становился легче на двадцать кило; разница — в виде мяса — шла нам. Потом, прямо за воротами бойни, в радиатор снова заливалась вода. В конце концов начальство сообразило, в чем дело; тогда мы стали сливать бензин. Куда «сплавлялось» мясо — те самые двадцать килограммов,— останется моей тайной.

Проклятьем для нас — водителей из ВПК — были так называемые картофельные рейды. Картошку вывозили из деревень; но налево сбывать ее было некому. Мы, варшавская шоферня, и тут не оплошали. «На картошку» отправлялись колонной в десять — пятнадцать грузовиков; машины получше тащили «слабаков» на буксире; счетчик отщелкивал километры, а бензин потом продавался таксистам-частникам. Мне тогда было восемнадцать лет; сегодня я об этом пишу без стыда. Пусть будет стыдно тем, кто меня вынудил заниматься такими делами. Работая по четырнадцать часов в день, в том числе в праздники и воскресенья, я получал около семисот злотых в месяц. Квартиры у меня не было; я жил в коридоре. Первый костюм приобрел в двадцать два года. Сейчас мне даже костюм не нужен; все равно некуда ходить.

Сила комми — в примитивности их идеологии; любой немецкий рабочий подсчитал бы, насколько возрастут его доходы, если состояние Тиссенов или Круппов будет национализировано. Сила комми — в несуразности самой системы. Если б я сказал немецкому рабочему, что, вкалывая по четыреста двадцать часов в месяц, могу на свою зарплату купить пару скверных ботинок, он бы просто пожал плечами. А скажи я помощнику: «Здзишек, немецкий шофер может за год скопить на машину; на месячную зарплату — купить четыре костюма; может провести отпуск в Италии»,— схлопотал бы здоровую затрещину. Немецкие журналисты постоянно напоминали мне: «Не забывайте: они первые поднялись в космос». Я не инженер, но мне кажется, что об успехах

в технике можно говорить, только зная, сколько в это дело вложено. Если ценою тысячи деревьев производится тысяча зубочисток, к этому нельзя относиться серьезно. Кеннеди или Джонсон вынуждены выбивать из Конгресса каждый цент на космическую программу; американскому народу цифры затрат известны из прессы и телепередач; американцы могли годами наблюдать по телевизору, как их ракеты падают на третьей минуте полета. Не знаю, скольких людей замучили и погубили, прежде чем Гагарин явил миру свое лицо; и сколько было неудачных попыток, тоже не знаю. И, пока не узнаю, не смогу радоваться успехам наших раздражительных братьев.

Но тогда, в тысяча девятьсот пятьдесят втором году, я еще об этом не думал. Совсем другие мысли были у меня в голове и в тот день, когда дежурный милиционер во дворце Мостовских [1] сказал мне:

— Ремешок. Шнурочки. И галстук.

— Я не ношу галстуков,— сказал я и расписался на квитке.

Моими наставниками в молодости не были ни Хемингуэй, ни Ежи Анджеевский. Моим наставником был Тадеуш Барвинский, офицер Управления общественной безопасности. Как я уже говорил, завотделом местных корреспондентов «Трибуны люду» устроил меня шофером в Варшавскую потребительскую кооперацию. Шел тысяча девятьсот пятьдесят второй год. На каждом крупном предприятии тогда существовал Особый военный отдел; одно время он назывался Особый отдел охраны; и еще как-то. На самом деле это был орган Управления безопасности; у референта — так именовался начальник отдела — среди работников вверенного его попечению предприятия имелись свои стукачи, поставлявшие ему информацию о сотрудниках; а уж он знал, что с ней делать дальше.

В один прекрасный день около семи вечера, когда я — как говорилось — «подрулил» к базе, диспетчер сказал мне:

— Тебя вызывают в Особый.

— Ты сегодня в ночную? — спросил я.

— Да. До шести.

— Скажешь матери, если я не вернусь.

— Вернешься, не то б тебя взяли из дома,— успокоил меня диспетчер.

Если бы я тогда читал Хемингуэя, я б ему ответил: «Это одна из тех вещей, о которых никогда ничего не известно». Но я только сказал: «Это одному Богу известно».

И пошел. В кабинете сидел коротышка в очках; дверь была обита кожей — наверное, чтобы наводить страх на допрашиваемых. Все как в плохих фильмах. Я когда-то видел такой фильм, а может, читал такую книжку:

— Знаешь, что это? — спросил Шон, беря со стола чайную ложечку.

— Серебро,— сказал Джек.— Куплено у Гарри-барыги. После того дела на Семьдесят седьмой улице. Можно помешивать чай. Кстати, почему ты нас угощаешь такой бурдой, Шон? У вас в Дублине, что ли, так принято?

— Да нет,— сказал, криво усмехнувшись, Шон.— В одном кабаке под названием «Грязный Дик» подают отличный чай. Что же касается ложечки, ею еще можно выколупать глаз.

Такого вопля Треппенгеландер никогда не забудет.

Может быть, я привел цитату неточно. Не в этом дело. В моем случае ситуация не выглядела такой забавной. Коротышка велел мне сесть.

— Имя, фамилия?

---

[1] В бывшем дворце Мостовских в Варшаве находилось Управление общественной безопасности.

— Марек Хласко.
— Когда родились?
— Четырнадцатого января, тридцать четвертого.
— Где?
— В Варшаве.
— Отец?
— Мацей.
— Профессия?
— Адвокат.
Коротышка удивился:
— Адвокат?
— Адвокат.
— Жив?
— Нет.
— Мать?
И так далее, и тому подобное. Наконец он спросил:
— Вас сюда направила «Трибуна люду»?
— Да.
— Корреспондентом?
— Да.
— Почему вы перестали писать?
— Времени нет. Работаю по четырнадцать часов в сутки.
— Больше вам писать не придется,— сказал коротышка.— Обо всем будете докладывать мне.
— О чем?

И тут начинается Майк Хаммер. А может, «Лорд Листер, или Таинственный незнакомец». В названиях этих книжонок непременно стояло «или». «Лорд Листер, или Таинственный незнакомец». «Кен Мейнард, или Мститель прерий». «Ежи Ролич, или Шестнадцатилетний подросток среди тугов». Но Листер был лучше всех. Мать, заставлявшая меня читать, однажды подсунула мне Жеромского; мне тогда было десять лет. Я обнаружил у него фразу: «Сница запустил хищный взгляд своих зениц в ее душу» — и почувствовал себя навеки свободным от обязанности читать этого автора. Взяв полное собрание Жеромского (издательство Мортковича), я отнес его на Теплую улицу, где была мастерская по ремонту кукол, она же — букинистический магазинчик; взамен я приобрел «Лорда Листера» и еще одну книженцию про малого, который любил говорить: «Я никогда не подаю руки левше. Это не раз спасало мне жизнь». Не помню уже, как этого головореза звали. Мать отлупила меня ремнем, оставшимся еще от деда; мой дедушка был комендантом пожарной охраны столичного города Варшавы, а как всем хорошо известно — у пожарников ремни широченные и с великим множеством медных заклепок.

Мой «Майк» достал пистолет.
— Знаете, что это?
— Знаю.
— Что?
— Советский пистолет ТТ.
— Откуда вы знаете?
— Видел в кино. Был такой фильм с Павлом Кадочниковым. Кадочников — советский разведчик — должен убить немецкого шпиона. Он вытаскивает пистолет и говорит: «Правом и властью, данными мне родиной...»
Майк перебил меня:
— У вас есть невеста?
— Есть.
— Как зовут?
Я сказал. Так мы «беседовали» часа два; он выходил, оставляя пистолет на столе, возвращался и опять уходил: это было психологичес-

кое давление. В конце концов я подписал протокол, в котором говорилось, что у меня есть невеста Ванда и что пистолет ТТ известен мне только по фильму; что я играл нападающим за спортклуб и так далее. Сегодня мне это кажется малопохожим на правду, но все было именно так. Подписывая протокол, я подумал: «Погоди, браток. Сейчас я узнаю, как тебя окрестили». Протокол, кроме допрашиваемого, подписывает и следователь. Моего звали Тадеуш Барвинский.

Арестовали меня несколько дней спустя, обвинив в отказе сотрудничать с органами. Аргументация офицера милиции — на этот раз дело происходило во дворце Мостовских — была предельно проста: работая на предприятии, славящемся своим воровством, я не могу не знать, что там творится; отказываясь доносить, я препятствую выявлению фактов экономического саботажа и, следовательно, подлежу наказанию по статье такой-то... Вот тогда мне и было предложено снять ремешок, галстучек и шнурочки; поляки обожают уменьшительные суффиксы. Я тут ни при чем; при создании польского государства у меня не спрашивали совета.

В тюрьме сидеть весело — конечно, если правильно к этому относиться. Кругом одни невиновные; то, что произошло,— ошибка, и в самом скором времени она будет исправлена. В тюрьме в Палермо я познакомился с человеком, который убил свою невесту и ее мать; он рассчитывал через несколько дней выйти на свободу. В Мюнхене я сидел с одним малым, который совершил семнадцать грабежей; он рассчитывал через несколько дней выйти на свободу. В тюрьме в Яффе я подружился с человеком, с момента возникновения государства Израиль занимавшимся контрабандой наркотиков; он рассчитывал через несколько дней выйти на свободу.

Жизнь не так уж плоха, если ты способен на безумные поступки. В Варшаве я был постоянным гостем отделения милиции на Беднарской, куда попадал за дебоши и пьяные драки. Вскоре у меня завелись среди милиционеров дружки, и я спал не на «досках», а в дежурке, и утром меня доставляли домой. Из всех варшавских участков этот был самым приятным: в него свозили завсегдатаев «Камерального» и «Крокодила».

В тысяча девятьсот пятьдесят пятом году, во время Всемирного фестиваля молодежи, в Варшаву приехал театр «Бим-Бом» со Збышеком Цибульским. У входа в театр я встретил Ромека Полянского [1]: у Ромека был билет, но его не хотели впускать, потому что в зал набилось множество безбилетников и свободных мест не осталось. Полянский так долго требовал, чтобы его пропустили, размахивая перед носом у контролера своим билетом, что его в конце концов забрали два милиционера из отделения на Беднарской. Как на грех, милиционеры были новенькие и меня не знали. Они увели Полянского, а я потащился за ними.

Ромека посадили под замок, а я пошел к своему сержанту, который обычно отбирал у меня шнурочки.

— Отпусти его,— сказал я.

— Это твой приятель?

— Да.

Полянского выпустили; приобретя литр очищенной, мы с Ромеком, его девушкой и милиционерами, которые десять минут назад его арестовали, отправились на близлежащий пустырь, чтобы выпить за дружбу. Потом купили еще две бутылки; почему-то мне пришла охота декламировать Апокалипсис. Милиционеры смотрели мне в рот, время от времени приговаривая:

— Потише, пан Марек, потише...

Их раздирали противоречивые чувства: ребята не прочь были позабавиться, но не знали, разрешен ли текст Апокалипсиса. Невиновных под поручительство алкоголика выпускают не каждый день, поэтому я так подробно об этом пишу.

[1] Роман Полянский (Полански; род. в 1933 г.) — известный режиссер кино и театра, ныне живущий и работающий на Западе.

Как я уже сказал, жить можно, если ты способен совершать безумные поступки. В Италии меня арестовали за стрельбу в общественном месте: рассвирепев, я порывался шлепнуть одного типа, заявившего, что без причины шесть миллионов людей не убивают — разговор шел о евреях. Назавтра следователь спросил у меня:

— Вы хотели его убить?

— Да,— сказал я.— И хотел поглядеть на итальянского судью, который посадит меня за то, что я пытался защитить память шести миллионов замученных.

Следователь посмотрел на меня долгим взглядом — и отдал мои вещи; опять посмотрел — и отдал пистолет. Чтение историй из жизни Наполеона может пригодиться даже в пустячных делах. Не знаю, был ли мой итальянский судья двойником нашего Жецкого [1]; знаю только, что материалы дела он уничтожил.

Во дворце Мостовских я сидел недолго. Говорил себе: «Посидишь до конца следствия, потом получишь свой пятерик. За что — никто знать не будет, да это и неважно: вершители правосудия не разбираются, виноват ты или нет; главное — иметь виновного».

Я тогда еще не читал романа Кёстлера, где следователь ведет долгие задушевные беседы с человеком, которого хочет уничтожить. И не читал Оруэлла, у которого Большой Брат страдает расходящимся косоглазием; я даже Кривицкого [2] не читал. Книги можно писать, только если ты начисто потерял стыд; писательство — штука более интимная, чем постель; по крайней мере, для меня. Комми потеряли стыд: когда Ежов убивал Ягоду, он заявил на собрании работников ГПУ, что, как ему стало известно, Ягода сотрудничал с охранкой. Никто не поднялся и не сказал: когда охранка перестала существовать, Ягоде было двенадцать лет. Среди чекистов наверняка были люди, дравшиеся с Колчаком, Деникиным и Пилсудским, но ни один из этих смельчаков не рискнул сказать, что дети, если им предоставить выбор: покататься на самокате или побеседовать с чиновниками,— предпочтут все-таки первое. Комми потеряли стыд: они создали абсурдный мир, в который нельзя поверить. В этом их сила.

Тогда, во дворце Мостовских, я сказал себе: «Бальзак тебе не поможет, и Жеромский тоже — тебе поможет лорд Листер». Так я стал осведомителем по кличке Ванда. Вандой звали мою девушку; я решил, что так будет забавней. Меня отпустили.

Я пошел на базу к своему диспетчеру.

— Переведи меня с Зеленяка,— сказал я.

— Почему?

— Не хочу ничего видеть.

— На бойню пойдешь?

— Нет. Бойню я знаю.

— В «Монополь»?

— И «Монополь» знаю.

Мы разговаривали наедине.

— Тебя что, ссучили? — спросил диспетчер.

— Да.

— Погоди,— сказал он.— Я тебя переведу на «опель-блиц сто шестьдесят семь». Его каждый день приволакивают из города на буксире. А ребят я предупрежу.

— Предупреди.

Мой «опель-блиц» ни разу меня не подвел; сразу же за воротами отказывало сцепление; на следующий день — карбюратор. Я поехал в мастерскую; мастер был в курсе дела — мы отдали карбюратор в ремонт. Ремонт продолжался месяц; потом полетел распредвал; потом опять сцепление; потом мотор стал жрать в три раза больше бензина, чем полагалось,— мы поставили машину на капремонт. Я слонялся «по базе» и ничего не знал.

[1] Один из героев романа Б. Пруса «Кукла».

[2] Автор книги «Я был агентом Сталина».

Время от времени меня навещали двое, похожие на филеров из фильма. Пожалуй, мне уже никогда не узнать, кто на кого похож: персонажи из кинофильмов на агентов в жизни или наоборот.

Мои только и знали, что приговаривали: «Ой, смотри, как бы мы не рассердились»; ничего другого я от них не слышал. Потеха была — в жизни не влипал в более забавную историю!

Повторяю: главное — потерять стыд. Однажды помощник пригласил меня к своей сестре на именины. Скучища была страшная; в разгар вечеринки мы увели патефон, вынесли его на лестницу, а потом, вернувшись, вместе с другими гостями занялись бесплодными поисками. Убеки перевели меня из ВПК в ГРТ, и там, окрыленный мыслью, что я стукач à rebours [1], я занялся «литературным творчеством». Про партийцев я сообщал, что они скрывают свою подлинную сущность и втайне мечтают о возрождении капитализма; про людей, неуважительно отзывавшихся о Хозяине,— что они подлинные патриоты, обожающие Зютека Солнышко, и так далее. Доносы я писал регулярно; написав, звонил в Главное управление и, назвав свою кличку, просил соединить меня с поручиком Янеком — одним из моих опекунов. Я здорово запудрил им мозги; опекуны так ничего и не поняли. Не моя вина — они сами того хотели.

В это время я уже вовсю начал писать — не только доносы. Как-то мне повстречался Тадек Мазур, который случайно был на свободе, и я ему об этом сказал. Тадек забрал у меня рукопись и понес своему «дяде»; «дядя» посоветовал сочинить что-нибудь подлиннее. Писать мне было негде; я попросил мать прибраться в кухне и за три ночи накатал роман в двести страниц. Этот мой труд прочитал Богдан Чешко; я получил от него письмо. Чешко сообщил, что роман никуда не годится, но посоветовал продолжать попытки и сделал много полезных замечаний. Богдан был умница и замечательный человек — во всяком случае, по отношению ко мне. Письмо его я храню до сих пор. Он заметил, что я злоупотребляю нецензурными выражениями, и горячо порекомендовал от этого воздержаться. Потом мы с ним познакомились лично; Богдан был похож на медведя — двигался как сильный и опасный зверь. В разговоре с трудом подбирал обычные слова. Помню, как он однажды сказал официантке: «Принесите, мать-перемать, стопку водяры. Душа, мать-перемать, горит, бля...» Это самый упрощенный образчик его речи; меня он осуждал. Никто из нас, еще более-менее молодых, не умел писать таким прекрасным языком, как этот медведь; его «Реквием» я могу читать и перечитывать без конца. Он — единственный писатель младшего поколения, который с самого начала обрел собственный голос и остался верен себе. Это не удалось ни Брыхту, ни Новаковскому, ни мне.

Между тем я переписал книгу Рыбакова «Водители», назвал «Соколовской базой», поставил свою фамилию и отнес в Союз литераторов. Спустя некоторое время Неверли — он тогда руководил Кружком молодых — вызвал меня к себе. Неверли здорово мне помог; расспросил, как я живу, указал на недостатки «Базы» и дал совет — самый мудрый из тех, что мне доводилось слышать от братьев писателей: «Если хотите что-нибудь написать, рассказывайте об этом. Всем. Неважно, будут вас понимать или не будут. Рассказывайте; всякий раз вам придется выстраивать свою историю от начала до конца; через некоторое время вы поймете, какие элементы важны, а какие — нет. Главное, чтоб вы сами себе умели все рассказать». И я начал рассказывать; я рассказывал свои истории в Польше и в Израиле, серьезным немцам и Артуру Сандауэру, который поминутно перебивал меня вопросом: «К чему вы клоните?» Не знаю; в том-то и штука, что не знаю. Зато я знаю, что буду бежать всю дорогу — и ни на минуту не замолчу.

---

[1] Наоборот, навыворот *(франц.)*.

Вроцлав, Оборы, Остров роз

Игорь Неверли выхлопотал для меня трехмесячную стипендию Союза польских литераторов; в Варшаве мне жить было негде, и я уехал во Вроцлав.

Неверли постоянно мне помогал. В то время он был на вершине славы: его роман «Под фригийской звездой» считался шедевром; недели не проходило, чтобы о нем не писали; перед ним заискивали; его посещали десятки людей, и времени для работы у него практически не оставалось. Но Неверли не зазнался; он отличался скромностью и не терпел подхалимов. Помню, я как-то сказал, что считаю его книгу лучше «Жизни Матвея Кожемякина» Горького; Неверли возмутился: мои слова его покоробили. После долгого молчания он сказал: «Мне б хотелось, чтобы моя книжка прожила хоть одну пятилетку, только и всего». Я знаю, что он говорил правду.

«Под фригийской звездой» — очень хорошая книга; я читал ее много раз. Не знаю, почему Неверли так мало пишет, я уже двенадцать лет его не видел. При последней встрече он меня обругал; я вел себя безобразно, и он в конце концов потерял терпение. Я всех выводил из себя, сам же многое приобретал. Это как в истории про двух евреев, решивших вместе заняться коммерцией; у одного были деньги, у другого — опыт; спустя некоторое время первый приобрел опыт, второй — деньги.

Неверли иногда рассказывал мне про себя; он как будто сошел со страниц Джека Лондона; переменил десятки профессий; одно время работал секретарем у Януша Корчака. Мне он неустанно внушал, что в моем случае самое опасное — слишком рано стать профессионалом. «Книги, которых вы не прочли и которые необходимо прочесть, читайте по ночам,— говорил он.— И многому, без чего писателю не обойтись, научитесь — быстрее, чем думаете. Чужой опыт вам поможет. Только, ради Бога, не становитесь профессионалом. Успеете; подождите лет до сорока. Посмотрите на всех этих молодых. Спросите у них, сколько стоит кило сахара; ни один не ответит. Зато они знают, что при строительстве домов применяется бетон. Но узнали это из других книг. И вообще, пишите поменьше. Занимайтесь чем хотите, только пишите как можно меньше».

Итак, я уехал во Вроцлав, где поселился у дяди. У меня была трехмесячная стипендия и немного денег, которые я получил в «Штандаре млодых» за «Соколовскую базу». Хорошее было время; наконец-то я жил один, мог вволю читать, писать, ходить в театр, но... не знал, с чего начать. Садился писать и вдруг решал, что нужно читать — без этого я ничего не напишу; брался за книгу, но тут же вскакивал и бежал в город, подсматривать за людьми; разговаривал с людьми и начинал терзаться, что трачу время на болтовню,— Господи, думал я, свихнусь. Хватался за Медведя-Чешко, а на следующий день — за Бальзака; бросал Достоевского, чтобы погрузиться в словарь Линде; по ночам разыскивал загулявшего дядю и снова возвращался к своим книгам. Не знаю, сколько я их прочитал за тот год во Вроцлаве; наверное, несколько сотен. И с каждым днем понимал все меньше; и каждый день приходил в отчаяние от мысли, что никогда не прочту того, что необходимо прочесть. Однажды мне дали почитать Гомбровича, и тогда я окончательно спятил.

Гомбрович где-то в своих «Дневниках» замечает, что его творчество оценили слишком поздно; это неправда. Гомбровича обожали и молодые, и старые. Взяв почитать «Фердидурку» [1], я вынужден был оставить в залог часы — владелец книги просто так ее дать не рискнул; и правильно сделал. Попавший ко мне в пятьдесят третьем году экземпляр с подклеенными и захватанными страницами явно прошел через сотню рук.

---

[1] Роман В. Гомбровича опубликован в «ИЛ», 1991, № 1.

В таком же состоянии был добытый мной «Дневник времен возмужания». Купить эти книги было невозможно; их выпрашивали у знакомых на считанные дни; иногда на полдня. Гомбрович этого, естественно, знать не мог; но я тому живой свидетель.

Во Вроцлаве мне было неуютно; я — варшавянин, и вне Варшавы жизнь как-то не складывалась. В «Пагеде» со мной когда-то работали варшавяне, и я решил к ним съездить, чтоб хотя бы поговорить на настоящем варшавском языке, воспроизвести который не может ни один польский актер, даже Дымша.

В «Пагеде» прием мне был оказан более чем прохладный. Я не мог понять почему; потом мне объяснили, что все дело в моей повестушке, опубликованной в «Штандаре млодых». В глазах бывших коллег я перестал быть рабочим; хуже того: стал певцом надсмотрщиков над рабами. Некоторые, правда, держались со мной подчеркнуто любезно, но это были уже не те люди, с которыми я спал, ел и работал.

А ведь еще три года назад мы вместе переходили границу, чтоб немного подзаработать. С собой брали спирт и сало; из Чехословакии приносили чулки и дешевую бижутерию. Пограничная полоса была местами распахана, но выше, по горам, пройти не составляло труда — горы мы знали лучше, чем пограничники. Надо было только сунуть за пазуху парочку кошек; услышав лай служебной собаки, ты выпускал кошку, и тогда собака — как бы ни была натаскана — бросалась за ней. Кое-кто обматывал ноги тряпками, смоченными бензином, но это был ненадежный способ. Забавно, что чехи на нашу сторону никогда не переходили — боялись. Через некоторое время кто-то проболтался про нашу хитрость, и пограничники заинтересовались, с чего это вдруг в окрестностях появилось такое множество любителей кошек. С тех пор путь в Чехословакию нам был заказан.

Вскоре, однако, ребята с соседней базы придумали другой способ переброски товара, получше. Вблизи границы поджигалась какая-нибудь хата, а поскольку польская пожарная команда находилась довольно далеко, поджигатели сломя голову бежали к пограничнику и сообщали ему о пожаре; тот вызывал по телефону чешскую команду. Чехи передавали свои чулки и побрякушки пожарникам, а наши водители отваливали им спирт и сало, которых тогда в Чехословакии было не достать. Так, правда, сгорело десятка три хат, но, думаю, в итоге это себя оправдало. Подобную изобретательность я наблюдал в баварском исправительном заведении. Каждое воскресенье чуть свет в нашу камеру являлся Wachtmeister [1] и спрашивал, кто хочет пойти на Gottesdienst [2]. Никогда раньше я не предполагал, что христианская вера так глубоко укоренилась в душах; желание пойти на службу изъявляли все: взломщики, вымогатели, брачные аферисты и сутенеры. Мы отправлялись в церковь, где производился товарообмен с ребятами из тюремного лазарета: больные были лишены курева, а на прогулки не выходили, так что торговые операции удавалось совершать только во время богослужения.

Я вернулся во Вроцлав и снова сел за стол, пытаясь хоть что-нибудь написать. Единственными моими знакомыми в городе были Стефан Лось и Тадеуш Зеленай. Лося только что выпустили из тюрьмы; он просидел почти целый год, после чего ему сообщили, что вышла маленькая ошибочка, и отпустили. Вскоре он умер; разговорившись с одним врачом, я узнал, что причиной смерти было нечеловеческое обращение; для Лося, при его слабом здоровье, пребывание в тюрьме оказалось роковым. От самого Лося я так и не услышал, что́ ему довелось пережить; он знал меня с детства и все равно боялся сказать лишнее слово. Только мимоходом упомянул, что перед выходом из тюрьмы дал подписку держать язык за зубами: ему пригрозили, что, если будет трепаться, снова попадет за решетку — на этот раз не по ошибке.

Но от других я узнал, как мучили Лося. Конечно, никогда не

---

[1] *Здесь:* надзиратель *(нем.)*.

[2] Богослужение *(нем.)*.

известно, что в рассказах о пытках в УБ правда, а что вымысел, но ничего хорошего там, естественно, не было — недаром все говорили, что офицеры службы безопасности бьют заключенных шомполами, плюют и мочатся им в лицо и так далее, не считая простых методов вроде избиения до полусмерти. Лося запирали в карцер, где, стоя по пояс в воде, он мог предаваться размышлениям и воспоминаниям о детстве; потом волокли на очередной допрос. Особый интерес к нему проявлял полковник Яцек Ружанский; до нашей последней встречи Лось ни разу прямо его не назвал — говорил: «брат пана Борейши [1]». При упоминании одной фамилии Ружанского у него начиналась истерика.

Раз уж речь зашла о Лосе, скажу пару слов о полковнике Ружанском, с которым я познакомился два или три года спустя. Меня всегда занимали палачи; любопытно было поглядеть на людей, которые вырывают у других ногти и волосы и ломают ребра. Знакомые устроили мне встречу с Ружанским. У этого человека был вид фанатика; сам он явно об этом знал и вообще свою роль исполнял мастерски; если б мне захотелось сравнить его с каким-нибудь актером, я бы выбрал Марлона Брандо. Тот говорит очень медленно, невыразительно, словно бы мучаясь от необходимости поддерживать разговор, отчего возникает обманчивое впечатление, будто он не заученный текст повторяет, а подыскивает собственные слова; так разговаривал и Ружанский. Мы к нему пришли втроем или вчетвером; Ружанский начал беседу.

— Что вы знаете о революции? — сказал Ружанский.— Вы много о ней пишете, есть несколько неплохих книг, но знаете очень мало. У меня в партизанском отряде был парень, которого я любил как сына. Храбрый, идейный, интеллигентный. После войны я взял его в аппарат безопасности и дал звание майора. Однажды он допрашивал какого-то саботажника. Саботажник — тупой мужичонка — на допросе вел себя нагло и постоянно провоцировал следователя. Мой подопечный был на грани нервного срыва, потому что не спал уже несколько ночей, и в какой-то момент, не выдержав, съездил допрашиваемого по морде.

— Ну и что? — спросили мы.

— Пришлось дать ему пять лет,— сказал Ружанский.— Он был майором службы безопасности и не имел права на допросе бить человека. Но я не это хотел вам сказать. Знаете, сколько получил саботажник? Два года. Деревенский недоумок толком не понимал, что делает, и на суде учли разные смягчающие обстоятельства. А по отношению к сотруднику аппарата, который, будучи призван защищать конституцию, сам ее нарушает, ни о каких смягчающих обстоятельствах не могло быть и речи. Вот это — революция.

Потом Ружанский рассказал нам другой анекдот: как-то он вез из Лодзи в Варшаву молодую женщину и вынужден был по ее просьбе остановить машину, чтобы молодая дама могла в одиночестве углубиться в лес. Полковник Ружанский попросил ее дать честное слово, что она не попытается убежать,— иначе, сказал он, придется послать с ней конвоира, при котором ей будет неловко справлять нужду; молодая дама дала честное слово и действительно вернулась.

Помню, когда мы потом вышли на улицу, один из моих приятелей сказал:

— Сильный человек. Подумай: ее честное слово могло ему дорого обойтись...

— Ничего подобного,— перебил его кто-то.— Просто ей некуда было убежать.

Ружанский рассказывал мне, что много лет постоянно испытывал страх: он знал, сколько людей хочет его убить; это было в первые послевоенные годы, когда еще действовали остатки боровшихся с режимом политических организаций. Чтобы превозмочь страх, Ружанский отказался от полагающейся ему личной охраны и каждый день ходил на

---

[1] Ежи Борейша (1905—1952) — польский публицист и общественный деятель.

работу пешком. Рассказ о саботажнике и несчастном майоре, как и рассказ о молодой даме, ценившей свое слово выше личной свободы, я запомнил, вероятно, лишь потому, что услышал их от человека, славившегося своей жестокостью даже среди сотрудников аппарата госбезопасности. Мысль посвятить ему несколько прочувствованных слов пришла мне в голову, когда я начал писать о Стефане Лосе, который до конца своих дней боялся произнести фамилию «Ружанский».

Лось был неудачником; перед войной он написал дурацкую книжонку для юношества под названием «Погранзастава»; кажется, это была повесть о бравых солдатах Корпуса охраны границ, громивших большевистских агентов. После войны его, естественно, не печатали, и бедняга голодал. Только пребывание в тюрьме избавило Лося от необходимости добывать средства к существованию. Перед смертью, в больнице, Лось написал мне письмо; письмо я получил с опозданием, а когда собрался ему ответить, выяснилось, что бедняги уже нет в живых.

Вторым пишущим человеком, с которым я познакомился во Вроцлаве, был Тадеуш Зеленай, чудак, при ходьбе как-то странно клонившийся влево. Помню, я от нечего делать пошел на чьи-то похороны, чтобы поглядеть, не бросится ли безутешная вдова в могильную яму вслед за любимым мужем. Мы стояли под дождем, слушая очередного оратора; вдруг прибежал запыхавшийся Зеленай и вручил ошарашенной вдове коробку шоколадных конфет. «Я не мог достать цветов»,— объяснил он. Несколько лет спустя, просматривая старые подшивки «Пшекруя», я наткнулся на подобный анекдот, так что по сей день не знаю, Зеленай ли украл сюжет у гениального Мариана Эйле, или Эйле использовал шутку Тадеуша.

Писалось мне во Вроцлаве неважно. Никогда раньше у меня не было столько свободного времени; я читал круглые сутки и вскоре, помню, впал в отчаяние, усиливавшееся с каждым днем. Я понял: жизни моей не хватит прочитать все, что хотелось бы, а стипендию мне дали только на три месяца. Но я решил не сдаваться и перешел на систему overtime [1]; знакомые врачи снабжали меня таблетками бензэдрина, чтобы я мог трудиться сутки напролет. Мне не хотелось являться к Неверли с пустыми руками — в таком случае пришлось бы возвращаться на работу, а это означало конец писательству.

Сейчас мне уже трудно сказать, какие из множества прочитанных книг произвели на меня впечатление, а какие — нет. Беда была в том, что я не умел читать. В статьях, печатавшихся в старом «Одродзене» или «Кузнице», я половины не понимал, а обратиться за разъяснениями было не к кому — во Вроцлаве не существовало так называемой «среды». Я перерывал толковые словари, но и это не всегда помогало; часто, читая в журнале какую-нибудь статью, я вынужден был бросать ее на середине и углубляться в книгу, о которой автор вскользь упомянул в подтверждение своих умозаключений. В частности, я пытался уразуметь, в чем состоит проблема типического в литературе; кажется, в тогдашней Польше я был единственным дураком, старавшимся постичь суть этого метода. Кавычками я в данном случае не пользуюсь совершенно сознательно.

Поскольку тогда все талдычили о типическом в литературе и понять что-либо стало совсем уж невозможно, я решил подойти к проблеме по-своему: отправился в городскую библиотеку и отыскал все, что было написано о «Пепле и алмазе», рассчитывая узнать мнение разных мудрецов о моей любимой книге. И вот тут-то я вконец запутался.

Критики, как правило, рассыпались в похвалах, упрекая Анджеевского единственно за то, что образы коммунистов в его книге слабее, чем Мацека Хелмицкого и других отрицательных героев,— тут я тоже сознательно обхожусь без кавычек. Помню, профессор Стефан Жулкевский написал: «Щука представлен весьма схематически — как воплощение

[1] Сверхурочно *(англ.)*.

моральных устоев». Щука — усталый, лишенный иллюзий, не верящий в возможность скорой победы революции человек — не казался марксистским критикам правдивой фигурой.

Подобные упреки адресовывались и Подгурскому, другому коммунисту из «Пепла и алмаза». Подгурский проигрывает свой первый поединок с новой действительностью; его система моральных и этических ценностей рушится при соприкосновении с реальностью, и он не решается посадить в тюрьму человека, который в концлагере исполнял обязанности капо. Он пытается этого человека судить, но судить другого можно лишь на основании собственного опыта, а Подгурский не сидел в концлагере. Не пережив того, что, безусловно, довелось пережить кумиру его молодости, он не находит в себе сил расправиться с человеком, на долю которого выпали непосильные испытания, и отпускает его. Это очень здорово, но именно за это критики-марксисты корили Анджеевского; я же тогда понял, что ум нельзя заменить представлением о том, *как* надлежит мыслить.

После войны все восхищались книгой Боровского [1] «Прощание с Марией». На меня эта книга тоже произвела сильное впечатление, но чего-то мне в ней недоставало. Я долго гадал, чего именно, и сообразил только много лет спустя, когда случайно прочел письмо одного из наших лучших писателей к моему другу; писатель признался, что лично его в польской литературе о войне раздражает отсутствие чувства зависти. Вот тогда я понял, чего мне не хватает у Боровского: чувства зависти в душе человека, которого бьют. И признания в том, что избиваемый предпочел бы быть бьющим. И желания битого самому бить других; об этом должны мечтать и хорошие битые, и плохие. Пятитомник Боровского просто необходимо прочесть всякому, кто в Польше пытается стать писателем; Боровский начинает как ангел гнева, а кончает как доносчик. Начинает со стремления показать правду, и только правду; заканчивает, называя фашистом, мерзавцем и певцом атомной бомбы и бактериологических войн Фолкнера, чьих книг скорее всего не читал,— того самого Фолкнера, главная тема которого — любовь к ближнему.

В тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году в Оборах состоялся Съезд молодых писателей, на который поехал и я. Что там происходило, помню смутно: кажется, опять без конца говорили о типическом в литературе; мы с моим приятелем Бернштейном в основном спали, причем по очереди: пять минут — он и пять минут — я, и будили друг друга. Со стороны все выглядело вполне пристойно; один, закрыв лицо ладонями, погружен в глубокую задумчивость; второй сидит неподвижно с вытаращенными глазами — как сруший кот, по выражению Швейка. Затем мы менялись: разбуженный начинал таращить глаза, а второй прятал лицо в ладонях. По окончании заседаний мы с Бернштейном отправлялись предаваться ночным утехам.

Была там девушка, фамилию которой я забыл; помню только, что она была потрясающе хороша собой. Однажды она прочитала нам отрывок из своего романа о сотрудниках госбезопасности. Герои романа посредством долгих задушевных бесед убеждали вверенных их попечению заключенных, что те поступали неправильно, и заключенные с рыданьями бросались им на грудь, выражая раскаяние и обещая исправиться. Вот и все, что осталось у меня в памяти от того съезда; на чтении присутствовало много комми, но даже они смущенно помалкивали, а я, глядя на прелестное личико автора, думал: «Почему бы ей не быть просто шлюхой? Почему она должна еще и писать?»

Потом мы с Бернштейном поехали на Мазуры. Эдвард был красив, как молодой бог; читая «Бесов», я всегда его вспоминаю. Сам я всю

---

[1] Тадеуш Боровский (1922—1951) — польский писатель, автор рассказов, в которых безжалостно обнажена деградация человеческой личности в гитлеровских концлагерях; покончил с собой, не выдержав столкновения с политической действительностью послевоенной Польши, к которой пытался приспособиться, приняв коммунистические идеи.

жизнь заводился с пол-оборота, он же в любых обстоятельствах сохранял пугающее спокойствие. Кроме того, обладая огромной физической силой, Эдвард был непобедим в драках; когда-то он занимался боксом. Если дело доходило до рукоприкладства, мой друг старательно, как фотограф, усаживающий перед аппаратом модель, выбирал себе противника и, выбрав, бил его в челюсть; повторять удар не приходилось — жертва мгновенно отключалась. Даже во время драки Бернштейн оставался абсолютно спокоен; у окружающих это вызывало страх. Помню, однажды в Ожише пьяный шпик, держа в левой руке пистолет, двинул меня в зубы; Эдвард, не обращая внимания на оружие, невозмутимо приблизился к нему и трахнул кулаком по черепу.

Эдвард был и остается моим лучшим другом. На Мазурах он пересказывал мне книги, о которых я, не зная тогда ни немецкого, ни английского, не имел представления. Мы жили в местности с живописным названием Остров роз в обществе четверых рыбаков, уволенных из «Дальмора» за пьянство и драки. У одного была жена и ребенок, которого он решил окрестить; по этому поводу счастливый отец приобрел великолепного поросенка и пообещал устроить пир. Мы все каждый день нетерпеливо проверяли, прибавляет ли поросенок в весе соответственно нашим аппетитам. В то время с мясом было трудно; мы с Эдвардом кормились угрями, которых мой приятель умел отменно готовить. Днем мы бродили по острову или пытались писать; вечера проводили очень весело, так как ребята из «Дальмора» продукции государственной винно-водочной монополии уделяли не меньше внимания, чем поросенку.

Не помню уже, кому из нас — то ли мне, то ли Эдварду — пришла в голову идея пригласить на крестины Вильгельма Маха; так или иначе, Мах написал, что приедет, и действительно явился на рассвете рокового — как пишут в романах — дня. Он лег отсыпаться после бессонной ночи, мы же все занялись поросенком, которому я в это самое утро страшным ударом ножа оборвал жизнь. Ребята из «Дальмора» здорово волновались; их ждали пьянка и женщины, общества которых они были лишены уже не первый месяц. Тут необходимо добавить, что до ближайшего города было около двадцати километров и, естественно, излюбленной темой наших вечерних бесед и песен была женская подлость и коварство. Наконец прибыли гости и среди них, правда всего одна, зато очень красивая девушка; ее усадили по правую руку от Вильгельма Маха, которому — вероятно, из-за его почтенной наружности — бузотеры из «Дальмора» присвоили титул профессора. Следует пояснить, что Мах женщинами особо не интересовался, зато у него были сильно развиты родственные чувства; я имею в виду его «племянников». Во время пиршества на лице у Маха то и дело появлялись гримасы страха и отвращения, и я догадался, что молодая дама активно проявляет к нему интерес. Заметили это и дальморские бузотеры, возлагавшие на даму большие надежды и загодя предвкушавшие удовольствие; я услышал, что в репликах, которыми они обменивались, мелькает тема расправы с «профессором». И действительно, около полуночи началась всеобщая драка. Мы с Вильгельмом заперлись на чердаке, а дальморцы, вооруженные ножами для потрошения рыб, носились по всему Острову роз. Не знаю, что бы с нами было, если б не Бернштейн, который поначалу сохранял доброжелательный нейтралитет, но когда вопли дерущихся стали мешать его — как гениально сказал поэт — сладостному отдыху, пробудился ото сна и с благородной непринужденностью раскидал всех до единого. Назавтра перепуганный и постаревший на двадцать лет Мах покинул Остров роз.

Потом я вернулся в Варшаву и потерял Эдварда из виду. Некоторое время спустя решил его разыскать, но Бернштейн, находясь, как и я, в состоянии перманентного конфликта с правоохранительными органами, постоянного адреса не имел, что затрудняло поиски. Однажды я встретил приятеля, который только что закончил киношколу и вступил

в законный брак; он тоже был знаком с Эдвардом. Мы сидели на террасе кафе, где приятель условился встретиться с женой; выслушав меня, он сказал:

— Да его отыскать проще простого. Если услышишь от какой-нибудь дамы, что она прочла «Бесов» и пришла в восторг, значит, перед тобой подружка Эдварда. Через нее и узнаешь адрес.

Несколькими минутами позже к нам присоединилась жена приятеля. Не успел он нас познакомить, как юная особа сказала:

— Я сейчас читаю «Бесов». Каково ваше мнение?

Я увидел, что лицо моего друга покрывается смертельной бледностью, и, поспешно расплатившись, ушел. Его идея была простой, но трудноосуществимой: круг почитательниц Достоевского оказался чересчур широк, и я не сумел напасть на след Бернштейна.

Тем временем меня опять навестили мои опекуны. Тщетно я им втолковывал, что живу один, донос могу написать только на самого себя и охотно готов это сделать. Опекуны выслушали мою речь и, сказав: «Ой, смотри, как бы мы не рассердились»,— ушли. По сей день помню их унылые физиономии и запах прорезиненных плащей. Дня через два, возвращаясь домой, я снова увидел их, и песня замерла у меня на устах. Я отправился к одному из своих приятелей и, выложив ему все, попросил разрешения пожить несколько дней у него — авось что-нибудь вместе придумаем. Он согласился, его жена тоже не возражала. Он заварил чай, а она куда-то ушла. Я сидел напротив него и видел, как по его лицу катятся крупные капли пота. Внезапно он встал, взял меня за руку и вывел в коридор. Там он сказал, что жена пошла в милицию, и посоветовал поскорей уносить ноги. Я ответил, что слишком устал и убегать не намерен; пусть приходят, пусть забирают и пусть делают со мной что хотят. Тогда он постучал в соседнюю квартиру, впихнул меня туда и сказал какой-то заспанной девице: «Спрячь его. За ним охотится милиция». И исчез; живущая в одиночестве соседка оказалась студенткой; по ночам под окошко к ней являлся жених, и начинались переговоры, затягивавшиеся до рассвета. Жених приезжал на мотоцикле и, не слезая с сиденья и не выключая мотора, произносил длинные речи в классической манере, явно подражая Цицерону. То есть начинал с наиболее веских аргументов: любви и страсти, потом переходил на общечеловеческие темы, в чем, прямо скажем, был не очень силен, и снова возвращался к любви; затем, на заре, взывал к совести возлюбленной и заканчивал тем, с чего начинал,— любовью и страстью. При этом он время от времени запускал на полную мощность мотор: мотор был старый и глох. К оратору присоединялись разбуженные ревом мотора соседи; одни давали ему добрые советы, другие предостерегали от женщин, третьи ругали последними словами и угрожали милицией; некоторые язвительно комментировали происходящее и сообщали жениху, как бы поступили на его месте. Постепенно в это драматическое действо вовлекался весь дом; время от времени появлялись милиционеры, вызванные кем-нибудь из неспособных проникнуться трагизмом ситуации и желающих уснуть зрителей; жениха прогоняли, но на следующую ночь он возвращался. Так продолжалось довольно долго.

Наш жених со временем начал наводить на меня ужас — не меньший, чем мои унылые опекуны в пахнущих резиной плащах. Закончилась эта история, впрочем, так, как и должна была закончиться: жених по пьянке сверзился вместе со своим верным стальным рысаком с моста и, переломав руки и ноги, из темпераментного юноши превратился в жалкого инвалида. И в этом не было бы ничего страшного, если б я в свою очередь не стал потенциальным кандидатом в женихи — в результате так называемого естественного отбора. Тут я прошептал должное количество сокровенных слов и удалился в одному мне известном направлении.

Я понимал, что продолжать и дальше водить своих опекунов за нос не смогу, и содрогался при мысли, что они внимательно изучат мои доносы и не ограничатся исключительно анализом стиля. Поэтому я по-

шел к одному из моих пишущих знакомых, который, как мне было известно, когда-то работал в армейской информационной службе, и поделился с ним своими проблемами. Он от души посмеялся и обещал мне помочь. При этом он сказал:

— Не горюй, сынок. Говорят, юный Адась Мицкевич тоже писал доносы. Дэниэл Дефо был агентом полиции. То же самое рассказывают о Крашевском и даже о Боровском. Так что можешь смело продолжать в том же духе. Но если не хочешь, я тебе помогу.

Больше я их никогда не видел; в памяти остались лишь унылые физиономии и запах прорезиненных плащей, а также — по ассоциации — рев мотоцикла с вечера до зари. Не уверен, благородно ли я поступаю, описывая своих опекунов столь поверхностно и без тени симпатии, ведь они пробудили во мне творческое начало; порой, когда я сочинял доносы, воображение мое разыгрывалось, и я вкладывал в уста своих жертв собственные высказывания, следя при этом, чтобы каждый говорил своим языком и не повторял чужих фраз. В литературе я не считаю это необходимым; в литературе главное — полет фантазии и абсурд; хорошо, если герои говорят одинаково, цитируют друг друга и без конца талдычат одно и то же. Полицейский же донос, напротив, требует чисто классических формы и стиля, а также некоторой изысканности, каковая у начинающего писателя, возможно, и хороша, но у настоящего мастера раздражает. Работая в жанре полицейского доноса, всегда актуального в польской литературе, надлежит заботиться о том, чтобы каждый из описываемых лиц мог немудреными, только для него характерными высказываниями заслужить несколько лет лагерей строгого режима. Но и квиетизма следует избегать, чтобы не вызвать подозрений у полицейского начальства. Иногда полезно вставлять топорные и тяжеловесные, по-мужски грубые фразы — это, если дело тянет на большие сроки с лишением права курить. Пустяковые случаи — скажем, до двух лет тюрьмы — можно описывать в фельетонной манере, цитируя анекдоты и снабжая их собственными комментариями, но не забывая, что злоупотребление авторским текстом обедняет образ персонажа. Руководствуясь вышеизложенным, я написал несколько сот доносов, всякий раз радуясь, что я, вероятно, единственный в мире осведомитель à rebours. Сейчас, вспоминая своих опекунов, я начинаю испытывать к ним нечто вроде благодарности: они появились в моей жизни, когда я еще и не помышлял заниматься бумагомаранием, и, если б не их недвусмысленные заманчивые обещания показать мне небо в крупную клетку, наверняка бы — я вместо того чтоб писать — подрывал здоровье в кабаках, рассказывая случайным друзьям и подругам историю своей загубленной жизни. Думаю, именно тогда — в силу необходимости, впоследствии превратившейся в потребность,— я полюбил немногословную и емкую форму. Это единственная польза, которую я извлек из своей секретной службы. За один день можно сменить тысячу полицейских и тысячу арестантов загнать за тысячу километров. Хуже, если в твоей жизни наступит период в тысячу дней, когда ты не сумеешь написать ни строчки. Если то, что я сочинил, позволяет давать рекомендации молодым, я б им сказал: каждый из вас должен какое-то время послужить тайной полиции, чтобы выработать стиль и научиться ясно мыслить. Книги надо писать, как доносы, помня, что непрофессионально написанный донос может в первую очередь погубить тебя самого.

От опекунов я избавился, однако ни денег, ни жилья по-прежнему не имел. От отчаяния пошел в «Штандар млодых» к Юзеку Ленарту и попросил его заказать мне репортаж; получив от Ленарта аванс, я поехал куда-то под Вроцлав разыскивать молодую врачиху, которую год назад распределили в деревню; мне поручили описать ее жизнь и оптимистическое мироощущение. Найдя нужную деревню, я принялся расспрашивать о пани доктор; к моему удивлению, местные жители, к которым я обращался, все до единого отвечали крайне странно, глядели на меня диким взором и вообще вели себя как Офелия в сцене безумия. Наконец

объявилась врачиха. Я спросил, что с этими людьми, почему они смахивают на лунатиков. Юная докторша объяснила, что деревня заселена крестьянами из-за Буга, которые не сумели прижиться на чужбине и, снедаемые тоской по родной земле, впали в прострацию. Такое объяснение, хоть и подкрепленное историческими и психологическими мотивами, показалось мне далеким от истины. В конце концов, выпив с пани доктор немалую толику медицинского спирта, я добился правды: это была деревня морфинистов. Врачихе, зарабатывавшей гроши, на которые невозможно было прожить, пришла в голову гениальная в своей простоте идея: она приучила пациентов к морфию, и те платили ей мзду за каждую порцию наркотика, без которого уже не могли обойтись. Я спросил, что она станет делать, если ее идеей заинтересуется прокурор. Докторша ответила, что ей все опостылело и, если она узнает о грозящем аресте, большая доза морфия вкупе с барбитуратами в два счета перенесет ее за грань, отделяющую жизнь от смерти. Ничего с моим репортажем не получилось.

Следующая моя попытка преуспеть на этом поле деятельности тоже весьма странным образом провалилась. Меня послали в одно из государственных земледельческих хозяйств, где землепашцы основали любительский театр; душой этого театра была жена директора госхоза. Я поехал туда в субботу; в воскресенье должна была состояться премьера пьесы кого-то из наших классиков соцреализма. Содержания пьесы не помню; кажется, речь шла о конфликте двух трудяг: один работал на сверлильном станке, второй — на токарном; во всем этом таилась мысль о борьбе поколений. Никакие иные подробности в памяти не сохранились.

В госхоз я приехал вечером; директор мгновенно сообразил, что есть возможность угостить столичного гостя, и повел меня к герою-любовнику своего театра. Любовник как раз занимался приготовлением колбас из свиньи, которую накануне вместе с директором украл и зарезал. Мы скоротали вечер за дружеской беседой о высоких материях, наперебой произнося тосты и дегустируя колбасы, и завалились спать. На следующий вечер все собрались в клубе. Опять же в честь гостя из Варшавы руководительница театрального коллектива велела местному тенору спеть что-нибудь перед началом спектакля. На сцену выбежал молодой человек и заревел: «Я люблю тебя, Сан-Ремо, белый город у моря...» Зрители — крестьяне в ватниках — от изумления вытаращили глаза; я же от души веселился. Затем начался спектакль; когда главный герой — персонаж благородный и экзальтированный — произносил длинную тираду, прославлявшую токарные станки, дружбу с Советским Союзом и т. п., на сцену влетел какой-то тип и с криком: «Будешь знать, как е... Ядьку» — вонзил в грудь героя нож. У них был какой-то конфликт на любовной почве. Репортаж не был написан.

Я вернулся в Варшаву. В это время у меня уже был договор с издательством «Искры». Директор «Искр», Целина Мильская, зная, что я постоянно нищенствую, послала меня к Владиславу Броневскому, чтоб вместе с ним составить сборник стихотворений, адресованных молодежному читателю. «Искры» выпускали книги для молодежного читателя. И в данном случае я сознательно не употребляю кавычек. Конечно, можно было написать: «молодому читателю». Но мне хочется сохранить язык того времени: странную смесь бытового жаргона, официальных коммюнике, языка партсобраний и уличного сленга. Я еще слишком молод и слишком мало значу, чтобы писать воспоминания. Я просто пишу о людях, которых знал и любил. Как я уже говорил, именно этим людям я хочу объяснить, почему не живу в Варшаве. Я им многим обязан; я не перестал их любить и забыть не могу. Хотя, быть может, напрасно; читая вчера ночью книгу Адольфа Рудницкого — одного из тех, кто мне помогал и которому я за многое благодарен,— я наткнулся на такую фразу: «Когда ровно два года назад один молодой человек из нашего круга уехал и в Париже принялся вешать на нас всех собак,

я спросил себя: Ему дадут больше денег, больше свободы, больше всего, но чем ему заменят среду? Откуда для него возьмут среду? И что он без среды станет делать?» Неужели речь шла обо мне? На кого же это я «вешал собак»? И даже если сказал, что хочу жить в такой стране, где братский порыв не оборачивается самоуничтожением, разве не о том же самом — и только о том — вопиют все книги Рудницкого? Или Рудницкий уже разучился думать?

Итак, я отправился к Владиславу Броневскому, который тогда жил на Мокотове. Броневский отказался обсуждать состав сборника без предварительной заправки горючим; после напряженной внутренней борьбы я сдался. Странное дело: офицер легионов [1], беспартийный коммунист, узник наших раздражительных братьев, самый польский поэт, какого только можно вообразить, нуждался в коммунизме — но лишь по одной причине: он, Броневский, обожал о нем писать. Остальное его не интересовало, и в корыстных расчетах поэта никак нельзя было упрекнуть. При этом Броневский, как всякий уважающий себя шляхтич, бывал дерзок с властями; он сам мне рассказывал, как Берут однажды пригласил его в Бельведер и, взявши под руку, повел в сад, где внезапно сказал: «Товарищ Броневский, пора бы вам написать новый национальный гимн». Броневский послал его ко всем чертям, после чего сочинил стихотворение, в котором писал, что кланяется советской революции по-польски, в пояс.

Я уже плохо помню свое пребывание в доме Броневского, но один трагический эпизод никогда не забуду. Однажды Броневский решил бросить пить и засел за новые стихи; вначале дело у него пошло неплохо. Примерно через час позвонил кто-то из знакомых и поинтересовался, что слышно; Броневский сказал, что взялся за работу и надеется месяц-другой основательно потрудиться. На свою беду, он сообщил, что не пьет; собеседник поздравил его, и на том разговор окончился; Броневский снова сел за письменный стол. Через пятнадцать минут опять раздался звонок; некто, узнавший от предыдущего собеседника поэта, что тот бросил пить, позвонил, чтоб его поздравить и попросить не отступаться от принятого решения; Броневский его поблагодарил и снова принялся за работу. Спустя десять минут новый звонок; новое предостережение и благодарность Броневского. На восьмой раз позвонил товарищ Якуб [2]; Броневский, бледный и трясущийся, пришел ко мне и сказал: «Беги за водкой». После чего рассказал, что в день смерти единственной любимой дочери его прямо с кладбища увезли в Вонещь, в лечебницу для алкоголиков — по распоряжению ЦК.

Нет лучше способа вогнать завязавшего алкоголика в запой, чем напоминать, что его ждет, если он снова начнет пить; знай об этом доброжелатели, они бы, возможно, воздержались от своих проклятых советов. Люди никак не поймут, что чувству благодарности сопутствует страшная ненависть. Я бы этого не написал, если б мне самому не отравили полжизни предостережениями и вмешательством в мои дела.

Итак, у Броневского начался запой, затянувшийся на много дней. Странный он был алкоголик; мог быть вдребезину пьян и едва держаться на ногах, но стоило мне начать декламировать, например, «Милую улицу» и перепутать хотя бы одно слово, немедленно меня поправлял, причем довольно-таки резко. Мне жаль Броневского; люди его замучили; мучили, наверное, всю жизнь. Он был чудак; капитан легионеров, кавалер ордена Виртути Милитари, гордился, что получил этот орден за борьбу с большевиками, которым кланялся в пояс. Узник сталинских тюрем, он, поинтересовавшись однажды моим мнением о Сталине и услышав в ответ, что мне трудно что-либо сказать, так как я боюсь бандитов, от которых некуда убежать,— пришел в ярость, что едва не

---

[1] Польские легионы — добровольческие воинские формирования, созданные для борьбы за восстановление независимости Польши (1914—1917); Броневский служил в легионах, а в 1920 году принимал участие в войне с Советской Россией.

[2] Вероятно, тогдашний руководитель госбезопасности Якуб Берман.

окончилось для меня трагически, о чем ниже. Неважно было, что Зютек Солнышко угробил сколько-то там миллионов и выстроил величайший в мире концлагерь, неважно было, что сам поэт сидел в советской тюрьме,— его возмутило, что я оскорбил человека, в честь которого он, Владислав Броневский, писал стихи. Дрожа от бешенства, он побежал наверх; через минуту вниз скатилась перепуганная домработница и посоветовала мне немедленно убираться, потому что пан Броневский пьян и звонит в Управление безопасности. Я схватил пальто и опрометью помчался куда глаза глядят.

После 1956 года этому, уже старому и больному человеку, хватило мужества подойти ко мне, сопляку, и сказать, что он просит у меня прощения. Не извиняется, а просит прощения. Мне стало неловко; мы пошли выпить по рюмочке, и опять Броневский вправлял мне мозги, пока мы оба не впали в беспамятство и не уснули на одной постели, причем я спал, прижавшись к нему, как щенок. Я часто о нем думаю; я думал о нем, когда читал замечательное эссе Милоша о Галчинском. Неужели и Броневский был придворным поэтом? Мерошевский написал, что Броневский представления не имел о марксизме, диалектике, экономике и политике. Коммунизм зачаровывал его своей живописностью — мчавшиеся на него в двадцатом году орды Тухачевского, печи Магнитогорска, электростанции на Волге, Беломорканал, на строительстве которого полегло неведомо сколько тысяч; сибирские батальоны, идущие на выручку Москве, военные речи генералиссимуса Сталина, когда тот своим хрипловатым голосом призывал советский народ к священной войне за родину,— вот такой коммунизм увлекал Броневского. До всего прочего ему не было дела; он даже простил коммунистам свое пребывание в тюрьме, поскольку мог писать о коммунизме стихи. По счастью, ночные звонки Броневского никто не воспринимал всерьез; иначе для меня это могло бы кончиться весьма печально.

Но ведь если разобраться — я такой же поляк, как он. Думать о нем иначе как хорошо я не смогу; перестать читать его стихи не смогу; и любить их тоже не перестану. А думая о Броневском, я всегда вспоминаю гениальную сцену смерти из «Войны и мира», когда один человек умирает, а другой спрашивает: «Где он теперь?» Я тоже себя спрашиваю: где он теперь? Где этот коммунист, ненавидевший партию; этот большевик, получивший орден за доблесть, проявленную в войне с другими большевиками; этот сталинский узник, который хотел посадить человека за то, что тот оскорбил его мучителя; этот великий несчастный поэт и добрый человек — где он теперь? Существует ли для нас, людей, такое место, где — как в известной негритянской песне — встретимся мы все: чистые, добрые, не таящие гнева? А если встретимся, то о чем Владислав Броневский будет писать и во что верить?

Репортер самой смелой польской газеты

Не помню уж, как я прибился к группе «По просту». Стараясь сегодня понять, каким образом я стал сотрудником этой газеты и как вообще туда попал, я нахожу лишь одно логическое объяснение. На первом этаже здания, в котором помещалась редакция самого смелого по тем временам польского еженедельника, был бар «Йонтек». Вероятно, однажды я ошибся и случайно зашел в редакцию «По просту», чтобы заказать большую рюмку водки и селедочку по-японски. Решительно не понимаю, почему меня сразу же без лишних слов оттуда не выгнали. Правда, это случилось несколькими месяцами позже, так что композиционный замысел моей судьбы сохранился.

Бар «Йонтек» особой популярностью не пользовался: в то время было принято ходить в «Камеральный». Этот безукоризненно спланированный ресторан состоял из трех залов: первый дневной «Камеральный», второй дневной «Камеральный» и ночной «Камеральный». Гениальность

гастрономически-архитектурного решения заключалась в том, что пить можно было начинать во втором «Камеральном» уже с раннего утра; затем вы могли пообедать в первом «Камеральном», просидеть там за рюмкой до вечера, пока не открывался ночной зал, и уж там в приятной компании гудеть до рассвета. Дневные залы доступны были любой шантрапе; в ночном же «Камеральном» соблюдался строгий этикет — туда пускали только при наличии галстука и пиджака. Перед тем клиент мог сутки проваляться на свалке — это никого не смущало, лишь бы он был при галстуке. Поскольку постоянного жилья у меня тогда не было, а отдельные части своего гардероба я вечно терял в результате стычек с другими жителями столицы, мне пришла в голову гениальная в своей простоте идея: я приобрел в универмаге вельветовый пиджак и галстук и хранил их в гардеробе ночного «Камерального». Благодаря этому по прибытии в ресторан я мгновенно превращался из грязного оборванца в подающего надежды интеллигентного юношу и точно на крыльях влетал в зал.

О соблюдении порядка и норм общественного поведения пеклись гардеробщики и метрдотель. Помню, как-то после жуткой драки, когда порядок был уже восстановлен и с паркета сметены выбитые зубы, во второй зал вошел метрдотель и, патетически воздев десницу, воскликнул: «Господа! Всеобщий мир и спокойствие», после чего сарматы продолжили веселье. Если кому-нибудь случалось развеселиться сверх меры и требовалось вмешательство милиции, бузотеру запрещали некоторое время показываться в «Камеральном»; срок устанавливался совместно метрдотелем и гардеробщиками; наказание считалось исключительно суровым. Однажды, зайдя в «Камеру», я увидел такую картину: два моих приятеля, Анджей Роман и Павел Минкевич, тащили через зал к бару чье-то бесчувственное тело, крича: «Посторонись, мы несем кассу». «Кассой» оказался преждевременно вырубившийся Юрек Цукровский; господа Роман и Минкевич волокли его в бар, так как правила хорошего тона не позволяли рыться в карманах опрометчиво посулившего за них заплатить собутыльника. Другой мой приятель, многообещающий алкоголик Войцех Фрыковский, как-то разгневался на нерасторопного официанта и, чтобы вывести из спячки, запустил в него огурцом, но, поскольку градус, под которым находился Фрыковский, исключал точность попадания, огурец угодил в бармена, почтенного старца в очках, а затем, отскочив от очков, попал в клиента, в одиночестве отравлявшего свой организм у стойки бара; последний, не дожидаясь объяснений, саданул бармена по черепу, что послужило сигналом к общей драке под лозунгом: «Все против всех». Я как раз был в гардеробе, когда туда влетел бармен.

— Три рации с «бананами»! — крикнул он гардеробщику.

Гардеробщик бросился в зал и обвел дерущихся взглядом профессионала.

— Двух с «бананами» хватит,— заявил он, вернувшись в раздевалку, и стал звонить в милицию.

Заинтересовавшись специальной, прежде незнакомой мне терминологией, я обратился к гардеробщику за разъяснениями, которые незамедлительно получил. Так вот: степень «разогрева» клиентов исчислялась в милицейских радиофицированных автомобилях, а что такое «банан», нетрудно догадаться. При небольшой драке вызывали одну машину; при более серьезной — две; верхний предел еще не установлен и может послужить объектом глубокого научного исследования.

Самым симпатичным из гардеробщиков был пан Метек — устрашающей наружности великан, который никогда не бил клиентов по голове и не раздавал зуботычин, а лишь сгонял всех в кучу и с силой торнадо выбрасывал за порог, так что несчастные прилипали к ограде на противоположной стороне улицы Фоксаль — ранее улицы Югославской Молодежи, а еще раньше — Перацкого. Другие гардеробщики вышвыривали вслед за клиентами их пальто, шляпы и трости, а также прочие атрибуты

мужской элегантности, посылая вдогонку пожелания доброй ночи или приговаривая: «Вы уже устали, пан редактор».

Судьба обошлась с паном Метеком незаслуженно жестоко. Помню, я возвращался с похорон президента Польской Народной Республики Болеслава Берута. Зрелище было впечатляющее. Товарища Томаша везли с аэродрома Окенче, и вдоль всей трассы собрались толпы людей, жаждавших в последний раз поглазеть на любимого Хозяина и великого Мыслителя. На улицах, разумеется, был жуткий бардак, и гроб с телом застрял где-то на полпути. Пьяные настойчиво интересовались: «Покойник еще не проезжал?» Или: «Что там с телом? Не остыло, что ль?» Другие их успокаивали: «Стынет, стынет». Наконец покойник проехал, и безутешные граждане разошлись по домам. Тут мне и повстречался пан Метек. Вид у него был подавленный. Я выразил ему свои соболезнования; он мне — свои. Я спросил, не объясняется ли печаль на его лице тем, что многоуважаемый товарищ Томаш почил в бозе; оказалось, однако, что у пана Метека есть и другие основания для скорби: его выгнали из «Камеры».

— Чересчур я был с вами добр,— добавил бедняга.

И в доказательство поведал, что, немного рассердившись, стукнул одного настырного клиента ключом по башке; клиента отвезли в больницу, где на его голове обнаружили двенадцать рваных ран. На дверях ночной «Камеры», надо сказать, висел огромный кованый замок, что же касается ключа, рекомендую вспомнить Святого Петра, который, как нам известно по легендам и картинам, держит в руке громадных размеров французский ключ, вроде тех, какими пользуются сантехники; правда, религиозные фанатики его называют «ключом от Царствия Небесного».

«Камеру» в свое время описал Польдек Тырманд [1], и ничего больше добавлять не стоит. Я провел там много прекрасных дней и ночей; долгие годы я искал подобное заведение по всему свету и не мог найти. В Яффе, например, был ресторан, где царила полная темнота и куда мужчин впускали только в сопровождении дам; напрасно я втолковывал швейцару, что одинок и моя эротическая практика сводится к робким попыткам онанизма, заканчивающимся полным фиаско. Меня не впустили. В немецких ночных кабаках чертовски скучно; в Цюрихе есть только один ночной ресторан, который в двенадцать часов закрывается. Наконец после многолетних стараний мне удалось заполнить мучительную пустоту: в Париже на rue de l'Odessa [2] я открыл заведение под названием «La Bohème» [3]. Не успел я туда войти, впервые в жизни трезвый как стеклышко, и, одержимый желанием поскорей напиться до бесчувствия, направиться к бару, как мне дал кулаком в зубы какой-то пьяный ирландец, принявший меня за своего брата-близнеца, с которым он перед тем повздорил. В этом не было бы ничего странного, если б не одна деталь: я — худой шатен с меланхолическим взглядом, а ирландец был рыжий, маленький и толстый. Владелец ресторана Тони объяснил мне, что произошло недоразумение, и посоветовал не обращать внимания. Это удивительное заведение: когда я последний раз ввалился туда, весь залитый кровью, мой вид никого не шокировал: меня просто отвели на кухню и дали наркоз в виде доброго глотка «Tony Special» — напитка, представляющего собой смесь чистого спирта с сухим мартини. Затем официант Джек, к моему величайшему изумлению, извлек откуда-то огромную коробку с ланцетами, ножницами, скобками и нитками для швов. С профессиональной ловкостью омыв руки водкой, которую он потом налил обратно в бутылку, Джек зашил мои раны, наложил кое-где скобки, а затем скучным голосом велел прийти через шесть дней —

---

[1] Леопольд Тырманд (1920—1985) — польский писатель, автор нашумевшего в свое время детективного романа «Злой», вышедшего на русском языке в издательстве «Радуга»; в 1965 году эмигрировал на Запад.

[2] Улица Одессы *(франц.)*.

[3] «Богема» *(франц.)*.

снимать швы. Я хотел спросить, где он приобрел медицинские познания, но не успел: в кухню внесли человека с ножом в ляжке, и Джек живо принялся за дело.

Ресторан посещали в основном американские солдаты, доходы которых не соответствовали их аппетитам. Тони изобрел оригинальный способ контроля: каждому заплатившему за вход ставилась на лапу печать. Но и это не очень-то помогало: чернокожие хитрецы, чтоб погулять «на халяву», по два-три дня не мыли рук; тогда Тони заказал несколько дюжин фосфоресцирующих штемпелей, отпечатки которых можно было увидеть только в свете люминесцентной лампы, и менял их каждый вечер. С тех пор всякий гость на пороге зала попадал в объятия громадного негра, подносившего его руку к вышеупомянутой лампе: если штамп оказывался действительным, клиента впускали; если нет — негр вышвыривал его пинком в зад. Будь сейчас жив наш великий поэт Мицкевич, ему было б над чем поразмыслить на парижских мостовых: скорее всего, он бы просто носился целый день по городу в надежде раздобыть пару грошей, чтобы провести упоительный вечер в «La Bohème».

Впервые редакция «По просту» заказала мне репортаж, когда я еще не состоял в штате, а жил «на вольных хлебах». Меня послали в Люблин: двое подростков из местного интерната убили и ограбили своего воспитателя, забрав у него вещей на сумму около трехсот злотых. Оба были несовершеннолетние; к ним нельзя было применить высшую меру. Я просмотрел материалы дела: ребята дисциплину не нарушали, учились неплохо и, пользуясь расположением воспитателя, свободно заходили к нему по вечерам — старый человек полюбил этих мальчишек. Необходимо добавить, что он не был педерастом, просто одинокому старику приятно было проводить время со своими питомцами. Беседуя с защитником подростков, я специально поинтересовался, не было ли там шантажа на почве гомосексуализма; нет, заявил адвокат, однозначно установлено, что воспитатель — человек совершенно нормальный — в прошлом в гомосексуальных связях не замечался. Оба подростка показали, что он никогда не пытался с ними сблизиться в мочеполовом смысле (гениальное определение великого Веха [1]); они даже толком не знали, что такое гомосексуализм, и никак не могли сформулировать, в чем состоят эротические отношения мужчины с мужчиной.

На вопрос следователя, как они собирались потратить украденные деньги, оба заявили, что заранее об этом не думали. Им захотелось совершить некий поступок, в детективных романах именуемый «идеальным убийством». На повторный вопрос следователя, для чего им понадобились деньги, ребята ответили, что хотели пойти в кино и выпить две бутылки отечественного вина. На вопрос, не лучше ли было, зная о хорошем отношении к ним воспитателя, просто попросить у него денег, оба ответили, что им это не пришло в голову. Больше никаких материалов я не получил: по неизвестной причине мне не выдали протокола очной ставки. Но показания каждого из ребят я видел, и меня поразил именно этот пункт: почему, зная, как воспитатель к ним относится, они не обратились к нему с просьбой, а убили?

Защитник — человек чрезвычайно занятой — не смог мне уделить много времени. Я позвонил знакомому юристу, молодому и толковому; мы встретились в кафе на Краковском Пшедместье. Я спросил: почему они убили? Почему не попросили денег? Он ответил, что как юрист может только сказать, виновны они или невиновны. Но добавил, профессия юриста, и в особенности адвоката, уже много лет — чистая фикция, разве что попадется бракоразводное дело. Раз подростки убили своего воспитателя, а не обратились к нему с просьбой, значит, в них прочно укоренилось представление о всесилии зла; любовь и доброта одинокого человека не смогли заслонить запечатлевшейся в их умах

[1] Стефан Вехицкий (1896—1979) — польский писатель, автор популярных книг, в которых он запечатлел язык и нравы жителей варшавских предместий.

картины коррупции, политических убийств, советской оккупации, пьянства, воровства, проституции, разврата. Весы Фемиды выверяются с помощью поддельных гирь, какими пользуются смекалистые продавцы из городской розничной торговли. И еще одно сказал мне юрист: мы не можем требовать от молодых людей высокой нравственности, потому что не учили их мыслить, а лишь вдалбливали, *как* надо мыслить. Мы обещали им повышение жизненного уровня — а они видят растущее обнищание народа. Обещали соблюдение законности — а сами осудили епископа Качмарека, в невиновности которого никто в Польше не сомневается. Обещали свободу слова и мысли — а продемонстрировали советские танки, вошедшие в Берлин, когда доведенные до отчаяния немцы выступили в свою защиту. Почему же мы должны требовать от них веры в любовь отдельного, одинокого и бескорыстного, человека? Нелегко быть праведником в Гоморре.

Я спросил у юриста: будь он их защитником — коснулся ли бы в своей речи на суде того, о чем сказал мне? «Разумеется,— ответил он,— но только в одном случае».— «В каком?» — задал я дурацкий вопрос. «Если бы дело рассматривалось международным судом в Гааге».

Два года спустя бестселлером в Польше стала книга Леопольда Тырманда «Злой». Тырманд, точно воспроизведя атмосферу варшавских улиц, притонов и кабаков, погубил свою книжку, героизировав понятие преступления в Польше. Персонажи его романа стреляют друг в друга из пистолетов, устраивают гонки с преследованием на автомобилях, объединяются в банды, создают тайную организацию и так далее. У Тырманда они — преступники высокого класса, на самом же деле польская преступность на такой класс не тянет. Убийство из-за какой-то сотни злотых; пьяная драка за место в очереди перед кинотеатром; кража пары ботинок; мелкие хищения в государственной торговле — судите сами, каков он, уровень нашей преступности. Со временем, правда, ситуация несколько изменилась к лучшему: я имею в виду высокопрофессиональные аферы — «мясную», «кожевенную» и «текстильную». Но что поделаешь: любимый актер Тырманда — Хамфри Богарт. Как и мой.

Я вернулся в Варшаву и попытался написать репортаж. Две трети из него выбросили. Сокращал репортаж Лясота. Сейчас, когда я это пишу, Лясота уже не главный редактор «По просту» и не депутат сейма Польской Народной Республики. Он всего боялся — гораздо больше, чем любой другой сотрудник редакции. Его неожиданно избрали в сейм; он стал самым популярным — после Дымши — человеком в Польше; пользовался поддержкой студенческой молодежи; но он был трус. Газету делала Ханка Братковская; жалкий листок, каким был «По просту» к концу пятьдесят пятого года, она превратила в самую читаемую и любимую поляками газету. Когда я начал работать в «По просту» и выклянчил для своего отдела прозы у красавицы Миры Михаловской ее перевод одного из лучших рассказов Хемингуэя «Там, где чисто, светло», Лясота велел напечатать его на последней странице. Когда я написал рассказ «Первый шаг в облаках», Лясота выгнал меня ко всем чертям; я пошел к Вилеку Маху, и Мах всунул его в «Нову культуру». Сразу же после публикации на меня, как фурия, набросилась Братковская:

— Что ж ты, скотина, печатаешь свой лучший рассказ в «Культуре», а не в «По просту»! Почему?

— Там сидит твой непосредственный начальник, а мой главный редактор,— сказал я, указывая на дверь кабинета Лясоты.— Он тебе объяснит почему.

Братковская устроила Лясоте дикий скандал — к сожалению, без толку.

Еще один раз мне представился случай блеснуть в роли судебного хроникера — финал не отличался от прежних. Я поехал на суд над неким Владеком Мазуркевичем; Мазуркевич приглашал разных людей выпить с ним и покататься на автомобиле, однако не расставался с новыми

друзьями на рассвете, облобызавшись, а всаживал им пулю в затылок. Судебный процесс проходил весьма своеобразно: Мазуркевич — стукач и провокатор — работал на УБ, и свидетели не осмеливались рта раскрыть. Все знали, что пан Владек — убийца, но считали, что он действовал по указке своих начальников. (Нельзя забывать, что судили Мазуркевича еще до Октября [1].) Процесс был фарсом: свидетели боялись говорить; прокурор обходил острые углы; дряхлый адвокат выстраивал линию защиты, исходя из посылки, что его клиент — прирожденный убийца, патологическая личность с преступными наклонностями, и полностью игнорировал факт, что при всей своей якобы ненормальности тому хватало смекалки, чтобы присваивать принадлежавшие жертвам драгоценности; убитых он заливал бетоном у себя в гараже. Процесс был позорищем: запуганные свидетели молчали, а Мазуркевич прозрачно намекал на свое сотрудничество с УБ; подобное немыслимо в государстве, где полиция сохраняет хотя бы видимость приличий. Это был суд не над Мазуркевичем, а над всем городом.

Я написал статью «Процесс против города»; Лясота вышвырнул меня вон.

Могла ли «По просту» оставаться популярной, смелой и правдивой газетой? Не вижу необходимости отвечать на этот вопрос. Польша — оккупированная страна; думая о Польше, стараясь ей помочь, нельзя ни на минуту об этом забывать — если ты настоящий поляк, а не круглый идиот или тюремщик. Конечно же, «По просту» не могла сохранить лицо, и никак нельзя за это винить хороших и чистых людей, которые делали газету; которые целыми днями месили грязь на дорогах, открывая в провинции дискуссионные клубы; которые писали о молодых специалистах, загнанных в глухомань, и пытались вытащить их оттуда. В газете был прекрасно поставлен отдел корреспонденции с мест; и колесившие по бездорожью, голодные, отощавшие корреспонденты были лучшими из нас. Насколько помню, в нашей редакции было шестеро чахоточных — то есть каждый второй болел туберкулезом. Партия умело выжала из газеты все, что могла. «По просту» работала на партию; «По просту» пробуждала активность масс; «По просту» была первой газетой в Польше, опубликовавшей интервью с Владиславом Гомулкой; «По просту» боролась за Гомулку, и «По просту» Гомулкой была уничтожена.

Но, повторю еще раз, марксизм не помогает человеку набираться разума; марксистская диалектика не учит мыслить — она учит, *как* надо мыслить. Когда газета «По просту» начала мыслить самостоятельно, ее закрыли.

Однажды меня вызвали в военкомат и вручили повестку о призыве на срочную военную службу. Я пришел в редакцию и, поднявшись на третий этаж в машбюро, сел писать письмо знакомому режиссеру, сообщая, что, к сожалению, не смогу представить ему сценарий, поскольку, как поется в известной песне, «Дан приказ ему на запад...». В письме была фраза: «Польше менты нужны больше, чем журналисты». Имелось в виду следующее: призывники, выразившие желание служить в милиции, освобождались от срочной службы. Я писал это письмо, дрожа от ярости; написав, вытащил лист из машинки, не заметив, что по привычке заложил копирку; второй экземпляр я, как истинный польский конспиратор, оставил на столе.

Два часа спустя меня вызвал мрачный, как ночь, Лясота.

— Послушай, старик,— начал редактор самой смелой польской газеты.— Вынужден попросить тебя подать заявление об уходе.

— Почему?

Лясота трагическим жестом извлек из ящика и сунул мне под нос копию моего письма. Братковская, разумеется, тут же все уладила. Но кто принес эту копию Лясоте? Машинистки; двадцатилетние девчонки,

[1] Имеется в виду октябрь 1956 года — возвращение к власти Гомулки, начало польской «оттепели».

с которыми все наперебой флиртовали. Спрашивается: зачем этим людям независимость? Пускай до скончания века будут стражами братьев своих...

Написав это, я вспомнил историю, случившуюся со мной в Израиле. Мой приятель Ежи Бухбиндер-Пресс нашел для меня прекрасную работу — на стекольном заводе. Учтите, что на дворе была пятидесятиградусная жара, а в цеху стояла печь, нагретая до двух тысяч двухсот градусов Цельсия. Сущий ад; вдобавок работу мне давали только «черную», поскольку официального разрешения я не имел. Так вот, покуда мой друг Бухбиндер-Пресс сидел в кафе и, поглаживая свою окладистую бороду, обделывал дела, или — как говорят в Израиле — «таки крутился», я загружал в печь шестнадцать с половиной тонн сырья, беседуя за жизнь со своим мастером, господином Шапиро. На заводе все знали, что зовут меня не Йорам Бухбиндер-Пресс, а просто Хласковер,— решительно все, начиная с управляющего и кончая последним забулдыгой, выносившим из цеха мусор. Через несколько месяцев я нашел работу получше и пришел на завод, чтобы дружески со всеми попрощаться. К моему удивлению один из бывших коллег отказался пожать мне руку.

— Почему?

— Потому что ты шейгец [1], а не Йорам Бухбиндер-Пресс.

— У тебя было полгода времени,— сказал я.— Почему ты не заявил в полицию?

— Потому что, когда ты сюда пришел, я знал, что ты голодаешь и ищешь работу. Не подам я тебе руки, не жди. Будь проклят твой народ, и ты сам, и твоя земля.

Так себя ведут в Израиле евреи, которые две тысячи лет скитались по свету; которых били, мучили, унижали, прогнали через все тюрьмы и лагеря мира. Государство Израиль образовалось в тысяча девятьсот сорок восьмом году; во время битвы за Иерусалим солдат наказывали только одним способом: на короткое время убирали с передовой, и это была самая страшная кара для еврея, который сотни лет служил объектом насмешек и издевательств. Евреи умели воевать и если подставляли себя под пули, то лишь потому, что никогда не забывали, входя в дом, говорить: «Слушай, Израиль. Господь Бог наш — Господь единый, и земля у нас одна». И они обрели свою землю; и, если Бог и милосердие действительно существуют, никогда ее не потеряют. Каждый по-настоящему верующий человек должен носить на груди вместе с крестом звезду Давида, пока не будет уничтожен последний антисемит и пока тело его не обратится в прах, который со стыдом примет многострадальная земля.

Моя карьера в «По просту» закончилась. Работа перестала меня интересовать; я только приходил первого числа за зарплатой — и все же мне искренне жаль эту газету. Но ни капельки не жаль человека, который, едва «По просту» стала газетой молодой интеллигенции, настоял на публикации в качестве программы крылатых слов «Об интеллигенции», принадлежащих некоему россиянину, в докладе на XVIII съезде ВКП(б) разъяснившему нам, что интеллигенты тоже на свой лад люди. Российский мыслитель — Сталин; кто заставил нас опубликовать этот текст, необязательно уточнять. Вообще, писать надо как можно короче, ничего не разжевывая: когда в 1949 году мы с моим другом Ковалой переступили порог сапожной артели в Легнице, на вопрос директора: «Что вам угодно?» — Ковала с милой улыбкой ответил: «Выручку»,— и предъявил ТТ. Коротко и ясно.

Итак, я перестал работать в газете. Жилья у меня тогда еще не было, и мы с Генриком Березой или спали на Главном вокзале, или пользовались гостеприимством милицейских участков и вытрезвителей. Потом я обрел временное пристанище у другого приятеля, проживавшего с бабушкой. Приятель этот не брал в рот спиртного; зато отнюдь не считал

---

[1] Молодой нееврей *(идиш.)*.

грехом прелюбодеяние. Оставалось решить проблему: куда девать старушку-бабушку? Выход нашелся простой: бабке покупался билет в кино, куда-нибудь на Охоту, а жили мы на Повислье. Фильм два часа, на трамвае туда-обратно три часа, итого — пять; за это время можно много чего успеть. Вскоре бабка приятеля начала изъясняться языком героев вестернов. Например, она заявляла: «Ты, Марек, когда говоришь со мной, не держи руки в карманах, не то схлопочешь». Если к нам заходил общий знакомый и собирался поздороваться со старушкой, она говорила: «Я никогда не подаю руки левше. Это не раз спасало мне жизнь». Или: «Не возникай, Марк. Помни, ты приехал во Фриско отдохнуть и подлечиться». И все шло прекрасно, но однажды мой друг-эротоман перестарался. На другом конце города демонстрировался двухсерийный советский фильм «Адмирал Ушаков». Четыре часа в кино плюс три часа на трамвае — что могло быть лучше! Однако, едва девушки согласились отдать нам самое святое, что у них было, вернулась бабка.

— Безобразие! — заорала она с порога.— Хамство! Издевательство! Это недопустимо! Позор!

Возмутили ее вовсе не полураздетые девы, как мы было подумали; просто в фильме «Адмирал Ушаков» роль адмирала Нельсона исполнял актер с внешностью отпетого негодяя. Его партнершей была девица из разряда тех, которых можно ночью встретить на Хмельной и которые, похлопывая себя по заднице, кричат: «Ну что? Помучаем жопку?»; вдобавок леди Гамильтон щеголяла в отделанной кружевами ночной сорочке, что, вероятно, должно было считаться верхом элегантности. Адмирал Нельсон, подойдя к ней и протянув единственную руку, демонически изогнул бровь и возгласил зычным голосом: «Как поживаете, леди Гамильтон?..»

Этого бабушка нам простить не смогла. Опять меня выгнали на улицу. Помню, как я печально брел по Краковскому Пшедместью в канун Великого Октября и возле университета меня остановили знакомые.

— Приходи сегодня вечером на Жерань [1],— сказали они.— Будут раздавать винтовки.

— А зачем мне винтовка? — спросил я.

— Будем драться.

— Отложите вольнолюбивые планы до завтра, господа,— сказал я.— Сегодня вечером я приглашен на именины к Кропке Минкевич. Неудобно отказываться.

И пошел своей дорогой.

Goofy, the Dog [2]

В одном из последних номеров парижской «Культуры» [3] мне попалась статья без подписи, озаглавленная «Голос с родины»; автор статьи, говоря об отношении поляков к Америке, вспоминает, как во время корейской войны варшавяне, проходя мимо американского посольства, снимали шляпы, салютуя звездному флагу. То же самое делал и я, в то время учащийся Государственного театрально-производственного училища. Если не ошибаюсь, американское посольство находилось на Уяздовских Аллеях, а наше училище — в здании ИМКА на улице Конопницкой. Проходя после занятий по Аллеям, мы снимали перед посольством шапки, а стоящий у ворот солдат смотрел на нас с доброжелательным любопытством — так обычно смотрят на горбунов и дебилов.

Еще мы ходили в информационный центр при посольстве США. Английского никто из нас тогда не знал, но мы разглядывали иллюстрации в «Лайфе» или «Таймсе», листали американские книги и журналы. Иногда информационный центр устраивал показы фильмов; мы регулярно

---

[1] Промышленный район Варшавы.

[2] Гуфи, пес *(англ.)*.

[3] Эмигрантский журнал, издаваемый на польском языке в Париже.

их посещали, а после просмотра нас забирали в ближайший участок, кажется, на улице Пьюса. Там у нас проверяли документы и промывали мозги; отпускали лишь через несколько часов, но пребывание в милиции имело и свою приятную сторону: можно было под свежим впечатлением обсудить фильм в кругу недавних зрителей, дожидающихся освобождения без ремешков, шнурочков и галстучков. Потом все повторялось.

На просмотрах в посольстве я познакомился с киногероем по имени Goofy, the Dog. У Гуфи всегда наилучшие намерения и замечательные идеи, но прежде чем ему удается какую-либо из них осуществить, например осчастливить хозяина или живущего по соседству знакомого бульдога, он становится виновником какого-нибудь происшествия — короткого замыкания, аварии бензовоза — или просто прищемляет дверью лапу и, воя от боли, будит того самого бульдога, которому хотел сделать приятный сюрприз; ну и, естественно, получает от бульдога по морде. С тех пор Гуфи стал — наряду с Николаем Ставрогиным — моим любимым героем; кажется, я могу — безо всякого преувеличения и гордыни — сказать о себе: «Гуфи — это я», как Флобер сказал: «Madame Bovary, c'est moi» [1].

В это время некий Стефан Мартыка, третьеразрядный актеришка, вел на Польском радио передачу под названием «Волна 49». Этот мерзавец почти всегда врубался в середине танцевальной мелодии со словами: «Слушайте «Волну 49». Включаемся», после чего начинал поливать грязью империалистические государства. Главным образом он порочил американцев, убеждая радиослушателей в их ограниченности, жестокости, глупости и тому подобных вещах; тирада завершалась словами: «Отключаемся». Однажды какой-то студент прикончил Мартыку; вначале думали, что это месть Яна Каймера, руководившего тогда оркестром танцевальной музыки Польского радио: передачи Каймера Мартыка прерывал чаще всего. Вскоре, однако, выяснилось, что убийца Мартыки был завсегдатаем информационного центра посольства США, и центр закрыли; в моей дружбе с псом Гуфи наступил многолетний перерыв, а Мартыка отключился навсегда.

На тему неразделенной любви поляков к американцам уже было много сказано в разных статьях и научных трудах. Ситуация и в самом деле не ахти. В американских фильмах поляки играют в основном наркоманов, шпионов или мелких воришек. Послушаем, что по этому поводу говорит известный польский мыслитель Ежи Путрамент в своей книге «На литературном фронте».

Мыслитель Путрамент: «Возьмем, к примеру, один американский детективный роман. Действие происходит в Чикаго. Жаркий день, частный сыщик сидит в своей конторе и в полудреме слышит, как в соседнем доме переругиваются уборщицы — по-польски».

И дальше:

«Вообще поляки (или, вернее, американцы польского происхождения, как их сейчас официально именуют) довольно часто попадают на страницы современных произведений американской литературы. В совершенно бредовой психоаналитической пьесе «Трамвай "Желание„» герой — поляк — изображен как последняя скотина. Он измывается над бедной американкой, хотя та психически больна. Когда другой персонаж пьесы хочет его оскорбить, он бросает ему: «Polack».

Вот вам и Мыслитель. Относясь с уважением к его могучему уму, осмелюсь все же заметить, что дело обстоит не совсем так, как выглядит в изложении Путрамента. Ковальский, безусловно, не из тех людей, с которыми хочется немедленно подружиться и предложить взаймы денег; однако от внимания Путрамента ускользнул тот факт, что бедная американка была когда-то так называемой дочерью Коринфа — то ли по необходимости, то ли по велению сердца; и именно это чрезвычайно не нравится Ковальскому. Несчастная все время провоцирует нашего бед-

---

[1] Госпожа Бовари — это я *(франц.)*.

ного соплеменника, и в конце концов, дабы избавиться от тягостных мыслей, он ее насилует, причем убогонькой это явно пришлось по вкусу,— в результате, окончательно свихнувшись, она попадает в дом для умалишенных.

Чтобы поддержать Путрамента, сокрушающегося об участи наших земляков в США, позволю себе привести еще парочку ярких примеров. В книге «Нагие и мертвые» тоже выведен наш соотечественник, господин Качинский, профессиональный сутенер из Чикаго. В фильме «Сила танков» есть еще один наш земляк, который вообще ни слова не говорит, только время от времени вытаскивает нож, чтобы с первого же удара уложить очередного немца, араба или кого-то там еще, и лишь однажды разевает пасть с целью разоблачения немецкого шпиона, прикидывающегося английским военнопленным. Он просто спрашивает того по-немецки: «Который час, дружище?» — и шпион машинально отвечает на родном языке: «Шесть». Поляк достает нож, перерезает ему глотку, немец падает, земляк смотрит на часы и, склонившись над умирающим в муках негодяем, любезно ему сообщает — тоже по-немецки: «Ваши часы спешат на пять минут». И прячет нож; действие продолжается.

Федора Михайловича Достоевского, казалось бы, трудно заподозрить в пропольских симпатиях, однако американцы решили его подкорректировать. В фильме «Братья Карамазовы», как и в романе, Грушеньку соблазняет некий Грановский, полячишка. Грушенька едет к нему; Грановский не уделяет ей никакого внимания; он поглощен нечистой игрой в карты. Бедняжка сидит и тупо смотрит на своего соблазнителя, прыщавого статиста.

Входит Юл Бриннер — Дмитрий Карамазов. Окидывает всех горящим взором. Ставит на стол ящичек. Грушенька — Мария Шелл — бросается к столу и открывает ящик. Мы видим два внушающих страх пистолета огромного калибра.

М а р и я Ш е л л. Дмитрий. Зачем тебе оружие?

Ю л Б р и н н е р. Чтобы убить.

М а р и я Ш е л л. Дмитрий! Ты задумал страшную вещь!

Ю л Б р и н н е р (*на минуту погрузившись в задумчивость*). Знаю. Но я — Карамазов!

Садится в углу и наблюдает за полячишкой. А мы видим, что Мария Шелл уже не любит поляка; она любит Дмитрия. Входит хозяин постоялого двора с самоваром; поляк в благодарность за чайкипяток дает бедному русскому пощечину. Русский глядит на Дмитрия, как побитый пес. Дмитрий медленно поднимается и, схватив полячишку за волосы, заставляет встать перед собой навытяжку. Затем бьет его по лицу: сперва тыльной стороной левой ладони справа налево, а потом тыльной стороной правой ладони слева направо. Поляк падает замертво, головой об пол.

Ю л Б р и н н е р (*любезно объясняет*). Нехорошо бить людей, пане!

А мы видим, что Мария Шелл уже никогда не разлюбит Дмитрия. У Достоевского Дмитрий и не собирается убивать полячишку — накупив тягушек для цыган, сигар и шампанского, он решает «покончить все» на рассвете, в разгар гулянки. Однако американцы поправили мрачного русского; поляк до самого конца не поднимается с пола. Вот что с нами делают в Голливуде.

Мыслителю Путраменту поляки на страницах американских романов и пьес не понравились, и он решил исправить положение в своем эпосе под названием «Ноев ковчег»; правда, нельзя сказать, что у него это хорошо получилось. Польский герой «Ноевого ковчега» — шпион, работающий на разведку какого-то, точно не определенного, азиатского государства, а его шеф — некий внушающий ужас Китайчонок Ли. Полячишка всячески перед ним заискивает, но на устах страшного азиата только блуждает презрительная усмешка. Чтобы расположить к своему герою читателя — в пику авторам, которые поляков не жалуют (что крайне раздражает Мыслителя),— и не уронить

национального достоинства, Путрамент заставляет нашего земляка курить марихуану, пить виски и так далее. Какая-то соотечественница решает отдать ему самое святое, что у нее есть, однако наш герой опозорился — произошло то, что Стендаль называет фиаско в любви. Умом природа одарила нашего земляка тоже не слишком щедро. Китайчонок Ли приказывает ему подбросить в самолет бомбу с часовым механизмом; полячишка выполняет приказ и по причине своего идиотизма сам садится в вышеупомянутый воздушный лайнер. И летит; стюардесса любезно ему сообщает, что он по ошибке сел не в свой самолет. Наш земляк, чуть не лишившись рассудка от страха, ползает на карачках в поисках бомбы; самолет летит над океаном. Время идет; поляк скулит; бомба тикает; ситуация обостряется, поскольку и в души других пассажиров закрадывается тревога. Бомба в самолет была подложена исключительно для того, чтобы уничтожить русского журналиста; так распорядился Китайчонок Ли.

Итак, действие в романе Путрамента развивается следующим образом: бомба тикает, а самолет вспарывает небесную гладь. Я когда-то интересовался всем, что связано с авиацией — у меня даже есть права спортивного пилота,— и много читал про авиакатастрофы, в том числе про вынужденное приводнение; пассажирскому самолету иногда действительно приходится садиться на воду: он снабжен спасательными жилетами, а главное — имеет убирающееся шасси и может избежать капотажа, чего почти никогда не удается самолету с неубирающимся — в отличие от гидроплана — шасси. В «Ноевом ковчеге» ни о чем таком и речи нет: самолет продолжает лететь вперед, хотя пилот знает, что бомба должна взорваться через сколько-то там минут.

Взрыв; все погибают. В живых остаются только двое: русский и американский журналисты. Русский втаскивает американца на скалу; оба что-то бормочут, по-братски подбадривая друг друга. От полячишки осталось мокрое место. Его постигла страшная кара; зато галерея поляков в мировой литературе пополнилась новой фигурой.

Уильям Фолкнер, писатель не хуже Путрамента, видел поляков совсем по-иному. Герой его романа «Дикие пальмы» Гарри приезжает с любимой женщиной на рудник в штате Ута. Там работают поляки, не владеющие английским языком. Личные счеты они сводят весьма своеобразным способом: засовывают человеку, который им не по нраву, в карман динамит, и тот взрывается. У поляков, за которыми наблюдают Шарлотта и Гарри, глаза воспалены от бессонницы, и работают они overtime.Гарри спрашивает у управляющего рудником, почему эти люди продолжают вкалывать, хотя владелец рудника разорился; управляющий отвечает, что поляки не знают английского и им невозможно объяснить, что дело лопнуло. «Странные они люди,— помолчав, добавляет управляющий.— Думают, все вокруг порядочные».

В «Ноевом ковчеге» и «Диких пальмах» есть общие элементы: опасности, взрывы, ужасные поляки. Литературоведам стоило бы поразмыслить, почему такие элементы используются для воплощения совершенно несхожих замыслов. По занимательности сюжета Фолкнер уступает Путраменту. «Дикие пальмы» — повествование о любви, которую человек не хочет потерять; в итоге он оказывается перед выбором: небытие или вечная тоска.

Не злоупотребляя комментарием, проследим за умозаключениями Мыслителя. Вот что он говорит по поводу корейской войны: «Давайте же поблагодарим лютых врагов польского народа, трумэнов и аденауэров, поблагодарим хотя бы за откровенность. За ту откровенность, причину которой не надо искать ни в уверенности наших врагов в собственной силе, ни в глупости и бестолковщине, отличающих американскую политико-пропагандистскую машину. Причина, позволяющая американским империалистам не скрывать от нас своих планов захвата, уничтожения и раздела Польши,— это прежде всего глубокое презрение ко всему неамериканскому, а уж тем паче к народам Восточной Европы, к славянс-

ким народам. Мы для них — аморфная этническая масса, не способная ничего понять, ни на что правильно отреагировать.

Военная истерия, разгул которой мы сейчас наблюдаем в Америке, конечно же, порождена не ощущением собственной мощи. Наоборот, именно неудачи в Корее подтолкнули господина Гарри Трумэна к новой серии безрассудных угроз. Ведь за последние полгода человечество смогло убедиться, какой могучей силой является лагерь сторонников мира. Крах американцев в Корее и во Вьетнаме, ширящееся движение за мир в странах Западной Европы, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, разлад и трения между правительствами стран Североатлантического блока — наряду с экономическими и политическими успехами СССР, Народного Китая, стран народной демократии, Германской Демократической Республики — неоспоримо свидетельствуют, что чаша весов истории склоняется в нашу сторону».

Где же гарантия, что дело обстоит именно так, а не иначе? Не волнуйтесь — Мыслитель нам все объясняет: «Заглушая военные угрозы, заглушая истерические выкрики, звучит голос Сталина, голос Его партии. Он указывает человечеству путь к светлому будущему. По этому пути движется и наш народ».

Прочитав эти строки, задумаемся на секунду о неудачах американцев в Корее. Полковник Монат в написанных для «Лайфа» воспоминаниях сообщает, что бывали дни, когда комми теряли по нескольку тысяч солдат. Полковника Моната, разумеется, можно заподозрить в необъективности; давайте лучше поговорим о вышеупомянутых успехах в экономике. Восточных немцев так обрадовало повышение жизненного уровня, что они в 1953 году устроили антиправительственную демонстрацию; советские танки против них бросили, по-видимому, по чистой случайности. Ликующие венгры в 1956 году вышли на будапештские улицы; их тоже почему-то не поняли. Об экономических достижениях Народной Польши поведал Владислав Гомулка в своем докладе; экономические успехи Советского Союза завершились покупкой капиталистического зерна. Я не публицист — это всем очевидно. Я только хочу сказать, что американцам следовало бы вручить Путраменту высочайшие военные и гражданские награды, поскольку в Польше он для них сделал больше, чем они сами.

В 1952 году в Арсенале была устроена выставка с разоблачительным названием «Вот она, Америка». Набрали черт-те сколько экспонатов: шпионские пистолеты, напалмовые бомбы, комиксы по «Братьям Карамазовым», фотографии с трупами каких-то негров. Результат превзошел всякие ожидания; варшавяне, чтобы попасть на выставку, часами стояли в очереди: им хотелось получить хотя бы крохи информации о стране сорока восьми звезд, хоть одним глазком поглядеть на вещи, сделанные живущими за океаном людьми, от которых нельзя ждать ничего хорошего. Это несчастная любовь; любовь без взаимности; и, возможно, последняя.

Нашу честь в Соединенных Штатах защищает боксер Ковальский по прозвищу Киллер [1]. Это самый свирепый профессионал в мире. Он проигрывает только из-за нарушения правил: жестокий поляк, природой наделенный преступными наклонностями, не в состоянии во время боя сдержать свои низменные инстинкты, и судья удаляет его с ринга.

Будучи любителем зрелищ такого рода, я недавно отправился в Париж на встречу champion sovietique — champion americain [2]. На ринг вышел русский — парень в шитой золотом рубахе, с золотыми кудрями и лицом дегенерата-сифилитика. Публика встретила его восторженным ревом; никто и не вспомнил про такую мелочь, что в СССР вообще нет профессионального спорта, а американская вольная борьба считается «зверством», и, стало быть, champion sovietique скорее всего родился не

[1] Убийца *(англ.)*.

[2] Советский чемпион — американский чемпион *(франц.)*.

в донских степях, а где-то возле площади Пигаль или, скажем, в Сен-Дени. Потом на ринге появился чемпион Америки — столь устрашающего вида гигант, что, не будь схватка тщательно отрежиссирована, чемпиона СССР вынесли бы с ринга вперед ногами. Публика улюлюкает и осыпает американца проклятиями; в него летят апельсиновые корки, спичечные коробки, ему грозят кулаками. Начинается бой; несчастный американец делает все, чтобы проиграть, но что-то тут осталось непродуманным, и златовласый славянин — как ни пинал судья американца, когда тот, увлекшись, начинал выигрывать,— примерно в середине схватки, несмотря на помощь противника, арбитра и публики, скапутился. Об этом не стоило бы рассказывать, если б не реакция зрителей. Публика, состоявшая в основном из рабочих, мелких ремесленников и кучки скучающих левых интеллектуалов, дружно орала: «Грязная свинья, иди драться во Вьетнам».

Трагедия Америки в том, что миллионы долларов ухлопываются на локальные войны, в которых итальянский или французский рабочий не видит смысла. Американцы вынуждены поддерживать таких деятелей, как Чомбе и Ли Сын Ман; американцам пришлось поднять из руин Западную Германию; американцы должны помогать генералу Франко; американский рабочий за все это платит, но аплодируют не статуе Свободы, а златокудрому кретину, дерущемуся с противником, который втрое его сильнее; и кретин побеждает, так как этого очень хотят все те бедные люди, которые еще продолжают верить, что свобода придет оттуда, где погибли лучшие из лучших.

Поляки знают, что в случае конфликта с Россией американцы не пришлют им на помощь ни одного солдата; тем не менее любовь к Америке не слабеет. Много лет в Польше не показывали американских фильмов; наконец в пятьдесят седьмом году на экраны вышел вестерн под названием «Последний бой апача», где апача играл светловолосый и голубоглазый Берт Ланкастер. Премьера фильма случайно совпала с другим незаурядным событием: впервые после двадцатилетнего перерыва был запущен воздушный шар «Звезда Польши II». Тысячи столпившихся перед кинотеатром людей даже не посмотрели на взмывший в воздух аэростат; им важнее было попасть на «Последний бой». Чего только не делает Ланкастер в этом фильме: орудует ножом, стреляет, взрывает груженные порохом телеги; набросив на шею конвоира кандалы, приговаривает: «А теперь, белый пес, возвращайся к своим и расскажи, с кем они затеяли войну» — и дает ему пинок в зад; но все это пустяк по сравнению с тем, что творилось перед кинотеатром. То и дело вспыхивали скандалы; поминутно вмешивалась милиция; двое схватились за ножи, а жена одного из них кинулась искать какого-то пана Зенека — единственного человека, который мог бы предотвратить кровопролитие. Толпа бурлила, крича: «Где пан Зенек? Где пан Зенек?» Наконец прибежал пан Зенек; профессиональным глазом оценив ситуацию, он на бегу сбросил пиджак и положил обоих противников «бараном», то есть ударом головы в грудь. И никто даже не поглядел на одиноко удаляющуюся «Звезду Польши II»; зря старались польские конструкторы — Ланкастер с паном Зенеком их затмили.

Нелегко писать об отношении поляков к американцам и всему американскому. Распространяться о Пуласком и Костюшко [1] бессмысленно; оперировать статистическими данными и пытаться сравнивать две культуры тоже не стоит; и сравнение польской и американской литератур ничего не даст — во всяком случае, не мне этим заниматься: я об отечественной литературе имею весьма приблизительное представление. Полагаю, за это следует благодарить моих учителей польского, которые изводили меня классическим вопросом: «Что хотел сказать поэт?»; «Пана Тадеуша» я так и не осилил — по сей день не могу преодолеть отвраще-

[1] Казимеж Пулаский (1747—1779) — генерал, участник Войны за независимость в Северной Америке (1775—1783); Тадеуш Костюшко (1746—1817) — руководитель Польского восстания 1794 года, участник Войны за независимость.

ния. За преподавание литературы в школе нужно сажать в тюрьму; странно, что комми до этого не додумались. Школьной программой предусмотрено изучение большого числа шедевров соцреализма; это в немалой степени предопределяет на будущее интерес подрастающей молодежи к литературе такого рода.

Во время корейской войны распространился слух, будто поляки готовят к отправке в Корею добровольцев. Неизвестно, кто этот слух распустил; быть может, основанием для него стала задержка на военной службе призывников двадцать седьмого (и частично двадцать шестого) года рождения; в итоге тот год получил название «корейского»; возможно, в ожидании войны демобилизацию действительно решили отложить, следуя завету Хозяина: тяжело в ученье, легко в бою. Множество молодых парней, которые до сих пор уклонялись от военной службы, симулируя стенокардию, двустороннюю грыжу и глухоту, вдруг изъявили желание пойти служить; расчет у них был простой: при первом удобном случае сдаться генералу Макартуру. При этом, разумеется, они забывали, что могут пасть от рук тех самых американцев, на чью сторону вознамерились перебежать; но время тогда было чудовищное, и перспектива расстаться с жизнью или навсегда превратиться в калеку не отпугивала потенциальных добровольцев. Слухи, однако, не подтвердились, а призывники «корейского» года рождения потеряли кусок жизни — так, кажется, говорят в подобных случаях.

В Польше тогда без конца устраивали массовые митинги, на которых клеймили американских агрессоров и выкрикивали здравицы в честь Ким Ир Сена или как его там. Ким Ир Сена называли «великим сыном и освободителем корейского народа»; его заклятым врагом был некий Ли Сын Ман — «подлый пес» (иногда — «цепной пес американского империализма»). Их фотографиями можно было каждый день любоваться в газетах. Беда была в том, что эти господа походили друг на друга как две капли водки; помню, наш секретарь парторганизации на митинге протеста, потрясая газетой с фотографией Великого Сына и Освободителя корейского народа, кричал:

— Не допустим, чтобы эта сволочь залила кровью тридцать восьмую параллель!

Митинги протеста организовывали весьма нехитрым способом: запирали ворота предприятия, или же кадровик уносил табельные листы, и расписаться в них можно было только по окончании митинга; как известно, каждому полагалось расписываться в табеле дважды: по приходе на работу и перед уходом. Протестующих собиралось много; составлялись грозные письма в адрес американских агрессоров, но подписать это проклятое письмо не разрешалось, прежде чем не выскажется последний оратор. Когда генерал Макартур объявил о намерении применить атомное оружие, появилась известная песня: «Трумэн, Трумэн...» и так далее. Правда, у бывших жителей восточных земель и Львова была своя песня, которая начиналась с обращения к президенту Трумэну; последний куплет звучал так:

Одна водородная бомба
Вернула нас всех в отчий дом бы.
Пусть пепел вокруг, но мы снова
Дышали бы воздухом Львова.

Трумэн, однако, бомбы не бросил; надежды рухнули. Даже надежда вернуться на пепелище — с этим люди готовы были смириться, лишь бы жить на родной земле. Поляки, впрочем, имели все основания полагать, что в случае войны им, кроме пепелищ, и так ничего не достанется. Кажется, Форрестол произнес речь, отрывок из которой я запомнил: «Мы превратим небо и землю в геенну огненную. Мы закидаем их атомными и водородными бомбами. Мы будем убивать детей в колыбелях, старцев за молитвой и землепашцев в поле. Там, где сегодня стоят города, останутся только дымы и пожары, среди которых будут бродить

наши ослепленные враги». Текст этот, многократно напоминавшийся полякам дикторами радиовещания и кинохроники, по закону парадокса стал символом надежды. Так пациентам психиатрических клиник, страдающим хронической бессонницей, дают перед сном чашку чертовски крепкого кофе, что иногда вызывает реакцию, которую врачи называют парадоксальной. Поскольку высказывания американского политика официально были сочтены враждебными, они, естественно, пришлись по душе простому поляку. Мне случалось слышать мнение, что их автор воспитан на Библии,— об этом свидетельствовала образность его стиля; кое-кто считал, что источником вдохновения Форрестолу послужило откровение Святого Иоанна. «Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны. Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя» [1]. От внимания людей, сравнивавших речь американского государственного деятеля с Откровением Иоанна Богослова, правда, совершенно ускользнуло то обстоятельство, что у последнего выступает также ангел, пророчествующий, предупреждающий, «что времени уже не будет»; возможно, брось американцы бомбу, одним махом было бы решено чересчур много проблем.

Итак, бомба брошена не была, и мы не вернулись во Львов; однако любовь поляков к американцам не угасла. Когда я работал шофером, у нас были автомобили четырех марок: «дженерал моторс корпорейшн», «даймонд», «студебеккер» и «ЗиС» (завод имени Сталина). Аристократия ездила на «даймондах», но шоферня предпочитала «GMC», который мы называли «джемсом». «Джемс» была отличная машина; летом открывались окна, откидывалась брезентовая крыша, и ты чувствовал себя чуть ли не Гари Купером; при этом надо добавить, что «GMC» со своим мотором мощностью в сто лошадиных сил восхитительно ревел; ездили на «джемсе», небрежно высунув из кабины левую ногу,— это считалось особым шиком. Если кому-нибудь из водителей случалось провиниться — опоздать или не выполнить план,— секретарь партбюро вызывал его к себе и говорил:

— Хотите, чтобы я вас снял с «джемса», да? Хотите, чтоб пересадил с «джемса» на этот говенный «ЗиС», да? Хотите ездить на этом говенном «ЗиСе», чтоб ребята над вами смеялись, да? По-вашему, товарищ Сталин для того преобразует природу и возводит на Волге плотины, чтоб вы ездили на этой колымаге, где нет стартера и заедает переключатель скоростей, да? Советую вам исправиться...

И провинившийся, как умел, исправлялся. Верхом элегантности в те времена считалась американская шинель с подстежкой. На барахолке такая шинель стоила три с половиной тысячи. Приходилось довольствоваться военной курткой с погонами за полторы косых. Я купил себе такую; на левом нагрудном кармане красовалась фамилия предыдущего владельца: Андерсон. Краска оказалась настолько прочной, что ее ничем не удавалось свести; в присутствии секретаря партбюро и председателя месткома я оттирал Андерсона бензином и денатуратом — безрезультатно. Так я стал самым элегантным человеком на Соколовской улице.

Все мы помним облик генерала Макартура, его жесткое лицо старого стервятника и неизменные темные очки, так называемые «консервы». Карикатуристы из «Шпилек» всегда изображали генерала одинаково: полузакрытая темными очками физиономия преступника, в руке атомная бомба; свободной рукой Дуглас Макартур душил корейского патриота. Именно тогда предприимчивые частники наладили производство темных очков, и, несмотря на жуткую дороговизну, их покупали. Через некоторое время название «консервы» было вытеснено другим: «макартурки». Если секретарь парткома заявлял: «Мы эти «макартурки» носить не будем», ему предъявлялась справка от врача с диагнозом «хронический

---

[1] Откровение Иоанна Богослова, 9, 1—2.

конъюнктивит»; вскоре молодые водители начали поголовно страдать глазными заболеваниями; потом производство «макартурок» прикрыли, и на том все и кончилось.

Впрочем, ненадолго; варшавская шпана быстро разузнала, что модно в Америке, и месяца через полтора на улицах появились молодые люди в широких пиджаках из домотканого сукна, в ярких, от руки расписанных галстуках, в узких брюках и башмаках на «манной каше», то есть на белой микропорке. Главным же атрибутом нового стиля был кок; на голове возводилось сложное сооружение: волосы надо лбом взбивались, а на затылке сходились наподобие утиных крыльев. Согласно Веху, коки делились на три категории — в зависимости от того, чем прическа скреплялась: сахарным сиропом, белком или отваром льняного семени; иначе — утверждает Вех — хоть тресни, волосы держаться не будут. Сахарный кок держится сутки, белковый — три дня, а самый прочный, льняной,— неделю. Эта прическа, продолжает Вех, иногда становится причиной больших неприятностей: стоит кому-нибудь в драке повредить кок противника, последний «теряет соображалку». Один из героев Веха на суде объясняет, почему безжалостно изувечил шесть человек и превратил хорошо обставленную квартиру в дымящиеся развалины. Молодой человек говорит в свое оправдание: «Я только услышал, кто-то крикнул: Бигосиньчак, попорть ему кок. Он и попортил, а я гляжу: ну видеть ничего не вижу». Парней с коками и в ярких галстуках называли стилягами; это должно было звучать оскорбительно, но стиляги не обижались.

Для характеристики отношения поляков к американцам я бы мог без труда подыскать цитаты из произведений наших критиков-марксистов на тему убогой и деморализующей американской литературы и сопоставить их с тем, что критики писали несколько лет спустя, когда с этой литературой познакомились. Тогда выяснилось, что Фолкнер вовсе не извращенец и садист, а великий христианин и толкователь Библии; что Хемингуэй не поджигатель войны, а последний военный романтик; что Стейнбек покончил с порнографией и стал великим моралистом, и так далее. Но заниматься всем этим не имеет смысла; я предпочитаю писать о молодых рабочих, которые вряд ли читали сагу о роде Сарторисов, зато знают, что самым выдающимся полководцем второй мировой войны был не генерал Роммель и не маршал Жуков, а, судя по всему, офицер, руководивший военными действиями на Тихом океане, хотя слышать о нем они могли лишь одно: что он американский генерал и борется с коммунизмом. Свои братские чувства эти ребята выражали до смешного жалким способом — носили темные очки, дурацкие прически и безобразные галстуки; но они были уверены, что граждане страны, над которой реет звездный флаг, одеваются именно так, а значит, и мы будем так одеваться, пускай даже нас в участке силком стригут под ноль, а фамилии вывешивают на доске в списке хулиганов и лодырей. Так что давайте ездить на старых машинах, которые доставили американцев к победе; носить старые американские шмотки; разглядывать комиксы, не понимая их содержания! Наше проявление братской любви к американцам смешно и позорно; американцы никогда наших чувств не поймут и не разделят; но это единственное, на что мы способны. Никто из этих молодых людей никогда не поедет в Америку; никто из них не получит стипендии Рокфеллеровского фонда; и никто никогда не напишет об американской культуре, что это культура плебеев,— такое могут писать только публицисты из «Новых дрог» и «Трибуны люду». Для этих юнцов Америка даже не то, чем был Израиль для ведомого Моисеем племени, не земля обетованная: она им ничего не обещает, но, возможно, именно потому с ней связываются самые большие надежды. Ведь комми обещали все: хлеб, работу, свободу, братство; а тот, кто обещает все, как известно, не даст ничего.

Мне рассказывали, что во время блокады Кубы в Варшаве пытались организовать демонстрацию перед американским посольством; характер демонстрации, полагаю, объяснений не требует. Мусора надели каски

и прихватили с собой бомбы со слезоточивым газом и «бананы», однако они оказались out of job [1]. Сбежалось, конечно, несколько иностранных корреспондентов, чтобы сфотографировать унылых ментов и веселый люд. В ближайшем кабаке отчаявшиеся агенты вели переговоры с хулиганами, умоляя их разбить пару-тройку окон и покричать что-нибудь оскорбительное в адрес Америки; за это им обещали позволять безнаказанно толкать слепых старушек и сбрасывать с электричек инвалидов; однако варшавские хулиганы проявили твердость и отвергли все в иных обстоятельствах показавшиеся бы заманчивыми предложения. История эта, разумеется, вымышленная: проще простого было бы обрядить мусоров из школы милиции в штатское и заставить их изображать возмущенных граждан ПНР. Но анекдоты рождаются на почве реальности; если это и неправда, то, во всяком случае, правдоподобный вымысел.

Я тогда мало что знал об американской литературе; Фолкнера мне пересказывал своими словами Петр Гузы, Хемингуэя — Эдвард Бернштейн; с содержанием других книг я знакомился единственно доступным мне способом: приглашал образованных приятелей в кабак и поил их за свой счет. Обходилось мне это недешево, к тому же некоторые быстро надирались и путали авторов и сюжеты. После войны в Польше издали только одну книгу Хемингуэя — «Иметь и не иметь» да «Табачную дорогу» Колдуэлла. Первым проломил стену молчания Мариан Эйле, опубликовав в «Пшекруе» два рассказа Хемингуэя в переводе Миры Михаловской. Потом этого писателя стали печатать беспрерывно, и, как справедливо заметил Зигмунт Калужинский, «успех Хемингуэя сплотил польский народ». Начинающие прозаики дружно подражали Папе Хему; меня называли Хемингуэем из Колюшек. То, что я начал писать, еще когда Хемингуэя в Польше представляли растлителем и певцом атомной бомбы, и читать его книг не мог, поскольку не знал английского, а перестал писать одновременно с появлением польских переводов этого автора, разумеется, ускользнуло от внимания наших критиков. О критиках Папа Хем говорит приблизительно так: «Когда человек нуждается в помощи, они изливают на него желчь. Большинство из них, уверен, хотели бы, чтоб книжек вообще не существовало и они могли писать только о себе и своих воззрениях. Но, быть может, Бог или Природа нашлет на них однажды страшный недуг, от которого не будет спасения и который их подкосит; тогда наконец с ними будет покончено». Цитата неточна; я прочел эти слова много лет назад, не помню уже, в каком журнале и на каком языке, однако мысль автора «Снегов Килиманджаро», кажется, передал верно. Проклятие, брошенное старым американским хитрецом, впрочем, не распространяется на критиков-марксистов; шкала оценок, которой они пользуются, бесконечно растяжима. «По ком звонит колокол» считался пасквилем на гражданскую войну; после пятьдесят шестого года книгу признали блестящим образцом романтизма, Роберта Джордана — образцовым солдатом, и вообще все пошло как надо: самый слабый роман Хемингуэя объявили самым лучшим. А там всего-то приезжает малый взрывать мосты, убивать людей и достойно умереть. Впутывается, не задумываясь, в самое страшное, что может выпасть на долю народа: в гражданскую войну. При этом Джордан не коммунист и не фашист; он просто хочет погибнуть как мужчина. А если я не хочу погибать как мужчина, тогда что? А если я хочу отойти в мир иной владельцем участка на Грохове, окруженным кучей детей и внуков, тогда что? Может, я не желаю носиться с винтовкой по полю и стоять с непокрытой головой перед карательным взводом — ну и что? Тем не менее именно эту книгу Хемингуэя сочли самой лучшей; и так прикончили старого Папу. Ничего другого, впрочем, и не следовало ожидать: Хемингуэй — последний романтик, Фолкнер — толкователь Библии, этакий современный Достоевский; возможно, в один прекрасный день нам предстоит узнать, что Генри Миллер просто последователь

---

[1] Без работы *(англ.)*.

Лысенко, Орсон Уэллс — ученик Николая Черкасова, а гневный и совестливый Джеймс Дин брал пример с Павлика Морозова.

В это время Польша начала флиртовать с Америкой. Первым в Штаты отправился Путрамент и привез плоды своих размышлений, озаглавленные «Два глотка Америки». Приведу несколько примеров этих размышлений.

Шагая по Уолл-стрит, Путрамент удивляется, до чего она узка и коротка и как похожа на варшавскую Хмельную; он замечает, что скромность и неприметность этой улицы, являющейся «сердцем Америки», заслуживает подражания.

Полюбовавшись снаружи и внутри зданием ООН и убедившись, какая там царит скука, Путрамент делится с нами следующими соображениями: «Нужно было быть столь блестящим полемистом, как покойный Вышинский, чтобы в такой атмосфере не бояться острить и отпускать язвительные замечания. Аудитория, кстати, внимательно к нему прислушивалась, ибо знала, какую роль на мировой сцене играет его отечество». Воистину: ООН, созданная, чтобы принести мир и счастье всем людям на свете, просто идеальное место для покойного Андрея Вышинского — обвинителя на московских процессах, требовавшего высшей меры на основании или сфальсифицированных, или вырванных пытками показаний, о чем всей правды мы, вероятно, никогда не узнаем, а если даже узнаем, откажемся верить. Вот единственное, что приходит на ум Путраменту, стоящему перед зданием организации, задача которой — подарить надежду обездоленным.

Книга Путрамента — своего рода курьез. Любопытнее всего там глава, посвященная Чеславу Милошу [1]. Путрамент научился составлять доносы у Вышинского, принадлежавшего к классической школе ораторского искусства, основателем которой считается Цицерон. Начинает Путрамент на высоких и благородных нотах: в свое время он восхищался поэтическим даром Милоша, а собственные стихи повергали его в отчаяние. Милош был кумиром Путрамента; казалось, вот-вот Ежи Путрамент заговорит словами Петра Верховенского, обращенными к Николаю Ставрогину: «Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк».

Путрамент чувствовал себя ничтожеством по сравнению с Милошем; он Милоша обожал, а тот относился к нему без должного внимания, был высокомерен, заносчив; в конце концов дело дошло до драки. И тут голос Путрамента срывается; в соответствии с классическими образцами ему бы следовало воззвать ко всеобщему чувству справедливости, однако он сбивается на пасквиль.

Путрамент признаётся, что был против отъезда Милоша на Запад — исключительно из опасения, что тот загубит свой огромный поэтический талант, который Путрамент столь высоко ценил. Почему отъезд на Запад связан с потерей таланта, нам узнать не придется; почему один писатель имеет право решать судьбу другого административными методами — тоже; почему вообще возникают такие ситуации, когда человек вынужден умолять, чтобы его выпустили за границу, из чего не делается проблемы даже в странах Латинской Америки,— ответа мы также не получим. Милош удрал.

Путрамент предполагает, что одной из причин, побудивших Милоша убежать, была боязнь войны, которая, по мнению Путрамента, в 1950—1951 годах была на носу (я пользуюсь его терминологией). Путрамент: «В то время остаться в Польше? Дождаться страшных атомных грибов? Еще раз увидеть, как по несчастной стране прокатится самая чудовищная из войн?» Но о какой войне и о какой опасности речь? Ведь с нами ничего не могло случиться (см. «На литературном фронте»); ведь звучный, как набат, голос Сталина заверял нас, что войны не будет; да и сам Путрамент, описывая неудачи американцев в Корее, уверял нас

[1] Чеслав Милош (род. в 1911 г.) — польский поэт, прозаик, литературовед. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1980 г. Живет в США.

в их бессилии. Так что же, черт подери, заставило Милоша принять роковое решение?

И тут следует серия ударов ниже пояса: Милош во время войны жил по литовскому паспорту, чем обеспечил себе личную безопасность. В войну каждый старался обзавестись липовыми документами; в чем разница между кеннкартой и литовским паспортом, Путрамент не объясняет. И разве человек, обладавший — по словам самого Путрамента — громадным литературным талантом, не имел права сделать все, чтобы выжить и стать летописцем страшного времени? Допустим, что не имел; тогда зачем было его задерживать в Польше силой, мотивируя это желанием спасти выдающийся талант? Если после войны Милоша намеревались спасти, отобрав паспорт, почему во время войны ему самому нельзя было спасаться с помощью паспорта? Нет, Путрамент мало чему научился у Вышинского. Как бывший полицейский осведомитель я не верю, что Ежи Путрамент был агентом НКВД, о чем сам он говорит с юмором и присущей ему горячностью; его книга — плохо написанный донос.

И еще один запрещенный удар: Путрамент утверждает, что, когда Милош выбрал свободу, американцы отказали ему во въездной визе. Почему — нетрудно догадаться, и Путраменту легче, чем многим другим; но я попытаюсь дать объяснение на основании собственного опыта. Когда стукача пристраивают на работу, следом за ним пускают дезинформацию: дескать, он реакционер, противник режима, мечтает о реставрации капитализма и т. д. Таким образом агенту создают максимально благоприятные условия: окружающие принимают его за своего и выкладывают все, что думают, а уж он знает, как поступать дальше. Если же на Запад удирает человек масштаба Милоша, о нем распространяют информацию противоположного свойства: дескать, он был агентом органов безопасности, антиамерикански настроен, ради денег и житейских благ доносил на своих коллег и т. д. и т. п. Для вящей убедительности изготавливаются поддельные фотокопии документов, подкрепленные устными показаниями свидетелей и соответствующими измышлениями. На проверку такого рода дезинформации уходят годы; но полностью рассеять подозрения удается далеко не всегда. Я никогда не читал прозы Путрамента, но в роли доносчика он меня разочаровал; хотя, думаю, для него донос то же самое, что для меня: наиболее любезный сердцу жанр.

Я много написал о Путраменте и Милоше, что, на первый взгляд, имеет мало общего с заголовком «Goofy, the Dog», но сделано это сознательно. Если Путрамент когда-нибудь решится остаться на Западе, ему не придется преодолевать такие трудности, с какими столкнулись Милош и я. Годика два он не будет испытывать финансовых затруднений, но потом умрет с голоду, и произойдет это в тот самый день, когда он попытается написать одну страницу прозы. Я, кстати, немалым обязан Путраменту: однажды, сидя в Берлинском клубе журналистов, я прочитал в «Известиях» пасквиль на свою персону; в нем говорилось, что я растлитель душ; что я общественно вредный элемент; что таких, как я, нельзя... и так далее, в том же роде. «Известия», как мы знаем, выходят в России, но автором доноса был польский писатель Ежи Путрамент. Дело происходило в июле тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года; отложив газету, я впервые подумал, что, возможно, мне никогда уже не вернуться в Польшу. Так оно и случилось.

Я, Goofy, the Dog, когда началась заварушка во Вьетнаме, пошел в американское консульство в Палермо и попросил разрешения вступить в американскую армию и отправиться на войну. Мне объяснили, что это возможно лишь при одном условии: если я получу эмигрантскую визу и запишусь в армию на территории США. Но ведь сказал же президент Кеннеди в своей инаугурационной речи: «Не спрашивай, что Соединенные Штаты Америки могут для тебя сделать. Спроси самого себя, что ты вместе с Америкой можешь сделать для всех людей на свете».

Я, Goofy, the Dog, для Америки ничего не могу сделать. Но Пут-

рамент и ему подобные могут, и немало. Когда, после того как я выбрал свободу, американские журналисты спрашивали, что, по моему мнению, должны делать американцы, дабы продемонстрировать полякам свою симпатию, я не нашел ответа. Сейчас я знаю: следует давать стипендии и вообще всячески поддерживать людей вроде нашего Мыслителя. Пускай те к вам ездят и потом оплевывают вашу великую и прекрасную страну — каждый читатель в Польше будет понимать их слова наоборот. Пускай пишут о вашей прекрасной литературе, что она никуда не годится; пускай пишут о ваших прекрасных солдатах, что они бандиты; пускай пишут о генерале Паттоне, что он трус, а о ваших заводах, где люди зарабатывают на жизнь, что это ад, унижающий и оболванивающий человека. Но пишут пускай только такое; я же хотел всего лишь отдать свою кровь, однако она оказалась недостаточно хороша для звездного флага. И, ради Бога, не спрашивайте нас, что мы можем сделать. Я не могу сделать ничего.

Феликс Дзержинский и Богарт

Юноше,
обдумывающему
житье,
решающему —
сделать бы жизнь с кого,
скажу
не задумываясь —
«Делай ее
с товарища
Дзержинского».

Владимир Маяковский

Конечно, лучше всего было б жить, как жил Феликс Дзержинский. И вообще, надо крепко запомнить, что хорошо живется только за счет рабочего класса; к сожалению, это не всегда возможно. Сию печальную истину вы осознаете лишь после того, как попросили политического убежища, и единственное ваше имущество — клеенчатая сумка, в которую американский народ вложил свой дар беглецу из-за «железного занавеса»: зубную щетку, полотенце и мыло. Содержимое сумки можно загнать за пятьдесят пфеннигов; но должно очень повезти, чтоб нашелся идиот, который пожелает это купить.

А как же быть, если вам по-прежнему хочется писать? Дело упрощается, если вы бывший коммунист, член ЦК или высокий чин из Управления безопасности, шпион или дипломат. Беглец из-за «железного занавеса», который шпионил в пользу Кремля, вырывал у своих братьев ногти или стрелял им в затылок, всегда найдет заботливых покровителей, поскольку является козырем в пропагандистской игре и может пригодиться для борьбы с коммунизмом; порядочный человек, который ни коммунистом, ни шпионом никогда не был, для западного общества только лишняя обуза; всем прекрасно известно, что народы Восточной Европы ненавидят комми, и такого человека нельзя использовать в целях пропаганды. Заявление, что вечером темно, а утром светло, на Западе сенсацией не становится. Перебежчика ждут годы мытарств, унижений, ожидания визы; годы пустоты и отчаяния.

Не стоит также прикидываться разочарованным писателем-коммунистом. До пятьдесят шестого года такие номера проходили, но потом благодаря Хрущеву ситуация изменилась, и сегодня красный интеллектуал уже не может, раздирая на себе одежды, сокрушаться, что ничего не знал о миллионах замученных в тюрьмах и лагерях; не может публично недоумевать, как это он не замечал прогрессирующего обнищания страны и страданий родных и близких, про которых старался писать правду.

Короче: он не может утверждать, что не видел и не слышал того, что видели и слышали все от мала до велика, каждый рабочий и каждый прохожий. Конечно, от красных мыслителей нельзя требовать чересчур многого; но теперь им уже ничто не поможет. А вот шпионы и сановники по-прежнему будут встречать радушный прием и жить припеваючи. До поры до времени, разумеется. Книга Кривицкого «I was Stalin's agent» [1] заканчивается словами: «Мне в очередной раз повезло». Автор имеет в виду неудавшееся покушение: тогда он уцелел, но полгода спустя был найден мертвым в вашингтонской гостинице. Комми везет сплошь и рядом; только со смертью шутки плохи.

Но что все-таки делать пишущему человеку, который никогда не состоял в партии; который не сочинял гимнов в честь политической полиции и которого отказывались издавать на родине за его нелояльность? Задача не из легких. Попробуем подумать, как следует поступать, когда ты подыхаешь с голоду, ни один издатель не дает аванса, а за углом уже поджидают неумолимые кредиторы.

I. Помешательство

Притворяться сумасшедшим непросто, но можно научиться, если проявить настойчивость и смекалку. Легче всего симулировать манию преследования; однако на это требуется время. Когда мы убеждаемся, что денег осталось только на два месяца,— пора начинать. В один прекрасный день мы отправляемся в комиссариат полиции с просьбой выдать разрешение на ношение оружия. На вопрос, для какой цели нам понадобился пятнадцатизарядный пистолет марки FN, отвечаем, что за нами уже несколько недель следит какой-то субъект в кожаном пальто, черных очках и с тростью в руке; попутно мы высказываем предположение, что в трости у него — шпага («Gilda» starring by Rita Hayworth and Glenn Ford [2]). Естественно, нас вышвыривают ко всем чертям. Через пару дней мы опять приходим и рассказываем ту же историю, с той лишь разницей, что теперь за нами ходит по пятам совершенно другой человек, без очков, но с портфелем; мы полагаем, что в портфеле у вышеупомянутого незнакомца бомба с часовым механизмом, которую он хочет подложить в багажник нашего автомобиля («A Touch of Evil» directed by Orson Welles [3]). На вопрос, есть ли у нас машина, мы отвечаем, что нет; но иногда мы берем такси, и вышеозначенный субъект вполне может сунуть туда свою бомбу. Опять нас выгоняют в шею; но в комиссариате уже усекли, что мы приходили два раза; можно даже три или четыре, но не больше.

Ни в коем случае нельзя первым делом бежать к врачу — сумасшедший не подозревает о своем недуге и уверен, что подвергается преследованию по политическим мотивам. На все уговоры друзей, советующих обратиться к психиатру, мы отвечаем отказом или даже легкими вспышками гнева. В конце концов мы прекращаем всякие контакты с окружающим миром, запасаемся снотворным и снимаем номер в гостинице. Потом звоним самому близкому приятелю в другой город и говорим, что нашли для него железную возможность заработать большие деньги; однако он должен нам позвонить завтра в полдень. Приятель обещает, что позвонит; мы глотаем снотворные и пишем прощальное письмо родным, где объясняем, что по причине преследований и отсутствия какой бы то ни было помощи решаемся на самоубийство; благословив в последних строках детей, и младших сестер, и братьев, мы засыпаем.

На следующий день приятель звонит в назначенное время, но в го-

---

[1] «Я был агентом Сталина» *(англ.)*.

[2] «Гильда», в главных ролях Рита Хейворт и Глен Форд *(англ.)*.

[3] «Печать зла», режиссер Орсон Уэллс *(англ.)*.

стинице не могут нас добудиться. Немного погодя встревоженный портье стучится к нам в дверь и, не получив ответа, силой ее взламывает, а мы приходим в себя в желтом доме, в окружении психиатров и дебилов.

Это один способ. Кончать с собой лучше всего в Мюнхене: нас отвозят в больницу в Хааре, где нам не грозит одиночество — больница рассчитана на четыре тысячи двести пациентов. По немецким законам каждый несостоявшийся самоубийца обязан пробыть под наблюдением врачей не меньше трех месяцев. Три месяца — срок небольшой; но можно отъесться и придумать какую-нибудь историю, которую мы потом запишем и, глядишь, чего-нибудь заработаем.

Прекрасный симптом при симуляции мании преследования — отказ от приема пищи: мы боимся отравления. Нельзя поддаваться на ласковые уговоры врачей и соглашаться, чтобы санитар пробовал каждую ложку, прежде чем сунуть ее нам в рот; нужно вырываться, плеваться и орать; через несколько дней нам начнут делать вливания, то есть вводить в организм большие количества витаминов; перед каждой процедурой мы отчаянно сопротивляемся, и приходится привязывать нас к кровати ремнями. Почувствовав иглу в вене, мы продолжаем вопить благим матом, с ужасом глядя на бутылку с питательным раствором. Потом впадаем в депрессию; через несколько дней на бутылку, содержащую животворные витамины, взираем уже не со страхом, а с тупым безразличием. После чего — спустя четырнадцать дней — начинаем жрать, и жрем много и долго, пока судья и врачи не решат, что нас пора отпустить на волю.

Еще надо каким-то образом раздобыть денег. Для этого существует немало способов. Больным, которых отучают от снотворных, мы покупаем в Мюнхене таблетки; алкашам — коньяк. Действовать нужно осмотрительно: у пациентов постоянно берут мочу на анализ, проверяя наличие в ней следов барбитуратов или алкоголя. Выгоднее всего торговать бензэдрином; в бензэдрине нуждаются бывшие узники концлагерей, которые — чтобы получить компенсацию от правительства ФРГ — прикидываются, будто их мучают по ночам кошмары. Эти ребята не спят, потому что им мерещатся печи крематориев, эсэсовцы и колючая проволока. Психэдрин или бензэдрин иногда можно с успехом заменить растворимым кофе; псих сжирает баночку и потом целую ночь носится по коридорам, рассказывая санитарам о своих видениях, а санитары его успокаивают:

— Все будет хорошо. Попробуйте немного поспать. А завтра поговорите с доктором.

Беседа с доктором — штука нехитрая; врачам еще не удалось вылечить ни одного психа, зато сами психиатры сплошь и рядом свихиваются или становятся морфинистами. Рассказывая о своей ужасной жизни, надо соблюдать меру, а вот на истории из так называемого трудного детства можно налегать — это действует безотказно: как известно, нет человека, детство которого не было бы сущим адом. Только не нужно подсказывать врачам, что причина нашей депрессии — семейная патология, а именно: отец — алкоголик, мать — нимфоманка, бабка — самоубийца, дедушка — садист и так далее. Наследственность — дело темное; тут ничего не стоит попасться, как ребенку. Зато можно сколько угодно распространяться о наших мытарствах в странах народной демократии. Отличная тема — шантаж со стороны политической полиции. Нам предлагали сотрудничать, а мы отказались, и теперь от шагов на лестнице нас бросает в дрожь. Мы пугаемся, завидев мундир, даже если это мундир пожарника или солдата папской гвардии. Цепенеем, стоит кому-нибудь запеть «Очи черные». Но плачем при виде красного знамени — ведь мы покинули Страну под Солнцем Сталинской Конституции и чувствуем себя вроде как ренегатом. Наше представление о морали и чести подсказывает, что земля, на которой человек родился, дорога ему, независимо от того, что на ней происходит. Вот главная наша беда: мы испытываем ностальгию по кошмару. Тут уж нас не подловишь; в таких случаях врачи попадаются, как дети.

В беседах с немецкими психиатрами неизменно всплывает мотив оккупации. Мы рассказываем, что в детстве бывали свидетелем экзекуций. Это очень важно. Рассказывать надо с мельчайшими подробностями; именно мелочи навсегда застряли в нашей памяти, и потому мы так многоречивы; другие эпизоды из детства мы помним смутно и не в состоянии связать воедино.

Врач. Вы можете припомнить, когда получили игрушку, о которой долго мечтали?

Мы. Игрушку?

Врач. Да. Какую-нибудь игрушку, о которой мечтали в детстве?

Мы *(собираемся с мыслями, видно, как нас охватывает ярость оттого, что не можем вспомнить, наконец)*. Жена подарила мне на свадьбу машину.

Врач. Нет, я прошу рассказать, когда вы получили игрушку, о которой мечтали в детстве. Когда это было?

Мы. Когда это было?

Врач. Да, когда это было?

Мы. Это было в декабре сорок третьего. На Рождество. Я возвращался домой, и на Твардой нас задержали немцы... *(Умолкаем.)*

Врач. Продолжайте. Не забывайте: я прежде всего врач и понимаю, что вам тяжело.

Мы. Да, доктор, мне действительно трудно говорить с вами о таких вещах. У меня в Германии много друзей. Я понимаю: с помощью голода и террора с любым народом можно сделать все что угодно. Как католик (протестант, еврей, греко-католик, баптист и т. д.), я не имею права считать, что один народ хуже или лучше другого. В определенных условиях всякий народ может желать уничтожения другого народа.

Врач. Пожалуйста, успокойтесь. Это очень важно. Значит, как было дело?

Мы. Я возвращался домой, а немцы нас задержали. Это было на Гжибовской площади. Все стояли и ждали; потом приехали два грузовика с заложниками. У них рты были залиты гипсом... нет, прошу прощения, заклеены пластырем. Вот таким... *(Озираемся.)*

Врач. Вы имеете в виду широкий пластырь, да?

Мы. Да. Рты у них были заклеены пластырем. Их поставили к стене, а потом расстреляли из автоматов. Когда они уже лежали на земле, унтер-офицер подходил и стрелял между глаз тем, кто еще был жив. Приседал на корточки и стрелял сбоку, чтобы не было рикошета. Почему-то из револьвера, а не из парабеллума. Вы знаете, чем парабеллум отличается от револьвера?

Врач. Да.

Мы. Это меня и удивило — ведь в немецкой армии не было револьверов, у них были пистолеты: Р-38, маузеры, парабеллумы. А я точно помню, что у унтер-офицера был револьвер: когда в барабане кончились патроны, он стал его перезаряжать — пулю за пулей...

Врач. Но что вам подарили на Рождество? Это ведь был Сочельник, верно?

И тут наступает минута пугающего молчания и растерянности. Мы с ужасом осознаем, что ничего не можем вспомнить. И наконец, говорим, что помнили, но в процессе рассказа забыли: было Рождество, мы получили какой-то подарок, но какой — одному Богу известно.

Деталь с револьвером чрезвычайно важна: зрелище публичной казни заслонило все остальное; в память врезалось, что у немецкого унтер-офицера был револьвер, а не пистолет; прошло уже двадцать лет, а мы не в состоянии это забыть. Изобилия деталей не нужно: достаточно одной, на первый взгляд незначительной,— не все ли в конце концов равно, убивали из маузера или из Р-38; но именно на этой мелочи мы зациклились, именно этого не можем забыть.

Если спустя некоторое время врач поинтересуется, не хотим ли мы вернуться к жене, мы скажем, что не хотим, а на вопрос этого болвана,

чем мотивировано такое решение, ответим: мы пришли к выводу, что больного человека нельзя любить; мы решили уйти, чтобы не ломать жизнь любимой женщине, и уже написали ей письмо, признаваясь в изменах, которых не совершали. Это свидетельствует о том, что жену свою мы любим больше всего на свете, но одновременно доказывает, что не вышли из депрессии, хотя болезнь приняла более легкую форму. Все это, ясное дело, уместно в том случае, если у нас действительно есть жена и мы не прочь какое-то время побыть от нее подальше; если жены нет, надо сказать доктору, что у нас есть подруга, такая же нищая, как мы, и что мы не желаем ломать ей жизнь. Для нас не секрет, что в нее влюблен сосед-мясник или молодой спортсмен, имеющий собственный автомобиль, а мы знаем, что наша возлюбленная обожает быструю езду. Но даже этого мы не можем ей предложить. И потому решаем уйти.

Бедность — фактор необычайно важный; нищета подтолкнула нас к самоубийству. Какой позор: нам уже за тридцать, а единственное наше имущество — электробритва, которую мы получили в дар от американского народа, когда попросили политического убежища. К нам идеально подходит красивое английское слово loser, то есть неудачник. Писатель без труда может объяснить, почему потерпел в жизни крах: год он работал на знаменитого голливудского режиссера; от этого зависело его будущее; они с режиссером подружились; но в писателя влюбилась жена режиссера, и его погнали ко всем чертям. Несколько подобных случаев вкупе с нищетой и мучительным чувством стыда толкнули нас на отчаянный шаг; да, да: неудачи, нищета и унизительная необходимость жить на содержании у жены (если это правда).

Вообще-то в Германии прикидываться ненормальным нетрудно, но еще лучше это получается в Израиле. Во-первых, у нас есть знакомые врачи, которые сами с приветом и готовы сделать для нас все, что в их силах; во-вторых, психические заболевания среди иммигрантов из Европы очень распространены — слишком много довелось этим людям страдать по воле таких благодетелей человечества, как Гитлер, Сталин и наш товарищ Томаш. Трудное детство остается; кошмар оккупации остается; а вот вариант с гонениями со стороны политической полиции стоит изменить. В Польше среди сотрудников аппарата госбезопасности было изрядное количество евреев; сплошь и рядом их вербовали с помощью шантажа, но об этом мало кто знает. Великий Сталин сумел раздуть антисемитизм — один из самых позорных грехов польского народа. В своих планах Сталин проявил бóльшую мудрость, чем Гитлер; он знал, какие чувства должны возникнуть в душе среднего поляка, столкнувшегося с представителем семитской расы в мундире сотрудника УБ; вот вам: евреи, которые подвергались таким ужасным гонениям во время войны, теперь отыгрываются на поляках; гениальный Зютек понимал, что страдание облагораживает только в книжонках для сентиментальных барышень. Странно, что ни один из польских публицистов не поднял голос в защиту этих людей, которых прямо из тюрьмы НКВД отправляли в тюрьму УБ уже в новом качестве — палачей братьев своих.

В Израиле жизнь психа усеяна розами. Красивая страна, солнце, апельсиновые рощи, где можно гулять и жрать витамины. В некоторых психбольницах применяется трудотерапия; психи работают на строительстве домов или дорог, получают задарма пропитание и чистое белье, а заработанные деньги откладывают до лучших времен, чтобы по выходе из дурдома начать новую жизнь или вернуться к любимым вредным привычкам. Второй вариант кажется мне более распространенным: как эмпирик в данном случае я полагаюсь на собственный опыт.

Итак, мы выигрываем время, чтобы отъесться и придумать какую-нибудь книгу или рассказ. Через неделю-другую можно попроситься на работу на стройку; за несколько месяцев мы скопим немного деньжат, чтоб потом писать в свое удовольствие. Только чертовски важно правильно выбрать вид заболевания. Проще всего симулировать манию преследования; при этом, повторяю, в больнице необходимо первое время

отказываться от пищи: ведь мы подозреваем врачей в сговоре с гестапо, УБ или мафией «Коза ностра», задумавшими нас прикончить. Голода испытывать мы не будем — от этого нас избавят вливания. Неплохо притвориться, что нам слышатся голоса, приказывающие сделать то или иное: например, убить тещу, покончить с собой и т. п. Но если мы испытываем только временные финансовые затруднения, сойдет и неудавшаяся попытка самоубийства. За три месяца можно сочинить кучу занимательных историй.

2. Разочарование в коммунизме

Это уж совсем дохлое дело: на дивиденды рассчитывать не приходится. Комми создали абсурдный мир, и у нормального человека нет ни времени, ни охоты забивать себе голову такими вещами, как лагеря на Колыме, Лубянка и ночные допросы. Мне рассказывали, что в лагерях Крайнего Севера заключенные, задумав побег, иногда уговаривали присоединиться к ним кого-нибудь из новеньких, чтобы по дороге кормиться его мясом. Я знаю, что это правда; но поверить тем не менее трудно. Читая недавно «Воскресение», я наткнулся на аналогичную историю о каторжнике, который пытался убежать из Сибири; известно, что он взял с собой приятеля, которого убил, и сотни километров тащил на себе труп, питаясь человечиной. Но подобные истории никого не интересуют, да и нельзя заставлять нормальных людей в такое верить.

Когда я рассказывал на Западе, как живется в Польше, меня слушали с вежливым равнодушием. Потом я перестал говорить на эту тему; а потом мой гнев остыл. Вправе ли я был вынуждать западного человека поверить, что заключенные поедают друг друга; что проявления братских чувств нам недешево обходятся; что, работая как вол, я зарабатывал на жратву хуже той, которую дают в тюрьме в Яффе? Я плохо себе представляю, что такое мораль; кажется, это весьма растяжимое понятие; но одно я знаю твердо: нельзя требовать от людей, чтобы они в такие вещи верили.

У нас, у поляков, вообще — в любом деле — шансы на удачу невелики. Русская книга, даже самая слабая, всегда будет пользоваться в тысячу раз большим успехом, чем хорошая польская. Книжка Херси — ерунда по сравнению с тем, что написал Адольф Рудницкий; даже само сравнение для Рудницкого, по-моему, унизительно. Книгу Уриса «Миля 18» вообще нельзя ни с чем сравнить, настолько она глупа. «Один день Ивана Денисовича» — повесть слабая, но имеет огромный коммерческий успех; «Иной мир» Грудзинского [1] — потрясающий документ, но не думаю, что расходится так же, как «Иван Денисович». «Слепящая тьма» Кёстлера, книга, сегодня уже классическая, с литературной точки зрения беспомощна и полна ляпов, свидетельствующих о том, что автор плохо себе представляет, как выглядит тюрьма: например, герой романа видит из своей камеры друга, которого ведут на казнь, хотя увидеть что-то через глазок можно лишь со стороны коридора. Другой герой во время прогулок по двору рисует Рубашову карту СССР — у него есть бумага и карандаш, что в тюрьме запрещено. Еще один носит часы на цепочке — и так далее. Все три персонажа — Рубашов, Иванов и Глеткин — фигуры одномерные; сам Кёстлер признается в своей автобиографии, что его герои — не живые люди, а изрекающие сентенции марионетки. Когда читаешь сейчас «Слепящую тьму», невозможно отделаться от впечатления, что это всего лишь сентиментальная лекция о тоталитаризме; и дела не спасают ни цитаты из Библии, ни цитаты из Макиавелли. Однако все перечисленные книги написаны русскими или людьми «оттуда»; их успех легко объясним; если б мне захотелось что-нибудь узнать об Америке, я бы предпочел поговорить часок с не блещущим умом американцем, чем

[1] Густав Герлинг-Грудзинский (род. в 1919 г.) — польский писатель, узник сталинских лагерей; после освобождения живет за границей. «Иной мир. (Советские записки)» вышел на русском языке в издательстве «Прогресс» в 1991 г.

беседовать четыре часа с самым умным пуэрториканцем. И довольно об этом; на разочаровании в коммунизме и гроша ломаного не заработать.

3. Сутенерство

Сутенерство — профессия необычайно трудная, требующая высокого актерского мастерства, крепких нервов и умения быстро принимать решения. Кроме того, необходимо располагать широкой гаммой чувств: от крайней жестокости до поистине овечьей кротости. Однако даже уроки Рейнхардта, Казана [1] или Станиславского не помогут стать сутенером, если мы сами, проявив силу воли и настойчивость, не овладеем ремеслом лицедея. Мне рассказывали, что американский актер Берт Ланкастер заставлял своего слугу запирать его на много часов в комнате, где были только стул и зеркало; отпирать дверь он разрешал не раньше указанного времени, даже если начнет, озверев от одиночества, колотить в нее кулаками. Не знаю, насколько правдива эта история, но поступать следует именно так.

Вопреки распространенному мнению и представлениям, вынесенным из книжек и фильмов, отобрать профессиональную проститутку у другого сутенера труднее, чем заставить пойти на панель порядочную девушку. Всякую женщину можно превратить в проститутку, пустив в ход такие аргументы, как обещание помочь с получением музыкального или медицинского образования, купить загородный домик, создать условия для новой жизни, сулящей нравственное возрождение. А увести у сутенера проститутку сложно по двум причинам. Во-первых, девица любит своего пастыря и, ежедневно ложась с ним в постель, как бы морально и физически очищается; во-вторых, нас могут «писануть» дружки вышеупомянутого пастыря, причем полиция пальцем не пошевелит, ибо все полицейские в мире куплены сутенерами и их питомицами.

И все же поразмышляем на эту тему. Предположим, мы увидели красивую проститутку. Она сидит в кабаке; мы смотрим на нее голодным взором. В первый вечер мы ничего не говорим; выпиваем кружку пива и уходим. В дверях на минуту приостанавливаемся и бросаем на нее последний взгляд — на этот раз исполненный ненависти; мы уже открыли рот, собираясь что-то сказать, но внезапно поворачиваемся и уходим. Затем мы отправляемся к своей невесте и долго убеждаем ее, что Шиллер лучше, чем Гёте. Или наоборот; это не имеет решительно никакого значения.

На следующий день мы идем в кино на фильм с Хамфри Богартом. Лучше всего на «Касабланку» — это жуткая пошлятина, но Богарт там гениален и у него можно многому научиться. Особое внимание надо обратить на сцену, когда Ингрид Бергман, бывшая любовница Богарта, приходит к нему с просьбой помочь мужу, которого вот-вот арестует гестапо; только Богарт может его спасти. Почему во всей Касабланке, кроме Богарта, некому спасти этого зануду, не знаю; но это и неважно.

Полночь. Богарт сидит и пьет виски из здорового стакана; перед ним пепельница с кучей окурков. За стеной негр наигрывает на пианино любимую мелодию Богарта и Бергман. Раздаются шаги; входит Ингрид Бергман. Приближается к Богарту. На лице Богарта не дрогнул ни один мускул.

Бергман. Ты должен ему помочь. Этот человек борется за самое благородное дело на свете.

Богарт. Извини. Кроме собственной персоны, меня никто не интересует.

Бергман. Если ты не поможешь, он здесь погибнет.

Богарт. Я тоже здесь подохну. *(Минутная пауза; затем добавляет успокаивающе.)* Тут очень уютное кладбище.

[1] Макс Рейнхардт (1873—1943) — немецкий режиссер и актер; Элиа Казан (род. в 1909 г.) — американский режиссер театра и кино, писатель.

Б е р г м а н. Послушай. Этого человека я встретила совсем еще молодой девушкой. Он мне объяснил, что́ в жизни всего прекрасней, а...

Б о г а р т *(перебивает ее)*. Когда я была молода, я встретила мужчину, который... и так далее, и тому подобное. Трогательная история. Я таких черт-те сколько слыхал.

Бергман вытаскивает пистолет. Богарт разражается сатанинским хохотом. Но стакана с виски не отставляет.

Б о г а р т. Стреляй. Ты только окажешь мне услугу.

Потрясающая сцена! Богарт говорит медленно, растягивая слова; лицо у него усталое, на губах кривая усмешка.

Как-то на вопрос журналистов, о чем он думает, когда на его лице появляется выражение усталости и покорности судьбе, Богарт ответил, что вообще никогда ни о чем не думает, а выразительности добивается очень простым способом: надевает правый башмак на левую ногу и наоборот; естественно, что при этом лицо не может быть таким спокойным и безмятежным, как у Зютека Солнышко на картине под названием «Утро нашей родины», где мы видим Отца и Учителя на фоне восходящего солнца; еще мы видим провода электропередачи, буровые вышки, самолеты и комбайны. Но не в том дело.

Самое важное — научиться вести диалог. В кино именно Богарт поставил все с ног на голову. До него актеры старались произносить свои реплики четко и гладко; Богарт в «Окаменевшем лесе» первый показал, как это надо делать. Говорил он невнятно, глядя в сторону и запинаясь. Длинные фразы выпаливал скороговоркой, короткие — растягивал до невозможности. Создавалось впечатление, что он подыскивает слова, что говорить ему мучительно трудно; казалось, у него каша во рту. Брандо, актер школы Казана, говорит точно так же: мучается, сбивается, но в нем нет правды Богарта. Возможно, потому, что Брандо не хватает отрешенности и покоя, которые были присущи Богарту. Все прочие — Ньюман, Клифт, Дин — дети Богарта, и, по-видимому, не случайно громкая слава пришла к нему через десять лет после смерти, когда миллионы зрителей успели увидеть кучу его детей, ни один из которых не умел передать отчаяние и холодную решимость так, как их отец.

Назавтра, посмотрев фильм и ни на минуту не забывая уроки Богарта, мы входим в кабак, где сидит наша единственная. Одеты мы плохо и неряшливо; нам было некогда подумать о себе; мы думали о ней. По той же причине мы плохо выбриты; у нас криво завязан галстук и под глазами круги — след бессонной ночи. И морщины на лице стали глубже, и руки слегка дрожат, когда мы, широко расставив ноги, стоим в дверях и закуриваем сигарету; мы помним, как привлекателен человек, который знает, что неуклюж, и ничего не может с собой поделать.

Подходим к ней.

М ы. Сколько?

О н а. Сто.

Мы ошеломлены: при нашей бедности на эти деньги можно прожить неделю. Постепенно ошеломление сменяется отчаянием: столько мы не наскребем. И вот уже мы смотрим на нее с ненавистью: ведь каждый может ее иметь; каждый, у кого есть такая сумма; а мы не можем. Потом эта ненависть обращается на нас самих: ведь нам уже за тридцать, у других в этом возрасте есть дома, машины и счет в банке; у нас же нет ничего. Мы проиграли жизнь; проиграли будущее; а теперь проиграли и эту ночь. И, погасив сигарету, уходим.

О н а *(вдогонку)*. Восемьдесят.

Мы резко оборачиваемся. На лице у нас уже нет ни ненависти, ни отчаяния — только холодное сознание очередной неудачи. Но через секунду мы вновь вспоминаем обо всех этих юнцах, разъезжающих на «ягуарах», соблазняющих несовершеннолетних и скучающих в Портофино. Мы смотрим на обтрепанные рукава своего плаща, и наши черты искажаются от гнева.

М ы. Я не нуждаюсь в жалости.

Уходим. Отправляемся к невесте и сообщаем ей, что Шиллер лучше, чем автор «Фауста», или наоборот; это не имеет значения. На следующий день мы снова приходим в кабак и молча выкладываем требующуюся сумму; потом идем с девицей наверх. Там, вытащив из кармана адресованное вымышленной особе письмо, говорим.

М ы. Если я завтра к тебе не приду, отправишь это письмо.

О н а. Почему?

М ы. Я сегодня пришиб одного малого. Чтобы быть с тобой.

Диалог продолжается; мы рассказываем, что, повинуясь голосу сердца и поддавшись так называемому урагану страстей, но не располагая необходимыми средствами, двинули одного малого гантелью по голове и таким способом добыли деньги — пошли ради нее на преступление. Затем вручаем ей образок, купленный два часа назад у евреев; это — единственное, что у нас осталось в память о детстве; мы просим — если не вернемся до завтра — переслать его нашей матери, поскольку человек, совершивший убийство, недостоин носить образок или крестик.

Уильям Фолкнер когда-то на вопрос журналистов, какая профессия больше всего подходит пишущему человеку, ответил: писателю хорошо быть владельцем борделя. Мотивировка Фолкнера проста: вкусная жратва, добрые отношения с полицией, окрестная шпана уважает и величает «хозяином», утром не надо спешить на работу, а вечером — развлекайся сколько влезет. Но в Европе на такую синекуру даже глупо рассчитывать. Сутенерство, впрочем, тоже неплохая профессия — если к этому виду деятельности отнестись разумно, как к временному занятию, позволяющему скопить нужную сумму, чтобы вместе с возлюбленной открыть где-нибудь маленькую гостиницу и возродиться морально. Сутенеры, имеющие несколько женщин, с ними не спят: известно, что, переспав с проституткой, альфонс утрачивает над ней власть. Но о «нескольких» нам нечего и мечтать. Если же мы все-таки заведем одну, надо первым делом заставить ее поклясться, что некоторые виды услуг она своим клиентам оказывать не станет: нечто святое причитается только нам одним. Пусть, например, никогда не снимает лифчика. Конечно, все это проблемы весьма деликатные, и каждый должен решать их по-своему — я в конце концов писатель-моралист, а не доктор Кинси [1]. Но без этого не обойтись; вы должны настаивать, чтобы ваша девушка сохранила что-то святое исключительно для вас; и хлестать ее по щекам; и при всяком удобном случае закатывать сцены ревности. Она будет счастлива; и вы тоже. Но когда она впервые принесет вам деньги, разорвите их и выбросьте в окно, под которым будет стоять ваш приятель; назавтра он склеит купюры и в банке объяснит, что ребенок вытащил у него из кармана бумажник и порвал все, что там было. Потом нужно попытаться покончить с собой; с этой целью мы берем бритву и стараемся перерезать вены повыше локтя (ни в коем случае не на запястье!), где они защищены толстым слоем жира и мышц, о чем мы не подозреваем, поскольку действуем в состоянии аффекта. И так наша жизнь покатится среди роз и рек вина.

4. Тихая гавань

Попав в беду, не надейтесь, что вам кто-нибудь поможет. Я сам обращался за помощью к польским организациям дважды в жизни: первый раз, когда был в Израиле и, не имея разрешения на работу, подыхал с голоду; второй раз — в аналогичной ситуации. Оба раза мне отказывали; хотя и, должен признаться, вежливо. Если у нас ничего не получится с психлечебницей (в смысле тихой гавани) и с сутенерством (в смысле добывания денег для последующего морального возрождения и сочинения романа о весне чувств молодой женщины), всегда можно отыскать прибежище, именуемое тюрьмой.

---

[1] Альфред Чарльз Кинси (1894—1956) — американский сексолог.

В мюнхенскую тюрьму попасть неплохо, особенно если хочешь послушать родную речь, столь необходимую для пишущего человека: каждый третий заключенный — поляк. В Мюнхене наши соплеменники ведут весьма немудреный образ жизни: спят на вокзале, а днем собираются в большом магазине в центре города, где скидываются на бутылку водки «Пушкин» (ее рекламируют как напиток для крепких парней: на этикетке изображены двое с рюмками; рядом сидит, благосклонно на них взирая, медведь). Затем эти господа снова отправляются на вокзал, чтоб немного поспать; там их арестовывают и сажают на восемь дней за бродяжничество. В тюрьме они отмываются, что недоступно на свободе по очень простой причине: у них нет ни жилья, ни документов. Несколько лет назад в Мюнхене существовала гостиница «Бункер», где можно было переночевать за одну марку; такой возможности больше нет. На вокзале ночуют также итальянцы — незадавшиеся сутенеры и брачные аферисты; поэтому в мюнхенской тюрьме можно услышать три языка: немецкий, польский и итальянский.

Кормят, правда, в Мюнхене паршиво. Не верьте фильмам, герои которых бегают по камере; в тюрьме нужно побольше лежать, потому что от лишних движений усиливается чувство голода. И самое скверное — там не разрешают писать; ты тщательно все обдумываешь: эпизод за эпизодом, диалог за диалогом,— а записать ничего нельзя; тюремными правилами запрещено трудиться для заработка.

Как бы того ни хотелось педагогам и кинорежиссерам, тюремные надзиратели не любят послушных и услужливых заключенных; им по душе «трудные ребята»: наглецы и пройдохи. Если твой срок подходит к концу, а у тебя нет ни гроша и хочется еще посидеть, чтоб собраться с мыслями, рекомендуется прибегнуть к нехитрому способу: ты сбрасываешь со стены распятие и вызываешь надзирателя; за глумление над религиозными чувствами тебе влепляют еще шесть дней: Бавария, где одерживал свои первые победы Адольф Гитлер,— край католический.

Сроки небольшие и неизбежно кончаются; непременно нужно позаботиться, чтоб тебя ждали в другой стране, особенно когда худо с башлями. Пересекаешь границу, и начинай все сначала. Но вот в Париже ввязываться в истории не стоит — это единственное место, где можно разжиться деньгой, но и нарваться на неприятности нетрудно; а кто не получал в морду от французского полицейского, тот вообще не знает, что такое быть битым. Если окажешься в тюрьме в Яффе, тоже особо не ерепенься; тебя так измолотят, что волей-неволей поверишь: с израильтянами ничего не случится и они свои проблемы решат. В Палермо, когда тебя будут метелить и сорвут с шеи образок, преклони колено и поцелуй его; надзиратель угостит сигаретой, а будешь себя хорошо вести — даже пива на допросе предложат выпить. И вообще, будь паинькой, но стой на своем.

Ну а коли уж сидишь в камере с другими безвинно пострадавшими, не впадай в отчаяние и не лей слез, потому что никто твоих актерских способностей не оценит, хотя вообще-то владение драматическим искусством в прибежищах такого рода — штука крайне полезная. Принимай участие в беседах сокамерников, но не выпендривайся. Ни в коем случае не сетуй на несправедливость наказания; не забывай, что за всю историю существования тюрем на свете никто никогда не считал себя виновным. Не встревай в чужие разговоры, даже если сочтешь, что кто-то из собеседников несет околесицу. Когда я сидел в Штадельхайме, двое невинных несколько месяцев вели бесконечный спор: куда пойти после освобождения, то есть в каком кабаке можно быстрей и дешевле всего надраться. Проблема была нелегкая: из тюрьмы в Штадельхайме выпускают в пять утра; все заведения в эту пору закрыты.

Один предлагал прямо из тюряги отправиться в Швабинг и там безотлагательно приступить к делу. Другой настаивал на Центральном вокзале; идти туда чуть подольше, зато спиртное дешевле и можно больше выпить; да и дальнейшая судьба известна: мюнхенские полицейс-

кие начинают razzia [1] именно с Центрального вокзала. Первый — видимо, более подкованный,— однако не сдавался и твердил, что идти надо прямо в Швабинг. Наконец дискутанты пришли к компромиссу: решено было отправиться на рынок и в тамошней большой пивной, названия которой я уже не помню, сразу заняться делом. Продумано было все до мельчайших подробностей: выпустят их в пять, первый трамвай они поймают в пять пятнадцать, дорога займет полчаса, а оставшиеся пятнадцать минут — пивная открывалась в шесть — они скрасят беседой. В ближайшее воскресенье я поинтересовался у этих господ, почему их не освободили; оказалось, что им осталось сидеть еще по шесть лет.

В тюрьме соблюдается некая иерархия обсуждаемых тем — в зависимости от их важности. Тема номер один, естественно,— невиновность всякого заключенного и печальная ошибка органов правосудия. Тема номер два — подлость и коварство женщин; затем спорт, переломные жизненные моменты и воспоминания времен войны; глупость нынешнего канцлера или президента; проблема существования Бога и сетования на плохую кормежку; последнее перемещается на второе место — то есть опережает тему женского коварства — в пятницу, когда на обед приносят кусочек рыбы с какой-то мерзкой размазней. В субботу жратва уже нормальная, и первоначальная иерархия восстанавливается.

Благодатная тема — воспоминания о пребывании в других тюрьмах. Немцы, как правило, сходятся на том, что самая приятная тюрьма в ФРГ — штутгартская. Она тебе и современная, и радиофицированная, и водопровод имеется; вдобавок — что составляет предмет особой гордости — тюрьма в Штутгарте снабжена радарной системой сигнализации, и своими силами на свободу оттуда не выбраться. Итальянцы реже приходят к общему мнению, поскольку сицилийцы недолюбливают северян; но, похоже, тюрьма в Палермо не из худших; в американских тюрьмах лучше всего кормят, однако опытные зеки привередничают — говорят, там чересчур строгий режим.

Сидя в камере, будь компанейским, но не пытайся верховодить и ни в коем случае не становись «душой общества» — только вызовешь зависть сокамерников, от природы нелюдимых и немногословных. Поменьше трепись о своей персоне; помни: все эти взломщики и сутенеры тоже попали в тюрьму по ошибке и желают поделиться своей обидой с другими. Хорошо, если ты видел много фильмов и можешь изображать отдельные сцены в лицах. Если у тебя хорошая память, гони «Унесенных ветром», «Мост Ватерлоо» и «Касабланку»; гангстерские фильмы и детективы лучше в репертуар не включать, больно уж они все идиотские, кроме разве что «Асфальтовых джунглей»,— и упаси тебя Бог от «Рифифи». Не забывай, что снять правдивый шпионский или полицейский фильм практически невозможно: настоящий шпион должен быть неразличим в толпе, а какой-нибудь Гари Купер или Шон Коннери на такое не способны. Ограничься бытовыми драмами и приключенческими лентами; зеки любят Эдди Константина; его фильмы «показывать» легче всего, так как все они один на другой похожи.

Если хочешь блеснуть эрудицией и начитанностью, первым делом расскажи про Микки Спиллейна. Немецким заключенным он малоизвестен, и на этой ниве ты пожнешь славу. Но остерегайся компилирования; если тебя поймают, лишишься доверия сокамерников и никогда не получишь чинарика.

Когда тебя сажают в карцер, ты отдаешь свою обычную робу и вместо нее напяливаешь красную, чтобы выделяться на прогулке и чтоб другие заключенные к тебе не подходили. Но не беспокойся; если ты хорошо себя показал, твои сокамерники затеют драку, надзиратели кинутся их разнимать, а кто-нибудь под шумок сунет тебе пачку махорки; если ее обнаружат при возвращении в карцер, скажешь, что нашел во дворе. Три дня — срок недолгий; но не вздумай, чтобы скоротать время,

---

[1] Облаву *(нем.)*.

заниматься онанизмом — только расклеишься. Размышляй о своей книге: спокойно, сцена за сценой, обдумывай ее и рассказывай себе от начала до конца, а потом начинай все сначала. Такой совет мне дал Игорь Неверли; лучше советов я не получал. Сидя в карцере, не думай о жене и вообще о женщинах; вспоминай картинки детства; лягушек, которым ты вспарывал животы; неплохо припомнить, как ты свистнул у своей старушки бабушки золотое обручальное кольцо, когда она лежала на катафалке, а ты сказал родным, что хочешь побыть с дорогой покойницей наедине, и заменил золото высшей пробы томпаком. Не пой — устанешь, а чрезмерная усталость не позволит заснуть. Старайся вообразить, что ты пребываешь в бесконечности, вне времени и пространства; старайся не обращать внимания на бой часов. Помни о том, что Шатов сказал Ставрогину: «Мы два существа и сошлись в беспредельности... в последний раз в мире».

Думать лучше не о сегодняшнем дне и не о завтрашнем, а о делах минувших; о чем-нибудь приятном, вызывающем добрую улыбку и легкую грусть. Я, например, вспоминал вторжение сталинских соколов в тысяча девятьсот сорок пятом году; я тогда жил в Ченстохове, на улице Собеского, восемьдесят четыре. Пришли русские; разбили цистерну со спиртом, и потом люди лежали в грязи и лизали пропитанный спиртом истоптанный снег. Но это все вещи общеизвестные; такое бывает во время любой войны и в любом городе. Интересно другое: мимо наших окон русские шли две недели — дорога вела в Варшаву,— но про Варшаву никто не упоминал. Время от времени кто-нибудь, зайдя в дом, чтобы попросить кипятку, спрашивал: «Где дорога на Берлин?»; расстояние солдата не интересовало; позади у него остались Украина, Уральские горы и горы Кавказа; златоглавая Москва и каменный Ленинград; а теперь он шел в Берлин, даже не спрашивая, сколько до него километров,— ему важно было знать направление.

Русские шли много ночей и дней, распевая про героя Чапаева, который гулял по Уралу; по ночам они насиловали женщин, и те, что держали за руки мужа своей жертвы, говорили ему удивленно и благодушно: «Ты чего беспокоишься? Разочек женку выебем, и все дела». А те, которые шли по улице, пели про Чапаева и про то, как первого мая они получили письмо от матери, где она спрашивала, не убит ли еще ее сын. У них было много хороших песен; о том, что их ярость благородная вскипает, как волна; о том, чтобы матери не грустили и пожелали им доброго пути; и о том, что они выпьют за Родину, за Сталина, а потом снова нальют. Сейчас я знаю, что понять русских очень помогают песни; их убогие книжки и глупые газеты врут; но в песнях, зовущих к победе,— правда; и еще они отражают силу народа; любого солдата можно победить — только не русского.

Они укладывались спать на снегу в подворотне нашего дома и мгновенно засыпали; утром, проснувшись, отряхивались, как вылезшие из воды собаки, варили свою кашу со свиным салом и отправлялись в путь на Берлин. Они брали наши часы и наши обручальные кольца; брали наших женщин, но отказывались от нашего гостеприимства и нашего крова. Помню, как во дворе насиловали девушку, а потом одна из соседок, желая избежать подобной участи, подошла к застегивающему ширинку сержанту и, протянув ему рюмку водки, сказала по-русски: «Ваше здоровье, командир». Сержант взял у нее бутылку и шваркнул об стену; и тогда я понял, что нет презрения страшней, чем презрение русского человека. Солдаты растоптали осколки и пошли догонять своих, с песней про Чапаева идущих на Берлин.

А потом боевые части прошли и появились войска НКВД, и мы все побежали смотреть, как будут расстреливать семьи власовцев в соседнем доме. Энкаведешники въехали во двор на «виллисе», и сержант, не выключая мотора и не вылезая из машины, крикнул: «Выходите!» — и те вышли; их поставили к стенке, и сержант прошил всех автоматной очередью; потом они уехали, даже не проверив, не спрятался ли кто

в подвале дома; мы же, кинувшись туда, чтобы чем-нибудь поживиться, увидели, что никто и не пытался прятаться; все лежали мертвые, припорошенные снегом. Так что, когда сидишь в карцере, думай об этом и помни, что если они когда-нибудь придут и сюда, убегать бессмысленно — от них не убежишь. Как и от судьбы. Не радуйся, что у тебя паспорт беженца и тебе разрешено жить в Швейцарии, Франции или Италии; в конце концов ты так или иначе останешься один; но прежде в одиночестве пройдешь весь долгий путь, и никто никогда не поверит, будто тебе есть что сказать. Хотя, пожалуй, в карцере об этом лучше не думать; об этом можно думать в камере, среди людей, которые еще верят, что через шесть лет отправятся в ту же самую пивную и будут пить то же самое пиво; и не смейся над их верой. Быть может, она святая.

5. Честный труд

Хорошей, по-настоящему честной работы нам не получить. На шпионском поприще мы не преуспеем — поляки для этого не годятся. Когда — после того как я выбрал свободу — у меня спросили, не знаю ли я, где в Польше военные аэродромы, я ответил, что про некоторые мне известно. Мой собеседник оживился:

— Ну и где же они?

— В Варшаве на Бернерове,— сказал я.

— Где еще?

— Около Легницы.

— А еще какие знаете?

— Кажется, есть один в районе Гдыни. Между Гдыней и Гданьском. Точно не скажу. Но где-то там должен быть.

— Вы хоть один видели? — спросил мой собеседник.

— Нет,— сказал я.— Никогда.

— Так откуда же вы про них узнали?

— Из передач «Свободной Европы»,— сказал я. И на этом моя шпионская карьера закончилась.

О том, чтобы стать шпионом, нечего и помышлять — к моему величайшему сожалению. Не могу не выразить личной претензии к Ежи Путраменту, который в своем блестящем романе «Ноев ковчег» гениально нарисовал портрет поляка, работающего на какую-то разведку; мои претензии распространяются также на Тадеуша Конвицкого и Ярослава Ивашкевича. Как мы помним из их книжек, поляков, выбирающих свободу в Западной Европе, пытаются завербовать офицеры ЦРУ, вручая им симпатические чернила, пистолеты с глушителями, яд и динамит, но наши соотечественники гордо отвергают предложения американцев и, раскаявшись, возвращаются в лоно отчизны. В фильме «Карьера», снятом по сценарию Конвицкого, Ян Свидерский играет человека, который соглашается работать на американскую разведку; в фильме «Погоня» мы видим шпиона, которого офицеры ЦРУ заслали в Польшу, чтобы он не то отравил, не то выхолостил всех жеребцов; в фильме Ванды Якубовской, названия которого я уже не помню, тоже есть диверсант; в другом ее фильме, «Солдат победы»,— целых два английских шпиона: одного зовут Владислав Гомулка, второго — Мариан Спыхальский. Начитавшись таких книжек и насмотревшись таких картин, мы вправе предположить, что нас немедленно завербуют и заставят отравлять жеребцов, кастрировать цыплят и перерезать телефонные провода; однако нас ждет ужасное разочарование: вместо динамита и пистолета с глушителем мы получаем пинок в зад и напрасно станем ссылаться на то, что прочли вышеназванные книжки и посмотрели вышеупомянутые фильмы и потому полные рвения и надежд готовы служить иностранной разведке. Наши аргументы не покажутся убедительными офицерам приютившей нас страны.

Писателям, желающим посвятить себя сочинительству шпионских

романов, я бы посоветовал сперва хорошенько подумать. Забросить шпиона в страну за «железным занавесом» чрезвычайно трудно. Проникнуть туда может или американский офицер, которого готовили Бог весть сколько лет, затратив на учебу Бог весть сколько средств, или проходимец, которому страшновато доверять и который работает ради денег: всегда существует опасность, что он предпочтет служить тому, кто больше заплатит. По принципу простого расчета. Технически осуществить переброску шпиона через границу при современных системах сигнализации очень сложно; можно, правда, его отправить в составе торговой миссии или в качестве attaché culturel [1]; но и это непросто.

Русские же и поляки могут без большого риска перебрасывать на Запад тысячи шпионов в год. Агенты просят политического убежища по мотивам, выраженным в некогда популярной в Польше песне: «Трумэн, Трумэн, брось эту бомбу, больше терпеть нету сил»; зацепившись на Западе, они сидят тихо, занимаясь каким-нибудь невинным делом, и только по прошествии нескольких лет приступают к выполнению заданий своего начальства. Это уже не случайные проходимцы, которым нельзя доверять, а убежденные члены партии, фанатики, прекрасно понимающие, что путь их, скорее всего, недолог и в конце его — двадцать четыре тысячи вольт; однако это их не пугает. Мы видели в сочиненной Леоном Кручковским мелодраме, как супругам Розенберг обривают головы, чтоб плотней прилегали электроды, а президент Эйзенхауэр томится у телефона, подсоединенного к их камере; всем не терпится, чтобы Розенберги начали, наконец, выдавать других шпионов, но они только целуются и говорят о Сталине — пока палач, соединившись с «Вестерн электрик», не пропускает через их тела ток; и тут Эйзенхауэр понимает всю глубину падения своего народа и краха своей политики и убеждается в идиотизме офицеров американской разведки.

Но коль скоро мы попросили политического убежища, надо проявлять осмотрительность и следить за своими словами, поскольку друзья нашего детства, отрочества и юности, слинявшие раньше, успели нас полностью скомпрометировать, рассказав про все наши грехи, так что ведущему допрос офицеру ЦРУ известно даже то, чего мы сами не помним. Упаси нас Бог также от глупейшей идеи потчевать американцев вымышленными историями в расчете на то, что — пускай не сразу — мы обретем тихую гавань. Запросто можно угодить под копыта бешено несущихся коней, но предварительно так схлопотать по роже, что даже в могиле будем держать язык за зубами.

Итак, если мы принадлежим к категории людей пишущих и не были ни членами партии, ни учениками Святло, Моната и Фейгина [2], заниматься честным трудом нам не придется. Я б с удовольствием стал американским шпионом, чтобы свести счеты с парочкой комми, хотя прекрасно понимаю, что они б меня достали раньше. Но, повторяю, это пустые надежды — в нас никто не нуждается. Ведь мы, по сути, ничего не знаем о стране, в которой жили; знать, какая беда ее постигла, недостаточно. А что еще мы можем сказать о Польше, кроме того, что она перестала существовать в тот день, когда диктор московского радио объявил: СЕГОДНЯ, СЕМНАДЦАТОГО ЯНВАРЯ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СОРОК ПЯТОГО ГОДА, НАШИ ДОБЛЕСТНЫЕ ВОЙСКА ОСВОБОДИЛИ ГОРОД ВАРШАВУ. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ. СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ЗАХВАТЧИКАМ.

СТАЛИН

---

[1] Атташе по культуре *(франц.)*.

[2] Высшие чины Управления безопасности.

Имеются дверцы для двустворчатого шкафа, застекленные

Вопреки тому, что пишут, недолгий период свободы слова в Польше начался не с приходом к власти Владислава Гомулки; наоборот, именно тогда он закончился под давлением соображений государственного порядка, как заявил тот же Гомулка, с которым связывались все наши надежды. Гомулке для подкрепления своего тезиса не понадобилось прибегать к помощи метафор или намеков: советские танки на улицах Будапешта и пятнадцать тысяч — если верить официальным данным — убитых венгров оказались достаточно впечатляющим предостережением.

В те дни на улицах Варшавы развевались венгерские флаги и тысячи людей добровольно сдавали кровь, которую затем на самолетах переправляли в сражающийся город; везде звучал венгерский гимн; «По просту» напечатала на первой странице венгерскую поэму под названием «Воздуха!»; люди горевали и пили; так была удовлетворена национальная потребность в трагизме.

Сейчас нелегко писать и говорить об Октябре — неожиданно выяснилось, что никто тогда в перемены не верил. Да и не помню я в мировой истории случая, чтобы тиран вдруг разодрал на себе одежды и объявил, что с завтрашнего дня постарается стать лучше. В одном из старых номеров «По просту» в статье главного редактора мы читаем, что «польский Октябрь» — результат революционного брожения рабочих и крестьян с их здоровым инстинктом и политическим опытом, заставившими потребовать от партийного руководства демократизации и установления правопорядка. Не знаю, можно ли воспринимать всерьез гордое заявление рабочих Жерани: «Не пропустим». О том, способны ли три тысячи вооруженных винтовками добровольцев остановить советскую армию, лучше спросить у военных. Так или иначе, партия провела свой тактический маневр безукоризненно: с чисто театральной выразительностью людям дали почувствовать, что они своими руками совершили перелом в истории народа.

Найти в том, что произошло, забавные стороны довольно трудно. Не знаю, чего и на каком основании поляки ждали от Октября и давал ли им право надеяться опыт последних одиннадцати лет и близость советской границы. Быть может, правильно оценить ситуацию им помешала вера в одного человека: Владислава Гомулку. Быть может, народ верил, что человек, пострадавший от своих единомышленников, будет управлять страной, не забывая, что пережил и претерпел сам. Увы: такое свойственно, скорее, героям сентиментальных романов; опираясь на материалы статистики и рассказы немало повидавших за свою многолетнюю практику полицейских и директоров тюрем, вряд ли можно сказать, что страдания облагораживают. И все же в этой истории есть один забавный элемент: разочарование в Гомулке. Как будто этот человек и вправду мог в короткий срок изменить что-то к лучшему! Сам Владислав Гомулка, придя к власти, вскоре заявил в одном из своих выступлений, что на быстрое повышение жизненного уровня нечего и рассчитывать, поскольку у правительства просто нет денег. При этом он говорил о колоссальных задолженностях Польши, о катастрофической ситуации в экономике, не забывая подчеркивать, что Советский Союз великодушно отказался от части своих претензий к Польской Народной Республике. Его словам, однако, не придали должного значения; когда Гомулке случалось уезжать в Москву, толпы на вокзале приветствовали его радостным ревом, одновременно умоляя захватить с собой на всякий случай сухой паек и напутствуя добрым советом, который в те времена стал национальным девизом: «Держись, Весек». Совершенно упустили из виду, что этот человек — коммунист, вероятно один из самых оголтелых, бескомпромиссных и твердолобых. Вся эта история — находка для писателей-моралистов: угнетаемый и унижаемый одиннадцать лет народ

уверовал, что по воле одного-единственного, немало пострадавшего человека все разом изменится; я же, воспитанный на полицейской литературе, которую с интересом почитываю и сейчас, не сомневаюсь, что такое невозможно.

Писатели и мыслители задним числом распространили легенду, будто Гомулка их возненавидел. Мне очень жаль, но это не совсем так. Боюсь, легенду сочинили они сами. В конце сороковых Гомулка был объявлен шпионом и ренегатом; его оплевывали; его публично клеймили на массовых митингах, обвиняя в связях с французской, английской и американской разведками; его лишили права, которое дается даже самому страшному уголовнику,— возможности предстать перед судом и рассказать правду о себе судьям и народу. Авторам книг о работавших на Гомулку шпионах и навлеченных на нашу голову «гомулковскими уклонами» бедах вручались государственные награды; ценою огромных финансовых затрат, многолетних трудов и долгих размышлений был снят уже упоминавшийся фильм «Солдат победы»; над Гомулкой смеялись и издевались, и не нашлось ни одного Симона Киренеянина, который бы ему помог. Затем «поверженный» — по выражению Путрамента — Гомулка воспрял и вернулся. И ничего не произошло: те же люди, которые его топтали, продолжают снимать фильмы и писать романы; никому не снесли головы; никто не разделил участи Бориса Пильняка, Исаака Бабеля и Горького, семь смертей которого описал Густав Герлинг-Грудзинский. Право на ненависть надо заслужить; конечно, если имеешь дело с настоящим человеком, независимо от того, коммунист он или некоммунист. Но легенда получилась отличная: глава государства нас ненавидит. Хорошо бы так оно и было в действительности; но я слишком стар, чтоб внушить себе, что презрение и ненависть — одно и то же. Как говорится: убить может всякий, но только царь может даровать жизнь. Так что собратья по перу получили царский подарок; но от человека презирающего, а не ненавидящего. Весьма им сочувствую.

Мне уже в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году стало нечего делать. В пятьдесят шестом вышел сборник моих рассказов «Первый шаг в облаках»; но этот шаг оказался и последним. В литературе — кроме полицейского доноса — меня интересовало еще только одно: любовь мужчины к женщине и обреченность этой любви. Почему — не знаю: сам я любил всего раз в жизни; было это одиннадцать лет назад, и потом мне больше не удалось никого полюбить, хотя я беспрерывно и старательно себя обманывал. Всем, кто меня знает и помнит, известно, что по-настоящему я утратил интерес к литературе, расставшись с Ханей. Но Ханя не бросила меня одного; незадолго до разрыва я получил ордер на квартиру и, имея возможность выбирать между Старым Мястом и Охотой, выбрал Охоту, поскольку в доме, где мне предстояло свить гнездышко семейного счастья, размещались ясли, а у Хани были дети. Итак, Ханя ушла, а я остался в квартире над учреждением, в котором было полно детишек. В пять утра я, рыдая, возвращался из кабака, а уже в семь хор звонких ребячьих голосов силою в триста глоток будил меня песней, из которой я помню только несколько строк:

Нам ли стоять на месте —
В своих дерзаниях всегды мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть подвиг доблести и подвиг славы...

И так далее, в том же духе. Проснувшись, я снова заливался слезами; в восемь ко мне приходили первые гости: приятели, возвращающиеся с Зеленяка, куда они обычно заваливались после пяти утра, когда закрывался ночной «Камеральный»,— на Зеленяке можно было пить по принципу overtime. Кое-кто из старых друзей приходил, чтобы излить мне душу, другие — перехватить пару злотых для продолжения гульбы. Я сидел в постели и плакал; гости пили и рассуждали о политике.

Однажды Тадеуш Кубяк привел какого-то карлика, которого купил в подарок сыну, и попросил, чтобы я подержал его у себя до следующего Рождества — а дело было, кажется, в феврале; Тадек хотел устроить сынишке новогодний сюрприз; к счастью, карлика у Кубяка перекупил коллега Яницкий и удалился с ним в только ему известном направлении. Внизу пели дети; я плакал, а друзья бегали в ресторан «Эспланада» через две улицы за водкой. Время от времени приходил Адам Павликовский с женщиной, склонной подарить ему так называемое счастье, и выгонял меня из моего собственного дома на время «романа»; я уходил, провожаемый проклятьями соседей и хором детских голосов. Однажды Павликовский объявил, что вступает в прочный брачный союз; и на этом закончилась история моего семейного гнездышка на Ченстоховской улице. Тогда я исповедался Польдеку Тырманду, сообщив, что не могу жить без Хани. Тырманд выслушал меня и сказал со зловещей улыбкой:

— У тебя один выход: острый нож. Впрочем, попробуй уехать из Варшавы. Куда угодно, подальше от Хани. И попытайся писать.

— Все равно ничего не получится,— сказал я.

На что Тырманд с той же зловещей улыбкой:

— Ну наконец-то! Научись работать, думая, что и не может ничего получиться. Только при этом условии иногда выходит что-то настоящее.

И верно: ничего у меня не получилось. Но пока, послушавшись совета, я поехал в Казимеж и взялся за рассказ под названием «Кладбища», который начал два года назад.

До Хани все мне казалось простым и ясным — все, кроме отношений между мужчиной и женщиной; только здесь, думал я, сложность и трагизм жизни. Теперь же все вдруг приобрело характер гротеска; я понял, что правдивого и одновременно трагического рассказа о тоталитаризме написать нельзя; по сей день не верю, что кому-нибудь такое удастся. Человек, входящий в ворота немецкого концлагеря, знает, что выбраться оттуда можно только двумя путями. Первый пролегает через печь лагерного крематория; второй связан с надеждой на вторжение союзнических войск или сталинских соколов. С персонажами драмы от начала до конца не происходит никаких перемен: палач остается палачом; жертва — жертвой; надсмотрщик до самого финала не выпустит плети из рук. Человек, переступающий порог советской тюрьмы, не знает, что его ждет. Быть может, завтра его расстреляют; быть может, он отсидит десять лет и ему зачитают следующий приговор, лет эдак на пятнадцать; но, возможно, случится и такое: партия изменит тактику, и жертва станет палачом, а бывший палач будет ползать перед ней на коленях, выпрашивая кусок черняшки, пока не попадет в барак для доходяг. Трагедийная окраска блекнет: смертный приговор может быть заменен назначением на высокий пост; гонимому предоставлена роль палача; Голгофа превращена в место отмщения. Исчезает элемент катарсиса: для этого не годится клочок бумажки из НКВД, где значится, что человек, двадцать лет назад убитый выстрелом в затылок, был уничтожен на основании наветов и ложных показаний.

В книге Герлинга-Грудзинского описан актер, который, играя в каком-то историческом фильме боярина, выглядел чересчур благородно — переусердствовав, он исказил идеологическую направленность фильма, за что и получил десять лет. Однажды в лагерь, где пребывает несчастный, привозят именно этот фильм; актер — изможденный призрак — видит самого себя в ситуации, весьма несхожей с его нынешней. Он сидит за царским столом, попивает вино из тяжелого кубка и обжирается фазанами. Если даже история выдуманная, это правдивый вымысел. Фиаско, которое терпят авторы сочинений о тоталитаризме, обусловлено тем, что описываемая ими правда не укладывается в сознании.

Тогда, в Казимеже, я подумал: а что, если написать рассказ, основанный только на подлинных событиях, включить в текст отрывки известных речей и — как в одноплановом произведении — поместить героя в сугубо реальную атмосферу? Получится ли такой рассказ? Поверят ли

люди, на чьих глазах все это не первый год происходит, в факты, которые, попав на страницы книг, волей-неволей станут литературой, то есть фикцией; и вообще — можно ли в такое поверить? Я рьяно принялся за дело; для начала поехал в Варшаву и погрузился в чтение подшивки газеты «Нове дроги».

Накануне возвращения в Казимеж, помню, я шел на рассвете по Краковскому Пшедместью в направлении Аллей и увидал человека, пытающегося связкой ключей сшибить стайку голубей с памятника тому, кто остановил Солнце и заставил вращаться Землю. Такой способ охоты мне знаком еще не был; подойдя поближе, я узнал в одиноком охотнике Павла Минкевича. Понаблюдав с минуту за его действиями, я спросил:

— Павел, что тебе нужно от этих несчастных птиц?

Павел объяснил мне, что сидит на мели и, если не сшибет птички, останется без обеда. Проникнувшись сочувствием к изголодавшемуся птицелову, я предложил ему позавтракать со мной в привокзальном буфете; Павел охотно согласился. Я помню их всех — Метека, Здзися Маклякевича, Мишку Станелевича, Польдека Тырманда и того актера, который обходил частные магазины на Хмельной и в каждом, прижав правую руку к сердцу, трагически восклицал, обращаясь к хозяину:

— Дай стольник. Артист погибает!

Сейчас мне тяжело о них думать; не знаю, сумел бы ли я разговаривать с ними так, как прежде. Самое страшное, что я совершенно не испытываю тоски по Польше и, когда сегодня задаю себе вопрос: что же такое для меня Польша? — не нахожу другого ответа, кроме как: это десять или пятнадцать человек, с которыми меня связывала дружба. О своих ровесниках, балующихся сочинительством, много написать я б не смог; они всю жизнь считали меня комедиантом: я же, в свою очередь, не очень-то знал, о чем с ними говорить,— нас интересовали разные вещи и разделял несхожий опыт. Тем не менее все последние годы я думал, что именно они олицетворяют для меня Польшу; однако и это оказалось иллюзией. Когда я начал печатать в «Культуре» свои доносы, один из моих близких приятелей, умнейший человек, прочитав первый отрывок, сказал мне при встрече:

— Очень забавно. Только это Польша à la Джеймс Бонд. Такой Польши нет.

Человек этот никогда не был ни коммунистом, ни приверженцем коммунистической идеи; никогда не был оппортунистом и всю жизнь преодолевал препятствия, которые на его пути воздвигались во множестве: то его обвиняли в мещанских вкусах, то в порнографии; иногда в сюрреализме, а иногда — в глумлении над достижениями рабочего класса. Что я могу сказать в ответ на его упрек? Ничего, кроме одного: ну конечно, это я выдумал постигшую Польшу беду; я выдумал политическую полицию; я выдумал открытые убийства и убийства тайные; я выдумал, что меня два года шантажировала полиция; я выдумал ликвидацию «По просту» и вообще все, о чем упоминал; и сделал это исключительно для того, чтобы скрасить скучные вечера редактору «Культуры» Ежи Гедройцу. Решив, что Польша для меня — эти полтора десятка людей, я рассуждал, как идиот; я не предполагал, что существует такая штука, как атрофия чувств. И еще я, усердный читатель Достоевского, не догадывался, что люди стесняются своих несчастий; возможно, даже больше всего на свете.

Все эти ребята, с которыми мы вместе начинали, знали, что жизнь ужасна, но годами ждали возможности напечатать одно стихотворение, один рассказ; позволения нарисовать одну сюрреалистическую картину или выставить ни на что не похожую скульптуру. И все, вопреки фактам, вопреки реальности, не расставались с верой, что придет время, когда можно будет сказать «нет». Мы, уже лысеющие, и не красивые, и не двадцатилетние, все-таки сделали несколько шагов под солнцем — кто-то более удачных, кто-то — менее; особо выдающихся произведений мы не создали, но, быть может, они пригодятся будущим хроникерам как

доказательство нашей убогости и бездарности — немощи живущих в нечеловеческих условиях людей, не находящих в себе сил в этом признаться. Но, повторяю, все верили, что настанет время, когда будет позволено произнести это единственное, самое важное в жизни каждого слово «нет».

Когда я разговариваю с нынешними красивыми, двадцатилетними, меня пугает одно: все они знают, что в Польше плохо, все отчетливо понимают, что Польша — оккупированная страна, но никого это особенно не колышет. Одна из самых красивых девушек, каких мне в последнее время доводилось встречать, хочет стать электронщиком; другой красивый, двадцатилетний изучает археологию Средиземноморья; третий — инженер-металлург. Никому из них не хочется быть писателем, художником или скульптором; никто не мечтает о наступлении дня, когда будет позволено сказать «нет». Убежавшего на Запад художника, писателя или режиссера ждут годы мытарств и случайной работы; ночевки в грязных гостиницах; женщины, которые платят; собственно, я не знаю случая — если не считать Милоша,— чтобы художнику, вырвавшемуся из-за «железного занавеса», удалось не скатиться на дно. У новых красивых, двадцатилетних таких проблем не будет; попросив политического убежища, они останутся врачами, инженерами, кем угодно. Им не грозят ни голод, ни нищета, ни тоска по навсегда покинутой родине. Такие они — новые красивые, двадцатилетние.

Но тогда, в Казимеже, я еще не предполагал, что у меня наступит атрофия чувств. Повторяю: я потерял Ханю и взялся не за свое дело. Написал рассказ «Кладбища» — наивный и неудачный, но построенный на подлинных фактах: я еще не знал, что в прозе главное — не факт, а правдивый вымысел. Фактография — не литература. История с собакой Самбой случилась на самом деле; речь, которую слушает герой рассказа, произнес Роман Верфель — я переписал ее из «Новых дрог»; история о майоре и саботажнике, которую рассказывает высокопоставленный офицер политической полиции, услышана мною от полковника Яцека Ружанского; история скульптора, который ваял монументы Вождя и Учителя для частного тира, известна всей Варшаве; эпизод с живущим в полуразрушенном доме ребенком, которого мать, уходя на работу, приковывает цепью к кровати, чтобы он не упал с искореженной лестницы, показан в документальном фильме (кажется, Ежи Боссака); история девушки, которая сознательно забеременела от чахоточного коммуниста, чтобы укрепить его жизненные силы, а он уходит, когда узнает, что отец девушки политически неблагонадежен, произошла в семье моих друзей; факт же запугивания пьяного героя сотрудниками полиции, приписывающими ему антигосударственные высказывания, известен мне лучше всего остального, поскольку таким незамысловатым способом полиция вербовала осведомителей,— однако из всех этих фактов, смонтированных вместе, ровным счетом ничего не получилось. И полагаю, даже если б на тех же фактах построил рассказ писатель, умеющий писать лучше меня,— все равно люди не поверили бы в то, что ежедневно видели и слышали и о чем говорили шепотом. Слабая книга Кёстлера «Слепящая тьма», которую я позволил себе назвать сентиментальной лекцией о тоталитаризме, изобилует нелепицами, о чем я уже писал, и тем не менее это — правдивый вымысел. Рубашов беседует со своим первым следователем — Ивановым, вместе с которым делал революцию, и Иванов — правда, не очень убедительно — доказывает Рубашову, что того шлепнут во благо партии. Иванов говорит: «Ежегодно несколько миллионов человек бессмысленно умирают от массовых эпидемий, да столько же уносят стихийные бедствия. А мы, видите ли, не можем пожертвовать всего несколькими сотнями тысяч ради величайшего в Истории опыта». Поскольку аргументация Иванова должного воздействия не оказывает, его место занимает Глеткин — более молодой коммунист, годящийся Рубашову в сыновья. Роман имеет какую-то ценность лишь потому, что в нем показан конфликт отцов и детей: ставшие ненужными должны уйти (линия, для литературы, кстати, чисто традиционная).

В ту пору многие говорили, что изобразить кошмар нашего времени невозможно. Не согласен; великий провидец Федор Михайлович Достоевский все это уже давно описал в восьмой главе «Бесов», называющейся «Иван-Царевич». Не могу удержаться от искушения и не процитировать обращенных к Николаю Ставрогину слов Петра Степановича Верховенского, излагающего ему программу Шигалева — теоретика организованной Верховенским группы революционеров.

Петр Верховенский: «У него хорошо в тетради, у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями — вот шигалевщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот шигалевщина! Ха-ха-ха, вам странно? Я за шигалевщину!»

После пятьдесят шестого года любимыми писателями в Польше стали Ионеско и Беккет, не говоря уж о Кафке или Гомбровиче. Никто больше не нуждался в литературе реального трагизма; да и авторам произведений такого рода приходилось нелегко: выбирая для себя одну из самых безнравственных профессий, каковой является сочинительство, человек должен хотя бы в общих чертах представлять себе, где он живет: в аду или в стране улыбок. Все набросились на Гомбровича; «Фердидурка» стал тем, чем для Достоевского была на каторге Библия — единственная книга, которую разрешалось читать политзаключенным. Итак, Гомбрович сказал: «нас уконтропопили». Что миллионы погибли в тюрьмах и лагерях, узнали лишь от Хрущева; до того все было о'кей. Инженеры человеческих душ не ведали о том, о чем знал каждый служащий, каждый рабочий и вообще всякий, кто не принадлежал к новому классу привилегированных. Бегство в мир смешного и гротескного давало единственную возможность самому не стать посмешищем; лучше быть играющим перед полным залом шутом, чем Гамлетом, произносящим свои монологи перед пустыми креслами. В одном из опубликованных в тот период рассказов описана следующая ситуация: конец света, в живых остались только двое мужчин, которые беспрерывно друг друга терзают; в результате один из них лезет в петлю из опасения, что другой его выдаст; ему не важно, что уже не существует ни тюрем, ни политической полиции, ни мира вообще.

Нелегально проникающая на Запад русская литература тоже спасается смехом. В книге Терца, советского писателя, которого ждет пребывание в местах не столь отдаленных, есть такая сцена: молодой человек на допросе говорит следователю: «Оставьте глупые шутки. Я еще не осужденный, я — подсудимый». Следователь подводит его к окну, откуда открывается вид на огромную площадь, по которой идут люди. «Вон они где — подсудимые,— говорит следователь.— А ты, брат, уже не подсудимый. Ты — осужденный».

В рассказе другого советского писателя, пишущего под псевдонимом Аржак, один малый утверждает, что может «зачинать, кого хочет» — сына или дочь, по заказу; и советские ученые с полной серьезностью подвергают его всестороннему медицинскому обследованию. Откуда же берут силы смеяться граждане этой страны? Объяснение, думаю, найти несложно. Никто не в состоянии поверить в правду — в людоедство, в нечеловеческие мучения, выпавшие на долю граждан Страны Советов. Возможно, смех — защитная реакция, рожденная презрением к себе; мы

столько лет все это видели и ничего не смогли сделать; смотрели на страдания наших братьев и тем не менее спали по ночам, и наши организмы функционировали нормально; знали, что узники северных лагерей во время работы отмораживают руки и ноги, и тем не менее часами стояли в очередях за теплыми сапогами. Мы не имеем права раздирать на себе одежды, но вправе смеяться над собственным бессилием. Однако трагической литературы нам не создать, ибо никто и никогда не поверит, что мы пережили такое. Опыт непередаваем; жителей Парижа или Милана, мечтающих о торжестве коммунизма, мы смогли бы убедить в безумии, только если бы на улицах этих городов появились советские танки. Но пока такого не произошло, давайте смеяться. Наша жизнь во власти глупцов, которые могут нас уничтожить; но сами они не уверены в собственной судьбе.

Профессор Ян Котт говорил когда-то своим студентам, что в книгах наших современников не найти дискуссий о литературе и литературных героях подобных тем, что постоянно встречаются у Достоевского, Толстого, Чехова и Горького. Действительно, в произведениях, написанных и изданных после войны, нет ни единой сцены, в которой герои спорили бы о какой-нибудь книге; впрочем, упоминания о цене костюма вы там тоже не обнаружите: люди, которые прочтут эти книги через сколько-то там лет, никогда не узнают, какова была реальная стоимость денег. Наряду с главной причиной, заставляющей писателя погружаться в мир гротеска и смеха,— неверием в то, свидетелем чего ты был, и убежденностью, что другие не смогут в нашу жизнь поверить,— есть еще одна, очень простая, а именно полное незнание жизни народа, незнание условий, в каких этот народ живет, и неумение пользоваться фактографией — даже при понимании нравственного аспекта проблемы. Если герой какой-нибудь из написанных в последнее время книг говорит: «Нам тяжело живется», тем дело и кончается, и читателю так и не доведется узнать, чего этому герою не хватало в жизни, сколько он зарабатывал и сколько бы хотел зарабатывать. Мы не узнаем, сколько стоил билет в кино, потому что писатели посещают специальные просмотры и им не приходится часами выстаивать в очереди за билетом; мы не узнаем, сколько стоил костюм и сколько платили крестьянину за корову или свинью. Эта мелочь кажется мне весьма характерной; читая Фолкнера, Стейнбека или других современных американцев, мы примерно себе представляем, как люди одевались, что ели и в чем нуждались. А из произведений польских и русских писателей мы ничего подобного не извлечем: раньше было хорошо, а теперь ужасно; вот и все. Как в книгах сюрреалистов, так и в книгах, тайком переправляемых за «железный занавес», тема денег — табу.

Сегодня наши писатели не касаются денежных проблем. В любой из книг, которые можно считать выдающимися, нет ни одной сцены, где бы шла речь о деньгах или об их ценности, даже в самой примитивной форме — например, чтобы кто-нибудь торговался, покупая одежду, или уличал обсчитавшего его официанта; мы не узнаем, сколько стоила проститутка, за сколько можно было купить подержанный или новый автомобиль и во сколько обходилась обстановка квартиры. В книгах Бальзака и Достоевского, у Чехова и у современных американских писателей герои выуживают друг у друга рубли, франки и доллары; в современной польской литературе герои посещают рестораны и расплачиваются; покупают одежду и расплачиваются, но никогда не спрашивают о цене; вдобавок от нас укрывают ход мыслей того или иного персонажа. Литература — важный пропагандистский фактор — разоблачает себя очень наглядным и довольно неожиданным образом; героям одного производственного романа наплевать на героев другого производственного романа, и это, пожалуй, их единственная человеческая черта. В книгах современных авторов не найти того, что мы находим хотя бы у Достоевского, который расправлялся с Тургеневым на свой

лад, пародируя даже его стиль; приверженцам метода, рекомендованного и превозносимого никогда не ошибающейся партией, даже в голову не приходила такая простая вещь, как попытка замаскировать свое убожество и добиться того, чтобы их книги оставили устойчивый след.

Лишь теперь я отчетливо понимаю, что, сев писать «Кладбища», взялся не за свое дело; но мне хотелось проверить, можно ли построить рассказ исключительно на подлинных фактах. Сейчас, когда я пишу эти строки, мне тридцать два года; я решил, что, если до сорока не напишу приличной книги, займусь чем-нибудь другим. Я владею семнадцатью профессиями и в любую минуту могу пойти работать бетонщиком, шофером или сварщиком; а пока у меня еще восемь лет впереди. До сих пор я сочинил несколько десятков рассказов; из них читать могу только четыре; но ни один мне не нравится. Я люблю размышлять о том, что напишу; тогда мне все кажется о'кей. Хуже становится, когда я сажусь писать; и совсем скверно, когда перечитываю то, что опубликовал,— тут уж видишь только загубленную идею и начинаешь понимать, как бы это следовало написать. Артур Сандауэр не раз советовал мне не печатать некоторые рассказы из прочитанных им в рукописи; думаю, он был не прав. Нельзя увидеть свои ошибки, пока рассказ лежит в ящике письменного стола; нужно его опубликовать и покраснеть за него от стыда; это — единственная возможность научиться чему-нибудь на будущее. Если таковая вообще существует.

Закончив работу, я отнес «Кладбища» в издательство. Рукопись не приняли. Я спросил: почему?

Мне сказали:

— Такой Польши нет.

Я спросил:

— Прикажете считать приговор окончательным?

Мне сказали:

— Да.

Потом я побеседовал с одним из умнейших критиков молодого поколения, который работал в том же издательстве.

— Ты взялся не за свое дело,— сказал он.— Политика не для тебя. Твоя тема: он и она; вот о чем ты должен писать. И старайся при этом поменьше думать; в твоем случае это, ей-богу, лишнее.

Я пошел в другое издательство, где лежала моя первая короткая повесть, а вернее, длинный рассказ под названием «Следующий в рай». Мне заявили: такой Польши нет. Однако повесть издать согласились, если я изменю в ней одну фразу: «Вы превратили Польшу в такой огромный концлагерь, что не нужны ни колючая проволока, ни собаки — все равно убежать некуда». Я сказал, что не уберу ни слова. Мне сказали, что книга плохая.

Потом я поехал во Вроцлав, где по этой же книге снимался фильм; режиссер Чеслав Петельский, получив от меня рукопись, пообещал в точности следовать тексту. Я посмотрел часть отснятого материала и, ознакомившись с изменениями, которые внес Петельский, потребовал, чтобы фильму дали другое название и мою фамилию убрали из титров. Изменения были сделаны по требованию полковника профессора Александра Форда — художественного руководителя творческого объединения, где снимали «Следующий в рай».

В своей жизни я встречал много проходимцев; знал людей, которые продавали сахар под видом морфия; знал торговцев персидскими коврами, изготовленными два часа назад на улице Бен-Иегуда в Тель-Авиве; во время оккупации был знаком с одним мерзавцем, который озолотился, продавая евреям муку и утверждая, что это яд, который избавит их от страданий, когда иного выхода уже не будет; знал людей, живших за счет шантажа; и видел, как работает фирма, предоставлявшая для опрыскивания калийными удобрениями полей такие старые и негодные самолеты,

что ни одна компания не соглашалась страховать ни летчиков, ни машины; но такого законченного пройдохи, как Форд, мне встречать не доводилось.

Полагаю, я имею право так о нем написать: я знаю, сколько людей, сколько идей и фильмов загубил этот человек — ловкий и хитрый оппортунист, притворяющийся ярым противником режима, возмущенным глупостью властей. «Восьмой день недели» — плохой рассказ, но из него можно было сделать хороший фильм, только делать фильмы нужно уметь. Форд, который изучал Варшаву из окна своего автомобиля, перенес действие на Новый Свят; Агнешка бродит по нарядным улицам и отбивается от статистов в футболках, изображающих люмпен-пролетариев. Я же в рассказе, который, к сожалению, не получился, но замысел которого мне нравится, хотел показать, как девушка, видящая вокруг себя грязь и мерзость, мечтает только об одном: о красивом начале любви. А Форд снял фильм о том, что людям негде трахнуться, что, конечно, неправда: трахаться можно везде.

Итак, Форд снял фильм про то, что «негде»; на самом деле он просто не знал «как». Да еще старательно убрал все смелые сцены; фильм должен был принести ему премию в Канне, признание марксистской критики и легкий нагоняй от партийных боссов. Получилось дерьмо; к несчастью для Форда, но к счастью для меня. Впрочем, это тоже неправда: в результате мне пришлось жениться на снимавшейся в фильме инженю.

И «Восьмой день», и «Следующий в рай» написаны десять лет назад; сейчас я не только читать, но даже слышать о них не могу. Хотя из «Следующего» мог получиться хороший фильм: автомобильные катастрофы, мордобой, взрыв, у героини на заднице мозоли — ее все без передышки употребляют; для юного зрителя лучшего не придумать. Но Форд тщательно уничтожил все, что там было забавного и ребячьего. Я так и не посмотрел этой картины, только читал рецензии Зигмунта Калужинского и Кшиштофа Теодора Теплица; именно тогда Теплиц написал, что Польша показана такой, какой ее видит юный Маречек.

Иногда в кино появлялось кое-что любопытное. В замечательном фильме Полянского «Нож в воде» один из героев едет на уик-энд на своей машине; еще у него есть собственная яхта и красотка жена; сам он молод, хорош собою, умен и, видно, в деньгах не нуждается. В Польше это каждому ясно с первого взгляда: простой человек не может себе позволить иметь яхту, машину, путешествовать... И проблемы у нашего героя, как у всякого мужа красивой жены, стандартные: допустим, он бреется, зажмурив глаза, чтоб не попала пена, а в соседней комнате приятель, с которым они вместе служили в армии, нагло клеит его жену. Короче, насчет этого персонажа у нас сомнений нет: удачливый ловкач; яхту и машину ему не родственники из Штатов прислали — он сам всего добился с помощью разных махинаций, при мысли о которых польский зритель начинает испытывать зависть к нему и презрение к самому себе. Тот же фильм немецкий зритель воспринимает совершенно иначе: молодой представительный журналист, обладатель машины и яхты, вызывает не ненависть, а уважение: видно, что своими успехами обязан лишь собственному уму, способностям и энергии. А вот парень, останавливающий машину журналиста, немцам несимпатичен; это разрушитель, бунтарь, не имеющий ни программы бунта, ни права издеваться над человеком, который подбирает его на шоссе, дает поесть и предлагает приятно провести время, ибо пребывание на яхте может быть только приятным. Главное достоинство фильма в том, что он фактически представляет собой картину гона: два самца постоянно дерутся, в то время как лань невозмутимо пощипывает травку. В какой-то момент жена героя говорит юному бунтарю, имея в виду своего мужа: «Он был таким, как ты, а ты будешь таким, как он» (не ручаюсь за точность цитаты, поскольку видел фильм дублированным на немецкий). Действительно: этот красивый, двадцатилетний тоже когда-нибудь

обзаведется собственным автомобилем, моторкой, холодильником и телевизором, а может, даже узкопленочным киноаппаратом. Пока еще он бунтует, но это последние жалкие попытки; раз уж мы не можем жить как свободные люди, постараемся походить на них хотя бы внешне.

Другим занятным фильмом — правда, не того класса, что фильм Полянского,— была советская картина «Летят журавли». В ней один из героев, музицирующий на вечеринке, внезапно, с треском захлопнув крышку рояля, восклицает: «Если б не проклятая война, вот это я играл бы в зале Чайковского». Всякий нормальный человек, естественно, предпочтет играть Чайковского, а не носиться с винтовкой по полю под огнем; но совсем иначе обстоит дело, когда в бой идешь по приказу Отца Народов. Беспомощная попытка режиссера скомпрометировать своего героя у западных людей вызывает лишь симпатию и сочувствие к этому персонажу.

Итак, в пятьдесят седьмом году меня совсем доконали: задержали две книжки, испортили два фильма. Завершилось и мое сотрудничество с «По просту»; сам я стал объектом язвительной критики и разоблачений, не всегда грамотно написанных.

Незадолго до отъезда из Польши меня пригласили на работу в журнал «Европа», но он так и не вышел в свет. Начиналось все как нельзя лучше; главным редактором был Ежи Анджеевский, находившийся тогда в отличной форме; журнал делали Юлек Жулавский, Зигмунт Мычельский, Януш Минкевич, Генрик Кшечковский; я занимался кино. Мы подготовили первый номер; кажется, он получился хорошим, но в ЦК нам разъяснили, что на данном этапе партия не видит необходимости издавать журнал такого рода. Помню, как все мы сидели и пили кофе; настроение было препоганое; внезапно мрачный как туча Кшечковский встал и сказал:

— Друзья, не позволим свести нас с ума.

Эта фраза стала девизом моей жизни и, верно, такой и останется. В конце пятьдесят седьмого года снова подняла голову всякая сволочь; снова начали писать о соцреализме; митинг студентов, протестующих против закрытия «По просту», был разогнан; цензура взяла на вооружение слова Гомулки об охране государственных интересов. Так закончилась моя карьера сотрудника журнала «Европа»; и так закончился год эйфории. Это совпало с сороковой годовщиной Великой Октябрьской революции. Помню, Янек Роевский сказал: «Что ж, сорок лет пролетели как один день».

В то время я немного подрабатывал в кино; воспоминания, с этим связанные, не из приятных. Началось все еще в пятьдесят четвертом, в Лодзи, где студенты Высшей киношколы снимали фильм под названием «Конец ночи»; я поехал туда в качестве одного из сценаристов. На съемках я познакомился с человеком-дьяволом: он мог левым профилем изображать парня, охмуряющего девушку,— девушкой был его правый профиль. Говорили, что этот человек запросто может сыграть... дверную ручку. В «Конце ночи» у него была маленькая эпизодическая роль; ни один из снимавшихся в этом фильме студентов Театральной школы и в подметки ему не годился — а он учился даже не на актерском, а на режиссерском отделении. Он не играл — просто был. Стоило ему «войти в кадр», как все замирали, зная: сейчас начнется. Был он тощий и нервный; однажды в середине мирного разговора ни с того ни с сего запустил в меня стоявшей на столе бутылкой. На вопрос, почему он это сделал, ответил, что просто захотел проверить мою реакцию. По сей день не понимаю, зачем ему это понадобилось; он же объяснить так и не удосужился, поскольку вскоре «запустил хищный взгляд своих зениц» — по гениальному выражению Жеромского — в душу новой жертвы. Мы встретились только много лет спустя, в Мюнхене. Он тогда, чтоб меня позабавить, изобразил китайского детектива, которому надлежало застать in flagranti [1] какую-то парочку; взобравшись на дерево и наблюдая

---

[1] На месте преступления *(лат.)*.

в бинокль за так называемым «ураганом страстей», детектив, не удержавшись от искушения, повторяет грех Онана, столь жестоко наказанный Богом, в результате чего падает с дерева и ломает ногу. Китайским детективом был Роман Полянский.

В первом его фильме — короткометражке «Люди со шкафом» — ничего новаторского я не усмотрел; я еще верил, что только трагизм может чему-либо научить, Полянский же начал с того, что я в ту пору считал гротеском, а сейчас с маниакальным упорством называю правдивым вымыслом. Два человека, несущие по городу шкаф, неведомо откуда взявшиеся и неведомо куда направляющиеся, не показались мне тогда правдивыми — это сейчас я знаю, что каждый тащит по какому-нибудь городу свой шкаф, цену которому знает только он сам. На первый полнометражный фильм Полянского «Нож в воде» я пошел с огромным предубеждением; но, если б меня спросили, какой из польских фильмов я считаю лучшим, я бы назвал «Нож в воде». Посмотрев этот фильм, я впервые убедился, что в Польше есть и киноактеры.

Школа, из которой вышел Полянский, была самым любопытным учебным заведением в Польше; все ее выпускники обладали тем, что называется «хороший стиль»; все были начитаны и умели мыслить; у всех был безукоризненный вкус. Их просто смешно сравнивать с французскими или немецкими ровесниками. Я не могу толком объяснить, что означает понятие «новая волна»; и что такое «неореализм», мне до сих пор неясно; но, когда я вспоминаю усталых ребят в вельветовых брюках, с которыми познакомился в пятьдесят четвертом году в Лодзи, во мне закипает гнев: почему такие бездари, как Годар, могут делать картины, где обсасывают эротические проблемы, давным-давно решенные каждым шестнадцатилетним онанистом, а ни один из этих парней не снял выдающегося фильма. «Пепел и алмаз» Вайды меня прямо-таки ошарашил. Чего там только нет: и тебе советские танки, и бывшие участники Испанской войны, и малышка Зискинд поет про плакучие ивы, и полонез танцуют; и граммофоны взад-вперед таскают; Цибульский без конца забавляется пистолетом и убивает свою жертву *в* тот момент, когда небо озаряется салютом победы; хорошие коммунисты, плохие коммунисты; допрос в УБ и чертова прорва часовен с трупами, придорожных распятий и каких-то жутких диверсантов. Вайда не понял, что замечательная книга «Пепел и алмаз» — при всех ее достоинствах — далеко не первая такого рода. Проблема Цибульского не выдумана, но это проблема Джесси Джеймса: стрелять или не стрелять. Думаю, если б этот фильм делал Полянский, на экране были бы просто кровать с Цибульским и девушкой да празднующий победу пьяный город за окном; вот это был бы настоящий «Пепел и алмаз». Я знаю еще только один такой же глупый фильм: «Восьмой день недели». Но Цибульский из «Пепла и алмаза» и Цибульский из «Восьмого дня» — два совершенно разных актера; глядя, как Цибульский в «Пепле» поигрывает пистолетом, я ни на секунду не мог поверить, что этот человек убивал других людей и теперь вынужден убить еще раз; а глядя на Циба в «Восьмом дне», безоговорочно верил, что передо мной хороший и умный мальчик, который умеет по-настоящему любить и знает истинную цену любви; Циб спас этот фильм; второй раз смотреть «Восьмой день» я пошел только из-за него. И мои личные пристрастия тут ни при чем.

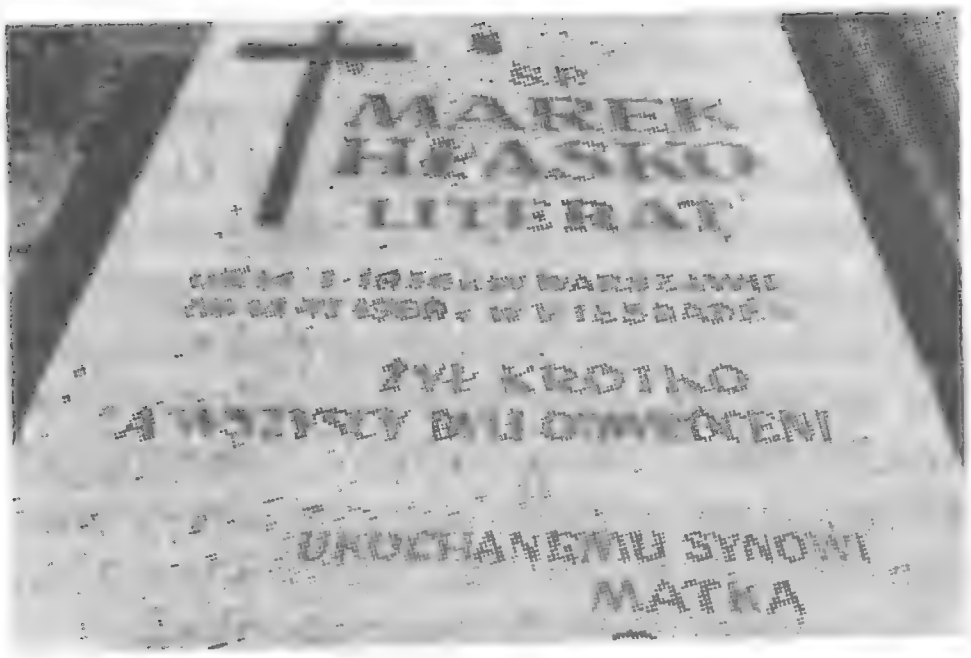
Мои старшие коллеги из Союза литераторов настойчиво уговаривали меня на некоторое время уехать на Запад — естественно, в Париж. Мне посоветовали подать заявление на стипендию. Стипендии назначались специальной комиссией Союза; мой вопрос был решен положительно. Обзаведясь заграничным паспортом и заключив договора с издательством «Жюльяр», «Даттон компани» и «Кипенхойер унд Вич», я попросил выдать мне деньги; и тут оказалось, что это — принятое коллегиально — решение отменено. Мне было велено обратиться в министерство культуры; в министерстве не смогли сообщить ничего нового, только подтвердили, что стипендии не будет. Я попросился на прием

к министру культуры; министром тогда был Курылюк, который принял меня очень любезно и сказал, что стипендии меня и вправду лишили, но он тут ни при чем: стипендию без его участия назначила специальная комиссия при Союзе польских литераторов. Сожалея, что он не в состоянии мне ничем помочь, министр по-дружески порекомендовал обратиться в Союз, где эта специальная комиссия заседает. Я снова туда отправился; мне сказали, чтобы я пошел в министерство культуры, поскольку, хотя Союз этими стипендиями и распоряжается, выплачивают их из стипендиального фонда министерства,— и так далее. Янек Вильчек, предыдущий министр, был куда забавнее. Он любил рассказывать, что ненавидит участвовать в официальных панихидах, так как, несмотря на многолетний опыт, обязательно умудряется поскользнуться и всякий раз боится, что свалится вместе с высокопоставленным покойником в могилу. Справедливости ради замечу: министр Курылюк даже не очень скрывал, что врет. Все легенды о том, что он слетел из-за меня, не имеют ничего общего с действительностью; стипендию он отменил, еще не зная, что я заключил кучу договоров с разными издательствами. Короче: мне даже не разрешили купить билет за злотые; пришлось выкладывать доллары.

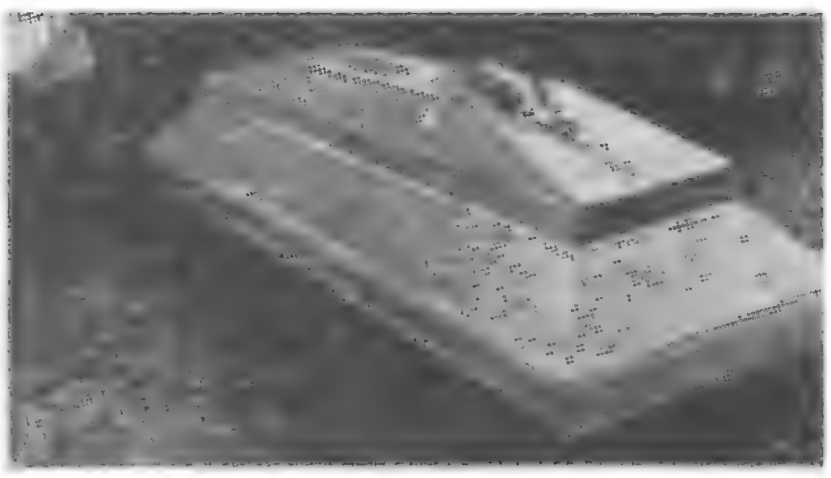
В пятьдесят восьмом году я получил премию книгоиздателей; мне ее присудили за две неопубликованные книжки — вероятно, авансом, в знак доверия; но через несколько дней я уже был в Париже. Прощавшиеся со мной в аэропорту друзья не сомневались, что я не вернусь; я ни минуты не думал, что могу остаться. Иллюзий у меня не было; я знал, что на Западе Польшей интересуются только как провинцией России; не испытывая сам интереса к творчеству молодых болгарских или румынских писателей, я понимал, что смешно требовать от западных читателей, чтоб они ни с того ни с сего отложили Камю и Фолкнера и набросились на молодую польскую прозу. Но мне хотелось посмотреть, как этот Запад выглядит; ну и поскольку мои «Кладбища» и «Следующий в рай» были отвергнуты с оговоркой, что я имею право найти другого издателя, я решил этим правом воспользоваться. Моим издателем стал Ежи Гедройц.

Я прошел таможенный досмотр; серебряная птица взмыла в небеса; дома, как спичечные коробки, поля, как шахматная доска,— все это известно. Рядом со мной сидела старушка, которую пригласила в Штаты сестра; за время долгого пути в полупустом самолете соседка успела радостно мне сообщить, что больна раком и едет умирать. Я отказывался верить и произносил какие-то сочувственные слова; старушка предъявила медицинскую справку, в которой я прочитал, что у гражданки такой-то обнаружен запущенный рак; врачи подобных справок, как правило, не выдают, но сестра моей спутницы, вероятно не очень состоятельная, согласилась ее принять только при условии, что визит надолго не затянется. Еще соседка продемонстрировала мне рентгеновские снимки, в которых я ничего не понял; была у нее, разумеется, и липовая справка, свидетельствующая об ее отменном здоровье,— без такой

Надгробная плита на могиле М. Хласко. Надпись:



Жил недолго. И все отвернулись.
Любимому сыну
Мать



справки американское посольство не выдало бы старушке визы. Летя со скоростью шестьсот километров в час на роскошном четырехмоторном лайнере и глядя на сияющее от счастья лицо соседки, я думал обо всех этих стариках, ползущих к могиле со своими жалкими привычками и нелепыми планами; я тогда еще не знал, что не она одна, а оба мы уезжаем, чтобы умереть вдалеке от Польши. Мне было двадцать четыре года, и дома на мне поставили крест; ей — почти семьдесят, и она впервые ехала в страну, о которой только и знала, что страна эта лежит за тысячи километров от места, где прошла ее жизнь. У меня было при себе восемь долларов; у нее — рентгеновские снимки, подтверждающие, что она скоро отдаст концы; и всю дорогу мы развлекали друг друга приятной беседой: она, сияющая, как Спящая красавица после седьмого аборта, и я — мрачный и уверенный, что без Польши долго не протяну. Тогда я еще не знал, что мир состоит из двух половин, в одной из которых невозможно жить, а в другой — невозможно выдержать. Сидя рядом со старушкой, я вынул из кармана газету и прочитал на последней странице объявление следующего содержания: «Имеются дверцы для двустворчатого шкафа, застекленные, жду предложений». И внезапно понял, что в этих нескольких словах больше правды о прожитых годах, чем во всем, что я написал на сотне страниц; только в самолете я уразумел, что король-то голый. С ощущением краха и собственной смехотворности я вступил в новый мир и в новую жизнь; на том и закончу попытку рассказать о погоне за счастьем, которая, как говорят, почти всегда бессмысленна, но которой стоит посвятить жизнь.

Гостиница «Виктория»

В Париже я вел себя как последний идиот, страдал от одиночества и почему-то — на фоне сидящих в уличных кафе улыбающихся людей — казался себе ужасно смешным и жалким. Разумеется, мне даже в голову не пришло записаться на какие-нибудь курсы и поучиться французскому, хотя бы ради того, чтоб суметь убедиться, что, кроме меня, в Париже проживают еще несколько идиотов; я ходил в ресторан «Chez Wania» [1], где русские таксисты пили водку «Смирнофф» и, вспоминая о своих пропавших миллионах, всякий раз, подымая рюмку, восклицали: «Это все из-за евреев». Знакомые поляки беспрестанно меня спрашивали: «Вы уже побывали в Лувре?»; в Лувре я не был до сих пор.

После того как в «Культуре» вышла моя книжка, «Трибуна люду» опубликовала статью под названием «Прима-балерина на одну неделю»; полностью пересказать этот донос невозможно; начинался он словами: «Международная банда торговцев оружием для борьбы с коммунизмом на этой неделе пополнилась новым членом». Я отправил в редакцию «Трибуны люду» письмо, объясняя, что, поскольку мою книгу отказались печатать в Польше, я имел священное право подыскать издателя за границей; еще я добавил, что мнение о книге может высказывать читатель, другой писатель или критики, но никак не цензор. Я попросил опубликовать письмо, предложив, чтобы «Трибуна люду» снабдила его своим комментарием; содержание комментария было мне безразлично. Письмо мое, конечно, не опубликовали; зато меня стали посещать разные журналисты; самыми глупыми оказались репортеры из журнала «Экспресс». На вопрос, какую роль в литературе я отвожу себе, я ответил, что роль свидетеля. Меня попросили уточнить, на каком процессе; я сказал, что даю показания на процессе против человека. Меня спросили, намерен ли я возвратиться в Польшу; я ответил: конечно — не такой уж я болван, чтобы добровольно лишить себя удовольствия смотреть на преступления, отчаяние и тому подобные вещи — единственное, о чем я умею писать. В ближайшем номере «Экспресса» меня разнесли с профессиональной сноровкой: автор за-

---

[1] «У Вани» *(франц.)*.

метки, оговорившись, что высоко ценит мой лирический пессимизм, констатировал, что все мною сказанное — бред: до войны поляки в поисках заработка эмигрировали на Запад, а сейчас ничего похожего не наблюдается. В связи с этим мне припомнились дверцы для двустворчатого шкафа, застекленные; я подумал, что писать больше не имеет смысла, о чем и сообщил журналистам. Меня спросили, как нам лучше понять друг друга; я сказал, что советские танки на улицах Парижа могли бы стать общей платформой для взаимопонимания и предоставить массу времени для дискуссий; в тюряге, правда, трудятся с утра до вечера, но поболтать можно и ночью.

Дело было уже после доклада Хрущева на Двадцатом съезде; из французской и итальянской компартий тогда вышли кое-какие интеллектуалы; однако в конечном счете победа осталась за Хрущевым: своим заявлением и обещанием десталинизации он убедил людей в возможности перемен к лучшему — главная идея при этом, естественно, сохранялась; признавалось лишь, что с ее воплощением вышла накладка. Благодаря Хрущеву с его докладом доверие к восточному блоку было восстановлено, чем в итоге компенсировалась потеря нескольких десятков разочаровавшихся западных коммунистов. Последующие события в Познани и Будапеште не только не подорвали вновь обретенного доверия, а, напротив, в некоторой степени его упрочили: не так уж, видать, там страшно, если у людей находится мужество отстаивать свои права; а ведь беглецы из-за «железного занавеса» уверяли нас, что это невозможно. Даже мольбы несчастного премьера Венгрии, просившего не вмешиваться в решение его судьбы, так как это дело исключительно венгерского народа, не вызвали возмущения и не поколебали веры в Советский Союз. Обо всем этом я читал и думал уже по другую сторону «железного занавеса»; первые впечатления от Запада подтолкнули меня именно к таким размышлениям. На Запад я попал в очень сложный период; обожаемая поляками Франция, символ свободы и демократии, переживала трудное время; поминутно сменялись премьер-министры; Елисейские поля были запружены отрядами солдат и полиции, что мне напоминало Уяздовские Аллеи тысяча девятьсот сорок третьего года; на улице у меня на каждом шагу проверяли документы; потом вдруг забастовали полицейские. Помню, сидя однажды на вокзале Сен-Лазар в ожидании первого утреннего поезда, я видел, как двое молодых полицейских издевались над старым алжирцем; им было лет по двадцать; алжирцу — вероятно — не меньше семидесяти. Полицейские били его по лицу и при этом смеялись и острили; старик не только не защищался, а скорее подставлял лицо. О том, что избиваемые не уклоняются от ударов, я слыхал от людей, сидевших в наших тюрьмах. «Не нужно злить палача,— говорили они.— Лучше даже ему помогать». На вопрос, легче ли от этого становилось, они отвечали по-разному, но в общем сходились на том, что вреда не приносило. Каждый знал: помочь не может ничто; нужно лишь старательно избегать всего, что чревато ухудшением участи истязаемого,— в этом состоит искусство жизни. Но откуда это мог знать Христос, рекомендовавший в Нагорной проповеди подставлять мучителям щеку; и предполагал ли он, что его слова, призывающие к милосердию, в тюрьмах станут своего рода неписаным законом; и предчувствовал ли, произнося их, как сложится его собственная судьба; или он уже настолько хорошо познал людей, что сумел дать им совет на все грядущие времена, вплоть до конца света,— вот о чем я думал, слоняясь по улицам Парижа. Я уже полностью смирился с мыслью, что больше никогда ничего не напишу: коммунисты искоренили во мне единственную человеческую черту — ненависть. Жизнь, меня окружавшая, была мне чужда; чужими были толпы на Елисейских полях; чужим — старый алжирец, которого избивали на моих глазах; чужими были встречавшиеся в Париже поляки, которые объясняли мне, что там, за «железным занавесом», мы загубили все имевшиеся у нас возможности. Ни одна из прочитанных тогда книг не произвела на меня впечат-

ления; увиденные в Париже фильмы воспринимались совсем по-иному, чем фильмы, которые я смотрел в Варшаве; на выставках художников-абстракционистов мне было чертовски скучно, а ведь в Варшаве мы благоговейно замирали перед любой мазней; глядя на картины Бюффе, я вспоминал выставку, открывшуюся в сорок пятом году в Арсенале, когда на полотнах наших молодых художников вместо тракторов и каменщиков впервые появились натюрморты и женщины. А я, бродя по Парижу, не переставал думать о человеке, у которого имеются дверцы к двустворчатому шкафу и который ждет предложений. Когда я рассказывал об этом здесь, мои собеседники помирали со смеху.

У меня было немного денег; я решил поехать в Штаты и обратился в американское посольство с просьбой выдать мне туристскую визу. Однако, поскольку польский паспорт ограничивал свободу моих передвижений «всеми странами Европы», я отправился в польское посольство в Париже и попросил вписать еще и «все страны мира». Встретили меня любезно и недостающие слова вписали; воспользовавшись случаем, я попросил продлить паспорт.

— Мы хотим вам помочь,— сказал занимавшийся мной чиновник.— Американцы потребуют, чтобы паспорт был действителен по меньшей мере год. Как только американская виза будет готова, придете к нам, и мы продлим ваш паспорт.

— А почему вы не можете сделать это сейчас? — поинтересовался я.— Мой паспорт действителен только до пятнадцатого октября пятьдесят восьмого года. Полагаю, вы не собираетесь в октябре менять печати?

— У американцев свои консульские правила, у нас свои.

— Я могу быть уверен, что все будет в порядке?

— Ну конечно! Вы получаете визу, мы вам продлеваем паспорт, и езжайте на здоровье в Штаты.

— А где гарантия, что вы мне продлите паспорт?

— Даю вам честное слово,— сказал чиновник; мы расстались, обменявшись любезностями. Чиновник пригласил меня в воскресенье к себе; тем временем я посетил американское посольство, где заполнил анкету, в которой требовалось написать, что я не стану насильственно свергать правительство United States of America; сообщить, что я не являюсь ни душевнобольным, ни гомосексуалистом; указать количество самоубийств среди моей родни и т. д.

В воскресенье, слопав две или три баночки сардин и надев темный костюм, я отправился на ужин к сотруднику консульства. У него был еще один гость, который не счел нужным представиться, но по роже которого не составляло труда догадаться, что он не принадлежит к окружению кардинала Вышинского. Мы крепко выпили; у меня спросили, как я решился опубликовать книгу во враждебном издательстве. Я сказал, что любое издательство враждебно писателю, так как вычеркивает неприличные слова, и, чтобы выцарапать аванс или гонорар, приходится жаловаться на свои болезни и беды. И предложил обратиться в польские издательства — там им сообщат мотивы, я же ничего более определенного сказать не могу; меня отказались печатать, и точка.

Жуткая пьянка продолжалась; чиновник держался хорошо, но убек расклеился — нам пришлось запихивать его в машину. На прощанье мы уговорились как-нибудь вместе поехать в Польшу и побродить по лесным дорогам в местах, где мой новый друг партизанил; при этом он почему-то величал меня «товарищем генералом», хотя я упорно втолковывал ему, что являюсь всего лишь дезертиром запаса.

Убек с криком «товарищ генерал, я не таких, как они...» растворился в парижской мгле; мы же с чиновником решили, что нам необходимо срочно уладить личные проблемы в районе площади Пигаль. До тех пор мне никогда не доводилось бывать в настоящем борделе; к нам вышла красивая седовласая пожилая дама; я обалдел и поцеловал ей руку; мой спутник держался гораздо уверенней и непринужденнее. Потом мы расстались закадычными друзьями.

Как-то я встретил одного приятеля из Польши; он позвонил мне и попросил к нему приехать. Я приехал; он молча взял меня под руку и провел по квартире; молча открыл шкаф, в котором висели два паршивых костюма и несколько скверных платьев его супруги, купленных, вероятно, на барахолке возле Сен-Поль, и напоследок показал радиоприемник, телевизор и холодильник.

— Ты помнишь, как я жил в Польше? — спросил он.

— Помню,— сказал я.— Не беспокойся. Я больше никогда к тебе не приду и не позвоню. Ты ведь это хотел услышать, да?

— Да,— сказал он.— Можешь думать обо мне что угодно.

— Я еще больше для тебя сделаю,— сказал я.— Даже думать не буду.

— Это было бы лучше всего.

Потом я поехал в Ниццу и знакомство с Лазурным берегом начал по классической схеме: подхватил триппер. К несчастью, мне никак не удавалось объясниться с портье в гостинице; наконец, когда я указал на нижнюю часть живота, он понимающе кивнул и сказал:

— La femme? [1]

Я испуганно замахал руками; в глазах у портье мелькнул проблеск понимания.

— Attendez [2],— сказал он и стал кому-то звонить и что-то объяснять; затем вручил мне ключ и велел идти в номер. Успокоившись, я пошел; минут через пятнадцать в комнату влетел атлетического сложения негр и, крикнув: «Привет, малыш!» — принялся стремительно раздеваться. Я попытался разъяснить, в чем проблема, но не успел; пришлось заплатить ему тридцать франков за визит и отправиться искать спасения самостоятельно.

За домами я увидел купола церкви, и тут меня осенило: ведь можно зайти к попу и попросить у него адрес какого-нибудь врача. Священник выслушал мой рассказ в неодобрительном молчании, сокрушенно покачивая головой, однако согласился пойти со мной к врачу и изложить причину моих страданий. Мы шли по улицам Ниццы, и поп читал мне мораль: ну что же вы, молодой человек, надо себя беречь, и т. д.; каждую тираду он заканчивал словами:

— Как вам не стыдно, молодой человек!

Я шел понурившись; поп, поглаживая бороду, читал нравоучения, и так мы шагали по залитым солнцем улицам. Вдруг священник схватил меня за плечо и указал на дверь какого-то ресторана.

— Здесь я однажды познакомился с девушкой,— прошептал он.— Красавица была. А ж...— как печка.

После посещения врача мы пошли в русский ресторан. Более странного бизнесмена, чем владелец этого ресторана, мне встречать не приходилось. Когда я поинтересовался, хорошие ли у них бифштексы, хозяин язвительно рассмеялся.

— Говно, а не бифштексы,— сказал он.

— А блины?

— Тоже никудышные.

— А рыба?

— В рот нельзя взять.

— Может, тогда бифштекс по-татарски?

— Фарш несъедобный.

Я совсем сник, но все-таки попросил бифштекс и бутылку минеральной воды. Он принес мясо, налил воду в стакан и опять сардонически рассмеялся.

— Вода поддельная,— сказал он. И поспешил объяснить: — Это все из-за евреев.

В том же ресторане я как-то познакомился с очень красивой девушкой. Я пил виски у стойки бара и вдруг почувствовал на себе взгляд: на

[1] Женщина *(франц.)*.

[2] Подождите *(франц.)*.

меня томно смотрела юная особа; не сомневаясь в своих силах, я заказал еще порцию виски и предложил ей ко мне присоединиться, на что она с энтузиазмом согласилась. По-английски девица не говорила, но из ее очаровательного щебетанья можно было заключить, что у меня то ли красивые глаза, то ли красивые руки, и вообще я очень симпатичный.

— Вы американец? — спустя некоторое время спросила она.
— Нет.
— Немец?
— Нет.
— Англичанин?
— Нет.
— А кто же?
— Поляк.

На лице ее появилось — если воспользоваться лексикой романа «Леди Гамильтон, или Прекраснейшие глаза Лондона» — выражение страха и презрения; нервно схватив лежавшую между нами на стойке сумочку, она опрометью выбежала из ресторана. Хозяин посмотрел на меня и мрачно констатировал:

— Это все из-за евреев.

Потом я перебрался в Германию, где мы с моим другом Роевским исправно посещали ночные кабаки. Большинство немецких ночных заведений отличает некий специфический стандарт: хозяин — поляк иудейского вероисповедания, шлюхи — дочери народа мыслителей и поэтов, клиенты — американская солдатня. Мне от многих доводилось слышать, что полякам еврейского происхождения не надо бы жить и зарабатывать деньги в Германии; пожалуй, в этом есть свой резон. Но, с другой стороны, я не уверен, можно ли требовать от людей, потерявших по шесть лет жизни в Освенциме или Дахау, чтобы они ехали в Израиль и работали там на строительстве дорог: им и двух часов на такой работе не выдержать. И тем не менее пребывание поляков еврейского происхождения в Германии добром не кончится; боюсь, в один прекрасный день немцы потеряют терпение, и тогда на свет Божий снова появится свастика.

Один приятель рассказал мне, каким способом в Германии делают деньги. Решив торговать радиоприемниками, он открыл магазин напротив немца, который уже десять лет занимался тем же самым, аккуратно платя налоги и поставляя клиентам товар наивысшего качества. Мой приятель стал продавать свои приемники на пятнадцать процентов дешевле; немец спустя некоторое время разорился, а приятель прилично заработал, но тут оптовики из-за протестов других торговцев отказались его снабжать, и он по уши залез в долги, но остался на свободе; за долги в тюрьму не сажают — при условии, что у тебя есть свое дело: наивные немцы полагают, будто владение собственным делом — достаточное основание, чтобы выиграть судебный процесс. И бизнес-то, если разобраться, был липовый: за прилавком сидел мрачный субъект, получавший десять марок в день за то, что торчал в пустом магазине, где мог предложить покупателям одного вида пылесос да три дешевеньких транзистора, а мой приятель тем временем пускал на ветер заработанные денежки. Разумеется, ни один из пострадавших немцев не позволит себе употребить слова «еврей» — как и я сознательно его не употребляю,— но все они охотно пользуются выражением «эти проклятые польские свиньи».

Мы с Янеком Роевским не стали задерживаться в Германии и отправились на Сицилию, где мне пришлось несладко: Янек имел обыкновение на каждом шагу делать предложения руки и сердца. Едва приехав в Монделло, мы прочитали в газете, что накануне в полдень две семьи затеяли перестрелку, длившуюся часа три; несколько человек были убиты. Причина — кровная месть. Двадцать лет назад один сицилиец в поисках заработка уехал в Америку, пообещав невесте вызвать ее

в Штаты и там с ней обвенчаться. Обещания своего он не сдержал, девушка осталась без мужа и с младенцем, а две семьи все эти двадцать лет пребывали в состоянии вражды; конец распри совпал с нашим приездом. Романтические склонности Роевского заставляли меня пребывать в постоянном напряжении; добавлю еще, что сицилийцы обижаются, когда их называют итальянцами, и не расстаются с оружием. Я видел парней, которые, точно в ковбойских фильмах, стреляли в подброшенный кверху камень, и камень в воздухе разлетался вдребезги.

Мы жили у рыбака; на стенке, около изображения Мадонны, перед которым всегда теплилась лампадка, висел портрет молодого человека в траурной рамке. Я думал, это кто-то из членов семьи, но, зайдя однажды в другой дом, увидел рядом с Мадонной этого же молодого мужчину. Я решил, что семьи состоят в родстве и их объединяет общий траур; однако вскоре, по пути в Таормину, опять увидал знакомое лицо по соседству с Мадонной. Я спросил, кто это; незабвенным покойником оказался capitano Сальвадоре Джулиано, убитый десять лет назад собственным двоюродным братом, которого сицилийцы называли assistento. Assistento недолго радовался жизни — его падение было столь же стремительным, как взлет: бедолагу отравили в тюрьме преданные «капитану» люди. В тюрьму его посадила полиция, по приказу которой он убил своего шефа; таким способом бывшего assistento хотели уберечь от мести.

Наше пребывание на Сицилии закончилось; мы решили поехать в Рим, где я намеревался — помня о данном мне обещании — продлить в польском посольстве паспорт. Остановились в гостинице; я пошел в посольство.

— Мы должны запросить Варшаву,— сказали мне.

— Да ведь в Париже мне дали честное слово, что, когда понадобится, вы продлите паспорт.

— Подождите два дня.

Через два дня я опять явился в посольство; мне велели ждать.

— Я не могу ждать,— сказал я.— Моя итальянская виза кончается через два дня. В Италии мне больше задерживаться нельзя. А у меня есть только немецкая виза, и никакой другой уже не получить, потому что паспорт через несколько дней кончается.

— Поезжайте в Берлин и обратитесь в Польскую военную миссию. К тому времени ответ придет.

Я поехал в Берлин; человек, который меня принял, сказал, чтобы я немедленно возвращался в Варшаву.

— Почему? — спросил я.— На Запад я поехал на свои деньги, никаких официальных поручений не выполняю, стипендии не получал.

— Возвращайтесь в Варшаву.

— Вы всю жизнь учили меня, что мы, граждане социалистической страны, самые свободные люди на свете,— сказал я.— Почему американцу можно поехать в Европу и сидеть там сколько вздумается, а мне нельзя? Я от вас ничего не требую — кроме таких же прав, какие есть у американца или англичанина.

— Это следует понимать как отказ вернуться?

— Нет,— сказал я.— Но позвольте задать вам один вопрос. Если польский дипломат и член партии дает честное слово, ему можно верить?

— Да.

— Польский консул в Париже дал честное слово, что мой паспорт будет продлен. Этот консул — член партии.

— Вы возвращаетесь или нет?

— Вернусь, но только когда сам захочу.

— Даю вам два дня на размышления.

Через два дня мы встретились — на этот раз не в Польской военной миссии, а в кафе «Кемпински». Я заранее попросил Янека Роевского, который тогда еще не думал оставаться на Западе, пойти со мной и присутствовать при разговоре. Я сказал ему: «Ты знаешь, что́ обо мне

будут писать, если я останусь. Расскажешь тем нескольким людям, которых мы оба любим, как все было на самом деле». Роевский согласился.

Мы пришли в кафе «Кемпински»; дипломат уже меня ждал. Я представил ему Янека.

— Свидетеля привели? — спросил он.

— Да,— ответил я.— Что решили в Варшаве?

— Надо возвращаться. Посидите две недельки в Варшаве и — обратно на Запад.

— А зачем нужно там сидеть две недели?

— Ходят слухи, что вы намерены остаться на Западе.

— Моей вины тут нет,— сказал я.— Не я распускаю слухи. Это вы написали, что я шпион. Это Богдан Чешко писал, что ему неохота об меня руки марать. Это Сокорский написал, что я предал польский народ.

— Вернетесь в Варшаву, покрутитесь немного в городе и снова уедете.

— А откуда мне знать, что так будет на самом деле? — спросил я.

— Даю вам честное слово.

— Это я уже слышал в Париже.

Тут Роевский, до сих пор в разговоре не участвовавший, взвился, побелев от ярости.

— Не верь ни единому слову,— сказал он.— Я был в России — я их знаю. Они тебя сгноят. Не верь ни клятвам, ни обещаниям. Пусть продлят паспорт здесь — без этого не возвращайся.

Я встал.

— Не буду говорить вам «до свидания»,— сказал я.— Мы больше никогда не увидимся.

Хотя, может быть, я ошибся, и когда-нибудь мы увидимся. Беседовавший со мной человек был одним из лучших в Европе специалистов по похищению беглецов и переброске их на Восток; несколько месяцев назад он сам попросил политического убежища — «по мотивам нравственного характера». Политическое убежище он получил; и никто никогда не осудит его за тех несчастных, которых он послал на смерть; никто никогда не напомнит ему о людях, которые по многу лет провели за решеткой. И голодать он не будет, так как сможет сообщить немало полезного; еще и подзаработает на интервью для печати, после чего, вероятно, получит от какого-нибудь фонда какую-нибудь стипендию, чтобы съездить в Америку и собственными глазами убедиться, что Америка — не ад и не тюрьма, а прекрасная и могущественная страна; и, пожалуй, напишет книгу, в которой заявит, что ошибался,— как ошибались полковник Святло и полковник Монат. И будет жить припеваючи, пока его имя не исчезнет с газетных полос; потом, когда его забудут, о нем вспомнят его бывшие коллеги; и так закончится карьера господина Тыкочинского.

В Германии — уже после того как я попросил политического убежища и прошел всевозможные проверки — мне пришлось нелегко. Не могу ничего сказать об этой стране; в свое время мне предлагали написать сценарий: два раза для кино и один раз для телевидения,— я отказывался. И о немцах ничего не могу сказать; в войну я их не боялся и после войны никогда не вспоминал, но по-настоящему испугался, когда пробыл в Германии некоторое время и увидел, как они живут: спокойно, уютно и тихо. От одного немецкого таксиста я услыхал: «Американцы нас предали. В сорок пятом у нас еще оставалось много боеспособных дивизий; если бы мы вместе пошли на Россию, всего этого бы сейчас не было». Я уехал из Германии, потому что она слишком напоминала мне Польшу; тут тоже никто ничего не знал. Среди людей, с которыми мне доводилось беседовать, попадались упитанные господа лет пятидесяти, разъезжавшие на роскошных «мерседесах»; во время войны они были мальчишками и, конечно, понятия не имели о том, что творили молодцы

из СС. Немцам приказывали убивать, и они убивали; приказали жить спокойно, и они живут спокойно. Помню, один немецкий писатель сказал мне: «Бегите отсюда. Вы никогда ничего не напишете ни о Германии, ни о немцах; как и я ничего не напишу. Германия — тема для слесаря, а не для пишущего человека».

Некоторое время я жил в Мюнхене, где познакомился с Яном Новаком — директором польской службы радиостанции «Свободная Европа»; Новак показал мне циркуляр, предназначенный для внутрипартийного пользования. Вот что сказал обо мне Леон Кручковский: «Как мы видим, товарищи, недолог путь от первого шага в облаках (...) до последнего шага в болото империалистической разведки» [1]. Прочитав этот документ, я поехал в Берлин, отправился в Польскую военную миссию и попросил разрешения вернуться на родину. Разговаривавший со мной человек велел написать заявление, предупредив, что мне придется отвечать перед судом. Я написал и ушел.

Я сказал себе: Польша — это не Путрамент с Кручковским и им подобные. Польша — это все те люди, которые меня читали и которые в меня верили. Я вернусь и предстану перед судом как шпион; пускай доказывают, что я передал на Запад секретные материалы: шпион с пустыми руками — не шпион. Я сказал себе: вы имели смелость меня оплевать; вы имели смелость назвать меня агентом; вы лишили меня возможности жить в стране, где пишется лучше всего на свете; мои близкие стыдятся меня; что ж, возьмите меня и накажите. Я — псих и ни в чем не признаюсь, какие бы жестокие меры вы ни применяли; вы имели смелость меня обвинить, имейте же смелость меня засудить. Естественно, я понимал, что никто не верит в мое сотрудничество с враждебными Польше разведками; но если среди моих читателей найдется хотя бы один, который поверил,— эта книга написана для него.

Но мне не дали въездной визы; я поехал в Израиль и решил ждать ответа там, поскольку вопрос о моем возвращении в очередной раз должен был рассматриваться в Варшаве. Я обивал пороги польского консульства на улице Алленби, где мне без конца повторяли, что ответ еще не пришел. В Израиле я тогда встречал много поляков еврейского происхождения, хотевших вернуться на родину, но их туда не пускали. Коммунисты, признающие за собой право на ошибку, отказывали в таком праве людям, которые приехали на землю обетованную лишь затем, чтобы убедиться, что у них нет ничего общего с еврейством, с еврейскими обычаями и с государством Израиль. Эти люди уехали из Польши, когда по стране прокатилась волна антисемитизма; только в Израиле можно было укрыться от поляков. Эти люди, в основном уже пожилые, не могли вынести ни израильского климата, ни тяжелой работы, ни неприязненного отношения евреев, родившихся в Израиле; и они решили вернуться, но комми их не впустили; так они начали ненавидеть Польшу и все польское; и так поляков еврейского происхождения унизили еще раз и еще раз навлекли позор на Польшу; круг ненависти — благодаря комми — замкнулся; теперь уже навсегда.

Я тогда работал на стройке; однажды в польском консульстве мне сказали, что со мной будет говорить советник Бида. Мне было любопытно на него поглядеть; многие утверждали, будто Бида — прототип Щенсного, героя книги Игоря Неверли «Под фригийской звездой». Щенсный, как я помнил, был решителен и смел: на свой страх и риск убил человека из «Дефы» [2]; его реальный прототип — сидящий передо мной и внимательно изучающий мой паспорт старик — был типичным бюрократом, даже не очень прикидывавшимся, что говорит правду. Он спросил, почему я работаю на стройке; я ответил, что у меня нет ни гроша. Тогда он сказал, что работа на стройке — не дело

---

[1] Цитата взята из протокола XII пленума ЦК (15—18.X.58 г.); документ, датированный ноябрем 1958 года, снабжен грифом: «Только для членов партии». Приведенный отрывок находится на странице 167 *(прим. автора)*.

[2] Так в Польше в период с 1918 по 1939 год называли политическую полицию.

для польского писателя. Я поинтересовался почему, но не получил ответа. Он сказал, что для меня единственный способ вернуться — снова поехать в Берлин и, созвав пресс-конференцию, объявить, что нигде не живется лучше, чем в Польше.

— Вы хотите сказать, мне следует взять обратно все, что я говорил, верно? — спросил я.— Плюнуть в рожу людям, которые меня приютили и старались мне помочь. Если я вас правильно понял.

Бида посмотрел на меня.

— Задумайтесь на минуту, чьи спутники летают выше всех,— сказал он.— Вы поедете в Берлин и в том самом городе, где попросили убежища, заявите, что совершили ошибку.

— Об этом я намерен сообщить судьям в Польше.

— Если вам представится случай.

Он отдал мне паспорт, и я ушел. Я подумал: видно, не так уж хороши их дела, если они не осмеливаются посадить меня в Польше и бить до тех пор, пока я во всем не признаюсь. Но признаваться мне было не в чем; я еще долго ходил в консульство, и всякий раз мне говорили, что ответ не пришел. Хотел я поиграть в гусара, но даже это не получилось.

Одно время я работал в газете «Маарив»: редакция пригласила меня на месяц в Израиль с условием, что я буду писать еженедельные фельетоны, а они мне оплатят дорогу. Сразу же по приезде я вручил свой авиабилет Филипу Бену; Бен сунул его в карман и сказал:

— За деньгами приходите завтра в редакцию.

— Пусть лучше пока полежат у вас. Я зайду за ними накануне отъезда. Хорошо?

— Хорошо,— сказал Филип Бен.

И я стал писать для газеты «Маарив», начав с рецензии на немецкий фильм «Девица Розмари»; выбрал я этот фильм потому, что — несмотря на полную художественную беспомощность — он верно воспроизводил царящую в Германии атмосферу; кроме того, в Израиле тогда не показывали немецких фильмов, и я подумал, что именно эта картина, пользовавшаяся колоссальным успехом в Германии и за границей, заинтересует израильского зрителя. Потом я написал еще несколько заметок; прошел месяц; я явился в редакцию и сказал Бену:

— Я еще немного побуду в Израиле; возвращаться в Европу мне незачем. Позвольте попросить у вас деньги.

— Какие деньги?

— За дорогу — вы мне обещали от имени редакции.

— За какую еще дорогу?

— За авиабилеты. Как условились.

— Кто с кем уславливался?

— Мы с вами.

— А договор у вас есть?

— Нет. Мы договаривались на словах. А устный договор имеет такую же силу, как письменный.

Я хорошо запомнил ту сцену, потому что ни раньше, ни позже не видал человека, который бы веселился так, как Бен, услышавший, что устный договор имеет юридическую силу письменного. Бен просто подыхал со смеху; я ему вторил; оба мы смеялись над моей глупостью. Выйдя на улицу, я еще долго хохотал; полагаю, Филип Бен тоже.

Потом я пошел к издателю, который опубликовал мою книгу на иврите, даже не спросив разрешения; когда я попросил у него денег, он сказал, чтобы я зашел через неделю. Через неделю секретарша сообщила мне, что у издателя заболела мать; через две недели он сам занедужил; через три его забрали в армию; через два месяца он разорился. Я пошел к адвокату; адвокат посоветовал плюнуть и забыть.

Настали тяжелые времена; со стройки я ушел, потому что рассчитывал вернуться на родину, да и наш прототип положительного героя не рекомендовал мне — как человеку, пишущему по-польски,—

там работать; по сей день не понимаю, что в этом зазорного. Работа, кстати, была отличная; я попал в компанию бывших боевиков из группы Исаака Штерна [1], и в обеденный перерыв только и было разговору что о покушениях, терроре и о смерти Штерна. Все эти люди после сорок восьмого года оказались никому не нужными; в аналогичной ситуации были тогда в Польше солдаты Армии Крайовой. Боевики дрались доблестнее всех; боевики сделали свое дело и были отправлены на покой.

На стройке я больше не работал; мой давний закадычный приятель Янек Роевский, получив должность архитектора, исключил меня из круга своих друзей; я просто подыхал от голода. После десятидневного поста у меня начались галлюцинации; помню, как-то вечером я пошел на пляж и увидел пожилую даму, которая вошла в воду, оставив на берегу бинокль; я схватил этот бинокль и поплелся в гостиницу, где когда-то жил.

— Послушай,— сказал я портье.— Пару дней я еще протяну. Дай мне комнату. Хочу умереть в постели. Бинокль и башмаки твои.

У меня тогда были роскошные полуботинки, купленные в фирменном магазине «Будапешт» в Берлине; портье смерил меня профессиональным взглядом и сказал:

— Хорошо. Хозяин в Америке. Ботинки и бинокль вперед. Получишь «единичку».

«Единичкой» именовалась комната рядом с нужником; когда-то там была ванная с унитазом, но хозяин гостиницы посчитал, что из нее можно сделать еще один номер; сортир отделили тонкой фанерной перегородкой, и вот в эту клетушку я отправился умирать. Не сомневаясь в своей скорой кончине, я отдал портье башмаки и бинокль и прямо в брюках плюхнулся на кровать — раздеться у меня уже не было сил. Ни беспокойства, ни отчаяния я не испытывал — вообще ничего такого, о чем мы привыкли читать; просто я знал, что умру. Портье принес мне кувшин воды; время от времени, просыпаясь, я пил воду и тут же опять засыпал. Меня одолевали видения; но только спокойные и приятные. Достоевский, описывая сны своих героев, утверждает, что у больных людей они очень яркие и мучительные. Но я тогда не был болен; я был здоров как бык и умирал с голодухи двадцати пяти лет от роду, имея сто восемьдесят три сантиметра росту и восемьдесят килограммов весу. Иногда в комнату заходил портье и, молча приблизясь к кровати, приподнимал мне веко, после чего уходил. Никогда не забуду его руки, ловко открывавшей мой глаз; подобную сцену я потом видел в фильме «Асфальтовые джунгли»: гангстер, выстрелив, подходит к убитому и приподнимает ему веко; после чего продолжает беседовать с друзьями, и никто ни словом не вспоминает покойника.

Не помню уж, на который день портье разбудил меня и дал чашку чертовски крепкого кофе и булку с ветчиной; поев, я опять заснул, но через час он снова меня разбудил, влил в рот кофе и долго о чем-то толковал; я ничего не понял. Наконец он объяснил: меня разыскивают из американского консульства; я должен туда пойти и получить какие-то причитающиеся мне деньги. Портье принес горячий обед; сам я есть не мог, и он вынужден был меня кормить.

— Ладно,— сказал я.— За деньгами надо сходить. Давай башмаки.

— Какие башмаки?

— Мои.

— Ты же мне их отдал.

— Да, но я сказал, что окочурюсь. А не окочурился.

— Меня это не касается,— сказал портье.— Я уже много таких перевидал. Не думал, что ты оклемаешься. Ботинки я продал.

— Но не могу же я идти в американское посольство босиком.

— А откуда мне было это знать наперед? Ты сказал, что загнешься. Я оказал тебе услугу.

---

[1] Командир боевой организации, сражавшейся за независимость Палестины.

— Но ведь я живой.

— Твое дело. Когда ты пришел, я думал, дня через три тебе каюк. Хорошо еще, хозяин уехал в Штаты, не то подыхал бы на пляже.

Наконец он ушел и выпросил для меня башмаки у какого-то миссионера; ботинки священника мне жали, но все же мы кое-как доплелись до американского консульства; я получил чек и потащился покупать обувку; продавец был знакомым моего благодетеля. Примеряя в магазине ботинки, я увидел какого-то малого, сидевшего напротив и передразнивавшего меня; у него были ввалившиеся щеки, дикий взор и двухнедельная щетина. Когда я надевал башмак на правую ногу, он делал то же самое; когда я вставал, чтобы проверить, удобно ли ходить, повторял мои движения.

— Миша,— обратился я к своему портье.— Скажи этому парню, чтоб отцепился. Ты ведь знаешь, я не умею говорить на иврите.

Портье с продавцом выкатили шары; и этот, напротив, тоже на меня уставился; и так мы все четверо стояли и молчали. Но было нас только трое; это похоже на сцену из плохого рассказа или очень скверного фильма; но моя книга — не рассказ, а всего лишь попытка кое-что кое-кому объяснить.

Со мной в то время случилась пренеприятная история; зайдя однажды в бар на улице Яркон, я заказал рюмку коньяку. Ко мне подсела какая-то девица и попросила ее угостить. Я сказал, что пустой, и предупредил бармена, что плачу только за себя. Потом взял еще одну рюмку и еще одну; девица пила наравне со мной. Наконец я попросил счет; бармен посчитал за шесть рюмок.

— Ничего не выйдет,— сказал я.— Я предупредил, что плачу только за себя.

Бармен дал мне правильный счет; я потянулся за пепельницей, чтобы стряхнуть пепел, но разъяренная дочь Коринфа отодвинула пепельницу.

— Для таких, как ты, даже пепельницы жаль,— заявила она.

— Это ты сказала,— ответил я и погасил сигарету об ее щеку.

Меня арестовали; несколько лет спустя я прочитал, что мой любимый Хамфри Богарт в аналогичной ситуации повел себя точно так же и на вопрос судьи: «Вы тогда были пьяны?» — ответил, глядя на него с величайшим изумлением: «А кто ж бывает трезв в четыре утра?» Когда я покидал тюрьму, из «Маарив» прислали фотографа, чтобы он меня снял; на фото я запечатлен между двумя полицейскими. Снимок принес мне большую популярность; через некоторое время, когда я женился на

Марек Хласко с женой — немецкой киноактрисой Соней Циман

Марек Хласко с польским композитором Кшиштофом Комедой в Калифорнии.

Соне [1], ушлые немецкие журналисты купили эту фотографию, и она обошла страницы всех бульварных газет, снабженная подписью: «И ты думаешь, тебе удастся его исправить?» Вопрос был адресован моей жене.

В то время получить работу, да еще левую, было нелегко; из восточных стран понаехало множество новых иммигрантов: в основном люди в возрасте и каждый третий — врач. Проходя по тель-авивским улицам, я видел на каждом подъезде по нескольку табличек с фамилиями врачей. Черную работу трудно было найти и в Тель-Авиве, и в Хайфе; знакомые посоветовали поехать в Эйлат, добавив, что, даже если на работу я не устроюсь, мне там понравится — Эйлат веселый город.

Прямо у трапа самолета определить, какой Эйлат замечательный город, было довольно трудно, но не успел я пройти и десятка шагов, меня остановил незнакомый молодой человек.

— Это ты Хласковер? — спросил он.

— Я.

— Я видел твое фото в газете,— сказал он.— Приходи вечером вон в тот ресторан.

Я пришел; молодой человек уже поджидал меня с двумя своими приятелями. Один из них, как я узнал, в войну сорок восьмого года был командиром танка; получив в бою приказ идти в атаку, он подъехал к арабскому банку, несколькими меткими выстрелами разворотил сейф и уложил служащих, после чего экипаж танка, набив карманы деньгами, отправился выполнять задание. Другой был когда-то известным контрабандистом; повздорив в Иерусалиме на улице с двумя арабами, он их пристрелил, а на суде заявил, что они его спровоцировали. Оба в свое время дезертировали из советской армии и, совершив на территории Германии множество грабежей и убийств, перебрались в Израиль. Потом к нашему столику подсел еще один обитатель веселого города Эйлата, в прошлом офицер НКВД; он убил целую украинскую семью, выдавшую его родных немцам, и через Польшу и Чехословакию удрал в Германию. Но самым страшным оказался четвертый, присоединившийся к нам позже; этот о себе ничего не рассказывал — его историю я прочел в газете. Родился он в Польше и оттуда эмигрировал в Израиль, где случайно узнал, что немец, собственноручно расстрелявший его семью, служит в Иностранном легионе; убежав из Израиля без паспорта во Францию, он вступил в Иностранный легион и во время войны в Индокитае застрелил убийцу своих родных; затем, дезертировав из Легиона, на пароходе без билета вернулся в Израиль. Там его ждало обвинение по нескольким статьям: за нелегальное пересечение израильской границы и службу в армии чужого государства он подлежал суду в Израиле, Франция же требовала его депортации, чтобы судить за дезертирство из Легиона и расправу с эсэсовцем. Мы выпили по паре рюмочек, и тут к нам подсел пятый — сын богатых американских родителей; в один прекрасный день он вздумал ограбить банк; его схватили и дали пятнадцать лет; он убежал из тюрьмы и через Мексику и Латинскую Америку добрался до Израиля.

Все мои собеседники попали в Эйлат не по своей воле: их туда — кого на три, кого на пять лет — сослала полиция. Выглядел каждый лет на десять старше своего возраста; в Эйлате люди быстро теряют зубы и волосы. Некоторые ужасно толстеют; другие высыхают, и лица их покрываются морщинами. За едой полагается принимать по две таблетки соли; в тамошнем климате вся соль из организма выходит с потом. Пиво местные жители поглощают в огромных количествах; ночью пьют коньяк. Кино в Эйлате тогда еще не было; зато были клубы, где играли в карты. Больше всего мои новые знакомцы страдали из-за отсутствия женщин; женщины, родившиеся в Европе, не хотели ехать в Эйлат, зная, что через два года превратятся в старух; сабры [2] же не испытывали ни малейшей охоты связываться с уголовниками.

[1] Соня Циман, немецкая кинозвезда.

[2] Сабра — коренной житель Израиля (от названия кактуса, растущего в Палестине).

Когда я там был, температура достигала пятидесяти градусов, но мне говорили, что бывает и хуже. Пили тем не менее в Эйлате по-черному; работавшие на медном руднике горняки, получив в день зарплаты чек, шли в кабак и бросали хозяину чек со словами: «Скажешь, когда»; еда и ночлег у них были дармовые. Некоторые копили деньги, чтобы, отбыв положенный срок, начать новую жизнь; кончалось это, как правило, одинаково: смертельно истосковавшись без женщин, кино и развлечений, они отправлялись в какой-нибудь клуб играть в карты; потом, просадив все деньги, снова начинали экономить, благо в Эйлате не надо было платить налогов. Для меня в Эйлате работы не нашлось; возвращаясь в Тель-Авив на автобусе, я по дороге остановился на два дня у знакомого в Беэр-Шеве. И угодил в самый разгар бурных событий: так называемые черные евреи подняли мятеж против белых. «Черные» — сефарды, сохранившие арабские обычаи,— не владели никакими ремеслами и не знали языка. Платили им, естественно, меньше, чем европейцам или аборигенам; положение и вправду незавидное. Все два дня, которые я провел в Беэр-Шеве, разъяренные «черные» гонялись за мной с ножами, крича: wus-wus. Зная на иврите лишь одно это слово, они называли так всех «белых» евреев. Первым делом мятежники разгромили почту и перерезали телефонные провода; через несколько дней полиция овладела ситуацией, и в городе наконец восстановился порядок; подобные инциденты, впрочем, случались и в Хайфе. Пробегав сорок восемь часов по улицам, преследуемый толпой вооруженных ножами сефардов, я отказался от затеи подыскать работу в Беэр-Шеве и вернулся в Тель-Авив.

В Тель-Авиве я снова отправился в польское консульство; визы для меня не было. Евреи из России, которым я про себя рассказывал, умоляли меня не возвращаться, твердя: «Коммунисты не прощают». Но я тогда был глух и слеп: мне хотелось вернуться в Польшу и предстать перед судом по обвинению в шпионаже; таким я видел свое будущее. Они там посмели назвать меня шпионом, но побоялись взять на себя ответственность за собственные слова; думая о них сегодня, я склоняюсь к мысли, что трусость — их единственная человеческая черта.

Работу мне нашел мой варшавский приятель Ежи Бухбиндер. Он устроил меня на фабрику, производящую стеклянную вату; работка была — одно удовольствие. Снаружи температура достигала пятидесяти градусов; внутри, в цеху, стояла плавильная печь. А главное — порхавшие в воздухе стеклянные волоконца проникали сквозь наши комбинезоны и рубашки и забивались глубоко под кожу; припудренные тальком и покрытые волдырями, мы походили на статистов, изображающих прокаженных в фильме «Бен Гур». Утром после ночной смены я отправлялся на пляж, где пытался спалить свою шкуру; это чуть-чуть помогало: кожа переставала гореть, но начинала чесаться; или наоборот; я утверждал, что у меня кожа горит; мой мастер — что зудит. На фабрике я числился под чужой фамилией — туристы не имели права работать. Беседуя по ночам с мастером, уроженцем Венгрии, я делился с ним своими семейными тайнами, жаловался на сложные отношения с женой и дочерью; через некоторое время я так вжился в эту роль, что стал придумывать все новые и новые перипетии супружеской жизни,— разумеется, как Ежи Бухбиндер-Пресс. Слушатели наперебой давали мне советы, как себя вести с женой и дочкой, а я постоянно придумывал новые коллизии, и так мы коротали ночи. Перейдя в конце концов с этой фабрики на другую работу, я никак не мог привыкнуть к мысли, что у меня уже нет ни жены, ни дочери, и продолжал рассказывать о семейных неурядицах. Надеюсь, что Ежи Пресс — если когда-нибудь прочтет эту книжку — меня простит; но простит ли меня его жена Ханя, которая знать не знала, что долгое время имела двоих мужей,— на этот вопрос ответить я не берусь.

Я никогда не смогу написать об Израиле репортаж или вообще что-нибудь толковое по очень простой причине: израильтяне спасли мне

жизнь. Когда я помирал с голоду, меня взяли на фабрику, хотя все знали, что я пользуюсь чужими документами; в другой раз меня направили на стройку как душевнобольного — в моем случае была показана трудотерапия, и я трудился бок о бок с шизофрениками и алкоголиками. Мне помогали люди, только что прибывшие из Польши, хотя сами попали в трудное положение и имели полное право ненавидеть всех моих соплеменников. Многие из них приехали лишь для того, чтобы убедиться, что они поляки, а не евреи; но комми не принимали их обратно. В книге Герлинга-Грудзинского описано выступление моряка, исполняющего песню «Раскинулось море широко»; дело происходит в советском трудовом лагере; и тем не менее зеков, подпевающих матросу Всеволоду, охватывает чувство ностальгии и тоски по стране, которая от них отвернулась,— стране, где царят голод, террор и отчаяние. Подобные сцены я наблюдал в Израиле: человек, имевший обыкновение представляться: «Капитан Абакаров, бывший сотрудник Народного комиссариата внутренних дел», лирическим тенором исполнял арию Ленского; другой житель Эйлата, сидя ночью на веранде ресторана в одной майке, пел, что «много-много в жизни пройдено по земле и по воде, но советской нашей родины не забыли мы нигде». Мои польские знакомые обычно распевали что-нибудь из репертуара Мечислава Фогга; только приехавшие из Германии не пели ничего и никогда. На мой вопрос: «Зачем вы сюда приехали?» — разные люди всегда отвечали одно и то же: потому что стали выпускать.

Ассимилироваться им было непросто: сабры недолюбливают пришельцев из Восточной Европы — им стыдно, что евреи во время войны покорно позволяли себя уничтожать. Однажды, по случаю годовщины восстания в Варшавском гетто, перед польским консульством установили витрину с фотографиями; я случайно проходил мимо с одной красивой саброй.

— Посмотри, Эстер,— сказал я.— Вот так примерно это выглядело.

Она глянула мельком на фотографии расстрелянных детей и вереницы людей перед газовой камерой и сказала:

— Мы опаздываем. Я хочу посмотреть Монти Клифта.

В кино напротив показывали фильм «Внезапно прошлым летом» с Монтгомери Клифтом и Элишевой Тейлор. Тейлор, как известно, перед вступлением в очередной брак приняла иудейство, и из Элизабет превратилась в Элишеву; израильская пресса захлебывалась от восторга; помню, я проходил тогда по городскому базару, где продавец дамского белья, демонстрируя покупателям лифчики, сшитые по размерам бюстов любимых кинозвезд, примерно так расхваливал свой товар:

— Лоллобриджида — прошу вам. Пампанини — прошу вам. Мэнсфилд — прошу вам.— После чего, выдержав эффектную паузу и вытащив из кучи бюстгальтер необъятных размеров, восклицал: — Элишева Тейлор, шесть лира, прошу вам! Налетай!

Итак, Эстер пошла смотреть на Элишеву, а я постоял немного перед витриной с фотографиями; рядом останавливались люди, приехавшие из Европы; молодые и сильные уроженцы Израиля, скромно называвшие себя сабрами, равнодушно проходили мимо. У них, воспитанных в презрении к смерти и готовых в любую минуту отдать жизнь за родину, не могли вызвать сочувствие соплеменники, покорно идущие на гибель. Приезжие из Европы не пользовались их симпатией; привыкшие к тяжелой физической работе, они со снисходительной жалостью смотрели на иммигрантов, старавшихся пристроиться в магазины, конторы или больницы. Расположение сабры можно завоевать только одним способом: любовью к работе. Человеку, боящемуся солнца и физического труда, нечего и рассчитывать, что когда-нибудь один из рожденных в Израиле назовет его настоящим евреем.

Но и с работой не все было просто. Помню, устроились мы с приятелем — молодым способным журналистом из Катовице — отливать бетонные пороги. Дело казалось нехитрым: бралась форма, весившая

около семидесяти кило, и в нее заливалось десять килограммов бетона; затем форма откладывалась в сторону, пока бетон не застывал. Начали работать мы в пять утра, но уже в десять вынуждены были прерваться: мой приятель не выдержал.

Оставшись без напарника, я принялся в одиночку грузить эти чертовы пороги на машину; но другие рабочие — арабы — как огня боялись конкуренции; хотя охотников на такую кошмарную работу даже среди коренного населения не находилось, арабы, для которых она составляла источник существования, видели угрозу для себя в каждом, кто за нее брался. Ну и один из них чуть не размозжил мне руку бетонным блоком; пришлось в полдень все бросить и тащиться в больницу. В больнице врач поинтересовался, как это произошло; я сказал, что во время работы. Он спросил, где я работаю; я ответил, что, к сожалению, не могу сказать, так как не имею разрешения и у моего хозяина могут быть неприятности. Доктор посмотрел на меня и, когда я уже собрался уходить, велел не валять дурака и молча занялся моей рукой.

— Теперь вы оказались нарушителем закона,— сказал я.

Разглядывая рентгеновский снимок, врач сказал:

— Вы, конечно, не еврей, иначе б не говорили такие глупости. Евреи всегда нарушают законы, но не по своему желанию. Откуда вы?

— Из Польши.

— Забавно,— сказал он.— Вчера у меня был пациент, который служил в вашей политической полиции и удрал сюда. А здесь его порезали ребята, на которых он у вас стучал и которые удрали раньше. Теперь, наверное, он опять куда-нибудь убежит, но там его уже будут поджидать другие, убежавшие от кого-то еще. И так без конца.

Он перевязал мне руку; через два месяца я снова к нему попал: на этот раз по собственной вине — не надел защитные рукавицы во время шлифовки; работа, конечно, была левая. Врач опять сделал все что нужно, и опять я отказался ему назвать место работы; такое со мной происходило постоянно; и постоянно кто-нибудь мне помогал. Одно время я был помощником землемера; устроил меня к нему человек, всю семью которого в войну выдали вымогатели. Я бегал по полю с рейками, а шеф через все поле мне что-то кричал.

— Не слышу! — кричал я в ответ.

Он махал рукой; я мчался к нему за полкилометра.

— Х... вас в ж..! — кричал он.— Вы плохо натянули трос!

— Не х... вас надо говорить, а х... вам! — весело кричал я и под палящим солнцем бежал обратно. У этой работы была своя приятная особенность: ядовитые змеи, ползавшие под ногами. Для защиты от змей и других пресмыкающихся приходилось надевать высокие сапоги; со мной работал англичанин, который убивал змей голыми руками, приговаривая:

— The fucking snake...

— Что он говорит? — допытывался шеф.

— Ё...ная змея! — орал я через поле, приложив руки ко рту.

— Что, что?! — кричал мой шеф. Я в сотый раз, обливаясь потом, бегом пересекал поле, но отказать шефу не мог: как человек любознательный, он непременно должен был знать, о чем мы с англичанином разговариваем. Так что я бежал к нему через все поле.

— Он говорит: ё...ная змея! — кричал я, когда от шефа меня отделяло уже только сто метров.

— Скажите его, чтоб не морочил голову, а работал! — орал в ответ шеф.

— Ему! — кричал я.

— Что ему?

— Не говорят «скажите его» — «скажите ему»! — вопил я, рупором складывая руки. И так весь день; вечерами шеф обычно пребывал в добром расположении духа. Мы вкалывали по четырнадцать часов в сутки;

подымали нас в три утра, а заканчивалась работа в сумерки. Однажды, когда мы трудились в окрестностях Тверии, я увидел шефа, бегущего к нам по полю и размахивающего газетой.

— Поймали ему! — вопил он.— Поймали ему!

— Кому? — спросил я.

— Эйхман! — сказал мой шеф. Все уселись и стали читать газету, где сообщалось о похищении Эйхмана; я, отойдя в сторонку, закурил. Шеф кинул на меня грозный взгляд.

— Вы тут мне не выё...— сказал он.— Вы шейгец. Я вам прошу продолжать работать.

У шефа мои единоверцы тоже убили всю семью; он имел все основания выгнать меня в шею, но не выгнал. Поэтому все, что я пишу об Израиле, не подходит под придуманное мной определение: «правдивый вымысел» — слишком многим я этим людям обязан. От меня нельзя требовать объективности: я им обязан вообще тем, что живу; это может иметь значение для меня, но не для других. Мне спасли жизнь люди, которых преследовали мои единоверцы; так что в данном случае я не могу быть объективным.

Я тогда жил в гостинице «Виктория», где порядки были первозданно просты: войдя в вестибюль, вы раздевались и отдавали одежду портье, который ее запирал, вы же в одних трусах отправлялись в общий зал; сдавать шмотки было, к сожалению, необходимо, так как некоторые постояльцы жили в основном за счет краж. Конечно, и речи не могло быть, чтобы один профессиональный вор увел одежку у другого, но дело портила вступающая в жизнь молодежь, еще незнакомая с этикой преступного мира. Работал я землемером; потом перешел в некую кинокомпанию. Помещения у этой компании не было; присутственным местом служило кафе «Нога». Президентом фирмы являлся господин Зискинд, вице-президентом — господин Фишбайн; акционерами — все официанты и завсегдатаи кафе «Нога». Когда не было денег на кофе, в компаньоны приглашался очередной официант, соблазняемый будущими прибылями, и благодаря этому акционерное общество процветало; мои гонорары уходили на спиртное. Я был актер, сценарист, консультант президента Зискинда по художественной части и, само собой разумеется, пайщик.

Я тупо сидел в кафе и, пропивая свой гонорар, сочинял сценарий, поминутно меняя сюжет; вначале это был сценарий фильма об Эйхмане, потом историю Эйхмана я превратил в драму сабры, вышедшей за богатого американца и тоскующей по родине; потом президент велел мне все переделать, чтобы было смешно и чтоб герои плавали, поскольку тогда девушек можно показывать полуголыми, а публика это любит; я переделал сценарий в драму из жизни эйлатских рыбаков; потом рассказ о рыбаках превратился в леденящую кровь историю о шантажистах, в войну продающих евреям под видом цианистого калия аспирин; через четыре дня из всего этого получился сюжет об отряде израильских солдат, застрявших посреди минного поля, а затем — история о хорошем немце, который приехал в Израиль, чтобы искупить вину своих родителей; в конце концов, после нескольких мелких поправок получилась история о девушке, которая забеременела и, покинув кибуц, пошла на панель.

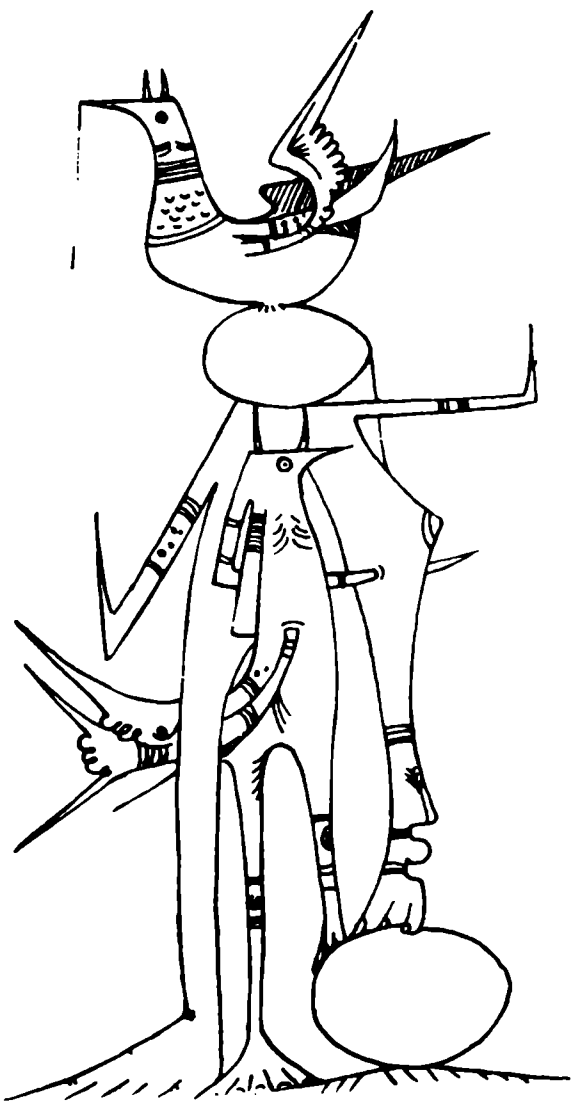
Порой, когда заходила речь о деньгах — а мне об этом щекотливом предмете лишнего знать не полагалось,— президент с вице-президентом запирались в сортире и там подсчитывали будущие доходы; закончив обсуждение, они возвращались в зал. Несколько лет спустя я поехал в Лондон по приглашению одного из самых известных в мире режиссеров, который решил стать еще и продюсером; в какой-то момент, извинившись передо мной, он вместе со своим финансовым советником удалился в сортир, где они беседовали ровно полчаса; и в данном случае мне не следовало знать слишком много. Жаль, что хороший фильм всегда получается случайно, а не в результате работы ума и воображения. В Мадриде мне пришлось сидеть в одной комнате с режиссером, его

секретаршей и коммерческим директором; еще там постоянно торчали два агента, представлявшие интересы своих клиентов — голливудских актеров. Если, предположим, мы обсуждали какую-то сцену с участием актера Икс, в разговор немедленно встревал агент Игрека и выражал протест: мол, сцена чересчур длинна и публика начнет интересоваться актером Икс больше, чем актером Игрек. Режиссер приходил в бешенство, но он зависел от десятка дураков, пекущихся об интересах актеров, продюсера, банка и так далее. Не могу сказать, откуда берутся хорошие фильмы; и не знаю, есть ли человек, который способен это объяснить.

Сидя однажды в плавках в гостинице «Виктория» и ведя светскую беседу с другими жуликами, я увидел, что в вестибюль входит моя бывшая жена, с которой я во гневе порвал два года назад. Я только-только кончил бриться и держал в руке бритву и дырявую салфетку — свои туалетные принадлежности. Чтобы поздороваться с любимой женщиной, я положил их на стол и шагнул к ней навстречу, но тут же, поняв, какую ужасную совершил оплошность, обернулся; бритва и рваная тряпка исчезли. Кто-то, воспользовавшись тем, что я на мгновение отдался страстям, слямзил и то и другое. У меня осталась только жена; посмотрев на нее и будучи по натуре романтиком, я произвел беглый анализ своих чувств и, убедившись, что абсолютно ничего не имею против западногерманской валюты, решил жениться на Соне вторично.

Так я уехал из Израиля и перестал думать о комми. Появились заботы поважнее: немецкая оккупация, закончившаяся для всех много лет назад, для меня началась снова.

1966



СУММА ПРОПИСЬЮ, ИЛИ НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ

За вероятную связь с принцессой крови он был услан на каменистый остров, где редкие полудикари пасли тощих коз, а из благ цивилизации еще не было ничего, кроме неумелого сыра. После грустных прогулок он брался за письменные принадлежности, с которыми, впрочем, почти не расставался, и составлял утешительное письмо матери, изнурявшей себя в дальней метрополии хлопотами о судьбе сына.

«Нет в мире никакого изгнания, ибо ничто из сущего в мире не чуждо человеку. Где бы ни возвел ты взор от земли к небесам, все божественное одинаково отстоит от всего человеческого. И пока глаза мои не лишатся этого зрелища, которым не могут насытиться, пока я вижу солнце и луну, пока я могу наблюдать прочие светила, их восхождение и закат, их периоды, изучать причины быстроты и медленности их движения, созерцать звезды, без числа мерцающие в ночи, иные неподвижные, иные кружащие, не ступая на великий путь, в отведенном пространстве, иные внезапно возникающие, иные слепящие взор огненными выбросами, словно в падении, или пролетающие с долгим световым следом — пока я могу оставаться с ними и общаться, насколько позволено человеку, с небесными созданиями, пока я в силах всегда направлять мой разум к высшим и родным мне предметам — не все ли равно, что за землю попирают подошвы?»

Звезды и другие светила были лучшим из возможных утешений, да и вообще единственным, потому что больше с острова разглядеть было нечего. Но звездам отпущено больше времени, а собственное протекало без возврата. И когда напускное мужество изменяло, приходилось слюняво льстить вельможевольноотпущеннику, сострадать его семейным невзгодам, потакать его литературному баловству, чтобы обратить в свою сторону медленную милость престола. Так томился на Корсике Сенека-младший.

Уроженец Кордовы, он к тому же, по причине чахотки, часть юности провел в целительном Египте, где как раз родственник служил наместником. В Рим, на громкие площади его гнал не зов крови, а слава и власть. Ведь ни чахотка, ни вековая мудрость не помешали приударить за принцессой, будто попроще девушек не было, с которыми весь риск — строго медицинский. Впрочем, это, может быть, только наветы.

Но даже при всех слабостях — а он был еще вполне молод и победил болезнь дисциплиной и диетой — как винить в центростремительном мире сдвинутого на обод, если сердце осталось в ступице, где смыкаются все спицы дорог, и светила ума в силах брезговать роскошью, лишь утопая в ней? Разве сложить шедевр, когда в слюдяные бельма острова хлещет неодушевленный ветер? Легче дышать на безвоздушной вершине.

Без малого двадцать столетий спустя я постановил лишить себя воды и огня самовольно, не дожидаясь немилости кесаря. Кесарь оказался тогда крепко занят, ему было не до меня; закусив осетриной в высоком кремлевском тереме, он шевелил перед зеркалом кудрявыми бровями и обмирал от восхищения: «Бач, який хлопчик гарненький вийшов!» У меня зеркала не было, не было и терема его поставить. Я сидел в прогретом террариуме у Киевского вокзала, где мы с Саней Сопровским [1] распорядились по шестой кружке, и чтобы столкнуть с тормозов беседу, он выбрал мне профессию: «А тебе пойдет быть эмигрантским поэтом». Я согласился, потому что попасть в отечественные уже промахнулся, и даже карьера козопаса вскоре бесславно оборвалась по недостатку бдительности. Через какой-нибудь год я стоял на мосту над Тибром и разевал рот на бесчисленные дива, сослав себя именно туда, откуда накануне выставили Сенеку. «Смотри-ка,— рассуждал я на языке моего северного народа,— и чего же мы так кичились своей Корсикой?»

Здесь стоит прибегнуть к вставной объяснительной записке и разобраться в жанре. Мы давно утратили веру в отражение жизни, и хотя Шекспир именовал поэзию зеркалом, оно — всегда и неизбежно кривое. Автор художественной пьесы сам задает себе степень кривизны, но мемуарист, если не вовсе циник, подвержен самообману и теряет контроль, полагаясь на свою объективность: параболы не выпрямить, потому что ни у кого не осталось шаблона. Есть выход принять меры и прозрачно переименовать персонажи, чтобы не впасть в недоразумение, чтобы оригиналу не взбрело опознать себя в зеркале — например, переставить первые буквы имен (Биосиф Родский, Ледуард Имонов, Багрич Вахчанян — как быть с Сашей Соколовым?) или обозначить всех алгебраическими неизвестными. А проще оставить все как

[1] Александр Сопровский (1953—1990) — русский поэт, один из основателей группы «Московское время».

есть, просто признаться в пристрастии. Нижеописанное произошло в одном из отражений.

Я стоял на мосту, не находя соответствий, как горилла из зоопарка, видевшая джунгли только по телевизору (это уже из будущего; где я жил раньше, гориллам телевизоров не полагалось), перекатывая во рту слова из оперного обихода — San-Pietro-in-Vincoli, Isola Tiberina, почему-то Clemenza di Tito,— но остолбеневшее зеркало не узнавало, ему грезились жаркие джунгли бровей до горизонта; да и в том же телевизоре, осчастливь ее общественность, краснопресненская горилла видела бы чаще другое: четыре ноги, два уха, посередине кесарь. Впрочем, вру — были еще кинопутешествия.

Отъезд разражался гибелью, потому что любимые лица провожающих не предстояло больше увидеть. У Лема на одной из юмористических планет жители, одержимые бесом метафизики, торопились лишить себя жизни, чтобы скорее глянуть в лицо последней тайне. Я был из такого племени самоубийц.

Я очнулся в электричке от Мальяны: напротив женщина в вытертом драпе, молодая и тусклая, громоздила на скамью ребенка. В суматохе упала на пол шапка, но ее подхватил усатый пассажир через проход и вернул потерпевшему. Мальчик, лет четырех, молча нахлобучил убор и пожелал остаться неизвестным. «Dis merci à monsieur!» — сказала мать, оказавшись француженкой, но мальчик молчал. «Dis merci à monsieur!» — повторила женщина накануне истерики, вся в красных пятнах.

Эта беда, для которой недоставало лексикона, озадачивала. Я мысленно приводил в пример себя: в милосердном пальтеце от Толстовского фонда, с обширным вегетарианским ужином в желудке; в кармане ликовала часовая выручка римского побирушки, эквивалентная десятку литров вина, чтобы вечером обсудить сущее с соизгнанниками в Остии. Нищета, ряженная во все зарубежное, не убеждала, как сытая сказка Горького. Сам я из советского сохранил одни пегие носки. Я сострадал, но лишь воображаемо, словно персонажу произведения. У нас были слишком разные точки отсчета, и только мальчик в грязном колпачке, не внимающий французским укорам, перетягивал противоположную чашу.

Год спустя, по ту сторону Атлантики — «пруда», как ее именуют англо-саксы,— моя мимолетная черствость была отомщена поздним стыдом, я разгадал отраву, пролитую в меня саблезубыми комсомольцами. Наслышанный с младенчества о мнимых страданиях иностранцев, я не поверил подлинным, и человеческое во мне было изувечено даже протестом, потому что в поединке с мраком свет всегда убывает, независимо от исхода. Просить ли теперь прощения у женщины, которая почти не существует, которая, может быть, с облегчением увидела во мне худшего нищего, чем сама? К счастью, это уже почти не моя память, археология личности.

Но глубже и опасней, потому что, задрапированный под высшую праведность, залегал иной пласт обмана, ибо Саня снарядил меня в путь миссионером и эмиссаром, а это автоматически возвысило над социальной обочиной. Там, откуда я задал стрекача, таланту причитались отличия: белая чесучовая пара, встречи с общественностью за счет последней, стакан без очереди в членской автопоилке. Причиталась слава: один, вечный вестовой, вставляет в каждый разговор, что ему чеканили выправку оба нобелевских фельдмаршала; другой, слепец от собственного блеска, в последнем писчем спазме лепит сюжет, как на фоне событий его узнавали в лицо решительно все, а если не сразу, то лишь со скверным умыслом. Уповал ли я вознестись кем-то из этих столпов — или, чему уже был прецедент, освоив гетский, прослезить варваров дивной одой кесарю? Чтобы меня, вопреки прецеденту, силком облачали в творческую чесучу, пригибали к государственному стакану, силком селили в Переделкине, Малеевке, Коктебеле?

Всем отлученным причиталась ностальгия. Ее следовало вплетать терновой ветвью в подобающий изгнаннику скорбный венец.

Но откуда расцвела в русском сердце эта лоза благородной боли, тоска по невозвратным МТС и пасхальным субботникам, по ночному лепету над ржавой сельдью в окурках, по серым железнодорожным пространствам с центробежной козой и «славой КПСС», выложенной из белых камешков станционным смотрителем? Прошлому веку такое было невдомек: Пушкин тосковал преимущественно по заграннце; Гоголь и Герцен, Тургенев и Достоевский жили вдали от нежных нив без всяких угрызений, а Щедрин возвращался на родину с несомненной гадливостью. Европа, да и не она одна, сплошь испещрена могилами русских, легко улегшихся в комфортабельную чужую землю, с ее горячей водой и теплыми клозетами. Мне возражают: негоже менять жемчужины духа на нужник. Но зачем возводить это в альтернативу, спрошу я?

Ностальгия стала паролем с двадцатых, когда миллионная толпа, почти безъязыкая, была вытолкнута в Европу и Азию продолжать перевернутую жизнь. Но толпа не роптала, она приноровилась ходить на службу, растить потомство новому народу и обучать тридевятое царство технологии борща и бублика. Тоску по родине она поручила специалистам, но и у тех мнения разделились. «Мы не в изгнании, мы — в посланнии»,— так определила свою миссию одна из школ. Куда именно мы были посланы, впоследствии уточнил современный миссионер из Коннектикута — более удаленного адреса русский язык не знает. И если, несмотря на категоричность напутствия, некоторые дерзали возвращаться, их мотивы были обычно далеки от возвышенных: из судеб Цветаевой и А. Н. Толстого общего урока не извлечь.

Оппоненты козыряют с Куприна и Бальмонта, но кому страшно? Перо Бальмонта на чужбине высохло, а стакан — напротив, но неужто всерьез печалиться о его ненаписанном, лишнем килограмме, который он добавил бы к прежним десяти? Глядишь — и Россия не обезлесела.

Слово «ностальгия» — тоска по дому и детству — переобмундировали в ателье кесаря и вернули речи в неудобном к употреблению виде; блоха, подкованная русским мастером, больше не скачет. У поляков перелицованное значение возможно, потому что один видный поэт выбросился из небоскреба от любви к родине, но никого из наших на этой траектории не помню. Впрочем, незачем вступать в полемику с привидениями, мне-то от них чесучи не причиталось. Я сижу проглотив язык напротив француженки с нищим ребенком, предком будущих нищих, и на лбу высыхают крупные жемчужины духа.

Назад, к Сенеке и Овидию, о ком несомненно и речь. В их латыни не было понятия «заграница»; граница была пределом всего мыслимого, и сослать человека в Шотландию или Германию кесарю на ум не взбредало, как и у нас до поры не ссылают на Луну. Корсика и Фракия были медвежьими углами империи, эквивалентом Сибири. Неизвестно, что рапортовал бы философ матери, окажись он в Нью-Йорке или Чикаго.

На автовокзале в Чикаго, в подземелье дневного света, меня высмотрел и подозвал мохнатый бродяга, житель этого улья с бакалейными кошелками до земли, полными имущества. Что-то расположило его ко мне — может быть, мое неприкаянное корсиканство, ампутация адреса, наглядная другому калеке; так непринужденно сходятся горбуны в толпе неотмеченных позвоночных. Этот странник приобрел в станционной рыгаловке два бумажных кофе и, сдабривая его из извлеченной фляжки, потребовал фактов. Может быть, его астральным образом подослал Саня — теперь уж не спросить. Мгновенно, как жрецу неожиданной религии, я излил ему свою судьбу изгнанника муз. Странник вкратце обдумал исповедь, воздел перед моим носом хлебнувший горя палец и прорек: «Пройдет десять лет, и о тебе услышит вся Россия. Ты станешь там большим человеком. И тогда припомни, что предсказала тебе чикагская мартышка». Так, видимо, именовали в Чикаго людей этого рода занятий. Я оцепенел, глядя в приотворенное будущее. С подземных сводов низвергались каскады электричества.

Миновало десять лет, а теперь уже и все пятнадцать. Вправе ли я повторить за любимым героем: «Россия меня знает»? И что мне именовать Россией? Мысль, что жизнь не просто проходит, а сбывается, освещает душу ярче электричества, но предсказывать, как уже замечали, трудно, особенно будущее.

Я пишу эти строки в номере безымянного мотеля в предместье Милуоки, куда угодил, продвигаясь инкогнито (Америка меня знает) из пункта А в пункт В. Город строили немецкие колонисты, внедряя излюбленную отрасль индустрии, которая дала имя и бейсбольной команде: «Пивовары». Но хозяйка караван-сарая — сербка; разглядев мюнхенский адрес, она сказала: «Фамилия-то — русская». «Правильно,— без заминки ответил гость.— Я — американец». Пошарив в телевизоре, гость наткнулся на сербскую программу — нечленораздельно знакомая речь, титры кириллицей — вот и разгадка всему поселку. Эти люди в благополучных коттеджах, со стриженными лужайками в фейерверках рододендронов, с баскетбольными корзинами на коньках гаражей, что думают они о массовом забое человеческого скота на бывшей, в обоих смыслах, родине? Что им именовать Россией?

На экране — кровь. Враг, безразлично чей, говорит на твоем языке, слово в слово.

Тогда, после сеанса с прорицателем, я поселился в бассейне Великих Озер и посвятил себя славянской филологии. Полушария рассудка поменялись местами: прежняя жизнь стала объектом науки, села на булавку, нырнула в формалин, легла на стекло микроскопа, а ее вакансию заняла другая, бывшая раньше лабораторным скелетом, но теперь обросшая молочной плотью, сквозь которую лишь рентгеновский глаз специалиста различал вчерашние кости. Посланцу дорогомиловской стекляшки пошло́ быть эмигрантским поэтом, и он увлекся. Нет, я ничего не забыл — напротив, я тем ожесточеннее рылся в памяти, что она была уже как бы не моя; так, может быть, недоуменно встречается пожилая змея со сброшенной юношеской шкурой. Пробуждаясь мичиганской ночью ото сна, в котором сновали персонажи навсегда запечатленных событий, я растерянно вслушивался в их речь: все до единого, вплоть до коменданта общежития и очереди за квасом, теперь говорили по-английски. Речь, стекая с языка, становится фантомной биографией; я проецировал в опустевшее прошлое новое детство, рождественские радости в каминном чулке, гулкий сумрак церкви с протестантскими гимнами, придорожную торговлю детским лимонадом, черно-белые телеидиллии пятидесятых, выстрел в Президента, школьный бал с выборами королевы, еще выстрелы, каноническое «прощай» невинности на заднем сиденье «паккарда», а не на лавочке ночного детсада или в парадной, смотря по сезону, как принято у них. Что еще? Душная пойма Меконга, джунгли в зареве напалма.

Распечатав очередное письмо Сани, я прочитал в нем отречение: он прочил меня в эмиссары, а не в колонисты. Going native — профессиональный недуг миссионера, непереводимая идиома; приблизительный эквивалент — «отуземливание».

Оксфордский лексикон английского языка насчитывает свыше пятисот тысяч слов. Самый полный русский — в неско-

лько раз меньше. Пропорция неверна: канцелярия кесаря работала исключительно в жанре указа, и словарь был одним из них, он не собирал, а предписывал. Как бы то ни было, образцы непереводимых терминов хрестоматийны, и за словом в карман чаще приходится лезть славянам. Пора сквитаться: вот два никем не запатентованных примера, которых в английском не на что разменять,— «родина» и «народ». Для первого есть неуклюжие приближения, fatherland или motherland, которых никто в здравом уме и вкусе не употребляет, а расхожее homeland лишено всех строевых и слезоточивых качеств, излюбленных Гитлером и гражданственной «Родной речью», оно применимо даже к бабочке или опоссуму. Слово people, хлипкий перевод «народа», фактически значит просто «люди». Нет никакой возможности втемяшить американцу разницу между «русскими людьми» и «русским народом», равно как и то, что некоторые из первых страшно далеки от второго и не вправе претендовать на членство в нем. Из американского народа (бредовый гибрид) может выйти каждый, но никто не вправе исключить третье лицо.

Из окна сербского мотеля на окраине немецкого города в штате Висконсин я бестрепетно гляжу в наставленные стволы, сознаваясь, что это бессилие английского мне еще милее, чем его достоинства и богатства. В грустном мире границ и наций я встречал сотни удивительных людей, и многие уснащали речь звуками «ы» и «щ», непосильными чужой фонетике. Но народ я видел лишь однажды, ребенком на первомайской демонстрации, и мы не понравились друг другу, а родина навсегда останется свирепой мордой лагерной надзирательницы с плаката — она звала, но я заткнул уши и вышел вон. Я не пыжусь от ее достижений, довольствуясь скромными собственными, а история, будь она автобиографией, мобилизует на визит в чулан с веревкой и мылом. Мне твердили, что Москва — третий Рим, а первому — не бывать; но я проехал от Остийской гавани к пирамиде Цестии и убедился в обратном. Спросите Рим: хочет ли он быть второй Москвой?

Английский писатель однажды высказался в том смысле, что если бы перед ним встал выбор, предать друзей или изменить родине (в оригинале «стране»), он просил бы у Бога сил сохранить верность друзьям. Нет ничего проще. Но друг не одобрил выбора, он письменно отчитал меня из прошлого полушария, и я остался один. Вокруг жили и умирали люди, но с народом «Родной речи» пришла пора расстаться: уходя — уходи.

Рухнул кесарь, зеркало раскололось. История интригует неутомимой способностью повторяться. Временщики тщились склеить непослушное стекло, но запасы клея иссякли, и тогда новый недолговечный династ плюнул, растворил темницы и вернул изгнанных из Фракии. Clemenza di Tito.

Не поручусь за бабочек и опоссумов, но я воспользовался слабостью власти и посетил прежний ареал своего распространения. Там я обнял дорогие призраки, плоть полуночных воспоминаний, и мы объяснились не по-английски, а со всеми подобающими «ы» и «щ», и если прибегали к лексике, не предусмотренной иностранными словарями, то это были скорее энергичные русские глаголы, чем что-то другое. Самоубийство не состоялось — надо ли уточнять, что к счастью? И все же, отводя глаза от ненаглядных лиц, я не находил им поживы узнавания, я оказался в ином мире, не хуже и не лучше других, но ни в одном из прежних. Был дом, но его закатали под рыночную площадь. Была река, но в нее не ступить дважды. Там, за пьяным столом внезапного свидания, мне открылся секрет ностальгии; пространство, как и время, имеет свойство исчезать, когда его покидаешь. Возвращаться «туда» — так же бессмысленно, как возвращаться «тогда». Уходя — уходи.

Но я не поверил и предпринял еще одну попытку, в обратном направлении. На трудолюбивом прокатном «додже» я одолел пенсильванские холмы и бритые равнины Огайо, промчался под транспарантом «Да! Мичиган! Добро пожаловать!» и выкатился на Уоштено, дал крюка на Норт-Энн, где протекало фиктивное рождественское детство, на Северную Пятую с негритянской церковью, которую сотрясало воскресным хоралом, повернул на Стейт-стрит и уплатил подать автомату на чудом свободной получасовой уличной стоянке. С башни университета сыпалась серебряная пыль курантов, но это было последнее из узнаваемого. Неведомо куда смело былых букинистов, непритязательный «Сад Вакха» с греческими разносолами и кислым красным, кафе, где нашу компанию с Северной Пятой оглушал металлом Митч Райдер; на местном психодроме Дайаг уже не слонялся с губной гармоникой хитрый негр Шейки Джейк. Город стал ярче и товарнее, но мое прошлое вычеркнули, гостя оставили стоять на чужбине с распростертыми для отмененных объятий руками.

Взгляд споткнулся о вывеску книжного магазина «Бордерс», где осело немало скудных долларов, и меня потянуло магнитом. На развале у входа я порылся в уцененных остатках — обычные сто рецептов вегетарианских сандвичей, исповедь очередного йога, сборник комиксов «Графство Блум» о приключениях пингвина Опуса и кота Билла с предисловием Михаила Горбачева...

??

Я отворил обложку, и со страницы ласково и строго, как из рамки утреннего трюмо, глянул портрет милосердного Тита, объяснившего на бойком английском свое отношение к пингвину и коту — положительное, потому что уплачено, и где-то против суммы прописью навсегда стоит некогда высочайший автограф. Вспомнилось, что Диоклетиан на старости лет удалился возделывать капусту, но нигде не указано, что он возил ее на рынок. Труден поздний динарий кесаря.

Фыркнул мотор, и я покинул город, где так и не сумел побывать.

Все случается только однажды и никогда больше. Нетерпеливый философ прибывает с Корсики не в курию или на форум, а в малярийные болота, где уцелевший житель растаскивает камни Септы на обустройство свинарника. Камилл возвращается вести войско на Вейи — и с изумлением пялится на гротескный мемориал Виктора-Эммануила, мраморное подобие «ундервуда».

Рим — это первый Рим, а второму — не бывать.

Кто вернется за нас, не нашедщих двери, которая, кажется, еще минуту назад была здесь, но теперь — глухая стена? Пока мы тыкались в углы, стемнело, и этих потемок не растворить даже вечным светилам Сенеки. Нас еще пытаются дозваться, но мы не возьмем в толк откуда, а те, зовущие, сослепу принимают нас за кого-то другого. Моссовет возводит палаты пришельцу из прошлого, воздает честь кирпичом и дранкой; хорошо ли будет ему в стране, которой никогда не было? Не стану спрашивать, чьи у Моссовета деньги — гражданам, видимо, не нужно, уделили от избытка.

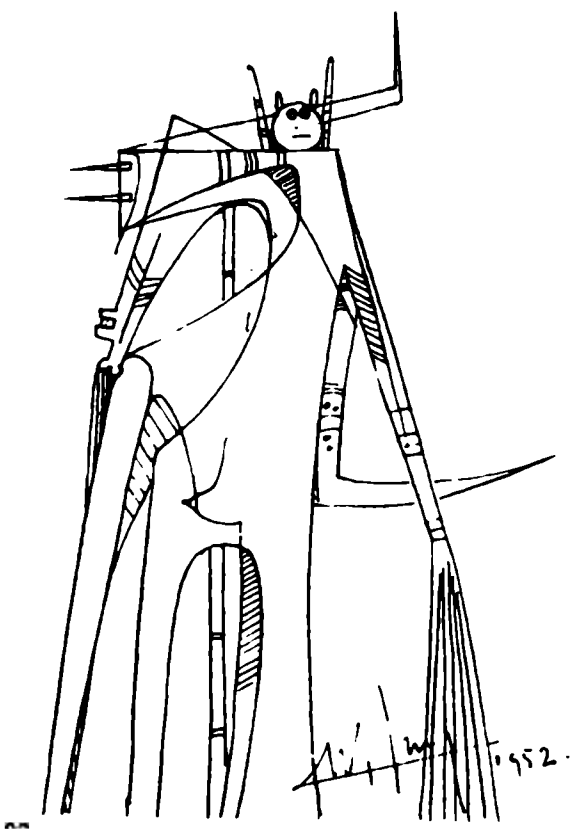
Я стою у зеркала в странноприимном заведении бывшей сербки, посреди бывшей прерии, одетой в бетонную и стальную поросль, под трассирующими огнями ледяных звезд. Отражение кончилось, но с той стороны стекла все еще беззвучно вопрошают, и я угадываю по губам, которые метр назад были моими собственными: Россия? родина (в оригинале homeland)?

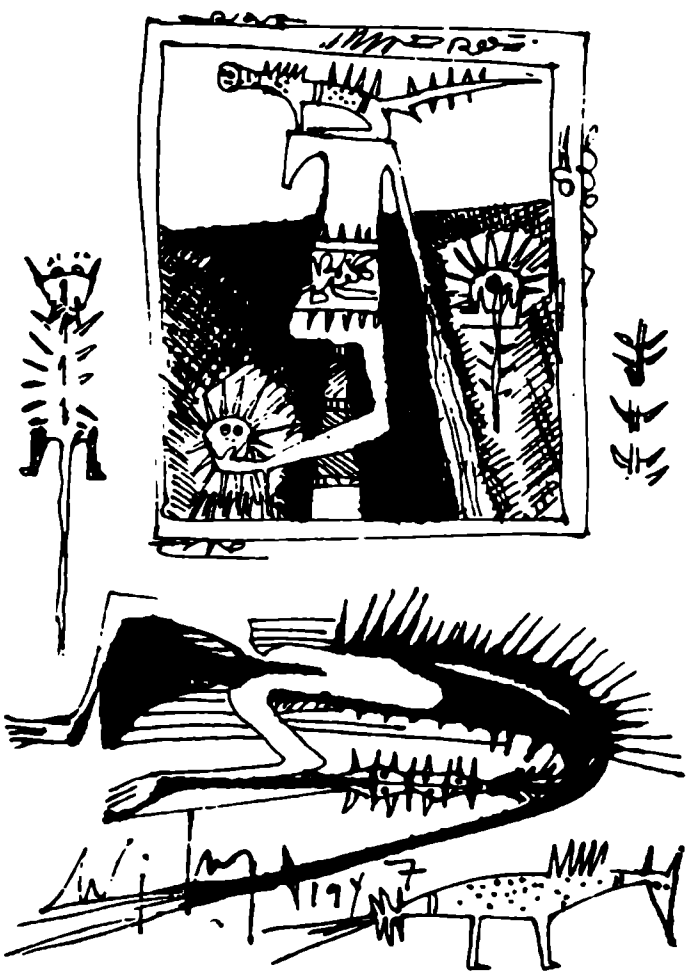
И я отвечаю утвердительно. Может быть, память уже не та, что была перед дорогой, ее занесло пылью и прелой листвой, но она проснется, а пока есть свидетельства очевидцев, запечатленные пером, залог возвращения, и надо вчитываться, чтобы когда-нибудь совпало:

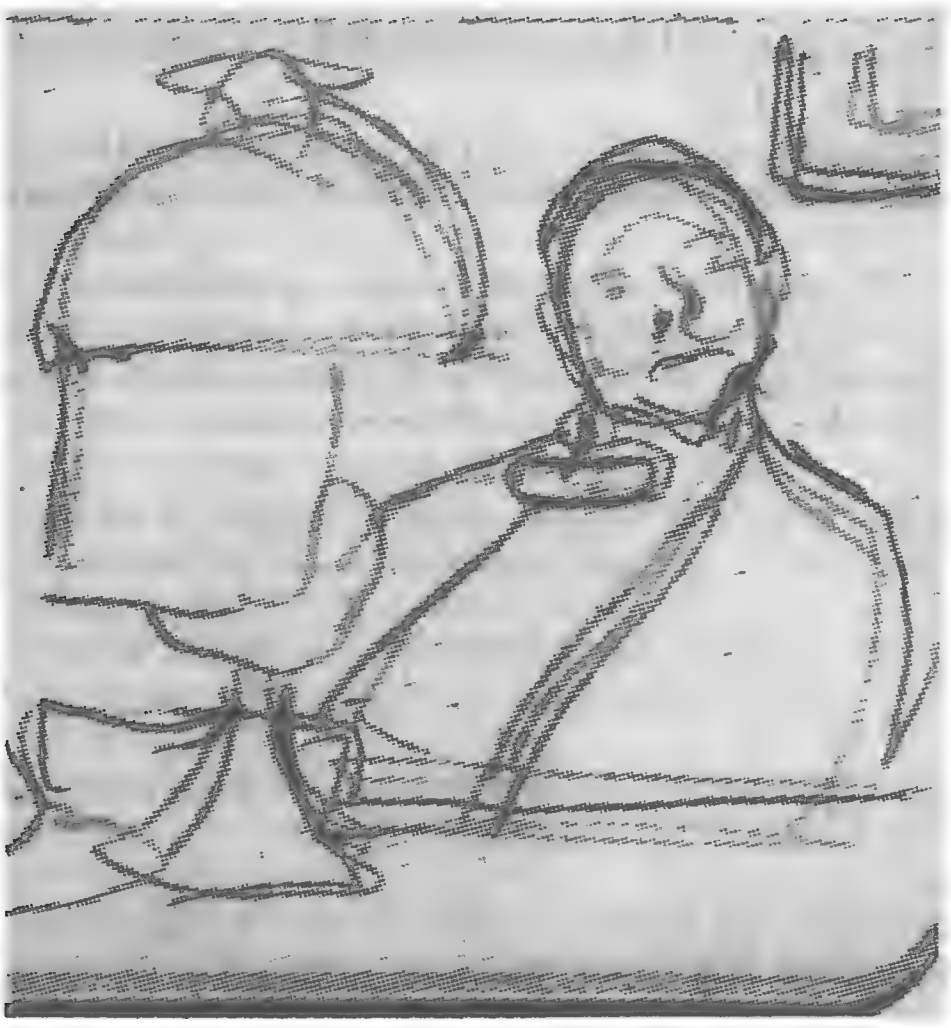
«Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта... Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу... А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло... Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов».

Там, у жемчужных ворот, я сложу наземь свой американский паспорт, мичиганский диплом, чесучу переделкинской кройки и лавровый чепец Моссовета. И не будет ночи, и в свете вечного дня я обниму моих соотечественников: нищенку в слезах из римской электрички, говорливого оборванца из чикагских катакомб и остальных любимых, с кем не успел свидеться,— они уже собрались, весь мой народ, из Вуковара, Сребреницы и Горадже. Мы примемся говорить и не наговоримся, но времени хватит, потому что день никогда не кончится. А затем, вместе с опередившим Саней, который понял и простил, пройдем, узнавая, по знакомой улице — из чистого золота, подобной прозрачному стеклу.

И не будет ночи.







К нашим иллюстрациям

НАШ СООТЕЧЕСТВЕННИК — ХУДОЖНИК АЛЕКСЕЙ ФОН ЯВЛЕНСКИЙ

«Вот великолепный Явленский (невозможно представить, как он сюда попал)...»

Джон Фаулз. «Башня из черного дерева»

Алексей Георгиевич Явленский (фон Явленский, на немецкий лад) родился в 1864 году в Торжке. Живописи стал обучаться уже тридцатилетним, имея за плечами военное училище и чин поручика 2-го Кронштадтского батальона. Некоторое время занимался под руководством Ильи Репина в Академии художеств, откуда неоднократно исключался за непосещение занятий. Во время учебы познакомился с Марианной Владимировной Веревкиной (1860, Тула — 1938, Аскона), ученицей Репина и Прянишникова, с которой и отправился в Мюнхен учиться живописи в известной школе А. Ашбе.

Так закончилась «русская» жизнь Явленского и началась другая: немецкая, французская, швейцарская и опять немецкая — до самого конца в 1941 году в Висбадене, когда практически неподвижный от болезни художник упрямо продолжал оставлять на холсте густые масляные мазки, которые в картины — увы! — больше не складывались.

Вероятно, самыми счастливыми годами его жизни были первые четырнадцать лет нового века, безжалостно оборванные первой мировой войной. На этот период приходится тесная дружба с В. Кандинским, создание мюнхенской группы «Синий всадник», идеи которой легли в основу авангардного искусства XX века, и осознание себя как художника. «Я понял,— писал потом в «Воспоминаниях» Явленский,— что природа переводится на язык красок соответственно моей раскаленной душе... Я понял, что рисовать надо не то, что я вижу, а то, что чувствую». Но главное, что отличает эти годы от последующих,— романтическое ощущение художнической солидарности, *совместности* в полном соответствии с лозунгом «Художники всех стран, соединяйтесь!». И соединялись! В группу «Синий всадник» входили: В. Кандинский, А. Явленский, М. Веревкина, В. и Д. Бурлюки — русские, Ф. Марк, Г. Мюнтер, А. Макке, Г. Кампендонк, А. Шёнберг (художник и композитор) — немцы, П. Клее — швейцарец, Р. Делоне — француз, А. Кубин — австриец.

Сам Явленский был близок также с Анри Матиссом и другими французскими художниками, которые в отличие от мюнхенцев были меньшими теоретиками и больше делали руками, и посредником сновал из Мюнхена в Париж, живя в последнем чаще, чем на Гизелаштрассе. Вспоминая чудесные мюнхенские времена, В. Кандинский писал А. Явленскому в 1934 году: «Я многому научился тогда от Вас и буду Вам за это всегда глубоко благодарен».

Какой же стране принадлежал художник Явленский? России? Германии? Франции? Явление он французского фовизма? Или немецкого экспрессионизма? Но разве об этом думаешь, разглядывая «Портрет танцора Александра Сахарова» (1909), выполненный в один присест, когда молодой артист уже в костюме и гриме заглянул перед выступлением к художнику. Боясь переделок, Сахаров прихватил с собой еще влажный от невысохших красок картон. А сегодня стараниями Габриелы Мюнтер, жены и сподвижницы В. Кандинского, этот портрет украшает самое причудливое здание Мюнхена, виллу Франца фон Ленбаха, где расположена Государственная картинная галерея — мекка для почитателей европейского авангарда начала века.

Картины Алексея Явленского разбрелись по миру, одна есть и в Эрмитаже. В тени большой композиции В. Кандинского висит маленький пейзаж без названия. И вслед за автором эпиграфа почему-то хочется воскликнуть: «Невозможно представить, как он сюда попал».

Н. КАЗАРЦЕВА

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
за 1993 год (№ 1—12)

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Акройд Питер — Завещание Оскара Уайльда (Роман. Перевод с английского Л. Мотылева. Вступление А. Зверева), № 11.

Алле Альфонс — Миниатюры (Перевод с французского Н. Бунтман), № 10.

Апдайк Джон — Два рассказа (Перевод с английского И. Бернштейн), № 5.

Бернанос Жорж — Диалоги кармелиток (Пьеса. Перевод с французского Юлии Гинзбург), № 10.

Блазкович Марлиз — Саунщик (Рассказ. Перевод с немецкого Г. Косарик), № 11.

Бланшо Морис — При смерти (Повесть. Перевод с французского И. Стаф. Послесловие С. Зенкина), № 10.

Бодор Адам — Музей природных редкостей, округ Синистра (Рассказ. Перевод с венгерского и вступление В. Середы), № 9.

Брисвиль Жан-Клод — Ужин (Пьеса. Перевод с французского Ирины Кузнецовой. Вступление Андрея Смирнова), № 5.

Бродский Иосиф — «Шум прибоя» (Эссе), № 3.

Гари Ромен — Обещание на рассвете (Роман. Перевод с французского Е. Погожевой), № 2.

Грюн Макс фон дер — Юность во Франконии (Мемуары. Перевод с немецкого Г. Косарик), № 11.

Дак Пьер — Объявления из газеты «Мозговая кость» (Перевод с французского Н. Бунтман), № 10.

Джабвала Рут Правер — Я — в Индии (Эссе. Перевод с английского И. Тогоевой). Курс английского (Рассказ. Перевод с английского Инны Бернштейн), № 9.

Джеймс Монтегю Родс — Рассказы (Перевод с английского Г. Дуткиной, И. Бессмертной. Вступление В. Скороденко), № 1.

Елинек Эльфрида — Излишество — не роскошь (Пьеса. Перевод с немецкого Г. Косарик), № 11.

Жене Жан — Дневник вора (Перевод с французского Нонны Паниной), № 1.

Зандер Хельке — Три дамы К. рассказывают истории (Фрагменты книги. Перевод с немецкого Л. Бухова), № 3.

Зингер Исаак Башевис — Поклонница (Рассказ. Перевод с английского Дмитрия Веденяпина), № 12.

Зоммер Харальд — Из жизни трудящихся (Рассказ. Перевод с немецкого Г. Косарик), № 11.

Иммергут Дебра — Счастливый номер (Рассказ. Перевод с английского Инны Стам), № 9.

Камю Альбер — Ренегат, или Смятенный дух (Рассказ. Перевод с французского И. Радченко), № 3.

Капоте Трумэн — Другие голоса, другие комнаты (Роман. Перевод с английского В. Голышева), № 12.

Капусцинский Рышард — Лапидарий (Фрагменты книги. Перевод с польского и вступление К. Старосельской), № 4.

Клима Иван — Рассказы (Перевод с чешского и вступление Нины Шульгиной), № 4.

Колетт — Больной ребенок (Рассказ. Перевод с французского Н. Шаховской), № 10.

Конколевский Кшиштоф — Рассказы (Перевод с польского Н. Вертячих и Л. Бухова), № 6.

Кортасар Хулио — Рассказы (Перевод с испанского И. Глущенко), № 3.

Лотреамон — Из «Песен Мальдорора» (Перевод с французского Н. Мавлевич), № 1.

Маккензи Эрл — Рассказы (Перевод с английского Ирины Тогоевой), № 7.

Маруяма Кэндзи — Плач по луне (Рассказ. Перевод с японского Г. Чхартишвили), № 5.

Мейсон Бобби Энн — Там и здесь. (Роман. Перевод с английского М. Д. Литвиновой и М. А. Литвиновой. Послесловие Л. Лазарева), № 2, 3.

Мерль Робер — Мадрапур (Роман. Перевод с французского Мориса Ваксмахера), № 6.

Мураками Харуки — Авария на Нью-Йоркской шахте (Рассказ. Перевод с японского Л. Громковской), № 5.

Набоков Владимир — Второй режиссер (Рассказ. Перевод с английского И. Бернштейн. Послесловие Б. Носика), № 12.

Накагами Кэндзи — Поклон издалека (Рассказ. Перевод с японского Т. Соколовой-Делюсиной), № 5.

Огино Анна — Водяной мешок (Рассказ. Перевод с японского Г. Чхартишвили), № 5.

Певни Вильгельм, Туррини Петер — Счастливые времена (Киноновелла. Перевод с немецкого Г. Косарик), № 11.

Розендорфер Герберт — Письма в Древний Китай (Роман. Перевод с немецкого и послесловие Евгения Колесова), № 1.

Сарразен Альбертина — Перелом (Роман. Перевод с французского Н. Мавлевич), № 10, 11.

Симада Масахико — Дельфин в пустыне (Рассказ. Перевод с японского Т. Соколовой-Делюсиной), № 5.

Турнье Мишель — Жиль и Жанна (Повесть. Перевод с французского Елены Морозовой), № 10.
Туррини Петер — *см.* Певни Вильгельм, № 11.
Уайльд Оскар — Письма разных лет (Перевод с английского В. Воронина и Л. Мотылева. Составление А. Образцовой и Ю. Фридштейна. Комментарии Ю. Фридштейна), № 11.
Уолкотт Дерек — День поминовения (Пьеса. Перевод с английского Андрея Сергеева), № 3.
Уэлдон Фэй — Лишний! или Месть жены (Рассказ. Перевод с английского В. Воронина), № 3.
Фаулз Джон — Волхв (Роман. Перевод с английского Бориса Кузьминского. Послесловие автора), № 7—9.
Фицджеральд Ф. Скотт — Вечер на ярмарке (Рассказ. Перевод с английского И. Багрова. Вступление А. Зверева), № 1.
Фукс Ладислав — Крематор (Повесть. Перевод с чешского И. Безруковой), № 8.
Хаксли Олдос — Через много лет (Роман. Перевод с английского, вступление и комментарии В. Бабкова), № 4.
Хениш Петер — Лааербергский охотник (Отрывок из повести. Перевод с немецкого Г. Косарик), № 11.
Цань Сюэ — Рассказы (Перевод с китайского и вступление С. Торопцева), № 8.

СТИХИ

Андрич Бранко — Все что нам нужно (Стихи. Перевод с немецкого Г. Косарик), № 11.
Баранчак Станислав — *см.* Поэты «новой волны», № 3.
Бенн Готфрид — Лирика (Перевод с немецкого и вступление А. Карельского), № 1.
Бонди Эгон — *см.* Три поэта самиздата, № 7.
Бош Манфред — Соединенные штаты агрессии (Перевод с немецкого Г. Косарик), № 11.
Верниш Иван — *см.* Три поэта самиздата, № 7.
Гильвик — Стихи из книг, вышедших в 1987—1993 годах (Перевод с французского Мориса Ваксмахера), № 10.
Гомрингер Ойген — *см.* Конкретные стихи, № 4.
Дас Камала — Стихи (Перевод с английского А. Шараповой), № 9.
Джэггер Мик и Ричард Кийт — Тексты песен группы «Роллинг стоунз» (Перевод с английского Г. Агафонова. Вступление В. Скороденко), № 5.
Джонг Эрика — Стихи (Перевод с английского А. Шараповой), № 3.
Загаевский Адам — *см.* Поэты «новой волны», № 3.
Из классической индийской лирики (Перевод с английского Г. Агафонова), № 9.
Конкретные стихи (Перевод с немецкого и вступление Г. Сапгира), № 4.
Корнхаузер Юлиан — см. Поэты «новой волны», № 3.
Косталь Эрнст — Стихи (Перевод с немецкого Г. Косарик), № 11.
Кролов Карл — Стихи (Перевод с немецкого и вступление Сергея Морейно), № 8.
Крыницкий Рышард — *см.* Поэты «новой волны», № 3.
Кынчев Николай — Стихи (Перевод с болгарского А. Макарова-Кроткова и М. Тарасовой. Вступление Геннадия Айги), № 2.
Лехонь Ян — Стихи (Перевод с польского и вступление А. Гелескула), № 12.
Митиура Мотоко — *см.* Современная поэзия танка, № 5.
Мон Франц — *см.* Конкретные стихи, № 4.
Моррисон Джеймс Дуглас — Стихотворения (Перевод с английского М. Миронова, А. Кудрявицкого. Вступление Михаила Миронова), № 4.
Мэником Дэвид — Стихи (Перевод с английского А. Кудрявицкого, Беллы Ахмадулиной), № 6.
Пантучек Петер — Семейная идиллия (Стихи. Перевод с немецкого Г. Косарик), № 11.
Поэты «новой волны» (Перевод с польского Владимира Британишского. Составление и предисловие Виктора Ворошильского), № 3.
Раковски Жужа — Стихи (Перевод с венгерского Анны Гедымин), № 12.
Рюм Герхард — *см.* Конкретные стихи, № 4.
Рэмси Патрик — Стихи (Перевод с английского Александра Грибанова), № 7.
Свердруп Харалд — Стихи (Перевод с норвежского Л. Горлиной), № 1.
Сет Викрам — Золотые ворота (Роман в стихах. Фрагменты. Перевод с английского Г. Агафонова), № 9.
Современная поэзия танка (Перевод с японского и вступление Т. Соколовой-Делюсиной), № 5.
Тавара Мати — *см.* Современная поэзия танка, № 5.
Три поэта самиздата — (Перевод с чешского и вступление Г. Бушковой), № 7.
Ульрихс Тимм — *см.* Конкретные стихи, № 4.
Хартвиг Юлия — Стихотворения в прозе и верлибры (Перевод с польского Натальи Астафьевой. Вступление Владимира Британишского), № 9.
Хаяси Амари — *см.* Современная поэзия танка, № 5.
Шрут Павел — *см.* Три поэта самиздата, № 7.
Экелёф Гуннар — Из книги «Диван о князе Эмгиона» (Перевод со шведского и вступление Алексея Парина), № 6.

ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА

Гессе Герман — Демиан. История юности, написанная Эмилем Синклером (Перевод с немецкого и послесловие С. Апта). Письма к друзьям (Перевод с немецкого Г. Барышниковой), № 5.
Канетти Элиас — Другой процесс. Франц Кафка в письмах к Фелице (Повесть-эссе. Перевод с немецкого и послесловие М. Рудницкого), № 7.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Бастард Томас — *см.* Из английской поэзии XVI века, № 12.
Белли Джузеппе Джоакино — Сонеты (Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича), № 2.
Верлен Поль — Стихи (Перевод с французского и вступление А. Гелескула), № 10.
Говард Генри, граф Сарри — *см.* Из английской поэзии XVI века, № 12.
Дехлеви Хасан — Газели (Перевод с фарси Семена Липкина), № 3.

Донн Джон — *см.* Из английской поэзии XVI века, № 12.
Из английской поэзии XVI века (Перевод и вступление Григория Кружкова), № 12.
Леон Фрай Луис де — *см.* Поэзия испанских мистиков, № 11.
Поэзия испанских мистиков (Вступление А. Гелескула. Перевод А. Гелескула, Н. Ванханен, Б. Дубина), № 11.
св. Тереса Авильская — *см.* Поэзия испанских мистиков, № 11.
Уайетт Томас — *см.* Из английской поэзии XVI века, № 12.
Хуа Жуй — Из цикла «Сто дворцовых строф» (Перевод с китайского и вступление М. Басманова), № 1.
Хуан де ла Крус (Сан) — *см.* Поэзия испанских мистиков, № 11.
Шелли Перси Биши — К ***. Вглубь одного стихотворения (К 200-летию со дня рождения. Перевод с английского К. Бальмонта, Б. Пастернака, Вл. Корнилова, А. Спаль, А. Шараповой, А. Грибанова, С. Гандлевского, О. Денисовой. Вступление А. Гиривенко), № 1.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Грациа Эдвард де — Девушки оголяют колени везде и всюду. Закон о непристойности и подавление творческого гения (Главы из книги. Перевод с английского О. Алякринского), № 7, 11.
Ионеско Эжен — Белое и черное (Перевод с французского Ю. Стефанова), № 10.
Куросава Акира — Жабий жир (Нечто вроде автобиографии. Фрагменты. Перевод с японского Л. Ермаковой), № 5.
Мараи Шандор — Дневники (Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева), № 12.
Солсбери Гаррисон — Новые императоры (Главы из книги. Перевод с английского О. Басинской, И. Прохоровой, Г. Чхартишвили), № 8.
Хименес Хуан Рамон — Записки в изгнании (Перевод с испанского и послесловие А. Гелескула), № 12.
Хласко Марек — Красивые, двадцатилетние (Литературная автобиография. Перевод с польского и вступление К. Старосельской), № 12.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

Индия: связь времен и миров, № 9.
Культура и литература современной Японии, № 5.
Писатель в изгнании, № 12.
Феминизм: идеи и образы, № 3.
«Цветы зла». Имморалистическая традиция в западной литературе, № 1.

ПУБЛИЦИСТИКА

Аксенов Василий — Алхимический Лимон, или Зимние Воспоминания о Летних Впечатлениях, № 1.
Али Ибн-Аби-Талиб, имам — Завет имама Али его сыну аль-Хасану (Вступительная статья и перевод с арабского Александра Игнатенко), № 6.
Апдайк Джон, Этвуд Маргарет — Женское Тело (Два письма. Перевод с английского О. Алякринского), № 3.
Бовуар Симона де — Из книги «Второй пол» (Вступительная глава. Перевод с французского Н. Мавлевич), № 3.
Вайнштейн Ольга — Одежда как смысл: идеологемы современной моды, № 7.
ВЕРА И МОРАЛЬ, № 6.
Вулф Наоми — Миф о красоте. Как представления о красоте используются против женщин (Главы из книги. Перевод с английского О. Басинской), № 3.
Дарендорф Ральф — Современный социальный конфликт (Фрагменты книги. Перевод с английского Г. Лисиной. Вступление и научная редакция М. Черныша), № 4.
Зотов Владимир — Уроки «китайской модели»: фантазии о дэнсяопинизации России, № 8.
Каграманов Ю. — Европа и мы, № 6.
КРИШНАМУРТИ ДЖ.: ОДИНОКИЙ СТРАННИК, № 9.
Кришнамурти Дж. — Беседы разных лет (Перевод с английского М. Салганик), № 9.
Кузьминский Борис, Сандомирская Ирина — Пауза и слово, или Есть ли имя у боли (Беседа в редакции), № 3.
Липский Ян Юзеф — Две родины — два патриотизма. Заметки о национальной мегаломании и ксенофобии поляков (Перевод с польского и вступление Владимира Британишского), № 2.
Ортега-и-Гассет Хосе — Эссе об Испании (Перевод с испанского А. Гелескула, Н. Малиновской. Вступление Н. Малиновской), № 4.
Салганик М. — Кришнамурти — кто он?, № 9.
Салганик М. — Относительность прошлого, № 9.
Сандомирская Ирина — *см.* Кузьминский Борис, № 3.
Хаксли Олдос — О Кришнамурти (Перевод с английского М. Салганик), № 9.
Цветков Алексей — Сумма прописью, или Ненужное зачеркнуть, № 12.
Этвуд Маргарет — *см.* Апдайк Джон, № 3.

КРИТИКА

Алпатов В. — Япония: язык и миф о языке, № 5.
Боллон Патрис — Дон Жуан: истинная горесть любви (Перевод с французского Н. Хотинской), № 10.
Бори Жан — Конец века: бедствия любви (Перевод с французского Т. Пошерстник), № 10.
Бриссон Люк — Платон: первая на Земле разлука (Перевод с французского Н. Хотинской), № 10.
Бьюзин Ален — Пруст: атмосфера ревности (Перевод с французского Т. Пошерстник), № 10.
Бьязи Пьер-Марк де — Эммочки образца 1992 года (Перевод с французского А. Волкова), № 10.
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ, № 4, 11.
Генис Александр — Хоровод. Заметки на полях массовой культуры, № 7.
Делон Мишель — Инцест: мерзости и соблазны (Перевод с французского Н. Хотинской), № 10.
Дельвай Бернар — Андре Жид: недоразумения любви (Перевод с французского А. Волкова), № 10.
Жаккар Ролан — Слон и муравей (Перевод с французского Н. Хотинской), № 10.

ЗАПАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ, № 9, 11.
Зверев Алексей — Герои Кундеры: между пустотой и кичем, № 11.
Зенкин С. — Писатель в маске монстра, № 1.
Зенкин Сергей — Первый роман Альбера Камю, № 4.
Кнабе Г. — Энтелехия как явление мировой культуры, № 2.
Кружков Г. — Любите «TLS» — источник знаний, № 6.
Лейтои Лорин — Два мира — одно искусство (Перевод с английского И. Тогоевой. Комментарии В. Голышева, И. Бернштейн, В. Харитонова), № 6.
Леклерк Иван — Стендаль: In love and melancholy (Перевод с французского Н. Хотинской), № 10.
Лилла Марк — Маркс и убийство (Перевод с английского Г. Дашевского), № 6.
Лисина Г. — Расследование ведет «Магазин литтерер», № 10.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕССА МИРА:
«Magazine littéraire». Досье «2000 лет горестей любви», № 10;
«The Times Literary Supplement», № 6;
«Wespennest» (Перевод с немецкого и вступление Г. Косарик), № 11.
Марсан Юго — СПИД: роковая любовь (Перевод с французского А. Волкова), № 10.
Носик Б. — Набоков-переводчик и переводчики Набокова, № 11.
Мещеряков А. — Взгляд на пространство и пространство взгляда, № 5.
Морозов Николай — Мирча Динеску: «Когда-то я был поэтом...», № 6.
Наврозов Лев — В поисках американского Андрея Битова, № 9.
Наврозов Лев — Нобелевские премии по литературе, № 11.
НАШИ ИНТЕРВЬЮ, № 6.
Орлова Раиса — Мосты: русско-американские литературные связи, № 11.
Саррола Флоранс — Безутешная плоть, или Горести добродетели (Перевод с французского Н. Хотинской), № 10.
ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА, № 6, 11.
Чхартишвили Г. — Невыносимая тяжесть легкости. Японская проза в конце века, № 5.
Эванс Ричард Дж. — Неудавшийся взрыв (Перевод с английского Г. Дашевского), № 6.
Эрнст Густав — О «новом реализме» (Перевод с немецкого Г. Косарик), № 11.

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Иорданский Владимир — Раздвигая границы реализма, № 10.
Казарцева Н. — Наш соотечественник — художник Алексей фон Явленский, № 12.
Новикова Екатерина — Вазарелли: орнамент и цвет, № 4.
Новикова Екатерина — Маргит Ковач: свет, исходящий от огня, № 6.
Савельева Л. — Иван Лацкович-Кроата, № 2.
Тананаева Л. — Несколько слов о кубинской живописи, № 7.
Ткачева Анна — Энергетическая живопись тантризма, № 9.

У КНИЖНОЙ ВИТРИНЫ — № 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11.
КУРЬЕР «ИЛ» — № 1, 3, 6, 7, 8, 10.
АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА — № 1—12.
Французская литература на страницах «ИЛ» (краткая библиография), № 10.
Японская литература на страницах «ИЛ», (краткая библиография), № 5.

ПАМЯТИ АЛЬБЕРТА ВИКТОРОВИЧА КАРЕЛЬСКОГО — № 8.
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА ЛАКШИНА — № 9.

Авторы этого номера

ТРУМЭН КАПОТЕ (TRUMEN CAPOTE; 1924—1984) — американский писатель, трехкратный лауреат премии О. Генри; начинал литературную деятельность как журналист, писал сценарии для телевидения. Автор многочисленных рассказов, составивших сборники «Древо ночи» («Tree of Night», 1949), «Музыка для хамелеонов» («Music for Chameleons», 1980) и др., повестей «Завтрак у Тиффани» («Breakfast at Tiffany's», 1958; рус. пер. 1965), «Голоса травы» («The Grass Harp», 1953; рус. пер. 1971); написанной на документальном материале повести «Обыкновенное убийство» («In Cold Blood», 1965; «ИЛ», 1966, № 2—4); в «ИЛ» напечатан также его документальный рассказ об одном американском преступлении «Самодельные гробики» («Handcarved Coffins. A Nonfiction Account of an American Crime», 1980; 1982, № 9).
Публикуемый роман «Другие голоса, другие комнаты» — первый роман Т. Капоте, принесший ему широкую известность («Other Voices, Other Rooms»), вышел в США в 1948 году (New York, Random House, 1948).

ЖУЖА РАКОВСКИ (ZSUZSA RAKOVSZKY; род. в 1950 г.) — венгерская поэтесса, прозаик, переводчик; лауреат литературных премий имени Аттилы Йожефа, Тибора Дери и английского поэта Роберта Грейвза. Автор книг «Пророчества и сроки» («Zóslator és határidök», 1981), «На один дом дальше» («Tovabb egu házzal», 1987) и др.
Переводы публикуемых стихотворений выполнены по антологии «Лучшие стихи 1989 года» («Szép versek, 1989». Budapest, Magvetö Kiadó, 1990).
На русском языке публикуется впервые.

ИСААК БАШЕВИС ЗИНГЕР (род. в 1904 г. в Польше) — еврейский американский писатель, с 1935 г. живет в США. Лауреат Нобелевской премии (1978). Пишет на идиш. Автор многих романов, наиболее известны «Семья Мошкат» (1950), «Раб» (1962), «Двор» (1967), «Враги. История одной любви» (Национальная книжная премия, 1974), «Шоша» (1978), сборников рассказов «Сатана из Горая» (1935), «Друг Кафки» (1970), автобиографических повестей и других произведений. Рассказы И. Зингера печатала «ИЛ» (1989, № 4). Рассказ «Поклонница» («The Admirer») взят из сборника «Страсти и другие рассказы» (Isaac Bashevis Singer. «Passions and Other Stories». London, Jonathan Cape, 1976).

ШАНДОР МАРАИ (MÁRAI SÁNDOR; 1900—1989) — венгерский прозаик, поэт, публицист. С 1948 года жил в эмиграции (Швейцарии, Италии, США). Начал печататься с 1918 года. Основные его произведения: «Голос человеческий» (стихи и переводы, «Emberi hang», 1921), «Остров» («Sziget», 1934), романы «Исповедь обывателя» («Egy polgár vallomásai», 1937—1955 г.), «Гастроли в Больцано» («Vendégjáték Bolzanóban», 1940), «Дневники» («Naplók», 1958, 1968, 1985).

МАРЕК ХЛАСКО (MAREK HŁASKO; 1934—1969) — польский прозаик и публицист. С 1958 г. жил в эмиграции — в Германии, Израиле и США. Умер в Висбадене. За рубежом вышли впервые сборники его повестей и рассказов: «Кладбища», «Следующий в рай» («Cmentarze», «Następny do raju», 1958), «Все отвернулись», «Грязные дела» («Wszyscy byli odwróceni», «Brudne czyny», 1964), «Обращенный в Яффе» («Nawrócony w Jaffie», 1966), роман «Сова, дочь пекаря» («Sowa, córka piekarza», 1968). Многие его произведения экранизированы. С 80-х годов Хласко широко издается в Польше. В «ИЛ» напечатаны его рассказы (1991, № 9), повесть «Петля» (1992, № 8-9).
Автобиографическая книга Марека Хласко «Красивые, двадцатилетние» вышла во Франции в 1966 году («Piękni, dwudziestoletni», Paris, Institut Littéraire, S. A. R. L., 1966).

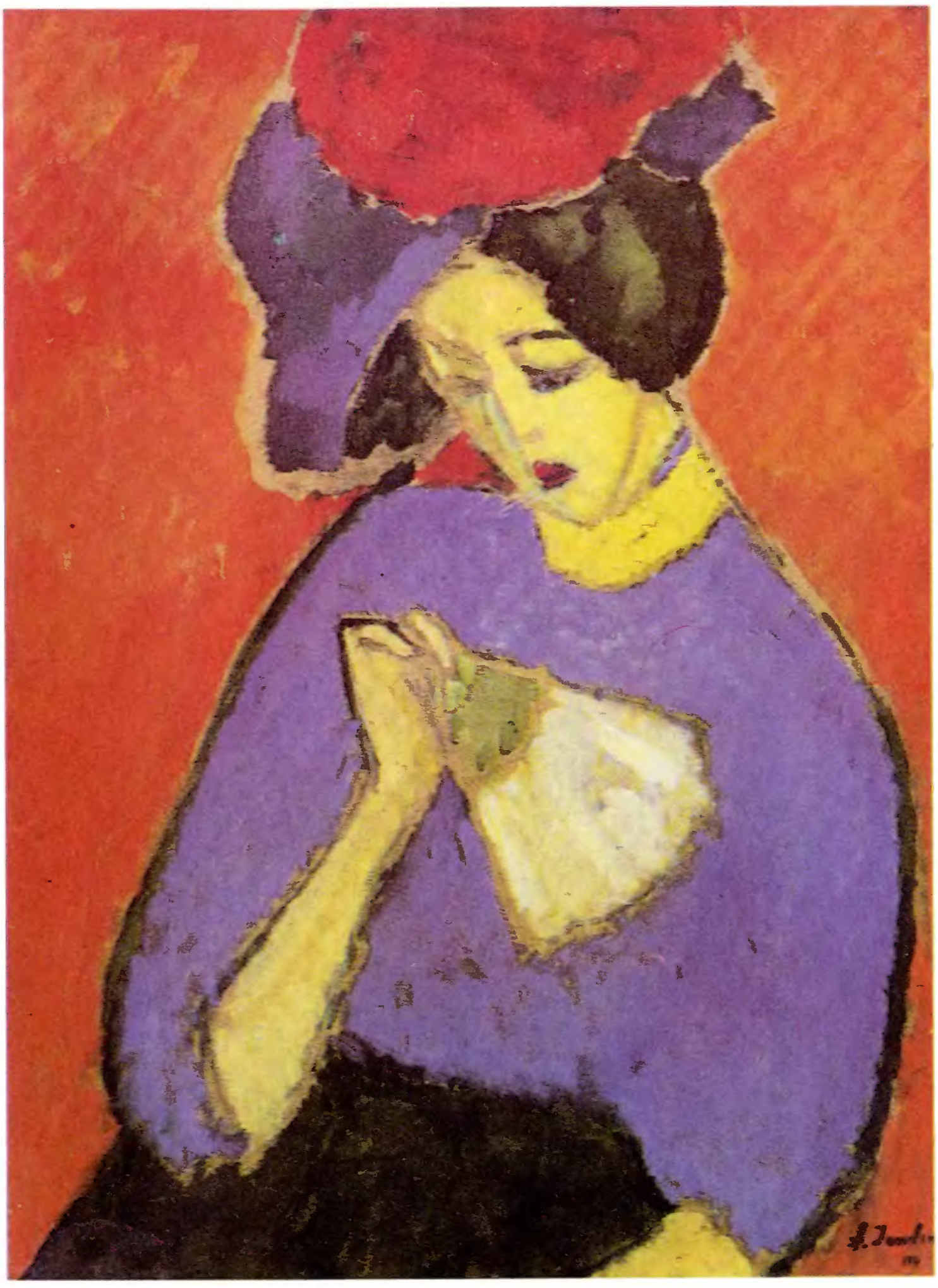
ПЕРЕВОДЧИКИ:

ГОЛЫШЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (род. в 1937 г.) — переводчик с английского. В его переводах издавались романы Р. П. Уоррена «Вся королевская рать», У. Фолкнера «Свет в августе», К. Кизи «Над кукушкиным гнездом», Т. Уайлдера «Теофил Норт» («ИЛ», 1976, № 6—8), повести Д. Хэммета «Большой налет» и «106 тысяч за голову» («ИЛ», 1988, № 7), У. Фолкнера «Когда я умирала» («ИЛ», 1990, № 8) и др. Лауреат премии «ИЛ» (1990).

КРУЖКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1945 г.) — поэт и переводчик. Автор сборников стихов «Ласточка» (1982) и «Черепаха» (1990). Переводил английских, американских, ирландских, французских поэтов — Дж. Донна, У. Вордсворта, Дж. Китса, Г. Лонгфелло, Р. Фроста, П. Ронсара, А. Рембо, а также английскую детскую поэзию (Э. Лир, Л. Кэрролл, С. Миллиган и др.).

ГУСЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1939 г.) — литературный критик, доктор филологических наук, переводчик с венгерского. В его переводах изданы романы Пала Сабо «Пядь земли», Ласло Немета «Вина» и «Милосердие», Магды Сабо «Старомодная история», Шандора Шомоди-Тота «Пророк на час», Сильвестера Эрдега «Упокоение Лазара», книга Йожефа Мелиуса «Кафе «Транзит» и «Западное кафе» («ИЛ», 1989, № 4), повесть Дёрдя Конрада «Тяжелый день» («ИЛ», 1991, № 4) и др.

СТАРОСЕЛЬСКАЯ КСЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА — переводчик с польского. В ее переводах издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Домбровской, М. Хоромыньского. В «ИЛ» напечатаны переводы романов Т. Новака «Черти» (1975, № 3—4), В. Мысливского «Камень на камень» (1986, № 7—9), повести Е. Анджеевского «Врата рая» (1990, № 1), рассказы М. Хласко (1991, № 9) и др. Лауреат премии «ИЛ» (1986).



ISSN 0130—6545 «Иностранная литература», 1993, № 12, 1—256

ИНДЕКС 70394